

Lorina REPINA

**HISTORY AT THE BORDER
OF THE XX – XXI CC.
social theories and
historiographical practices**



KRUGH
Moscow 2011

ЛР 02

63.1(0)6
РЧ1

Л. П. РЕПИНА

1335205

**ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВВ.
социальные теории и
историографическая практика**



КРУГЪ
Москва 2011

ББК 63.3

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
Проект № 10-06-07046

Репина Л. П.

Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика — М.: Кругъ, 2011. — 560 с. — (Образы истории).

В книге рассмотрены условия и последствия методологических поворотов в историографии второй половины XX – начала XXI века, породивших новые варианты изучения прошлого, призванные преодолеть противопоставление индивидуального и социального, микро- и макроистории. Показано становление и развитие новейших версий макроистории, современных концепций всеобщей, всемирной, глобальной истории, региональной и локальной истории. Анализ смены парадигм в исторической биографии, социальной, гендерной, культурной и интеллектуальной истории, истории памяти и исторического сознания позволил продемонстрировать эвристический потенциал предложенных моделей междисциплинарного синтеза в историческом исследовании.

Repina L. P.

History at the border of the XX – XXI cc.: social theories and historiographical practices. — Moscow: Krugh, 2011. — 560 p.

The author considers conditions and effects of the methodological turns in historiography of the later XX c. and the beginning of the XXI c. The newest approaches which aim to overcome the contraposition of the individual and the social, micro-history and macro-history were analyzed. Formation and development of various newest versions of macro-history, current conceptions of universal, world and global history, multidisciplinary technologies and models of regional and local history has been completed. Being based on the study of the changes of paradigms in historical biography, social, gender, cultural and intellectual history the research has shown heuristic potential of the new models of interdisciplinary synthesis in historical research.

© Л. П. Репина, 2011

© Институт всеобщей истории РАН, 2011

© Издательство «Кругъ», 2011

ISBN 978-5-7396-0203-9

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора.....	7
ВВЕДЕНИЕ. Историческая наука и современное общество.....	9
ГЛАВА 1. Концепции интердисциплинарности и место истории в мире наук о человеке и обществе.....	25
ГЛАВА 2. От истории социальной к истории социокультурной.....	61
2.1. Научные традиции и их трансформации.....	63
2.2. Структуры и люди в парадигме «другой социальной истории».....	78
ГЛАВА 3. Теоретические основания исторического знания «после постмодерна».....	119
3.1. «Вызов постмодернизма» и его последствия.....	121
3.2. От «средней позиции» к новым исследовательским моделям... ..	134
ГЛАВА 4. Локальная история: поиски интегративных подходов.....	163
4.1. Комбинация микро- и макро-походов в локальной истории... ..	163
4.2. Региональная история: преимущества и перспективы.....	176
ГЛАВА 5. Перспективы глобальной истории.....	197
5.1. Глобальная и компаративная история.....	197
5.2. Всеобщая история как история глобальная.....	227
ГЛАВА 6. Диалог культур в контексте истории и в историческом познании.....	251
ГЛАВА 7. «Персональная история»: биография как средство исторического познания.....	287
ГЛАВА 8. Интеллектуальная история на рубеже веков.....	325
ГЛАВА 9. Интеллектуальная культура и история историографии.....	367
9.1. Интеллектуальная культура как маркер исторической эпохи... ..	372
9.2. Проблемное поле и когнитивный потенциал современного историографического исследования.....	388
ГЛАВА 10. От теорий памяти к практике историописания.....	411
10.1. Теория памяти и историческое познание.....	411
10.2. Память и историописание.....	431
ГЛАВА 11. Историческое сознание и проблема идентичности.....	451
11.1. Исторические мифы и национальная идентичность.....	453
11.2. Историческая культура и историческое сознание.....	470
11.3. Связь времен: «мост из прошлого в будущее».....	494
ГЛАВА 12. Гендерная история: итоги и перспективы.....	503
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Перспективы исторической науки в начале нового тысячелетия.....	547

CONTENTS

PREFACE.....	7
INTRODUCTION.....	9
CHAPTER 1. Concepts of interdisciplinarity and the place of history in the world of humanities and social sciences.....	25
CHAPTER 2. From social history to sociocultural history.....	61
2.1. Research traditions and their transformations.....	63
2.2. Structures and agents in the paradigm of the "other social history".....	78
CHAPTER 3. Theoretical foundations of historical knowledge "after postmodernism".....	119
3.1. "Challenge of postmodernism" and its consequences.....	121
3.2. From the "middle position" to new models of research.....	134
CHAPTER 4. Local history: search for integrative approaches.....	163
4.1. Combination of micro- and macro-approaches in local history.....	163
4.2. Regional history: advantages and prospects.....	176
CHAPTER 5. Perspectives of global history.....	197
5.1. Global and comparative history.....	197
5.2. Universal history as global history.....	227
CHAPTER 6. Dialogue of cultures in the context of history and in historical cognition.....	251
CHAPTER 7. Personal history: biography as a means of historical cognition.....	287
CHAPTER 8. Intellectual history at the border of the centuries.....	325
CHAPTER 9. Intellectual culture and the research field of historiography.....	367
9.1. Intellectual culture as a marker of historical epoch.....	372
9.2. Problem field and cognitive potential of historiographical research.....	388
CHAPTER 10. From theories of memory to the practice of historiography....	411
10.1. Theory of memory and historical knowledge.....	411
10.2. Memory and historiography.....	431
CHAPTER 11. Historical consciousness and identity problem.....	451
11.1. Historical mythology and national identity.....	453
11.2. Historical culture and historical consciousness.....	470
11.3. Time link: "the bridge from the past to the present".....	494
CHAPTER 12. Gender history: achievements and prospects.....	503
CONCLUSION.....	547

Памяти моих родителей и учителей

ОТ АВТОРА

Движение любой науки осуществляется в соответствии с присущей ей внутренней логикой развития и с вызовами современности, требующими новых решений. Сложные процессы, происходившие на рубеже веков, привели к новому пониманию природы исторического познания, к качественным изменениям в предметном поле, проблематике и методах исследования, в структуре исторического знания. По сути, речь идет о формировании новой исторической культуры и нового образа исторической науки. Возникающие проблемы обостряют потребность в анализе, позволяющем глубже понять текущие тенденции и сосредоточить внимание на наиболее плодотворных из них и, таким образом, усиливают роль историографической критики как инструмента обновления и последующего развития исторической науки в XXI веке.

В основу книги легли результаты многолетних исследований, а в целом – опыт сорока лет наблюдений за развитием исторической науки в XX веке. В книге предпринят анализ ведущих направлений современной историографии, ее достижений и нерешенных проблем, представлен широкий спектр теорий и методов, обогативших исследовательский арсенал исторической науки. Особое внимание обращено на эвристические возможности, открывающиеся в точках пересечения разных исследовательских перспектив: истории структур и деятельности, условий и представлений, индивидуального и коллективного, частного и публичного, микро- и макроистории, хотя, разумеется, автор не ставил перед собой невыполнимой задачи дать ответ на все вопросы.

На разных этапах моей профессиональной жизни меня поддерживали и направляли старшие коллеги, которых я считаю своими учителями. С глубокой благодарностью вспоминаю моего научного руководителя в годы учебы на историческом факультете МГУ и в аспирантуре Института всеобщей истории РАН Евгению Владимировну Гутнову, благодаря которой я стала историком-медиевистом и обрела вкус к историографическим исследованиям; Михаила Абрамовича Барга, щедро делившегося с тогда еще молодой коллегой своими идеями и предлагавшего разговор на равных по самым сложным теоретическим проблемам; Юрия Львовича Бессмертного, задавшего самую высокую планку творческой работы в рамках его научного проекта и в семинаре по истории частной жизни. Осознавая себя в неоплатном долгу перед ними, я стараюсь отдавать этот долг своим ученикам.

Работа над разными частями книги влась более десяти лет и была бы невозможной без помощи многих коллег. Неоценимой была постоянная поддержка моих проектов со стороны директора Института всеобщей истории РАН академика А. О. Чубарьяна, ведущих специалистов по теории и методологии истории – Б. Г. Могильницкого, Г. И. Зверевой, И. М. Савельевой, А. В. Полетаева, Е. И. Пивовара и многих других. Не имея возможности назвать всех поименно, благодарю за творческое общение сотрудников Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН и соратников по научным программам Российского общества интеллектуальной истории.

Самую большую признательность хочу выразить моему мужу Игорю Александровичу Харичеву, который поддерживал меня на протяжении работы над книгой, как и всей моей взрослой, семейной жизни. За терпение и понимание благодарю моих детей – Наталью, Александра и Владислава.

ВВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

В каждую эпоху с изменением условий существования общества по-своему раскрываются природа и возможности человека, его отношения с окружающим миром, формы и содержание социальных взаимодействий, характер нормативно-ценностных систем, ведущие тенденции в развитии культуры. На вызовы и кризисы, столь остро ощущаемые в период рубежа веков, формулируются и предлагаются обществу конструктивные «ответы», в том числе – новые образы культуры и новые модели интеллектуального опыта.

Радикальные сдвиги в мировой политике и экономике за последние десятилетия преобразовали социокультурное пространство. Глобализация относится, в первую очередь, к экономической сфере, но во многом определяет динамику всех процессов¹. Особенно быстро развиваются средства массовой информации и коммуникационные технологии, которые не просто интенсифицируют международные контакты, ускоряют связь, а трансформируют саму ее природу.

Одной из самых тревожащих глобальных проблем современной эпохи стали изменения в окружающей среде, а попытки осмысления этой угрозы привели к деконструкции традиционной дихотомии культуры и природы, включая ее историческое измерение. Интерес к историческим трансфор-

¹ On the Edge. Living with Global Capitalism / Ed. by W. Hutton, A. Giddens. Cambridge, 2000; Гидденс Э. Ускользящий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004.

мациям климата, ландшафтов и других аспектов взаимодействия природы и человечества вылился в становление и заметное восхождение так называемой «экологической истории»².

Во множестве научных публикаций и популярных изданий активно обсуждается вопрос о том, какое воздействие глобализация и информатизация оказывают на состояние общества, каковы их социальные последствия, включая такие темы, как бедность, рост насилия, преступность, наркомания, терроризм, кризисы самоопределения личности и т.д.³

В гораздо меньшей степени подвергаются осмыслению интеллектуальные последствия глобализации и информатизации, в том числе для современного социогуманитарного знания, включая историческое, и для будущего исторической профессии. А между тем эти последствия проявляются уже весьма отчетливо, причем на самых разных уровнях.

Самым заметным проявлением интеллектуальной реакции на глобализацию стал бурный рост исторических исследований, посвященных наиболее острым мировым социальным проблемам, таким, например, как проблема миграций или мобилизующей роли этнического самосознания. Вполне естественно, что эти и подобные, в прямом смысле глобальные, проблемы оказались в фокусе внимания международных конгрессов исторических наук и других крупнейших научных форумов, проходивших в 1990-е – 2000-е годы.

² См., например: *Historical Ecology. Cultural Knowledge and Changing Landscapes* / Ed. by Carole L. Crumley. 1994. См. также: *Environmental History: Nature at Work // History and Theory. Theme Issue. 2003. Vol. 42. No. 4.*

³ Впрочем, программа изучения глобальных проблем, затрагивающих основы человеческого существования (гонка вооружений и угроза развязывания ядерной войны, загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, рост народонаселения, углубление неравенства в развитии отдельных стран и регионов, расширение зон бедности и нищеты, распространение терроризма) была выдвинута международной организацией «Римский клуб» еще в конце 1960-х годов.

Именно в условиях глобализации, радикального ускорения коммуникаций и очевидного расхождения между экономико-технологическими процессами и идеями, которые движут людьми, особенно остро ощущается необходимость переосмысления теоретических, критических и аксиологических оснований интеллектуальной истории. Формирование в обществе новых ценностных ориентиров не только отражается на исходных предпосылках историка и постановке им научных проблем, но во многом определяет и потенциальные результаты его познавательной и творческой деятельности. По меткому замечанию Антуана Про, «...в конце концов историк создает тот тип истории, который требует от него общество; иначе оно от него отворачивается... Но с другой стороны, нет такого коллективного общественного проекта, который был бы возможен без исторического воспитания его участников и без исторического анализа проблем»⁴.

Усилия по историческому осмыслению текущих глобализационных процессов приводят к появлению новых научных и образовательных программ, таких, например, как кембриджская программа «Глобализация в исторической перспективе», включающая, среди прочих, темы по «истории идеи глобализации и глобальных взаимосвязей», по «окончанию периодов глобализации и обратимости глобализации», по «истории Объединенных Наций и международных институтов» и по так называемой «интернациональной истории», или «межнациональной истории» (*international history*), понимаемой как «история отношений между индивидами и культурами, включая индивидов, одновременно принадлежащих к нескольким культурам или меняющих идентичность, язык общения, страну пребывания и национальность». По материалам проведенного в рамках этой программы научного colloquium «Глобализация в мировой истории» была опубликована одноименная кни-

⁴ Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 318.

га⁵. Примечательна сама тема основного доклада и вводной статьи: «История Глобализации – и Глобализация Истории».

Кроме того, в век глобализации изменяется положение Европы в мире⁶, и интересно, что в новом контексте не менее активно идет процесс пересмотра содержания таких привычных понятий, как «всемирная история» и «европейская история». К примеру, известный американский историк Джон Гиллис в обобщающем докладе о состоянии изучения европейской истории в американских университетах констатировал неопределенность в ее дефиниции, во-первых, постольку, поскольку меняется сам облик Европы (прежде речь шла преимущественно о Западной Европе, а теперь «мы подразумеваем нечто одновременно более масштабное и более сложное»), и, во-вторых, поскольку изменяются отношения Европы с «остальным миром»: «она утратила свое центральное положение как в пространственном, так и в темпоральном измерении» и перестала служить моделью и «мерилом прогресса», «хотя правда и то, что ни одна другая региональная история не заступила ее место в качестве исторического образца»⁷.

Во второй половине прошлого века произошло беспрецедентное расширение взаимодействия истории с другими социальными и гуманитарными науками, возникли новые объекты и методы исторического исследования, был вовлечен в научный оборот колоссальный массив новых источников, выработан целый ряд принципиально новых подходов к анализу источников традиционных, появились новые эффективные способы обработки информации. Но изменения касались не только познавательных средств. Многие социальные функции историографии – идентификационная, воспитательная, развлекательная – в условиях беспрецедентного разраста-

⁵ Globalisation in World History / Ed. by A. G. Hopkins. Cambridge, 2002.

⁶ См.: Giddens A. Europe in the Global Age. Cambridge, 2007.

⁷ <http://www.historians.org/perspectives/issues/1996/9604PRO.CFM>.

ния пропасти между профессиональным и обыденным историческим сознанием были эффективно освоены масс-медиа. Усугубило ситуацию распространение в околонучной исторической культуре постмодернистского лозунга «каждый сам себе историк». Принцип исторического исследования посредством критического изучения первоисточников (в том числе визуальных) ныне разделяется очень немногими за пределами профессиональной среды. Публикации источников в Интернете, он-лайн-курсы и обучающие программы для любителей не решают проблему. Ситуация требует от научного сообщества разработать стратегическую программу «экспансии» в Web-пространство, хотя найти необходимые ресурсы для ее полномасштабной реализации чрезвычайно трудно.

Для преодоления разрыва и создания условий нового диалога, по всей видимости, необходимы изменения в самой профессиональной исторической культуре. В этой ситуации можно отчасти понять настойчивые и весьма негативные (хотя, на мой взгляд, излишне и намеренно «алармизированные») прогнозы относительно «выживания Клио»⁸.

Вполне закономерно тема общественного потенциала и роли исторической науки в последние десятилетия стала одной из ведущих в мировой историографии, в общественных дискуссиях и публицистике. Обращение к ней затрагивает не только многие аспекты самой исторической науки, но отражает потребности широкой общественности, придавая научной дискуссии о социальных функциях, «пользе истории» и ответственности историка публичный характер.

Историки задаются вопросом о том, как изменяется сам образ исторической науки и статус истории в системе научных дисциплин, какое место она занимает в иерархии ценностей

⁸ См.: *Бойцов М. А.* Вперед к Геродоту // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 2. М., 1999. С. 17-41 (см. также материалы дискуссии: С. 42-75); *Он же.* Выживет ли Клио при глобализации? // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2006. С. 15-41.

современной культуры? Что происходит с функциями исторического знания в условиях ускоряющихся социальных трансформаций? Как сказываются процессы глобализации и обеспечивающие их новые технологии на структуре исторического знания и формах его презентации? И смежный круг вопросов – каково назначение и задачи работы профессиональных историков? Что дает история для решения наболевших вопросов существования людей в становящемся все теснее и все взрывоопаснее мире? Как она сегодня «учит жизни»? Как она вообще может учить жизни современников, опираясь на принцип историчности постоянно меняющейся действительности (а стремительность этих перемен все время нарастает, что ускоряет процесс отчуждения недавнего прошлого и делает его опыт нерелевантным)? И как тогда могут быть «оправданы» (с точки зрения практической пользы) профессиональные занятия историей в глазах общественности?

Эти насущные проблемы осознаются ведущими историками, придерживающимися разных методологических парадигм⁹, за исключением, быть может, тех радикальных идеологов, которые вообще отрицают концепцию научной истории в любом ее виде и ее роль в социуме, призывая «забыть об истории» и «обходиться без исторического сознания»¹⁰. Отвечая на вопрос интервьюера о том, помогает ли историография пони-

⁹ Обсуждение этих вопросов занимает центральное место на страницах «новой волны» научных неперидических изданий (в том числе электронных журналов), основанных в начале нынешнего века (*Rethinking History: The Journal of Theory and Practice; Historically Speaking; The Journal of the Historical Society; Historein*; и др.). Обсуждение аналогичных проблем см.: Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2005.

¹⁰ *Jenkins, Keith. Why History? Ethics and Postmodernity. L.; N. Y., 1999. P. 201, 203. См. также: Jenkins K. Rethinking History. L.; N. Y., 1992; Idem. On "What is History" from Carr and Elton to Rorty and White. L.; N. Y., 1995; Idem. Refiguring History: New Thoughts on an Old Discipline. L.; N. Y., 2003.*

мать разные культуры, Хейден Уайт так сформулировал свою позицию: «Конечно. Если рассматривать ее как любой вид дискурса о прошлом или об отношениях между прошлым и настоящим... Различные способы, с помощью которых в разных культурах обсуждается взаимосвязь между прошлым и настоящим, сообщают нам о том, как организована та или иная культура или как она осмысляет преходящие обстоятельства или свою судьбу. Можно быть уверенным, что история была экспортирована в те культуры, которые первоначально ее не имели, таким же образом, как христианство и капитализм – но совсем не так, как современные естественные науки. История никак не может считаться наукой в том же смысле, что химия или физика¹¹. Не каждый в ней нуждается, и, возможно, многим людям она наносит ущерб. Нельзя думать, что если история обслуживает, или может показаться, что обслуживает, наши потребности, то она нужна всем»¹².

Разумеется, далеко не все представители исторической профессии согласны с постулатами классика постмодернистской историографии¹³. Поставив вопрос «Для чего изучать историю?» в своей одноименной публикации, известный американский историк Питер Стирнс дал следующий набор ответов: изучение истории помогает понимать людей, человеческий опыт и происхождение изменений в обществе, дает почву для размышлений по поводу морали и доставляет эсте-

¹¹ С этим, заметим, никто из историков и не спорит. Сегодня уже общим местом стало признание историчности и одновременного сосуществования различных концепций «научности».

¹² Интервью с Хейдсеном Уайтом // *Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории*. Вып. 14. М., 2005. С. 345-346.

¹³ Собственно уже с конца 1970-х годов появляются работы, испытывавшие сильное влияние лингвистического поворота, но проявляющие заметную неудовлетворенность его базовыми постулатами. Мне уже приходилось писать об этом в недавно переизданной книге о «новой исторической науке». См.: *Репина Л. П.* «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. (2 изд., испр. и доп. – 2010).

тическое наслаждение, создает условия для самоидентификации и делает нас гражданами, развивает способность анализировать и оценивать многообразные свидетельства и их различные интерпретации, расширяет эрудицию и кругозор. Суммируя эти частичные ответы, он выносит вердикт: *предоставляя доступ к лаборатории человеческого опыта, знание истории является источником инноваций*¹⁴.

Пожалуй, об общественной пользе исторической науки лучше и короче не скажешь. Однако ее потенциал может сегодня остаться вовсе невостребованным, если не будут вновь обретены утраченные узкоспециализированной научной историографией XX столетия эстетическая привлекательность, непосредственный контакт и общий язык с публикой, без чего восстановление интереса широкого потребителя к научной продукции профессиональных историков, в том числе и отечественных, представляется совершенно нереальным.

К дополнительной рефлексии побуждает то, что научная историография «была экспортирована в те культуры, которые первоначально ее не имели, таким же образом, как христианство и капитализм, но совсем не так, как современные естественные науки». Сегодня практически общим местом стало признание как историчности самого понятия *науки*, так и факта «мирного сосуществования» различных концепций *научности*. Для многих участников дискуссий становится очевидным, что сохранение за ремеслом историка достойного общественного статуса невозможно без осмысления последствий пройденных современными историко-гуманитарными науками «методологических поворотов», без создания новых теоретических моделей и восстановления синтезирующего потенциала исторического знания на новом уровне.

¹⁴ *Stearns, Peter N. Why Study History? Washington (D.C.), 1998.* См. также: *Stearns, Peter N. Meaning over Memory: Recasting the Teaching of History and Culture. Chapel Hill (N.C.), 1993.*

На рубеже тысячелетий существенно преобразился облик дисциплины и ее положение в обществе. Если в XIX столетии, которое недаром называют «историческим веком», высокая степень доверия к истории и социальный престиж исторической науки опирались на укрепившееся в общественном сознании представление о преемственности исторического развития человеческой цивилизации и, соответственно, об уникальных возможностях использования опыта прошлого как средства решения проблем настоящего и построения «светлого будущего», то осмысление драматического опыта XX века подорвало убежденность в «пользе истории» и сложившиеся отношения «наставницы» и «прилежного ученика» между исторической наукой и обществом¹⁵. Однако то, что историческое объяснение не соответствует жестким критериям научности в ее традиционном понимании, восходящем ко второй половине XIX века, не делает историческое познание менее строгим в плане соответствия высоким профессиональным стандартам и, тем более, не оставляет его невостребованным.

Четко обозначившийся на заре нового тысячелетия парадигмальный сдвиг способен вернуть истории веками принадлежавшее ей центральное место в культуре любой эпохи.

Нельзя не признать значение и справедливость такого определения: «История – это самая богатая знаниями, сведениями, самая живая и, быть может, самая захлапленная область нашей памяти, но вместе с тем это основа, дающая всякому существу недолговечный свет его существования»¹⁶.

¹⁵ По ироническому замечанию А. Мегилла, «общепризнано, что история не может быть столь же полезна как инженерное искусство, коммерческая деятельность или животноводство, а также что определенная история, как правило, далекая от нас по времени, месту и культуре, вовсе не может быть сколько-нибудь полезной». *Megill A. Are We Asking Too Much of History? // Historically Speaking. 2002. Vol. 3. N 4.*

¹⁶ Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 244.

Историческое объяснение в широком смысле остается общественной необходимостью, являясь существенной составляющей не только познавательных процессов, но и ориентации людей в окружающем мире, осуществления ценностного выбора, любой процедуры принятия решений и выработки стратегий поведения, в том числе в повседневной жизни, поскольку мы постоянно обращаемся к прошлому, когда осуществляем свой выбор на будущее.

Таким образом, речь идет не об удовлетворении любопытства, а об «интересе экзистенциального характера»¹⁷. И в таком контексте не выглядит натяжкой фраза о «настоятельной необходимости истории», которую канадский историком Гед Мартин вынес в подзаголовок своей книги о «будущих проекциях прошлого»¹⁸. Особенно острой потребность в придании исторической опоры человеческому существованию становится в наше «сверхбыстрое», «самоускоряющееся» время, когда необычайный темп изменений моментально превращает будущее в настоящее, а настоящее в прошлое¹⁹.

Сохранение за ремеслом историка достойного общественного статуса невозможно без осмысления современного состояния историографии и восстановления синтезирующего потенциала исторического знания. Именно на эти ключевые проблемы была ориентирована Программа фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН «Общественный потенциал истории», успешно осуществлен-

¹⁷ *Bowsma W. J. A Usable Past: Essays in European Cultural History. Berkeley, 2004. P. 421.*

¹⁸ *Martin, Ged. Past Futures. The Impossible Necessity of History. Toronto, 2004.*

¹⁹ См. обстоятельную и оригинальную разработку этой темы с детальным сопоставлением характеристик «быстрой» и «сверхбыстрой» темпоральностей: *Шкуратов В. А. Сверхбыстрое время – новые времена? // Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2010. С. 367-385.*

ная в 2003–2005 гг. В программе была поставлена цель – раскрыть общественную роль исторической науки, место исторического знания и исторического сознания в развитии общества и цивилизации на разных этапах истории, и особенно на рубеже XX–XXI вв., когда в современной ситуации глубоких общественных и культурно-исторических трансформаций эта проблема вновь выдвинулась на первый план, а интенсивность ее обсуждения приобрела беспрецедентный характер. Особое внимание было уделено выявлению специфики формирования различных исторических традиций, институциональным механизмам реализации социально-воспитательного потенциала истории, ее общенаучной ценности и богатства междисциплинарных связей, грядущих перспектив и способов интеграции исторической науки и образования, анализу социальной памяти, представлений о прошлом как неотъемлемой составляющей групповой, социальной и национальной идентичности, значению критической функции научной историографии, а также проблемам исторического сознания, определяемого как структурообразующая часть общественного сознания и важнейшая категория его анализа.

В сфере общественного сознания особенно рельефно обнаруживается социально-воспитательная функция и прагматика исторической науки, реализуется ее мировоззренческий потенциал, познавательная и практическая ценность, задействуются механизмы ее влияния на развитие общества и его отдельных групп. И наоборот, главным образом через ситуацию, складывающуюся в общественном сознании и общественном мнении, через формирующиеся в их рамках стереотипы восприятия, уровни понимания и доверия, критерии полезности, идеальные образы и горизонты ожиданий осуществляется детерминирующее воздействие социокультурного контекста на современное историческое знание и перспективы развития исторической науки. Все эти процессы нуждаются как в специальных научных исследованиях, так и в анали-

тических разработках рекомендательного характера и в практических мероприятиях, призванных способствовать открытому диалогу профессионалов с самой широкой, массовой аудиторией и повышению социального статуса исторического знания в нашей стране с грузом «непредсказуемого прошлого», а также активным процессом регионализации и переопределения групповых идентичностей.

Важная роль в этой необходимой для сообщества историков коммуникативной стратегии должна принадлежать «истории для всех», или так называемой «публичной истории» (ориентированной на публику за пределами профессионального научного сообщества), способной преодолеть отчуждение от «непосвященных», оперативно отвечающей на социальные запросы, общаясь с самой широкой аудиторией на понятном ей языке и используя современные средства коммуникации. Необходимость активного участия историков в таком диалоге осознается в академической среде²⁰. Эта насущная задача подчас (при благоприятных условиях) реализуется в крупных образовательных проектах. Так, уже в 1990-е годы и в первые годы XXI века в университетах целого ряда западных стран были введены специальные учебные программы и созданы научные советы, центры, институты, общества, периодические издания по «публичной истории»²¹, призванной распространять профессиональные стандарты, «ремесло историка», исторические знания и навыки исторического мышления в кругах непрофессионалов, и – что принципиально важно – успешно замещающей в массовом сознании тот плацдарм, который захватили в России провозвестники «новой хронологии» и им

²⁰ Adams, Michael C. C. The Necessary Historian, or Why Academics Should Engage with Popular Culture // *Historically Speaking*. 2004. Vol. V. No. 5. (<http://www.bu.edu/historic/hs/mayjune04.html>).

²¹ Например, Национальный совет по публичной истории и журнал *The Public Historian* в США, Центр публичной истории и журнал *The Public History Review* в Австралии и др.

подобные. Нельзя не отметить с сожалением, что в России подобные центры и программы развития не получили.

Музу истории Клио нередко представляют двуликой, как Янус. Образ истории в интеллектуальной культуре и в общественном сознании, действительно, раздваивается: *история как наука* и *история как искусство* («ремесло»), или *история конвенциональная* («критическая») и *неконвенциональная* («эмфатическая»), которую иногда называют, по аналогии с паранаукой, «параисторией». Впрочем, «неконвенциональность» оказывается весьма относительной, поскольку и эта форма истории представляет прошлое лишь опосредованно: «обе они подчиняются и конвенциям репрезентации, и конвенциям второго порядка, определяющим, как признавать и оценивать конвенции первого порядка»²². Мне представляется возможным обозначить эту характерную «двуликость» несколько иначе: с одной стороны, *история академическая* (аналитическая, рефлексивно-критическая), соответствующая научным стандартам, конвенциям и ценностям профессионального сообщества, а с другой – обращенная «к граду и миру» *история прикладная* (популярная).

Тема «потребителя» продукции историка, его «целевой аудитории» стала необычайно актуальной²³. В ряду центральных проблем «истории для публики» – «самодетельная исто-

²² Fay, Brian. Unconventional History // History and Theory. 2002. Vol. 41. Theme Issue. P. 1-6. (P. 5).

²³ Об особенностях различных сфер «общественного использования истории» и практического применения» добываемых историками знаний, см.: Presenting the Past: Essays on History and the Public / Ed. by Susan Porter Benson, Stephen Brier, and Roy Rosenberg. Philadelphia, 1986. См. также: History and Media / Ed. by D. Cannadine. L., 2004. (<http://www.communication.uts.edu.au/centres/public-history>). О сложных взаимоотношениях профессиональных историков с их внеакадемической «аудиторией», или «публикой» см.: Jordanova, Ludmilla. History in Practice. L.; N.Y., 2000. Ch. 6.; Seeing History: Public History in Britain Now / Ed. by Hilda Kean, Paul Martin and Sally Morgan. L., 2000.

рия» семьи, прихода, локального сообщества, институциональные механизмы реализации социально-воспитательного потенциала истории, взаимосвязь исторической науки и образования, возможность воздействия достижений науки на общество через преподавание и в средней, и в высшей школе. «Публичная история» изучает влияние на формирование массовых исторических представлений таких публичных институтов, как музеи, библиотеки, архивы и фонды культурного наследия, а также популярной и художественной литературы, изобразительного искусства, театра, кино и телевидения. Ее главный вопрос очень точно сформулирован в специальном проекте Австралийского центра публичной истории (под названием «Австралийцы и Прошлое»): «как простые люди узнают об историческом прошлом, оценивают его и действуют в соответствии со своими знаниями о нем»²⁴. Подобного рода исследования опираются на социологические опросы и специальные методики устной истории.

Центральное место занимает изучение влияния опыта истории на политику. Исторические аргументы всегда активно использовались в политической практике, в общественных дискуссиях и в социальных программах. В современном мире уже нет сомнений по поводу роли исторического опыта, использования информации, знаний, представлений о прошлом в процессе принятия политических и других решений, связанных с намерением достичь определенной цели. «Публичная история» переводит эту аксиому в актуальную образовательную практику, осуществляя специальную подготовку историков-консультантов для работы в государственных структурах и органах местного самоуправления.

Учебные программы центров публичной истории предполагают подготовку специалистов-историков для работы вне

²⁴ Информацию о новых проектах см. на сайте Австралийского центра публичной истории, уже заслужившего широкую известность и авторитет: <http://www.communication.uts.edu.au/centres/public-history>.

университетской среды, за пределами сферы науки и профессионального образования. Они нацеливают выпускников на применение полученных ими профессиональных знаний и навыков в самых разных сферах деятельности – в качестве работников правительственных организаций, консультационных агентств, торгово-промышленных корпораций и юридических фирм, культурно-исторических обществ, школ, музеев, архивов и библиотек. В ракурсе «истории для всех» может быть также акцентирован и вклад исторической науки в общий комплекс научных знаний, значение и возможность эффективного применения исторической рефлексии, специфических исследовательских приемов и методик в самых разных пластах познавательной деятельности и в общественной практике.

Важнейшая функция исторической науки состоит в воздействии на общественное сознание, на представления людей об окружающем мире и об обществе, в котором они живут, а также о своем далеком и недавнем прошлом. Странники и разработчики программ «публичной истории» (ее также иногда называют «народной» или «популярной» историей) прилагают усилия для раскрытия механизмов такого воздействия, причем как научного знания, так и мифологических построений. Вообще тема мифов в истории, роли доминирующих и конкурирующих образов прошлого, сложившихся спонтанно или умело внедренных в массовое сознание, привлекает все большее внимание мировой историографии.

Новый поворот привел и к интенсивной разработке различных аспектов проблемы «мест памяти», «образов прошлого», «исторической мифологии», которой посвящены уже не десятки, а сотни исследований²⁵. Выясняются условия и ме-

²⁵ В их числе – серия коллективных трудов, подготовленных в рамках исследовательских проектов Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН: *Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени* / Под ред. Ж. П. Ренной. М., 2003; *История и память: историческая культура Европы до*

ханизмы формирования и фиксации представлений об опыте недавнего прошлого и долговременной исторической памяти, способы коммеморации, воздействие образов прошлого в социальной и культурной памяти на мотивацию поведения индивидов и групп, приемы инструментализации исторической памяти («политики памяти») и использования «исторических» построений в прошлых и текущих этнических, конфессиональных и национальных конфликтах²⁶.

Обсуждение многочисленных вопросов, поставленных перед исторической наукой современным обществом, должно быть непременно продолжено – и не только историками, но и заинтересованными представителями многих других областей гуманитарного, социального и естественнонаучного знания. Однако как обсуждение, так и решение этих вопросов невозможно без глубокого анализа теоретических оснований, методологических аспектов и актуальной исследовательской практики мировой и отечественной историографии.

начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006; Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008; Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2010.

²⁶ Подробный анализ исследований данного направления см. ниже, в гл. 10 и 11.

ГЛАВА 1

КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТИ И МЕСТО ИСТОРИИ В МИРЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ

В многочисленных публикациях, касающихся анализа текущего состояния исторической науки, можно обнаружить позитивный симптом: не имевшее конкурентов на протяжении десятилетий однозначное определение его термином «кризис» стало уступать свои позиции, и все чаще важнейший признак современного исторического знания, а точнее – знания о прошлом, обозначается понятием *интердисциплинарности*.

Понятие *interdisciplinarity*, обычно переводимое как «междисциплинарность», вошло в активный оборот во второй половине XX в., когда многими учеными была осознана ограниченность дисциплинарных рамок исследований и возникла настоящая потребность в их преодолении, в «наведении мостов»¹. В этом контексте было актуализировано представление о науке как едином целом, ведь, по мысли Макса Планка, ее разделение на отдельные области обусловлено не столько природой вещей, сколько ограниченностью способности человеческого познания, а в действительности существует непрерывная цепь от физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам – цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу.

¹ См., например: Building New Bridges: Sources, Methods and Interdisciplinarity / Ed. by Jeff Keshen and Sylvie Perrier. Ottawa, 2005.

Таким образом, вот уже несколько десятилетий междисциплинарность представляет собой неотъемлемую характеристику состояния социально-гуманитарного знания и научного знания как такового. За это время в результате целого ряда познавательных «поворотов» и «революций» в интеллектуальной сфере многое изменилось в конфигурации интердисциплинарного взаимодействия, в подходах к изучению прошлого, в концептуально-методологическом оснащении и в понимании самого предмета, а также дисциплинарного и общественного статуса исторической науки.

Как показывает систематический анализ разнообразных исследовательских практик, опирающихся на междисциплинарные подходы, и материалов многочисленных дискуссий об эффективности и границах их применения в разных областях исторического знания показывает, что само понятие междисциплинарности, отражая смену эпистемологических ориентиров, также меняет свое содержательное наполнение.

Траектория развития интердисциплинарных исследований – как на «перекрестках» социально-гуманитарных наук, так и в общем пространстве научного знания – требует своего анализа и осмысления. И эта трудная теоретическая задача (с легко прогнозируемым практическим потенциалом) стоит сегодня перед интеллектуальной историей². Несомненно, систематический анализ разнообразных исследовательских практик, опирающихся на междисциплинарные подходы, и многочисленных теоретико-методологических дискуссий об эффективности и границах их применения в разных областях исторического знания может дать необходимый материал для создания

² См.: Междисциплинарные подходы к изучению прошлого: до и после «постмодерна» / Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2005. Один из возможных вариантов истории интердисциплинарности на примере социально-научной истории предложен в книге: *Looking Backwards and Looking Forward: Perspectives on Social Science History* / Eds. Harvey J. Graff, Leslie Page Moch, and Philip McMichael. Madison, 2005.

в русле интеллектуальной истории важного и, безусловно, актуального раздела – *истории интердисциплинарности*. Ведь междисциплинарные тенденции определяются не только – и даже не столько – горизонтальными связями между отдельными областями знания. В высшей степени показательны вертикальные связи, раскрывающиеся в истории междисциплинарности. Анализ исторической динамики междисциплинарных взаимодействий позволяет многое увидеть по-новому и создает более прочную основу для раскрытия смысла происходящих изменений в интеллектуальной сфере.

В современном науковедении, прошедшем во второй половине XX столетия большой и успешный путь развития, в качестве общего названия различных форм исследования, выходящего за рамки одной дисциплины, принят термин *кросс-дисциплинарность* («кросс-дисциплинарные исследования», «исследования, ставящие кросс-дисциплинарные задачи»). Коллективные «кросс-дисциплинарные исследования» различаются по своим организационным формам. Выделяются мультидисциплинарные, интердисциплинарные и трансдисциплинарные исследования. В таком порядке указанных форм кросс-дисциплинарность варьируется по степени интеграции сотрудничающих дисциплин: от низшей ступени к высшей³. Как *мультидисциплинарные* обозначаются исследования, участники которых работают практически независимо друг от друга (параллельно или последовательно), опираясь на собственную дисциплинарную базу для решения общей проблемы. Кросс-дисциплинарная задача решается как бы «по кусочку»,

³ Исходя из понимания историчности любого знания, в том числе научного, М. Ф. Румянцева выстраивает такую линию движения гуманитарного знания: дисциплинарность – междисциплинарность – полидисциплинарность – синтез. См.: *Румянцева М. Ф. Целостность современного гуманитарного знания: необходимость и возможность // Единство гуманитарного знания: новый синтез / Отв. ред. М. Ф. Румянцев. М., 2007. С. 42.*

по дисциплинарным частям, перед каждым специалистом ставится какая-то частная задача, которая и решается им отдельно от остальных. Для проведения *интердисциплинарных* исследований создается смешанная команда. Специалисты работают совместно, изучая взаимосвязанные аспекты общей проблемы, но все еще опираются каждый на свою дисциплинарную базу. В таком случае обычно предпринимаются попытки выстроить общую перспективу, хотя при этом некоторые важные дисциплинарные поля могут быть опущены.

Что касается современных трансдисциплинарных исследований, то участвующие в них специалисты разных областей знания работают совместно, используя общий концептуальный аппарат, объединяя теории, концепции и подходы отдельных дисциплин для решения общей проблемы. Здесь непременно имеет место попытка определить исследовательскую проблему в ее целостности, с учетом всех ее сторон и, придав им общий фокус, направить соответствующие дисциплинарные перспективы, методы, концепции в русло разработки общего подхода. Сложность как раз и состоит в том, что исследователям предстоит разработать общую методологию, создать общую базу данных и определиться с подходом к их интерпретации. Впрочем, рассматривая предложенную типологию так называемых кросс-дисциплинарных исследований, необходимо помнить о ее условности: речь не может идти о непроходимых границах между их различаемыми по степени интеграции формами. Кроме того, некоторые современные так называемые «дисциплины» или даже «субдисциплины» сами по себе уже являются интердисциплинарными образованиями, что в полной мере относится и к системе социогуманитарного знания.

Современная история междисциплинарности в интеллектуальном контексте истории понятий может быть условно описана как последовательный переход: от «интердисциплинарности» – через содержательно неразличимые «полидисциплинарность/мультидисциплинарность» – к «трансдисциплинарности».

лиарности». Многочисленность терминов, употребляемых сегодня для обозначения взаимодействия наук, – это вовсе не игра в слова, терминологические «эксперименты» отражают стремление исследователей обозначить важнейшие качественные отличия в применяемых ими подходах: если под «междисциплинарностью» понималось главным образом заимствование теорий и методов других наук для решения внутродисциплинарных проблем, то «трандисциплинарным» называется подход, при котором сама проблема исследования не может быть сформулирована и решена в границах любой из сотрудничающих дисциплин.

Здесь следует, видимо, напомнить о том, что организационно-дисциплинарная структура наук о человеке складывалась на протяжении XIX – первой половины XX века⁴. До XIX века нынешние «стандартные категории (или “дисциплины”) – история, экономика, социология, антропология, политическая наука – по большей части, не существовали в качестве концептов и, совершенно определенно, не служили базой для строгой дифференциации групп преподавателей и исследователей»⁵. И. Валлерстайн справедливо обратил внимание на то, что особую роль в стимулировании этого процесса дифференциации сыграли так называемые «великие методологические дебаты» в рамках философии истории, среди которых наиболее влиятельной оказалась дискуссия между «универсализаторами» (энтузиастами «научного мето-

⁴ Принципиальными характеристиками новоевропейской науки стали конституирование особой предметной области и требование дисциплинарной строгости. *Advances in the Social Sciences, 1900–1980: What, Who, Where, How*. Lanham, 1986; *Manicas P. T. A History and Philosophy of the Social Sciences*. Oxford; N.Y., 1987; *Society and the Social Sciences* / Ed. by D. Porter et al. L., 1981; *Abbot A. The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor*. Chicago, 1982.

⁵ *Wallerstein, Immanuel. A World-System Perspective on the Social Sciences* [1976] // *British Journal of Sociology*. 2010. Vol. 61. N 1. P. 167.

да») и «партикуляризаторами» («гуманитариями») о номотетических и идиографических формах знания, о возможности или невозможности генерализаций относительно человеческого поведения. Разделение («великий методологический раскол») на социальные и гуманитарные науки было институализировано, хотя споры продолжаются до сих пор. И, несмотря на заметное наличие «диссидентов» в каждой из разделенных дисциплинарных структур, демаркация сфер влияния остается практически незыблемой⁶.

Говоря о междисциплинарности, следовало бы, прежде всего, определиться с тем, что такое «научная дисциплина» и «дисциплинарность». Как обычно определяется научная дисциплина в современных учебниках и учебных пособиях? Это делается, как правило, через выделение и описание специфического объекта и предмета исследования. Иногда самоидентификация новой дисциплины превращается в серьезную проблему, в весьма сложный и противоречивый процесс. Здесь ярким примером могут служить дискуссии об объекте и предмете исторической культурологии, имеющие целью ее «размежевание» с историей культуры. С одной стороны, предлагается дефиниция объекта исторической культурологии как «всей совокупности явлений истории культуры, рассматриваемых с точки зрения их социальной значимости, распространенности, типичности, а также возможности быть аналитически смоделированными». Предмет исследований при этом определяется как историческая динамика и типология культуры. С другой стороны, не менее авторитетные оппоненты утверждают, что «история культуры и историческая культурология имеют один объект исследования – культуру – и тождественные предметы исследования – различные элементы культуры в их историческом разнообразии и динамике»⁷.

⁶ Ibid. P. 167-168.

⁷ Интернет-конференция «Историческая культурология: предмет и метод» (2002 г.). См.: <http://www.auditorium.ru/conf15>.

«Дисциплина» в академическом смысле – это отрасль знания, характеризующаяся специфической совокупностью концепций и подходов. Важные детерминанты каждой научной дисциплины – *ее история/собственное прошлое* и *ее институты/организационная структура*, которая изменяется с течением времени. При этом научные дисциплины имеют тенденцию ранжироваться в рамках некоторой академической иерархии⁸. Спектр дисциплин широк, и специалисты в некоторых из них могут даже не считать свою дисциплину наукой, в то время как в других дисциплинах существует всеобщий консенсус относительно их научной природы.

«Дисциплинарность» подразумевает не только определенное предметное поле, методы научной работы, исследовательские процедуры, систему референции, специфический способ мышления и язык описания, но также и собственную институциональную структуру, и сообщество практикующих ученых, и особые формы дискурса, нормы и правила профессиональной деятельности, и даже типы личности⁹.

⁸ Вернемся в этой связи в отдаленное прошлое – к временам научной революции XVI–XVII вв. – и вспомним подлинно революционный бэконовский проект пересмотра и реформирования системы научных дисциплин. Как известно, Фрэнсис Бэкон придерживался именно системного подхода к представлению научного знания. Логика его замечательного труда «О достоинстве и преумножении наук» предполагает описание системы дисциплин с точки зрения охвата всех областей знания, недостаточность которого должна быть устранена, а пробелы заполнены новыми дисциплинами. Модель дисциплин Бэкон заимствовал из различных свойств человеческого разума: мышление/философия – воображение/поэзия – память/история. См.: Бэкон Ф. Сочинения. В 2 т. М., 1977–1978. Т. 1. М., 1978. С. 81–552.

⁹ См., в частности: *Discourses on Society. The Shaping of the Social Science Discipline* / Ed. by P. Wagner et al. (*Sociology of the Sciences Yearbook*. Vol. 15). Dordrecht, 1991; *Textual Dynamics of the Professions: Historical and Contemporary Studies of Writing in Professional Communities* / Ed. by Ch. Baseman and J. Paradis. L., 1991; *Knowledges. Historical*

Новая дисциплина формируется, отталкиваясь от уже твердо установившихся дисциплин и в противостоянии им; она обретает автономию и легитимность, присваивая некоторую эмпирически определяемую «порцию реальности», утверждая себя «путем исключения других дисциплинарных перспектив» в изучении определенного класса объектов. Через узкие дисциплинарные шоры «социальный мир видится как набор разделенных непроницаемыми перегородками секторов, точно пригнанных к институализированным формам разделения научного труда»¹⁰.

Длительный процесс специализации и возведения «интеллектуальных стен» между дисциплинами привел к невозможности войти в исследовательское пространство другой дисциплины на профессиональном уровне. Между тем, на определенном этапе зрелости научного знания стало все труднее делать новые открытия и прорывы в рамках своей специальности. Уже многие годы открытия в естественных науках делаются в результате «наведения мостов» между разными и зачастую совершенно далекими друг от друга дисциплинами¹¹. В связи с этим современными специалистами по истории науки активно обсуждается вопрос «возможна ли дисциплинарная история», который решается по-разному.

Интересно, однако, то, что в отношении истории исторической науки этот вопрос вообще не ставится: историография

and Critical Studies in Disciplinarity / Ed. by E. Messer-Davidow et al. Charlottesville; L., 1993; History-making. The Intellectual and Social Formation of a Discipline. Stockholm, 1996; McLennan, Gregor. Sociology and Cultural Studies: Rhetorics of Disciplinary Identity // History of the Human Sciences. 1998. Vol. 11. N 3. P. 1-17; etc.

¹⁰ Freymond N., Meier D., Merrone G. [Editorial] Ce qui donne sens à l'interdisciplinarité // A Contrario. Revue interdisciplinaire de sciences sociales. 2003. Vol. 1. N 1. P. 4.

¹¹ Например, дарвиновская теория естественного отбора представляла собой аналогию экономической конкуренции на свободном рынке, описанной Адамом Смитом.

этой древнейшей отрасли знаний, как явствует из содержания многочисленных обобщающих работ и учебных пособий, никогда не ограничивалась «дисциплинарными» рамками, захватывая достаточно обширные территории интеллектуального ландшафта разных эпох. Это тем более относится к истории *истории идей*, которая рассматривается – от античности до современности – как история взаимодействия многих дисциплин, пересекающихся в ее предметном поле.

Междисциплинарная система зависит от содержания каждой из наук о человеке, которые постоянно развиваются, хотя отнюдь не синхронно. Эволюцию каждой отдельной науки описывают параллельные или чередующиеся процессы интеграции и дезинтеграции. Все гуманитарные науки имеют отношение к одному и тому же типу познания и между ними существуют многообразные связи, но разнообразие исследовательских методов порождает и множество нестыковок, из-за которых идеальная междисциплинарность, в виде предполагаемого конечного объединения социально-гуманитарных наук вокруг единой методики и единого предмета, недостижима. Всякая трансляция проблем, методов, концепций изначально порождает проблему адаптации и поэтому неизбежно сопровождается их искажением и трансформацией.

Пьер Бурдьё, выступая против сохранения исторически сложившихся разграничений («схоластических делений») общего познавательного пространства социальных наук¹², блестяще охарактеризовал трудности междисциплинарного диалога: «...Встреча двух дисциплин – это встреча двух личных историй, а, следовательно, двух разных культур; каждая расшифровывает то, что говорит другая, исходя из собственного кода, из собственной культуры»¹³.

¹² См., в частности: *Бурдьё П.* Университетская докса и творчество: против схоластических делений // *Socio-Logos*'96. М., 1996.

¹³ *Бурдьё П.* Интерес социолога [1984] // *Бурдьё П.* Начала. *Choses dites*. М., 1994. С. 156. И он же выдвинул один из важных аргу-

При междисциплинарном сотрудничестве внутренняя связь основополагающих принципов каждой научной дисциплины разрушается и реорганизуется в соответствии с логикой и структурой взаимодействующих смежных дисциплин. Однако уже через какое-то время казавшиеся прочными союзы начинают восприниматься как «мезальянсы», и после распада старых альянсов неизбежно возникают новые. Впрочем, в историографии вполне допустимо не только сохранение и использование старых моделей, но и возрождение «хорошо забытых» интерпретаций, и продолжительное полемическое соперничество старых подходов и концепций с новыми, как, впрочем, и поглощение первых последними.

Во второй половине XIX века, когда только формировались разные общественные науки, уже вполне явственно проявлялось стремление к междисциплинарному взаимодействию, которое, однако, понималось практически однозначно как заимствование «чужих» эмпирических данных и наблюдений. Э. Дюркгейм и французская социологическая школа выступали за единые подходы в социальных науках. Формальный метод, основанный на всеобъемлющем сравнительном анализе, позволял сгруппировать социальные науки вокруг социологии и свести историю, географию, социальную статистику и этнографию к разряду вспомогательных дисциплин, располагающих базой эмпирических фактов, но лишенных способности объяснять их и потому не обладающих подлинной самостоятельностью.

ментов в пользу изучения истории академических дисциплин: «Есть некоторый шанс правильно понять ставки научных игр прошлого, если только сознавать, что прошлое науки является ставкой современной научной борьбы. <...> если вам удастся дискредитировать традицию, которой придерживается ваш интеллектуальный соперник, то курс его акций понижается». *Бурдье П.* За социологию социологов [1976] // *Пространство и время в современной социологической теории* / Отв. ред. Ю. Л. Качанов. М., 2000. С. 5-10.

Позднее основатели «Анналов» Марк Блок и Люсьен Февр, в профессиональном становлении которых отмеченные выше процессы сыграли важную роль, придавали особое значение преодолению перегородок между разными сферами интеллектуального труда и призывали каждого специалиста пользоваться опытом смежных дисциплин. Блок и Февр видели в полидисциплинарном подходе к изучению прошлого один из важнейших элементов всей научной стратегии, и при этом считали, что именно историческая наука должна по праву «завладеть» всеми смежными науками о человеке и превратиться в «сердцевину» общественных наук: «...Постоянно устанавливать новые формы связей между близкими и дальними дисциплинами, сосредоточивать на одном и том же объекте исследования взаимные усилия различных наук – вот наиглавнейшая задача из тех, что стоят перед историей...»¹⁴. Несомненно, их амбициозный проект намного превосходил реальные возможности междисциплинарного диалога, какими они сложились в первой половине XX столетия.

Ко времени Фернана Броделя многие трудности междисциплинарного диалога социальных наук и внедисциплинарного синтеза знаний были осознаны глубже, чем раньше. И хотя в плане институционального строительства и создания условий для объединения научных центров были предприняты масштабные и успешные усилия, завершившиеся созданием общего «дома» для социальных наук (Дом наук о человеке)¹⁵, стало ясно, что даже при наличии поддерживающей инфраструктуры помышлять о сколько-нибудь прямой интеграции социальных наук в историю невозможно. Не случайно Бродель уже в конце 1950-х гг. предпочитал в связи с развитием междисциплинарных подходов говорить не о «колони-

¹⁴ Февр Л. Бой за историю. М., 1991. С. 20.

¹⁵ Подробнее о создании институтов, поддерживающих интеграцию социальных исследований во Франции, см.: Бикбов А. Институты слабой дисциплины // Новое литературное обозрение. 2006. № 77.

зации», а о братском союзе истории с социальными науками, в котором история может претендовать не больше, чем на то, чтобы стать «самостоятельным членом необходимого сообщества всех наук о человеке», которые должны обрести историческое измерение, вне которого «не может быть успеха»¹⁶.

С 1960-х годов наблюдается бурное развитие процессов междисциплинарного взаимодействия. В это время изменяется и само представление об отношениях между смежными дисциплинами. Принципиально новый тип отношений между историей и общественными науками основывался на *взаимном* убеждении в необходимости интегрального, междисциплинарного подхода к изучению общества и формирования новой социально-исторической науки. На страницах периодических изданий и многочисленных научных форумах развернулась дискуссия о методологическом кризисе, переживаемом традиционной историографией и гуманитарным знанием вообще, а также об отношениях истории и социологии.

Своего пика новое движение достигло уже в 1970-е гг., когда были четко сформулированы его основные принципы, направленные на коренную теоретико-методологическую перестройку историографии, избавление ее от традиции индивидуализирующей истории и превращение в общественную науку. Ключевое место в этой программе занимало избавление от доминирования политической истории и радикальное расширение предмета исторической науки за счет сферы общественной жизни. Естественно, что на первый план выдвигалась задача широкой кооперации и интеграции истории и смежных наук, внедрения в историю системных и структурно-аналитических методов исследования, методики и техники количественного анализа. Впрочем, этот процесс был лишь частью более широкого движения в социально-гуманитарном знании. Призывы разрушить традиционные барьеры, преодо-

¹⁶ См., например: Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986. С. 29-30.

леть «зоны отчуждения» высказывали представители всех общественных наук: «После периода дифференциации и поиска автономии все дисциплины ощущают потребность в единстве. На место “академической клептомании”, которая состоит в том, что у других наук заимствуются их наблюдения, пришло требование “междисциплинарного подхода”, соединяющего все добродетели»¹⁷. Основатели международного «Журнала интердисциплинарной истории», открывая его первый номер и подчеркивая значение того позитивного импульса, который был задан исторической науке в результате заимствования методов и понятий смежных дисциплин, отнюдь не случайно сравнили этот процесс с *перекрестным опылением*¹⁸. Как заметил Антуан Про, «История постоянно заимствует у соседних дисциплин: она занята тем, что высиживает яйца, которые не несла. <...> создается впечатление, что история не имеет собственных понятий, а скорее присваивает себе понятия других общественных наук. И, действительно, погребление ею импортированных понятий огромно. Эти многочисленные заимствования стали возможными благодаря собственно историческому использованию детерминаций. Переходя из своей родной дисциплины в историю, понятия претерпевают кардинальные изменения: они становятся более гибкими, теряют свою строгость и перестают употребляться в своем абсолютном значении, немедленно получая спецификацию»¹⁹.

¹⁷ *Пошто Р., Гравитц М.* Методы социальных наук. М., 1972. С. 193.

¹⁸ Редакция констатировала существенное обогащение концептуально-методологического аппарата и, соответственно, углубление понимания процессов прошлого. Это выразилось в том, что «историки начали ставить вопросы, которые прежде ими никогда не задавались, и предпринимать исследования, которые некогда представлялись невозможными». *Journal of the Interdisciplinary History*. 1970. Vol. 1, N 1. P. 3.

¹⁹ И далее следует очень важное и глубокое замечание: «Таким образом, заимствование сразу же влечет за собой искажение первоначального значения, за которым неизбежно следуют и другие. <...> заим-

Вторая половина XX века была отмечена сложными процессами специализации, внутренней дифференциации, кооперации и реинтеграции различных научных дисциплин и субдисциплин, что создавало серьезные напряженности в академической среде²⁰. Интенсивное развитие междисциплинарных связей истории, в особенности с такими науками, как социология, экономика, психология, лингвистика, многими представителями укорененных в традиции школ воспринималось с опасением и вызывало активное противостояние.

Познавательный идеал того времени воплощался в социологии, а создание принципиально новой исторической науки (она называлась по-разному – социальная, социально-теоретическая, социологическая, социально-структурная) виделось на путях междисциплинарного синтеза, который требовал изменения исследовательской программы в соответствии с методами и процедурами общественных наук и адекватной общим канонам социального анализа формы изложения ре-

ствование понятий и их детерминированнос, помещенное в контекст использование позволяют истории отнести на свой счет все вопросы, поставленные другими дисциплинами, подвергая их диахронному исследованию, которое есть ее единственная специфика, ее единственное собственное измерение». *Про, Антуан. Двенадцать уроков по истории.* М., 2000. С. 140-141.

²⁰ О разного рода вызовах и проблемах, с которыми сталкиваются ученые, ориентированные на проведение междисциплинарных исследований, см.: *Vickers, Jill. Diversity, Globalization, and "Growing Up Digital": Navigating Interdisciplinary in the Twenty-First Century // History of Intellectual Culture.* 2003. Vol. 3. N 1. С. 73-101. См. также: *Interdisciplinarity and Higher Education / Ed. by J. Kocklemans.* University Park (PA), 1979; *Problems in Interdisciplinary Studies / Ed. by R. Jurkovich and J. H. P. Paolinck.* Brookfield (VT), 1984; *Klein, Julie Thompson. Interdisciplinarity: History, Theory and Practice.* Detroit, 1990; *Eadem. Crossing Boundaries: Knowledge, Disciplinarity and Interdisciplinarity.* Charlottesville (VA), 1996; *Outside the Lines: Issues and Problems in Interdisciplinary Research / Ed. by L. Salter and A. Hearn.* Montreal, 1996.

зультатов исследования. Именно в эти годы возрождается интерес к исторической и сравнительной социологии, а также к творческому наследию Макса Вебера, который успешно сочетал конкретно-исторический, сравнительно-типологический и идеально-типический методы рассмотрения общественных процессов (т.е. исторический и социологический подходы) и рассматривал историю и социологию как два направления научного интереса, а не как две разные дисциплины. Поворот историографии к теории ограничился в тот момент обращением к позитивистской социологии, которая сама находилась в состоянии кризиса, а потому вполне логичной была позиция тех историков, которые призывали социологов к сотрудничеству без притязаний в области общей теории²¹.

В целом, обнаружилось, с одной стороны, стремление социологов к освоению исторического материала (“историзации социологии”), а с другой – поворот части “новой историографии” к теоретической истории и к социальной истории как истории общественных систем, к поискам общей модели, которая позволила бы связать отдельные исследования, сравнить и обобщить их, утвердить историю в положении общественной науки. Одновременно участниками обсуждения наряду с позитивными были подмечены и негативные черты имевшего места процесса сближения истории и социологии: его односторонняя направленность и некритический харак-

²¹ *Stedman Jones G.* From historical sociology to theoretic history // *British Journal of Sociology.* 1976. V. 27. No. 3. P. 295-305. Поверхностный характер обращения историографии 1960-70-х годов к другим общественным наукам в поисках новых концепций критиковал и Эрик Хобсбоум, который в своей знаменитой статье «От социальной истории к истории общества» высказал серьезные опасения по поводу «превращения социальной истории в проекцию социологии» – в то время, как последняя «не имеет дела с долговременными преобразованиями и ее теоретические конструкции строятся без учета исторических изменений». – *Hobsbawm E. J.* From Social history to the history of society // *Daedalus.* 1971. V. 100. No. 1. P. 27.

тер. Сложность междисциплинарных коммуникаций, обусловленная несовпадением концептуальных основ, усугублялась заметными расхождениями в позициях самих историков.

Главный итог продолжительной дискуссии был вполне ясен: влияние социологии на историю свелось лишь к заимствованию терминологии, приемов и методик, то есть к обогащению исследовательской техники, в то время как обе науки – и социология, и историография – нуждались в коренном пересмотре своих теоретико-методологических основ. В результате, однако, стало неоспоримой реальностью определенное взаимопроникновение истории и социологии, что привело значительное число историков к отказу от традиционного эмпиризма и признанию необходимости социологизации истории. Постепенно тезис о взаимосвязи и взаимном притяжении исторической социологии и социальной истории стал общим местом в западной научной литературе, но вопрос о характере их связи и о платформе, на которой происходило их сближение, оставался дискуссионным.

Исследователи условно выделили два распространенных пути применения социологического инструментария для анализа общественных явлений прошлого. Первый заключался в переосмыслении исторического материала, собранного и описанного на языке исторической науки, в социологических понятиях и концепциях. Второй подход состоял в применении социологического инструментария при сборе эмпирического материала, его обработке и интерпретации, то есть в собственно социологическом исследовании исторического объекта, в результате чего историография все более обрастала частными историями гибридного характера, аналогичными подразделениям конкретной социологии: история семьи, история детства, история преступности и т.д.²²

²² *Миropов Б. Н.* Историк и социология. Л., 1984. С. 163-164; *Abbott A.* History and sociology: the lost synthesis // *Social Science History*. 1991. V. 15. No. 2. P. 201-238.

В 1970-е – начале 1980-х годов бурный рост новой социальной истории и ее субдисциплин, как и всей “новой исторической науки”, происходил на достаточно эклектичной методологической основе, но в это время значительно расширилось само понятие социальной истории: наряду с классами, сословиями и иными большими группами людей она сделала предметом своего изучения социальные микроструктуры: семью, общину, приход, разного рода другие общности и корпорации, которые были столь распространены в доиндустриальную эпоху. Прямолинейно-классовому подходу была противопоставлена более сложная картина социальных структур, промежуточных слоев и страт, позволяющая тоньше нюансировать характер социальных противоречий, политики государства, роли религии и церкви, различных форм идеологии. Позитивным моментом явился и постепенный отход от “классического” факторного анализа (как в монистическом, так и в плюралистическом его вариантах). И это не случайно, поскольку принципиальной исходной установкой ведущих направлений историографии стал взгляд на общество как на целостный организм, в котором все элементы взаимодействуют в сложной системе прямых и обратных связей, исключаяющей возможность редукции и нахождения какого-либо одного, пусть даже относительно независимого, фактора, способного определять все историческое развитие.

Серьезные трудности были связаны с тем, что увлечение междисциплинарными *методами* и их активное заимствование не сопровождалось необходимой и глубокой проработкой важнейших и становящихся все более актуальными эпистемологических проблем. Однако большинство историков, придерживаясь, как правило, привычной «стратегии присвоения»²³, редко задумывались о том, в какой мере методы

²³ Подробно об этом см.: Савельева И. М., Полетаев А. В. «Там, за поворотом...» О модусе сосуществования истории с другими социальными и гуманитарными науками // Новый образ исторической нау-

дисциплин, предмет которых обычно рассматривается в одном временном измерении – текущего настоящего, адекватны познавательной специфике истории как научном знании о прошлом. Обнаружить источники движения и изменения *внутри* предмета исследования с помощью структурно-ориентированных подходов было невозможно.

Существовали и заметные расхождения в понимании способов междисциплинарного взаимодействия его сторонниками. Можно условно выделить два пути применения инструментария общественных наук для анализа явлений прошлого. Первый заключался в переосмыслении исторического материала, собранного и описанного на языке традиционной историографии, в понятиях и концепциях социальных наук. Второй – в применении заимствованного инструментария, главным образом социологического (не зря эту междисциплинарную ситуацию связывают с «социологическим поворотом» в историографии), уже при сборе, его обработке и интерпретации эмпирического материала – иными словами, речь шла о социологическом исследовании исторического объекта изучения.

«Новая историческая наука» – это уже в полном смысле слова *история междисциплинарная*, причем новизна междисциплинарной ситуации состояла в том, что в центре внимания оказались не только методики, но и объекты научных интересов других дисциплин (именно сам объект исследования стал конструироваться как полидисциплинарный), что привело к переменам революционного масштаба в предметной области истории. Когда «новая историческая наука» вторглась в самые разные области социально-исторического бытия человека, это потребовало применения методов, используемых не только в общественных, но и в других науках; среди них на первом месте оказались количественные мето-

ды, которые, в сочетании с использованием компьютеров, открыли возможность массовой обработки разного рода знаковых систем. Широкое использование «новой исторической наукой» методов социологии, социальной и структурной лингвистики, индивидуальной и социальной психологии, антропологии, географии, демографии и других наук обернулось радикальными изменениями в классификации историографических субдисциплин. Наряду с такими традиционными направлениями, как политическая и конституционная история, экономическая история и история права, история искусства и культуры, сформировались такие новые направления, как историческая демография, историческая география, историческая экология, этноистория, история ментальностей и другие.

В 1970-е – начале 1980-х годов развивалась ожесточенная полемика между наиболее активными сторонниками и теоретиками социально-структурной истории, с одной стороны, и исторической антропологии, с другой. Сторонники и теоретики последней обвиняли представителей социально-структурной истории в игнорировании гуманистической стороны истории и призывали отвернуться от надличностных (или «безличных») структур и процессов и повернуться лицом к человеку, прежде всего к «обычному», «простому» человеку. Так в социально-исторических исследованиях сложилась ситуация отнюдь не мирного сосуществования двух парадигм: социально-структурной истории и антропологически ориентированной социально-культурной истории.

В начале 1980-х годов силовые линии междисциплинарного взаимодействия главным образом сосредоточиваются в пространстве исторической антропологии, происходит решающий сдвиг от социально-структурной к социокультурной истории, связанный с распространением методов культурной антропологии, социальной психологии, лингвистики (прежде всего в истории ментальностей и народной культуры). Историческая антропология, поставив перед собой задачу

синтеза всей исторической действительности в фокусе человеческого сознания (в «субъективной реальности»), в свою очередь, выступила с претензией на «последнюю истину» и безраздельное господство в новейшей историографии.

«Человек в обществе» – вот тот интегральный объект, изучение которого, по замыслу сторонников антропологического подхода, должно было обеспечить конвергенцию разных общественных наук. История стала рассматриваться как наука о человеке, изменяющемся в социально-темпоральном пространстве прошлого и своими действиями непрерывно изменяющем это пространство.

Преимущество интердисциплинарной истории в образе исторической антропологии заключалось в попытке синтезировать исследовательские результаты социальных наук о прошлом в фокусе человеческого сознания, которое, будучи структурирована исторической средой и взаимодействуя с ней, соединяет в себе картины двух реальностей – объективной реальности природы и общества и так называемой субъективной реальности, складывающейся из совокупности социокультурных представлений. Возможности исторической антропологии оценивались в этом плане очень высоко, несмотря на, казалось бы, очевидные сущностные различия когнитивного плана, связанные с проблемами, вытекающими из взаимодействия антропологов и психологов, в отличие от историков, с живыми собеседниками²⁴.

В ходе дискуссии о взаимоотношении истории и антропологии в журнале «Исторические методы», когда отмеча-

²⁴ См. обоснованные критические предостережения Джованни Леви и его замечания о различиях между непосредственной коммуникацией «в речевой ситуации» и чтением текста в его рецензии на книгу Роберта Дарнтона «Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры» (*Darnton R. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History*. N.Y., 1984); *Леви Дж. Опасности гирцизма* [1985] // Новое литературное обозрение. 2004. № 70.

лась необходимость преодолеть негативно сказавшиеся на обеих дисциплинах последствия раскола между социальной и культурной антропологией, американский историк Даррет Ратман дал яркую (и удивительно точную) метафору двойственности истории как науки в образе двуликой Клио, которая с одной стороны предстает как сестра милосердия Флоренс Найтингейл, а с другой – как бесстрастный естествоиспытатель Мария Кюри. Ратман подчеркивал, что в отношениях с социальной и культурной антропологией могут быть реализованы обе стороны Клио, что позволит истории превратиться в гуманитарно-социальную историческую науку, в которой сестра Найтингейл получит шанс открыть радий²⁵.

Речь шла не о стремлении объединить науки о человеке вокруг априорно избранной методологии, а о том, чтобы практически создать междисциплинарную ситуацию, предлагая различным дисциплинам общее и притом ограниченное поле исследования²⁶. Между тем, появление на разных этапах множества новых «гибридных» субдисциплин, различающихся по своей методологической ориентации в гетерогенном комплексе социальных наук, привело к значительному усложнению структуры знания о прошлом. К тому же «дисциплинарзация» новых предметных областей способствовала не приближению, а напротив, отдалению желанной перспективы.

Парадокс заключался в том, что вместо решения центральной познавательной проблемы интердисциплинарной истории – нового исторического синтеза, сложившаяся ситуация свидетельствовала как раз об обратном – о быстро нара-

²⁵ *Rutman D. B. History and Anthropology: Clio's Dalliances // Historical Methods. 1986. V.19. N 3. P.121.*

²⁶ Подробно об этом см.: *Летти Б. Некоторые общие вопросы междисциплинарного подхода // Споры о главном. Дискуссии о настоящем и о будущем исторической науки вокруг французской школы "Анналов". М., 1993. С. 71–77. Ср. также: Барг М. А. "Анналы" и междисциплинарные методы исторического познания // Там же. С. 65–70.*

тающей фрагментации исторической науки. И не удивительно, что в своих осторожных прогнозах на 1980-е годы американский историк Теодор Рабб высказал опасение, что история может постепенно раздробиться на отдельные субдисциплины, соответствующие различным аспектам изучения человеческого мира, точно так же, как это произошло с расщеплением физического мира в науках о природе²⁷. Дальнейшее движение по этому пути оказалось тесно связано с поворотом к микроистории в последней четверти XX века.

Следуя метафоре «исследовательских полей», можно представить любой комплекс наук (в том числе и исторических) как обширное исследовательское пространство, состоящее из достаточно крупных территорий, разделенных на отдельные, возделываемые по специальным технологиям поля, которые, в свою очередь, разбиты на более мелкие участки и просто узкие «приграничные» полосы²⁸. Однако множество «сиамских близнецов», вызванных к жизни сложными и неизменно противоречивыми процессами внутренней дифференциации и междисциплинарного сотрудничества, многократными слияниями и новыми демаркациями субдисциплин и смежных наук, уже давно и щедро «перекопало» это некогда упорядоченное пространство плотной сетью коммуникаций, сделав все предполагаемые разграничения весьма условными.

Процесс междисциплинарного взаимодействия на уровне социально-гуманитарного знания охватывал все более обширные исследовательские поля, формируя в этом интеллектуальном пространстве новые предметные области, по самой своей сути *над-дисциплинарные*: например, такие как *peasant*

²⁷ *Rabb T.* New History: The 1980 and Beyond. Studies in Interdisciplinary History. Princeton, 1982. P. 326.

²⁸ Подробнее см.: *Oden B.* Disciplines and Fields of Research Within Historical Scholarship // Societies Made Up of History. Essays in Historiography, Intellectual History, Professionalism, Historical Social Theory and Proto-Industrialisation / Ed. by R. Björk, K. Molin. Edsbruk, 1996.

studies, women's studies, cultural studies, gender studies и др. Рост числа новых субдисциплин, бурное развитие их предметных полей, непрерывные изменения внутри них и в общем пространстве социально-гуманитарных наук привели к тому, что стало очень трудно провести их понятное и последовательное разграничение. На международном уровне реально возник и даже был институционально зафиксирован (но не в нашей стране) новый ландшафт науки, а с ним и новая классификация учебных дисциплин. Впоследствии появление новых крупномасштабных категорий, таких как, например, *культурная история* (или *новая культурная история*), еще более усложняет, а по большому счету делает просто невозможной, точную демаркацию виртуальных границ между разными областями исторического знания.

В истории науки проявляется закономерность: периоды, характеризующиеся главным образом накоплением (в рамках определенной парадигмы) фактического материала, неизбежно сменяются периодами, когда на первый план выдвигается задача его научного осмысления и обобщения. Значение таких преимущественно рефлектирующих моментов в развитии каждой науки поистине трудно переоценить. Это время активного самопознания, переопределения предмета, смены целей и методов, категориально-понятийного аппарата.

Вполне объяснимо, что именно тогда, когда наука становится способной взглянуть на себя со стороны, происходит перепроверка, оттачивание и обогащение ее познавательных средств, создаются предпосылки для перехода на качественно новую ступень освоения изучаемой ею действительности. Но современные науки развиваются не изолированно, а в существующей системе наук. Все это означает, что действительно крупные познавательные сдвиги в одном из звеньев наличной системы не могут пройти бесследно для всех остальных ее звеньев. Их взаимодействие приводит к введению новых объектов, обеспечивает условия для получения новых знаний, совершенствует методики, приемы и модели объяснения.

На рубеже 1980–1990-х годов историческая наука вступила в новый этап своего развития: период бурного количественного роста конкретных междисциплинарных исследований, беспрецедентного расширения предмета истории логично сменился периодом, в который самой насущной задачей стала реконструкция ее нового целостного образа. Свой отрезок пути к ее решению проходят в это время сторонники синтезирующей истории – представители различных исторических дисциплин. Центрами притяжения в этой своеобразной перегруппировке сил стали области исторической науки, обладавшие сильным интегративным потенциалом: социальная история, новая локальная история и некоторые другие. Так, например, в рамках весьма широко заявленной новой демографической истории оказались полностью или частично охвачены предметные поля целого ряда субдисциплин: таких как собственно историческая демография, история семьи, история женщин и т.д.

Одновременно новая интеллектуальная ситуация в социально-гуманитарной сфере потребовала переоценки междисциплинарного проекта «Анналов» в свете «нынешнего расположения звезд на научном небосклоне». В известных редакционных статьях 1988–1989 гг. речь зашла о решительном переопределении целей и средств междисциплинарности, о пересмотре сложившейся системы междисциплинарного обмена, о поиске «новых союзников» и «новых оснований, на которых должны базироваться ремесло историка и диалог с социальными науками» при условии сохранения каждой дисциплиной ее идентичности: «Вряд ли здесь стоит возвращаться к традиционным связям исторической науки, когда она, поочередно или одновременно, получала новый импульс от географии, социологии или антропологии. Мы хотим иных свидетельств, иных исследований, идущих с периферии. На границах нашей дисциплины есть провинции, входящие в сферу интересов истории, которая, что любопытно, так и не сумела подчинить их своему владычеству: это история искус-

ства, история науки, история некоторых наиболее удаленных от нас культурных ареалов. Вместе с тем все чаще предпринимаются попытки освоить новые фронты исследования – от ретроспективной эконометрии до литературной критики, от социолингвистики до политической философии, и многие другие, – о плодотворности которых говорить пока рано. Как писать историю на стыке этих дисциплин? Как здесь осуществляются – или не осуществляются – междисциплинарные связи: каковы формы перекрестных вопросов, какими пределами они ограничены и какие результаты преследуют?»²⁹.

Настал момент неотложного пересмотра самой концепции интердисциплинарности с учетом новой ситуации в сфере социально-гуманитарного знания: «Междисциплинарность – это один из способов взаимодействия различных специализированных научных практик. Подобные связи, их природа, функции, продуктивность зависят как от сложившегося на данный момент соотношения между дисциплинами, так и от их собственной эволюции. С начала века это соотношение изменилось... никогда еще, быть может, ограничения, накладываемые специализацией, не были так мало ощутимы. Сейчас не только повсюду получили распространение элементы единой общей культуры, но и исследовательские практики все чаще требуют компетентности в таких областях, которые отнюдь не укладываются в рамки установленных границ. Историки сегодня охотнее работают на стыке разных дисциплин, стараясь сделать реальность, выступающую предметом анализа, сложнее и богаче. Для такой цели все средства хороши, и, по-видимому, отныне проблему дисциплинарных границ можно считать закрытой»³⁰.

²⁹ История и социальные науки: поворотный момент [1988] // «Апшаль» на рубеже веков. Антология / Отв. ред. А. Я. Гуревич. М., 2002. С. 13.

³⁰ Попробуем поставить опыт [1989] // «Анналы» на рубеже веков... С. 21.

Тем не менее, именно в это время наиболее остро и вполне обоснованно был поставлен вопрос об угрозах дисциплинарной идентичности, той самой суверенной территории истории: «Что ж, историку ничего не остается, как только сделать свою территорию открытой для экуменической практики любых гуманитарных пауз, предварительно научив всех приемам извлечения и обработки древних источников? Тогда возникает опасность, что во владениях истории останутся одни антропологи, экономисты и социологи прошлого. Опасность – ибо... передача новых идей предполагает разницу потенциалов. Сегодня, когда некоторые сомневаются в способности социальных наук объяснять мир, нужно, как это ни покажется парадоксальным, поднять голос за сохранение каждой отдельной дисциплиной ее идентичности»³¹.

Впрочем, слухи о «конце идентичности» представляются слегка преувеличенными³². В современную эпоху, когда утверждение о неприкосновенности дисциплинарных границ, создающих серьезные препятствия для научного познания мира, стало выглядеть, по меньшей мере, старомодным, потребность в самоопределении вновь актуализировала и создала необходимость переформулировать проблему размежевания: «По нашему мнению, связь между отдельными дисциплинами, вопреки очевидности, не стоит понимать как их гомологичность или конвергенцию: сегодня полезно подчеркнуть специфику каждой дисциплины, и даже их несводимость друг к другу... Междисциплинарность, позволяя взглянуть на вещи с разных точек зрения, устанавливает критическую дистанцию по отношению к каждому из способов представления реальности и, быть может, дает нам возможность не оказаться в плену ни у одного из них. Она должна помочь нам мыслить иначе»³³.

³¹ Там же. С. 16.

³² См.: Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами идентичности // *Ab Imregio*. 2002. № 3. С. 61–115.

³³ Попробуем поставить опыт [1989] // «Анналы» на рубеже веков... С. 22.

Новый этап междисциплинарного сотрудничества был отмечен сменой исследовательской стратегии с макроаналитической на микроаналитическую перспективу, на анализ конкретных жизненных ситуаций и повседневного опыта. Еще более радикальные изменения происходят в результате «семиотического вызова», «лингвистического поворота» и складывания так называемой постмодернистской ситуации в историографии. И в этой связи особенно значимой стала роль общего теоретического подхода к исследованию, способного преодолеть «академическую фрагментацию».

На рубеже веков вновь стала активно обсуждаться проблема взаимоотношений социальной истории с социальными теориями и общественными науками, причем в связи с более общими дискуссиями о пользе теории для историографической практики³⁴. В настоящее время становится все явственнее осущитим перенос значения с «заповедных территорий» академических дисциплин на постановку и решение проблем, формулируемых, по существу, как трансдисциплинарные: это проблемы, которые в принципе не могут быть поставлены в конституированных дисциплинарных границах. Фиксированные дисциплинарные границы вообще теряют свою прежнюю актуальность в сложившейся к началу нынешнего столетия познавательной ситуации, чего пока не скажешь о ситуации социальной – и в науке, и в образовании, где «окаменевшие» квалификационные рубрики перекрывают это движение многих ранее оформившихся субдисциплин к сближению и кооперации бюрократическими «шлагбаумами».

В целом, сравнительный анализ ситуаций, сложившихся в конце 1960-х – начале 1970-х гг., во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг., в конце 1980-х – начале 1990-х гг.

³⁴ См. некоторое обобщение этих дискуссий (с акцентом на значение междисциплинарных исследований для более глубокого понимания процесса исторических изменений) в книге: *MacRaid D. M., Taylor A. Social Theory and Social History*. Basingstoke, 2004.

и на рубеже тысячелетий фиксирует расхождения и изменения в самом понимании междисциплинарности, в отношениях между отдельными дисциплинами, в конфигурациях исследовательских полей и в «расстановке сил» в мире наук о человеке и обществе, причем особенности междисциплинарных подходов второй половины XX – начала XXI в. подтверждают тесную связь их изменений с изменениями в понимании предмета истории и в исторической эпистемологии.

Встает вопрос: какова сегодняшняя роль и перспективы интердисциплинарной истории в этом комплексе? И не менее важно: каковы возможные последствия складывания новой концепции «полидисциплинарности» для образовательной системы и обратное воздействие ее перестройки на последующее развитие исторических наук?

Интересно, что в отличие от представителей других дисциплин, историки далеко не сразу обратили внимание на те следствия для самой проблемы междисциплинарности, которые вытекали из теории «эпистем» Мишеля Фуко. Напомним некоторые ее положения, которые являются ключевыми в отношении понимания междисциплинарности.

Согласно этой теории, науки о человеке включают три эпистемологические области. Эти области, с их внутренними членениями и взаимными пересечениями, определяются трехсторонним отношением гуманитарных наук вообще к биологии, экономике, филологии. Это область «психологическая», «где живое существо открывает себя к самой возможности формирования представлений», область «социологическая», «где производящий и потребляющий индивид составляет представление об обществе, в котором совершается эта деятельность...», и «область исследования литератур и мифов», «словесных следов, оставляемых после себя культурой или отдельным индивидом». Роль «категорий» в гуманитарных науках, играют три модели, перенесенные из биологии, экономики, филологии. «В биологической проекции человек выявля-

ется как существо, имеющее *функции* – определенные условия существования и возможность определить средние *нормы* приспособления, позволяющие ему функционировать. В экономической проекции человек выявляется как нечто, имеющее интересы и проявляющее себя в предельной ситуации *конфликта* с другими людьми, либо устанавливающее совокупность *правил*, которые являются одновременно и ограничением и преодолением конфликта. Наконец, в языковой проекции человеческое поведение проявляется в своей нацеленности на высказывание чего-либо, получает *смысл*, а все то, что его окружает, вся сетка следов, которую он оставляет за собою, складывается в *систему* знаков. Таким образом, эти три пары – *функция и норма, конфликт и правило, значение и система* – целиком и полностью покрывают всю область познания человека... Все эти понятия находят отклик в общем пространстве гуманитарных наук, они значимы для каждой из его областей; ...все гуманитарные науки взаимопересекаются и всегда могут взаимоинтерпретироваться, так что их границы стираются, число смежных и промежуточных дисциплин бесконечно увеличивается, и, в конце концов, растворен оказывается их собственный объект...»³⁵.

Место истории, в определении Фуко, «не среди гуманитарных наук и даже не рядом с ними (курсив здесь и далее мой. – Л. Р.)». Она вступает с ними в «необычные, неопределенные, неизбежные отношения, более глубокие, нежели отношения соседства в некоем общем пространстве... Поскольку исторический человек – это человек, который живет, трудится и говорит, постольку всякое содержание истории отправляется от психологии, социологии, наук о языке. И наоборот, постольку человеческое существо становится насквозь историческим, никакое анализируемое гуманитарными науками содержание не может оставаться замкнутым в себе, избегая

³⁵ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 376–377.

движение Истории... Таким образом, *История образует "среду" гуманитарных наук*³⁶.

В связи с формированием постмодернистской парадигмы и изменениями в общей эпистемологической стратегии гуманитарных наук произошел переворот в профессиональном сознании и самосознании историков: постмодернистский вызов заставил пересмотреть традиционно сложившиеся представления о собственной профессии, о месте истории в системе гуманитарного знания, о ее внутренней структуре и статусе ее субдисциплин, о собственных исследовательских задачах. И не в последнюю очередь – о приемлемом модусе сосуществования истории в радикально обновленном и заметно уплотнившемся интердисциплинарном пространстве. Вот почему многие историки встретили «наступление постмодернистов» буквально в штыки: психологический аспект переживания смены парадигм несомненно сыграл в этом решающую роль. Именно угроза социальному престижу исторического образования, статусу истории как науки обусловила остроту реакции. Поколение историков, которое завоевало ведущее положение в профессиональном сообществе в середине XX века, тяжело переживало крушение привычного мира, устоявшихся корпоративных норм. Более конструктивно настроенные сторонники умеренной, «средней» позиции, также выступили против тенденции отказать истории в ее принадлежности к научным видам знания. Они видели научность исторического знания в связанности суждений историка теми следами, которые он находит в источниках. С этой точки зрения, неоднозначность интерпретации не означает произвола, речь идет только об относительности и ограниченности исторического знания, об отказе от абсолютизированной концепции объективной истины. При этом субъективность историка в его суждениях о прошлом подчинена нормам исторического ремесла и ограничена контролем со стороны научного сообщества.

³⁶ Там же. С. 385–389.

Но центральным моментом, безусловно, является необходимость определения специфичности, а значит – переопределения предмета исторической науки. Каков же собственный предмет, отличающий ее от всех прочих социально-гуманитарных наук, а также в чем суть новейшей междисциплинарности? И в этом вопросе позиции расходятся.

Бернар Лепти рассматривал междисциплинарность как частный случай культурного заимствования и отмечал, что «принятие инновации зависит от ситуации в науке, воспринимающей новые импульсы», а сама междисциплинарная практика всегда базируется на частичном непонимании, которое обладает творческой потенцией. «С позиции историка-практика», Б. Лепти так сформулировал три главных принципа междисциплинарности: 1) введение новых объектов (никакой объект исследования не самоочевиден, лишь взгляд исследователя определяет его контуры); 2) обеспечение условий, необходимых для появления новых знаний и лучшего понимания реальности, для преодоления груза накопленных традиций (и практика междисциплинарности – трамплин для этого непрерывного обновления); 3) совершенствование методики, приемов и моделей, системы объяснения. Вклад истории в междисциплинарный диалог Б. Лепти видел в исследовании механизмов времени и процессов изменения, а также несоответствий между формальными структурами общества и его реальным функционированием. В междисциплинарном диалоге, подчеркивал он, «историк мог бы взять на себя задачу детально проанализировать, каким образом эволюция человеческого общества одновременно и содержится в его прошлом, и является непредсказуемой»³⁷.

По мнению Мориса Эмара, «история – это не все, но все является историей, или, по крайней мере, может ею стать, лишь бы были определены объекты анализа, поставлены во-

³⁷ См.: *Лепти Б.* Некоторые общие вопросы междисциплинарного подхода. С. 71–77.

просы и идентифицированы источники, которые позволят угадать начало ответа <...> история должна быть открыта для всех направлений мысли и гипотез, выдвигаемых другими дисциплинами, которые также изучают сферу социального. <...> Если “кризис истории” и существует, то речь идет о сложном явлении, в котором соединены ряд элементов. Это и кризис роста дисциплины, которая значительно расширила сферу анализа и переживает трудности в определении методов и масштабов их применения, в разработке рабочих гипотез. Это и кризис истории как самостоятельной, самобытной области исследования, вызванный интенсификацией отношений с другими дисциплинами, в особенности с социальными науками. Мы в значительной мере позаимствовали у последних их проблематику, терминологию, концепции, представлявшиеся более строгими в научном плане. Но мы так и не пошли до логического конца и не поставили вопрос кардинальным образом: необходимо ли сохранять уходящие своими корнями в XIX век границы между различными дисциплинами или, наоборот, настала пора создать единую социальную науку (как это предлагает И. Валлерстайн)? Или может быть, речь следует вести о некоей “интернауке”, которая объединяет общественные или иные дисциплины (курсив мой. – Л. Р.), например, в “науку о жизни и природе”? <...> Отныне история пишется на основе множественности взглядов и оценок. Очень часто предметом ее интереса становятся междисциплинарные сюжеты <...> Ясно также, что, несмотря на дробление сил и новую волну эпистемологических изысканий, большинство историков по существу ощущают свою принадлежность к дисциплинарной общности³⁸. Итак, согласно Эмару, профессионально-корпоративная идентичность остается незыблемой.

³⁸ Эмар М. Образование и научная работа в профессии историка: современные подходы // Исторические записки. Теоретические и методологические проблемы исторических исследований. Вып. 1 (119). М., 1995. С. 7–22. (С. 9).

Между тем, проблема складывания новых междисциплинарных, по своему происхождению, сообществ начинает занимать достойное место в современных историко-научных исследованиях, которые поднимают такие вопросы как: междисциплинарность и департаментализация, ущербность и преимущества маргинальных сообществ, условия дисциплинарного строительства, роль международных влияний и внешнего финансирования (гранты, фонды) и др.

Вызывает интерес и проблема соотношения между исследовательскими полями и дисциплинами, стоящая в центре внимания мировой научной общественности. Проблематика интердисциплинарности, волнующая специалистов всего комплекса наук, стала базовой для новых периодических изданий, предлагающих проекты внедисциплинарного синтеза разного уровня. Именно таким образом она была решительно заявлена, например, редакциями электронного журнала гуманитарных наук "*Tracés. Revue de sciences humaines*"³⁹, междисциплинарных журналов социальных наук "*A Contrario. Revue interdisciplinaire de sciences sociales*"⁴⁰, "*Critical Discourse Studies*"⁴¹, "*The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences*"⁴².

Кредо первого из этих изданий, журнала "*Tracés. Revue de sciences humaines*", гласит: «Мы убеждены в том, что со-

³⁹ Издаётся с 2002 г. (два раза в год). Главный редактор - Оливье Фарон, профессор истории Университета Париж – IV (Сорбонна).

⁴⁰ Журнал издаётся в Лозанне с 2002 г., выходит два раза в год.

⁴¹ "*Critical Discourse Studies*" издаётся с 2004 г. В настоящее время выходит четыре выпуска в год.

⁴² «Международный журнал интердисциплинарных социальных наук» издаётся в США, соредакторы Мэри Калантзис и Билл Коуп. "*The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences*" ставит своей целью «исследовать природу дисциплинарных и интердисциплинарных практик», а также взаимосвязи между общественными и другими науками. На страницах журнала представлены разнообразные интердисциплинарные, трансдисциплинарные или мультидисциплинарные работы на перекрестках социальных, естественных и прикладных наук.

поставление и взаимопроверка сведений, полученных разными дисциплинами, не только возможны, но и плодотворны. В каждом выпуске мы будем стараться постичь смысл ученых споров, буквально пронизывающих социальные науки, философию, историю или теорию литературы»⁴³.

Международный журнал "*Critical Discourse Studies*" не ограничивается лингвистическими исследованиями, он публикует статьи, в которых подвергаются анализу взаимоотношения между дискурсом и социальными процессами, социальными структурами, социальными изменениями. Редакция и международный редакционный совет обрисовывают круг своих интересов множеством дисциплин, включая антропологию, лингвистику, социологию, политические науки, психологию, географию, урбанистику, философию, культурные, литературные, гендерные и медийные исследования⁴⁴.

В программной редакционной статье красноречиво озаглавленной «Что придает смысл интердисциплинарности», соредакторы журнала "*A Contrario*", в принципе признавая «парцеллизацию знания» неизбежным и важным этапом развития науки, не видят сегодня никакого смысла в консервации дисциплинарных границ и ратуют за избавление науки «и от социальных, и от ментальных барьеров между дисциплинами, однако они резонно озабочены тем, чтобы обеспечить эпистемологическую когерентность, непротиворечивую интеграцию трансдисциплинарных заимствований»⁴⁵.

Для того чтобы стимулировать развитие новых интегрированных исследовательских полей, нужна скорее динамическая, нежели статическая концепция системы научного

⁴³ Tracés. Revue de sciences humaines. 2002. № 1. См.: Web portal Revues.org. (URL: <http://traces.revues.org/index100.html>).

⁴⁴ См.: *Critical Discourse Studies*. 2004. Vol. 1. N 1.

⁴⁵ *Freymond N., Meier D., Merrone G.* [Editorial] Ce qui donne sens à l'interdisciplinarité // *A Contrario*. Revue interdisciplinaire de sciences sociales. 2003. Vol. 1. N 1. P. 6-8.

знания, а в образовании – гораздо более гибкая и вариативная система классификации специальностей. Одно дело – первоначальная специализация в форме новой предметной ориентации отдельных исследователей и первичная институционализация выделившихся исследовательских полей через создание ассоциаций ученых, а другое – последующий этап ее закрепления на более прочной основе, в формальных университетских структурах. Именно этим путем еще в 1970-е годы некоторые дисциплины, выделившиеся из предметного поля истории, оказались на факультетах «смежных» социальных наук, а другие остались на исторических факультетах.

При этом совершенно очевидно, что многие специализированные дисциплины имеют общий теоретический, методологический и концептуальный арсенал, демонстрируют общее направление развития и различаются лишь по специальной предметной области, что в принципе создает предпосылки не только для плодотворного сотрудничества между разными внутридисциплинарными специализациями и так называемыми гибридными дисциплинами, но и для их последующей реинтеграции. Вместе с тем, несмотря на всю междисциплинарную риторику, скроенные по старым образцам официальные академические структуры отнюдь не потеряли своей прочности, сохраняя уходящие корнями в XIX век границы между различными дисциплинами. Причем рудименты междисциплинарных границ сохраняются даже в существенно более подвижных системах научной специализации⁴⁶, чем имеющая место в российской науке.

В большинстве случаев междисциплинарное сотрудничество так и продолжает ограничиваться рамками отдельных исследовательских проектов, а активность новых направлений – площадками международных научных симпозиумов и журналов, также по преимуществу международных, которые

⁴⁶ Интересные соображения по этому поводу см. в книге: *Jordano L. History in Practice. L., 2000. Chapter 3. P. 59-90.*

обеспечивают средства научной коммуникации, необходимые для обретения по крайней мере неформальной автономии новых дисциплин. Однако интеллектуальные контексты их бытования и динамика трансформации интердисциплинарных взаимодействий в разных сегментах системы научного знания остаются практически неизученными.

Оценки междисциплинарных подходов колеблются между двумя крайностями: прославлением грядущего «золотого века» и разочарованием в полученном опыте. История исторической науки нередко описывается как непрерывная освободительная борьба: сначала от гнета философии истории, затем от политэкономии и социологии. Будет ли эта линия продолжена и как? Придется ли истории освободиться от порабощения семиотикой и литературной критикой? Ответ может быть не столь однозначным, как это сейчас представляется.

Современное гуманитарное знание стремится «выработать согласованное представление о своем общем объекте»⁴⁷, к которому предметно обращается каждая из наук о человеке, и место «истории как строгой науки» в этом познавательном пространстве, действительно, становится значимым, как никогда прежде, поскольку «никакое анализируемое гуманитарными науками содержание не может оставаться замкнутым в себе, избегая движение Истории...»⁴⁸.

⁴⁷ Медушевская О. М. История в общей системе познания: смена парадигм // Единство гуманитарного знания... С. 12. См. также: Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008.

⁴⁸ Фуко М. Слова и вещи... С. 389.

ГЛАВА 2

ОТ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ К ИСТОРИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ

По определению авторитетного справочного издания середины 1980-х гг., «социальная история – это форма исторического исследования, в центре внимания которой находятся социальные группы, их взаимоотношения, их роли в экономических и культурных структурах и процесса; она часто характеризуется использованием теорий общественных наук и количественных методов»¹. А на пороге XXI века в не менее авторитетной и фундаментальной энциклопедии термин «социальная история» даже не удостоился содержательного определения, но зато было подчеркнуто: «Социальные историки никогда не могли достичь консенсуса по вопросу о соотношении свободы и детерминизма, что и является основной причиной того, что социальная история почти постоянно находится в ситуации кризиса... Недавно была сделана попытка вновь навести порядок в том, что временами представляется интеллектуальным хаосом, обычно объясняемым “постмодернизмом”... [но], оказывается, что социальная история опять – в кризисе!»².

Между тем, сегодня уже нельзя не заметить, что практически параллельно с переосмыслением самого идеала научности и с резким падением престижа социально-научной истории в историографии последней четверти XX столетия произошла смена исследовательских ориентаций, которая привела к об-

¹ Ritter H. Dictionary of Concepts in History. N.Y. etc., 1986. P. 408.

² Encyclopedia of Historians and Historical Writing / Ed. by Kelly Boyd. Vol. 2. (M–Z). L.; Chicago, 1999. P. 1110–1112.

новлению методологической базы, существенному расширению проблематики и образованию новых предметных полей³.

Фронтальный анализ работ, составивших основной фонд социально-исторических исследований, а также теоретических и полемических публикаций по проблемам социальной истории, позволил выделить, с одной стороны, сложившиеся научные традиции, достижения и трудности социального анализа исторического прошлого, а с другой – последовательные изменения, которые происходили в последней трети XX в. в понимании предмета, концептуальном аппарате, методологическом оснащении той обширной области исторического знания, которая в существующей классификации все еще охватывается понятием «социальная история».

Становление и расцвет социальной истории как ведущей исторической дисциплины связывается с движением за междисциплинарную историю, обогащенную теоретическими моделями и исследовательской техникой общественных наук, в противоположность традиционной истории, которая рассматривалась исключительно как область гуманитарного знания. В русле этого интеллектуального движения, развивавшегося в изменяющихся условиях на протяжении середины и второй половины XX века, и родилась так называемая *новая социальная история*, которая выдвинула задачу интерпретации прошлого в терминах социальности, описывающих внутреннее состояние общества, его отдельных групп и отношений между ними. Возникновению «новой социальной истории» предшествовала длительная стадия накопления принципиальных расхождений традиционного и социологического подходов, которая и завершилась разрывом с историографической традицией.

³ Этот сложный процесс был предметом специального анализа в моей предшествующей монографии: *Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история*. М., 2009. (1-е изд. – М., 1998). См. также анализ стратегий и методов социальных историков разных школ: *Fairburn, Miles. Social History: Problems, Strategies and Methods*. N.Y., 1999.

Если попытаться кратко сформулировать важнейшие отличительные черты социальной истории как области знания, то, пожалуй, прежде всего следовало бы отметить ее удивительную подвижность и способность адаптироваться к радикальным изменениям в динамично развивающейся современной историографии. На разных этапах и крутых поворотах своей драматичной судьбы социальная история неоднократно оказывалась перед необходимостью переопределения своего предмета и обновления ставших привычными моделей исследования. Своей изменчивостью и восприимчивостью, которые определяли внутреннюю логику развития этой дисциплины в течение нескольких десятилетий и позволили проявить все многообразие возможных форм истории *социального*, она обязана той предельной открытости другим областям знания – исторического, гуманитарного, социально-научного, которая заложена в самой природе ее интегрального объекта познания.

2.1. Научные традиции и их трансформации

Принцип междисциплинарности, который опирался на стремление к созданию *научной* истории стал ведущим в исследовательской стратегии еще ранних «Анналов», а с 1960-х начался «золотой век» междисциплинарного взаимодействия, в котором преобладали установки на сотрудничество истории и социальных наук с целью формирования новой социально-исторической науки на базе интегрального подхода к изучению общества. Познавательные приоритеты «новой исторической науки» и, соответственно, основные контрагенты в сфере социальных наук, к которым историки обращались в поисках научной методологии, со временем менялись. Становление «новой социальной истории» проходило под знаменем социологии, социальной антропологии, демографии, количественных методов; В 1970–1980-е годы бурный рост «новой социальной истории» и ее субдисциплин, как и всей «новой исторической науки», происходил на эклектичной методологиче-

ской основе, но именно в это время значительно расширилось само понятие социальной истории: наряду с классами, сословиями и иными большими группами людей она сделала предметом изучения социальные микроструктуры: семью, общину, приход, другие общности и корпорации.

Принципиальной исходной установкой ведущих направлений историографии стал взгляд на общество как на целостный организм, в котором все элементы взаимодействуют в сложной системе прямых и обратных связей, исключающей возможность редукции к одному фактору, способному определять все историческое развитие. Однако в то время влияние социологии на историю свелось к заимствованию терминологии, приемов и методик, т.е. к обогащению исследовательской техники, в то время как обе науки нуждались в коренном пересмотре теоретико-методологических оснований.

Новое направление поиску придало введение в социальную историю подходов, заимствованных из социальной психологии и культурной антропологии. Под влиянием последней произошел сдвиг интересов социальных историков от исследования объективных структур и процессов к изучению культуры в ее антропологической интерпретации, т.е. к реальному содержанию обыденного сознания людей прошлых эпох, к отличающимся большой устойчивостью ментальным представлениям, символическим системам, обычаям и ценностям, к психологическим установкам, стереотипам восприятия и моделям поведения. Именно в этом направлении виделась возможность преодолеть выявившиеся методологические трудности, поскольку социально-научные теории, облегчающие анализ объективных структур и процессов, оказались неспособны связать его с изучением деятельности субъектов истории.

Один из многообещающих путей преодоления сложившегося разрыва был открыт историей ментальностей, которая выдвинула на первый план реконструкцию картины мира людей разных эпох, изучение специфических черт их мировос-

приятия и жизненного уклада. Реконструкция картины мира, характерной для данной человеческой общности, или совокупности образов, представлений, ценностей, которыми руководствовались в своем поведении члены той или иной социальной группы, все более воспринималась как важнейший компонент анализа социальной системы и как необходимое звено, позволяющее связать исследование социальной среды с анализом деятельности. Особое внимание в объяснении формирующей социальную реальность человеческих действий, исторических событий и явлений, стало уделяться содержательной стороне сознания действующих субъектов, в первую очередь их представлениям о взаимоотношениях между разными общественными группами, о социальной иерархии и о своем месте в ней. Именно к превращению истории ментальностей в социальную историю, в *социальную историю ментальностей* была направлена конструктивная критика в ее адрес⁴.

В поисках информации, содержащей достоверные, хотя и косвенные сведения о неотрафелированных представлениях, социокультурных стереотипах людей прошлого, социальные историки стали также активно заимствовать специфические методы и познавательные приемы антропологов, разработанные для «раскодирования» чуждых и непонятных европейцу культур далеких племен (методики «истории жизни» и «семейной истории», или «истории рода», анализ эпизода или события и др.). Антропологическая ориентация выразилась и в проецировании на социальную историю центральных задач антропологии, сформулированных выдающимся антропологом

⁴ Подробно об этом см.: *Duby, Georges. L'Histoire des mentalités. Histoire et ses méthodes.* P., 1961; *Vovelle, Michel. Idéologies et Mentalités.* P., 1982; *Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии.* 1988. № 1. С. 56-70; *он же. Социальная история и историческая наука // Вопросы философии.* 1990. № 4. С. 23-35; *Он же. Исторический синтез и школа «Анналов».* М., 1993; и др.

Клиффордом Гирцем как постижение «субъективных ментальных миров» членов той или иной социальной группы и выяснение «системы идей и понятий», лежащей в основе любого человеческого действия⁵.

Радикальное изменение проблематики исследования, направленного на выявление человеческого измерения исторического процесса, потребовало обновления концептуального аппарата и исследовательских методов и привело к формированию новой парадигмы социальной истории, которая включила в свой предмет сферу человеческого сознания как неотъемлемую структуру социальной жизни.

Начав с народных низов, антропологическая история постепенно включила в свой предмет поведение, обычаи, ценности, представления, верования всех социальных групп, независимо от их положения в общественной иерархии (включая отражение меры взаимного противостояния в их представлениях друг о друге), причем интересы историков, не ограничиваясь устойчивыми и всеобщими стереотипами обыденного сознания, распространялись и на обширный слой более изменчивых социокультурных представлений, во многом специфичных для разных социальных групп. Включение в исследовательский проект новой задачи – реконструкции глубинной программы всех видов человеческой деятельности, заложенной в культурной традиции их социального универсума, – стало несомненным достижением антропологического подхода к социальной истории. И хотя центральный для исторического объяснения вопрос о механизме изменений в сфере сознания оставался нерешенным, антропологическая ориентация открыла пути выхода социальной истории на новый уровень познания.

⁵ Geertz C. The Social History of an Indonesian Town. Cambridge, 1965. P. 141. См. также: Geertz C. Local Knowledge. N.Y., 1983; *Idem*. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. N.Y., 1973. Спустя тридцать лет эта книга вышла в переводе на русский язык: Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004.

Социальная история стала ведущей областью конкретных исследований «новой исторической науки»: большинство новых областей междисциплинарной историографии переплетались именно в ее русле. В процессе становления новых субдисциплин росло разнообразие сюжетов и форм исследования. При этом большинство новых областей междисциплинарной истории, взаимно перекрывая смежные области, охватили все широкое пространство социальной истории и одновременно перекинули своего рода мостки к смежным гуманитарным и социальным дисциплинам. Но в отсутствие теоретически проработанного основания для обобщения данных, полученных при исследовании все более дробившихся новых междисциплинарных объектов, служивших своеобразным полигоном для исследователей, перспективы ожидаемого синтеза становились все более туманными. Как некогда подметил американский историк Теодор Зелдин, «социальная история, именно потому, что она добилась таких успехов, в определенном смысле заблудилась среди множества своих достижений»⁶.

Во многом это было связано с тем, что очередная смена научных ориентиров не сопровождалась теоретической работой, которая могла бы способствовать практическому освоению достижений смежных наук. Представители разных направлений социальной истории, с самого начала расходились в понимании ее предмета и методов. Методологические и идейно-политические разногласия обусловили различные подходы к содержанию, задачам и общественной функции социальной истории. Одни исследователи, рассматривая социальную историю как промежуточную область между экономической и политической историей, ограничивали ее задачу изучением социальной структуры в узком смысле слова, т.е. социальных ячеек, групп, институтов, движений (*социально-структурная ис-*

⁶ Зелдин Т. Социальная история как история всеобъемлющая [1976] // Альманах THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 154-162. (С. 159).

тория). Другие стремились постичь человеческое общество в его целостности, исследуя социальные связи между индивидами в духе *тотальной истории* школы «Анналов» или *истории общества как системы*. В этом контексте складывались научные программы, отражающие представление об интегративной природе социальной истории, но по-разному интерпретирующие ее внутреннее содержание и основание синтеза.

Решение вопроса о статусе социальной истории наталкивалось не только на различия в субъективных оценках, но и на объективные трудности, связанные с тем, что сфера социального интегративна по самой своей сути, и поэтому плохо поддается вычленению. В соответствии со сложившимися противоречивыми представлениями о статусе и предмете социальной истории, последняя выступала, с одной стороны, как область исторического знания об определенной сфере исторического прошлого, и прежде всего как область знаний о всевозможных конкретных сферах социальных отношений и активности людей, а с другой – как особая, ведущая форма существования современной исторической науки, построенной на междисциплинарной основе. В отсутствие специальных теоретических разработок подмена исторической методологии техническими приемами исследования, ориентированными на познание явлений современного мира или «неподвижных культур», отказ от создания собственных концепций, учитывающих исторический контекст и его динамику, служили серьезным тормозом для развития. Критическим атакам подвергались и исследовательский инструментарий, и содержательная сторона, и способ изложения «новой социальной истории». Особенно это касалось бесконечной фрагментации объекта исследования, сложившейся традиции проблемного изложения материала в специальных монографиях, которая оказалась неприемлемой для обобщающих и – тем более – популярных работ.

В последние десятилетия XX века остро встал вопрос о том, как соединить разрозненные результаты научного анализа

различных явлений, структур и аспектов прошлого в последовательное целостное изложение национальной, региональной, континентальной или всемирной истории. Вполне естественно было искать способ комбинации анализа общества и исследования культуры в задававшей познавательные ориентиры антропологической науке, но в ней самой не утихали многолетние споры о соотношении предметных полей социальной и культурной антропологии (как и между категориями *общество* и *культура*). Последствия раскола между социальной и культурной антропологией негативно сказались на обеих дисциплинах. Ситуация подсказывала: необходимо отказаться от взаимоисключающих альтернативных решений.

В дискуссиях второй половины 1980-х гг. социальная история все решительнее заявляет о своих правах на особый статус, подчеркивается ее интегративная функция в системе исторических дисциплин, на повестку дня ставится задача синтеза исследований различных сторон и процессов исторического прошлого и его объяснения, все громче звучит призыв к преодолению антитезы сциентистской и гуманистической тенденций, структурного и антропологического подходов, системного и динамического видения исторического процесса⁷. В качестве ключевой практически во всех теоретических построениях такого рода выдвигалась концепция «исторического опыта».

Обсуждая судьбы двух форм социальной истории, опирающихся на разные типы анализа (социально-научного и

⁷ What is Social History? The Great Debate // *History Today*. 1985. Vol. 35. No. 3. P. 40-43; *Essays in Social History*. Vol. 2 / Ed. by P. Thane and A. Sutcliffe. Oxford, 1986. P. VII-XXX. Одновременно росло осознание взаимодополнительности междисциплинарных и традиционных исторических методов, сохранивших центральное место в исследовательской практике. См., например: *Thompson F. M. L. The British Approach to Social History* // *Storia della storiografia*. 1986. Vol. 10. P. 162-169; *Kocka J. Theory Orientation and the New Quest for Narrative. Some Trends and Debates in West Germany* // *Ibid.* P. 170-181.

культурно-исторического), Натали Дэвис подчеркнула их комплементарный характер и призвала к тому, чтобы найти способы объяснить и адекватно выразить взаимодействия и сопряжения макро- и микрообъектов⁸. Столь же недвусмысленно высказались о попытках отделить непроходимым барьером «научную форму истории» от «гуманитарного подхода» и ряд других социальных историков. В частности, Барбара Ханавалт писала: «Количественные подходы могут многое дать для нашего понимания изучаемых текстов (особенно таких массовых, как судебные протоколы), поскольку они предлагают нам пский контекст для их интерпретации <...> в то же время комбинация количественного и литературного анализа обогащает интерпретацию сугобо нарративных источников»⁹.

Теоретические трудности формировавшегося междисциплинарного подхода, которые были предопределены различиями в природе предметов истории и антропологии, прекрасно осознавались ведущими социальными историками, начиная с «отца-основателя» британской «новой социальной истории» Э. П. Томпсона: «Иногда думают, что антропология может предложить готовые выводы не только об отдельных сообществах, но и об обществе в целом, поскольку базовые функции и структуры, обнаруженные антропологами, – какими бы сложными или скрытыми они ни были в современных обществах, – все еще продолжают лежать в основе современных форм. Но история – это дисциплина контекста и процесса: всякое значение есть значение в контексте, а структуры изменяются, в то время как старые формы могут выражать новые функции или старые функции могут находить выражение в новых формах... В истории нет никаких постоянных актов с неизменными характеристиками, которые могли бы

⁸ *Davis N. Zemon. The Shapes of Social History // Storia della Storiografia. 1990. Vol. 17. P. 28-34.*

⁹ *Hanawalt B. A. The Voices and Audiences of Social History Records // Social Science History. 1991. Vol. 15. No. 2. P. 159-161.*

быть изолированы от специфических социальных контекстов»¹⁰. Именно в локально-исторических исследованиях, «привязанных» к четко ограниченному, и потому лучше поддающимся осмыслению социальным контекстам, были получены наиболее впечатляющие результаты. Кроме того, многочисленные локальные исследования по отдельным периодам истории подготовили обновленную, гораздо более совершенную базу для обобщений на национальном уровне.

Впрочем, историографическая практика 1980-х – начала 1990-х гг. принесла не только успехи, но и разочарования. Тотальный подход оставался лишь желанным научным идеалом. Социальная история, история ментальностей, историческая антропология ставили каждая в центр искомого нового синтеза свой собственный предмет: мир социальных отношений, картину мира, мир повседневности, мир воображаемого. Довольно долго инициатива принадлежала социальным историкам, но оперируя в рамках процессов большой длительности, они оставались в царстве массовости и обезличенности, и даже в большинстве локальных исследований преобладала установка на усредненность и типизацию. Не было найдено и адекватного решения проблемы соединения нормативно-ценностного и категориального анализа социальной структуры.

Сформировавшись как метод осмысления культурных стереотипов, историческая антропология стала рассматриваться как универсальный подход, обеспечивающий реконструкцию всего здания истории, но попытки решить проблему нового синтеза путем прямых заимствований в антропологической науке, без учета специфики исторического познания, оказались несостоятельными¹¹. С позиций исторической антропологии,

¹⁰ *Thompson E. P. Folklore, Anthropology, and Social History // Indian Historical Review. 1977. Vol. 3. No. 2. P. 247-266. (P. 256-258).*

¹¹ Натали Дэвис еще в начале 1980-х гг. предостерегала историков от соблазна обращаться к антропологам за готовыми рецептами: неправильно считать, что антропология располагает «неким высшим

ориентирующей на методологические установки культурной антропологии, перспектива осуществления полидисциплинарного синтеза виделась в предмете ее исследования – культурно-исторически детерминированном человеке, взятом во всех его жизненных проявлениях. Социальность же этого исторического субъекта понималась как само собой разумеющееся свойство и следствие межличностного общения. При этом задачи исторического исследования ограничивались изучением стереотипов поведения, а анализ макропроцессов выводился за его рамки. Ментальность как культурно-психологическая характеристика индивида или социальной группы превращалась в универсальный объяснительный принцип, а развенчание позитивистской социально-структурной истории за игнорирование субъективного фактора, приводило к замене ее столь же односторонней феноменологической моделью, которая, декларируя включенность объективной реальности в реальность субъективную, ограничивалась анализом последней.

Претензии такого подхода на самодостаточность вызывали обоснованные сомнения. Конечно, глубинные структуры и процессы, обуславливая мотивы и действия людей, не могут их полностью детерминировать, они сами проявляются лишь в этих действиях и в исторических событиях, хотя и не полностью, и не без некоторого искажения. Но ведь и процессы возникновения, изменения и разложения структур не вытекают напрямую из желаний и действий отдельных субъектов истории. Вот почему ведущие представители «новой социальной

знанием о социальной реальности, в которое историки и должны быть непременно обращены»; напротив, «нам следует быть готовыми предложить свои рекомендации относительно собственной работы и самой антропологической теории». См.: Politics, Progeny and French History: An Interview with Natalie Zemon Davis // *Radical Historical Review*. 1980. Vol. 24. No. 1. P. 130-131; Davis N. Zemon. The Possibilities of the Past // *The New History: the 1980s and Beyond: Studies in Interdisciplinary History* / Eds. T. K. Rabb, R. I. Rothberg. Princeton, 1982. P. 273-274.

истории» во многих странах, признавая сферу ментальности одним из наиболее удобных средств исторического синтеза, тем не менее, исходили из необходимости изучения разных аспектов социальной истории, не сводя ее к истории человеческой субъективности или истории поведения.

Как уже было отмечено выше, в конце XX века ситуация изменилась в пользу комбинации двух конкурирующих познавательных стратегий. Стало очевидно, что для исторического объяснения недостаточно выяснить представления и ценности, которыми люди руководствовались или могли руководствоваться в своей деятельности. Задача состояла в том, чтобы выявить, чем определялось содержание и изменение этих представлений и ценностей, установить «источники разногласий и конфликтов», «механизмы трансформаций», т.е. внести историчность в изучение ментальности¹². Слабые места двух доминирующих познавательных моделей довольно активно обсуждались два десятилетия. Столь продолжительные дебаты отразили также и тот примечательный факт, что баланс сил между этими тенденциями с течением времени существенно менялся.

В сложившейся ситуации исследователи, склонные подчеркивать интегративную функцию социальной истории в системе исторических дисциплин, выдвинули на первый план разработку более сложных теоретических моделей и адекватного концептуального аппарата¹³. По сути, речь шла о практической

¹² *Burke P.* The Historical Anthropology of Early Modern Italy: Essays on Perception and Communication. Cambridge, 1987. P. 3-4; *Idem.* Les îles anthropologiques et le territoire de l'historien // Philosophie et histoire. P., 1987. P. 49-65; *Burguiere A.* De la comprehension en histoire // Annales E.S.C. 1990. No. 1. P. 129-132; etc. См. также: *Levi G.* Le pouvoire au vilage: Histoire d'un exorciste dans le Picdmont du XVII siecle. P., 1989.

¹³ *Tilly C.* Retrieving European Lives // Reliving the Past. The Worlds of Social History / Ed. by O. Zunz. Chapel Hill; L., 1985. P. 11-52; *Kocka J.* Theory Orientation and the New Quest for Narrative // Storia della Storiografia. 1986. Vol. 10. P. 170-181; *Davis N. Z.* The Shape of Social History // Storia della Storiografia. 1990. Vol. 17. P. 28-34.

ре-актуализации научной программы социоистории (социальной истории в широком смысле слова) в ее более рафинированной версии. Понимание «социального» в таких интерпретациях принципиально отличается и от истории общественных институтов, и от истории социальных групп, и от истории ментальностей. Социоистория держит в фокусе не только структуры или человеческое сознание и поведение (групповое и индивидуальное), но также способ взаимодействия тех и других в развивающейся общественной системе и изменяющейся культурной среде, которая эту систему поддерживает и оправдывает. Ключевую роль в проекте социоистории играют синтетические категории *опыта* и *переживания* – индивидуального, коллективного, исторического, в которых концептуализируется внутренняя связь субъекта истории с объективными – как материальными, так и духовными – условиями его деятельности, с природными, социальными и культурными детерминантами его индивидуального и коллективного поведения¹⁴.

Несколько позднее категориальный аппарат синтеза был дополнен новыми концепциями власти и политической культуры, интерпретацией взаимодействия различных уровней культуры в терминах «культурного доминирования» и «присвоения культурных традиций», теорией взаимоопосредования социальной практики и культурных представлений, идеей конструирования социальных и культурных идентичностей, моделью выбора в «пространстве свободы», ограниченном наличными ресурсами и неравенством в доступе к ним. К этому времени, по мнению Ю. Л. Бессмертного, даже у исследователей разных школ обнаружилось некоторые общие черты и, прежде всего, акцент на изучении *социокультурного способа властвования*: «особый интерес повсеместно вызывают приемы властвования, имидж власти в глазах

¹⁴ О базовых принципах социоистории см., например: *Thompson E. P. The Poverty of Theory and Other Essays*. L., 1979. P. 396.

современников, средства которыми он создавался, его эффективность. <...> все это может исследоваться в различных ракурсах и масштабах, в том числе с целью характеристики образа власти либо в глазах отдельных индивидов (например, выдающихся мыслителей или же рядовых подданных), либо в групповом сознании (например, сознании членов какой-нибудь "группы давления"), либо в массовом сознании. <...> по отношению к основным аспектам способа властвования можно (и нужно!) сочетать одновременно два ракурса исследования – и системный, и индивидуальный. Впрочем, формы исследования в каждом из этих ракурсов, и -- в еще большей мере – их сочетание остаются далеко не всегда ясными»¹⁵.

Итак, поиск новых объяснительных моделей расширил круг интерпретаций, базирующихся на представлении о диалектическом характере взаимодействия социальной структуры, культуры и человеческой активности. Это время было отмечено наиболее оптимистическими оценками перспектив реализации «директивы интегрального объяснения» (термин Ежи Топольского), «синтетической истории», способной преодолеть негативные последствия углубляющейся специализации и фрагментации исторической науки. Парадокс, однако, заключался в том, что фактически одновременно под вопросом оказался сам научный статус исторического знания.

В конце XX века историческая наука переживала глубокую внутреннюю трансформацию, которая ярко проявлялась и на поверхности академической жизни – в трудной смене поколений ученых, доминирующих интеллектуальных ориентаций и исследовательских парадигм, языка истории. Необратимые изменения, произведенные в историографической ситуации постструктурализмом, поставили под вопрос все те парадигмы

¹⁵ *Бессмертный Ю. Л.* Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях постмодернизма и микроистории // *Одиссей. Человек в истории.* 1995. М., 1995. С. 15.

социальной истории, которые сложились и доминировали в 1960–1980-е годы, и это было воспринято некоторыми собратьями по цеху как почти трагический «конец социальной истории», а некоторым результат «постмодернистской атаки» представился как полное и окончательное вытеснение «модернистской» социальной истории леволиберального толка¹⁶.

Однако излишняя ригористичность и той, и другой оценки не выдерживает критики, и не только потому, что по-новому проблематизированные отношения «общества» и «культуры» вовсе не упраздняют понятие «социального», а признание креативной роли субъективности и ее определяющего значения для понимания социальной практики отнюдь не делает излишним анализ тех условий деятельности, которые принято называть надличностными¹⁷. Для обеих отмеченных позиций характерно и еще одно важное упущение: такое «пуританское» стремление к исключительной чистоте дисциплинарной парадигмы совершенно не учитывает эшелонированности и многослойности историографического процесса, специфических качеств данной сферы культурно-интеллектуальной деятельности, которые могут быть засвидетельствованы на всем протяжении ее многовековой истории¹⁸. Не стоило спи-

¹⁶ Joyce P. The End of Social history? // *Social History*. 1995. Vol. 20. No. 1. (Перевод этой напумевшей статьи см. в сб.: *Современные методы преподавания новейшей истории*. М., 1996. С. 114–141.). См. также критические заметки в адрес П. Джойса (Eley G., Nield K. Starting over: The Present, the Post-modern and the Moment of Social History // *Social History*. 1995. Vol. 20. No. 3. P. 355–364) и его ответную реплику (The End of Social history? A Brief Reply to Eley and Nield // *Social History*. 1996. Vol. 21. No. 1. P. 96–98). Ср.: Прайс Р. Концы социальной и рабочей истории? // *Современные методы преподавания новейшей истории*. С. 97.

¹⁷ Eley G., Nield K. Starting over... P. 364.

¹⁸ В историографии допустимо не только сохранение и использование старых моделей, но и возрождение «хорошо забытых» интерпрета-

сывать со счета и то, что даже дискурсивное истолкование социального предполагает, по меньшей мере, его признание.

И дело было не только в воздействии разрушительной критики со стороны «внешних» оппонентов. Многочисленные публикации и дискуссии свидетельствуют о постановке «неудобных» методологических вопросов в среде ведущих представителей «новой исторической науки» и «новой социальной истории»¹⁹: ведь на необходимость ревизии старого багажа, а также вдумчивого и конструктивного подхода к новым тенденциям и предложениям, настоятельно указывали те эпистемологические трудности, которые со временем обнаружились в самой историографической практике²⁰. И обостренная реакция социальных историков на «лингвистический поворот» была связана, скорее, не с упорным отрицанием ими давно назревших перемен, а со складывающейся неблагоприятной ситуацией в общественном мнении, с ощущением угрозы статусу истории как науки и престижу исторического образования, которую несли с собой крайности постмодернизма.

ций, а также продолжительное полемическое соперничество старых подходов и концепций с новыми, как и поглощение первых последними.

¹⁹ См., в частности, редакционные и методологические статьи на страницах журнала «Анналы» в 1980–1990-е гг.: Histoire et science sociales. Un tournant critique? // Annales E.S.C. 1988. № 2. P. 291-293 (История и социальные науки: поворотный момент? // «Анналы» на рубеже веков. Антология / Отв. ред. А. Я. Гуревич. М., 2002. С. 11-14); Tentons l'expérience // Annales E.S.C. 1989. № 6. P. 1319-1322 (Попробуем поставить опыт // Анналы на рубеже веков... С. 15-22), а также публикации материалов международных коллоквиумов: Histoire sociale. Histoire globale? / Sous la dir. de C. Charle. P., 1993; Споры о главном: дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов» / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1993.

²⁰ Звучал и призыв к социальным историкам поддержать свойственную им критическую традицию, обеспечивающую динамизм развития дисциплины. См., например; Hareven T. What Difference Does it Make? // Social Science History. 1996. Vol. 20. No. 3. P. 336.

2.2. Структуры и люди в парадигме «другой социальной истории»

Со времен Геродота и Фукидида историки используют разные объяснительные модели. Несмотря на то, что во второй половине XX века, богатой на «познавательные повороты», было предпринято немало попыток коренным образом преобразовать практику историописания, оно продолжало существовать между «полюсами» двух базовых типов объяснения – через мотивы человеческой деятельности или через природные факторы и социальные структуры, ее обуславливающие. Специализация внутри исторической науки, требующая ограничения предметного поля конкретных исследований той или иной стороной исторического процесса, постоянно создает почву для переноса именно на нее центра тяжести в теоретическом осмыслении и объяснении истории: неважно, идет ли речь, например, об абсолютизации социологизированного подхода или антропологически ориентированной истории ментальностей. Между тем для исторического объяснения критически важно понять, чем определялось содержание и изменение представлений и ценностей; и, следовательно, социальные процессы, являющиеся потенциальными причинами деятельности людей, столь же нуждаются в специальном исследовании, сколь и факты обыденного сознания, через которые они реализуются.

Обыденное сознание опирается на традицию, но включает и совокупность восприятий, представлений, понятий, возникающих под действием непосредственных условий жизни людей. Ясно также, что реальность человеческих связей и отношений может быть понята лишь в рамках социальной жизни, приближенных к индивиду, на уровне реальных социальных групп, непосредственно фиксирующем воспроизводство и изменчивость индивидуальных и групповых ситуаций в образе жизни. Отсюда понятно особое значение, которое приобрели в новейшей историографии микроисторические исследования.

Приверженцы микроистории, при всех различиях методологического порядка, разделяют ряд общих позиций. Это, прежде всего, критический настрой в отношении макроподходов, которые долгое время доминировали в социально-исторических исследованиях; акцентировка роли опыта и деятельности людей в конструировании социального; приоритетное внимание к исключительному и уникальному -- необычным казусам, индивидуальным стратегиям, перипетиям биографий.

Однако постепенно, под воздействием новых теорий социального конструктивизма, разработанных в общественных науках для преодоления разрыва между микро- и макро- через процессы взаимопорождения частей и целого, расширяется круг интерпретаций исторического прошлого, базирующихся на представлении о диалектическом характере взаимодействия социальной структуры, культуры и человеческой активности. Уже к началу 1990-х гг. проявляются тенденции, свидетельствующие о складывании новой парадигмы социальной истории, предполагающей исследование всех сфер жизни людей прошлого в их структурном единстве и в фокусе пересечения социальных связей и культурно-исторических традиций, что подразумевает воспроизведение исторического общества как целостной динамической системы²¹, которая, сложившись в результате деятельности предшествовавших поколений, задает условия жизни и модели поведения действующему субъекту и изменяется в процессе его жизнедеятельности. В обновленной социальной истории в центре этой системы стоит субъект исторического действия -- человек или коллектив (социальная группа), выступающий в неискоренимом дуализме своей социальности: с одной стороны, как итог культурной истории, всего прошлого развития (культурно-исторический субъект), а с дру-

²¹ См.: *Летти, Бернар*. Общество как единое целое: о трех формах анализа социальной целостности // *Одиссей. Человек в истории*. 1996. М., 1996. С. 148-164.

гой – как персонификация общественных отношений данной эпохи и данного социума (социально-исторический субъект).

В деятельности индивида синтезируется «субъективная реальность», складывающаяся из совокупности социокультурных представлений (стереотипов, мифов и символов, посредством которых он осознает окружающий мир), и объективная реальность социально-исторической среды, с которой он взаимодействует и которую «моделирует» в соответствии со своими представлениями о ней. Индивидуальный или коллективный субъект истории действует в непрерывно изменяющейся социальной среде, образуемой сложным переплетением различных общностей (семейно-родственных, социально-профессиональных, локально-территориальных, этнополитических, конфессиональных и др.), в исторической ситуации, формируемой, с одной стороны, предшествовавшей социально-исторической практикой, а с другой – стремлениями, действиями других индивидов и групп. Различные аспекты социальной жизни не просто пересекаются, они внутренне связаны таким образом, что ни один из них нельзя постичь в изоляции от других. Стыковка «обих реальностей», изучение взаимосвязи поведения, социокультурных представлений и экономических, политических, духовных макропроцессов социальной жизни – это средство научного синтеза. Так на повестку дня был вновь поставлен вопрос о возможности и условиях практического применения в конкретно-историческом исследовании комплексного метода социального анализа, опирающегося на последовательную комбинацию системно-структурного и субъективно-деятельностного подходов.

Попытка представить интегративную «операциональную модель» исторического объяснения, работающую на уровне «интуитивных теоретических допущений историков», была предпринята выдающимся польским ученым Ежи Топольским: «Агенты – это более или менее упорядоченная со-

вокупность людей с присущими им личностными структурами, психологическими статусами и мотивациями. История складывается из действий, совершаемых этими людьми (индивидуально или в группах). Некоторые из этих действий *проактивные*, то есть осуществляются по воле самих агентов, а некоторые – *реактивные*, реагирующие на внешние события разного рода, включая действия других людей. Акции и реакции неизбежно влияют друг на друга и образуют последовательности причин и следствий (назовем их генетическими) и структурно-функциональные системы, а также системы, которые являются одновременно функциональными и генетическими»²². А это означает, что в исторических повествованиях (нарративах) человеческие действия, объясняемые мотивационно, переплетаются с «объективными» факторами (с природными условиями жизни и с созданным прошлыми действиями социальным контекстом), которые в терминах человеческих действий, т.е. на языке мотиваций, решений, эмоций и т.д., интерпретации не поддаются. Топольский предполагал, что два типа объяснений (мотивационное и структурное) могут быть интегрированы. Ключевым моментом выхода за пределы мотивационной модели навстречу модели структурной является постановка вопроса «почему у агента, действия которого мы объяснили определенными мотивами, были именно эти мотивы, а не какие-то другие»²³.

Такое исследование механизма трансформации потенциальных причин в актуальные мотивы человеческой деятельности предполагает обращение как к макроистории, которая выявляет влияние общества (экономических, политических, духовных макропроцессов социальной жизни) на поведение личности, так и к микроистории, способной раскрыть способы включения индивидуальной деятельности в коллективную.

²² *Topolski, Jerzy*. Towards an Integrated Model of Historical Explanation // *History and Theory*. 1991. Vol. 30. No. 3. P. 324-338. (P. 333).

²³ *Ibid.* P. 335.

Новая междисциплинарная модель, в отличие от ставших каноническими, а потому неспособных к дальнейшему развитию субдисциплинарных версий социальной истории, оказалась открыта к интеллектуальному диалогу. Подвергая критическому пересмотру свои концепции, склоняющиеся к ней историки артикулировали эпистемологические принципы тех «апокрифических» (микроисторических) нарративов социальной истории, инновационность которых долго оставалась непознанной. Впрочем, вся вторая половина 1970-х была в мировой историографии временем поиска научно-исторической альтернативы как сциентистской парадигме, опиравшейся на макросоциологические теории, так и ее формировавшемуся постмодернистскому антиподу²⁴. Микроисторические подходы получили широкое распространение и становились все более привлекательными, по мере того как обнаруживалась неадекватность макроисторических выводов, ненадежность среднестатистических показателей, направленность доминирующей парадигмы на свертывание широкой панорамы исторического прошлого в узкий диапазон «ведущих тенденций», на сведение множества вариантов исторической динамики к псевдонормативным образцам или типам. Уход на микроуровень в антропологической версии социальной истории (с использованием теоретического арсенала микроанализа, накопленного в общественных науках, изначально подразумевал последующее возвращение к генерализации на новых основаниях, хотя и с полным осознанием тех труднопреодолимых препятствий, которые встретятся на этом «обратном» пути.

²⁴ Карло Гинзбург так обрисовал эту сложную и «неприятную» дилемму, которую поставило развитие естественных наук перед науками о человеке: «Они должны присвоить себе либо “мягкий” стандарт научности с тем, чтобы быть в состоянии достичь значимых результатов, либо жесткий стандарт и получать результаты, которые не будут иметь большого значения». – *Ginzburg C. Roots of a Scientific Paradigm // Theory and Society. 1979. Vol. 7. No. 3. P. 273-288.*

Однако оставалось много нерешенных проблем. Использование концепций и методов смежных социальных и гуманитарных наук помогло определить направление новых поисков, сыграв важную ориентирующую роль, но эти теории, конкурирующие в своих дисциплинарных пространствах²⁵, обнаружили к тому же неспособность обеспечить новые убедительные объяснения с учетом специфики предмета исследования и природы исторического познания. Для этого потребовались собственные теоретические разработки. Основные усилия были сосредоточены на поисках способов интеграции микро- и макроаналитических подходов к изучению прошлого.

Дискуссии о совместимости микро- и макроистории продолжаются не одно десятилетие. Среди их участников есть и те, кто утверждает, что у микроистории не может быть особого логического и категориального аппарата (именно в силу неразрывной связи микро- и макроконтекстов²⁶), или сомневается в том, «мыслима ли вообще для прошлого (или хотя бы какого-либо его этапа) единая логика взаимодействия общества и отдельного субъекта». Между тем, «достичь подлинной (сущностной) интеграции микро- и макроподходов к прошлому – значит найти способ перехода от наблюдений над отдельными и уникальными казусами к суждениям, значимым для той или иной исторической глобальности»²⁷.

²⁵ «...Для конкуренции между соперничающими определениями реальности всегда будет некое социально-структурное основание <...> прагматическое превосходство теории “доказывается” не ее внутренними качествами, но ее приложимостью к социальным интересам той группы, которая сделалась “носителем” теории». Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. С. 195, 197.

²⁶ Копосов Н. Е. О невозможности микроистории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. М., 2000. С. 33–51.

²⁷ Бессмертный Ю. Л. Многоликая история. (Проблема интеграции микро- и макроподходов) // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. М., 2000. С. 57–58.

Уже в конце 1990-х гг., размышляя о возможностях сопряжения макро- и микроподходов к изучению прошлого, Чарльз Тилли отметил эффективность *реляционного реализма* как методологии изучения социальной жизни, которая в отличие от феноменологического индивидуализма (в котором «индивидуальное сознание есть первая или исключительная сторона социальной жизни»), методологического индивидуализма (для которого индивиды и есть основной и единственный элемент социальной реальности), и холизма (согласно ему «социальная структура имеет свою самоподдерживающуюся логику развития», а господствующие менталитеты, традиции, ценности, культурные формы выступают в качестве регуляторов социальной жизни) центральное место в социальной жизни отводит социальным взаимодействиям, связям и речевым практикам. В этой методологии проблема несопоставимости макро- и микроуровней анализа теряет свое значение, поскольку «реляционный реализм концентрируется на связях, которые образуют организационные структуры и одновременно формируют индивидуальное поведение». Однако форма исторического нарратива воздвигает почти непреодолимые препятствия для раскрытия связей между микро- и макропроцессами из-за трудности трансляции материала, полученного главным образом в форме стандартных рассказов, созданных в ходе социального взаимодействия (и консолидированных уже постфактум), в другие формы, которые лучше представляют их действительную каузальную структуру. Для этого требуется «программа эмпирической идентификации, изучения и объяснения рассказанных историй, а затем – сравнения и соединения логических структур этих историй с наиболее подходящими каузальными описаниями релевантных процессов»²⁸.

²⁸ Tilly Ch. Micro, Macro, or Megrim? // *Mikrogeschichte – Makrogeschichte: komplementär oder incommensurabel?* / Hg. v. Jürgen Schlumbohm. Göttingen, 1998. S. 35-51. См. перевод статьи: Тилли Ч. Микро, макро или мигрень? // *Социальная история. Ежегодник – 2000. М., 2000. С. 3-16.*

Если на первом этапе радикальный сдвиг ракурса социально-исторического исследования вылился в дуализм макро- и микроистории с их несовместимыми понятийными сетками и аналитическим инструментарием (например, несовместимыми оказались такие ключевые понятия, как «контекст»: в макроанализе контекст трактуется как некое единое социальное пространство²⁹, а в микроистории – как совокупность множества различающихся локальных контекстов), то уже к середине 1990-х был накоплен большой опыт конкретных исследований, позволивший представить различные варианты решения теоретико-методологической проблемы интеграции микро- и макроподходов. В наиболее общем виде (и, разумеется, условно) эти варианты могут быть обозначены, как «романский» (или «франко-итальянский»), «англосаксонский» и «германский».

Базовые принципы новой парадигмы – *другой социальной истории* – были сформулированы в результате плодотворного сотрудничества ведущих представителей итальянской школы микроистории и французских историков, группирующихся вокруг журнала «Анналы». Основные принципы «другой социальной истории», зафиксировавшие смещение исследовательского интереса в сторону мотиваций и стратегий индивидуального и коллективного поведения в русле идей выдающегося французского социолога Пьера Бурдьё, нашли свое воплощение и осмысление в материалах, подготовленных под руководством Бернара Лепти и Жака Ревеля двух коллективных изданий, сразу ставших широко известными: «Формы опыта. Другая социальная история» и «Игры с масштабами. От микроанализа к опыту»³⁰.

²⁹ См., в частности: Collins R. Macro-History: Essays in Sociology of the Long Run. Stanford, 1999.

³⁰ Les formes de l'expérience: Une autre histoire sociale / Sous la dir. de B. Lepetit. P., 1995; Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience / Textes rassemblés et présentés par J. Revel. P., 1996. Согласно социологии («структуралистскому конструктивизму») П. Бурдьё, действия людей и

В своем развернутом предисловии ко второму сборнику Жак Ревель констатировал существование двух разных позиций по вопросу о соотношении микро- и макроанализа. Первая – «релятивистская», которая основывается на принципе вариативности масштаба, видя в этом исключительный ресурс плодотворности, поскольку делается возможным конструирование сложных объектов и «учет многослойной структуры социального». Сторонники этого подхода не отдают предпочтения ни одному масштабу, видя преимущество для исследователя именно в «игре с масштабами». Приверженцы второй платформы («фундаменталистской»), «считают, что в производстве социальных форм и отношений “микро” порождает “макро”, и защищают, таким образом, абсолютное предпочтение первого, поскольку именно на этом уровне, согласно их позиции, “происходят действительно причинные процессы”». По словам Ревеля, в обоих случаях в центре внимания – опыт акторов в социокультурном контексте», и здесь «нет альтернативного выбора между подходом, отдающим предпочтение идентификации универсальных символических систем, и подходом, который пытается постичь то, что разыгрывается в незавершенном процессе истории. Однако следует признать, что эти две операции продуцируют разные конструкции социального»³¹.

Приведенные выше соображения Ж. Ревеля свидетельствуют о близости его позиции к пониманию эвристического потенциала новой парадигмы одним из «пионеров» итальянской микроистории Э. Гренди, который, рассматривая проблему выбора социального или культурного контекста для микроанализа, подчеркивал содержательную глубину понятия «социальная практика» и кардинальное отличие логики такого анализа «от той, в которую вписывается методологический инди-

социальных групп, в той или иной мере располагающих различными ресурсами экономического, социального и культурного капитала, воспроизводят или видоизменяют существующую структуру их распределения.

³¹ Revel J. Presentation // *Jeux d'échelles...* P. 7-14. [P. 13].

видуализм, исходящий лишь из межличностных отношений (сстей взаимоотношений, взаимных противоречий, взаимного посредничества и т.д.). Мы остаемся в любом случае в рамках “антропологического подхода”: реконструкция культуры происходит через исследование разнообразной социальной практики...»; при этом специального внимания заслуживает «то обстоятельство, до какой степени эти имплицитно выраженные формы действия, устанавливающие схемы поведения и ценностные ориентиры, принимаемые обществом (вот откуда возникает потребность не сводить “культурное” к “ментальному”!), напрямую связаны с данным пространством, данным местом, данной территорией... Мне представляется очевидным тот факт, что этот подход неотделим от восприятия инаковости, неповторимости всякого исторического опыта, от подхода к прошлому как к иной, “другой” стране, т.е. от всего того, что только и может гарантировать корректность исследовательской практики». Акцентируя «двойственный характер микроисторического анализа», Гренди констатировал, что «изначальный выбор между социальной и культурной контекстуализациями остается относительно абстрактным и делает отчасти возможным переход впоследствии из одной в другую»³². Кажется вполне естественным продолжением этого хода мыслей позиция, акцентирующая неразделимость анализа социальных норм и культурных моделей.

Важнейший постулат «социальной истории культурных практик» состоит в следующем: практики развиваются в рамках институтов, в соответствии с нормами и ограничениями разного порядка, под контролем власти, но они, в свою очередь, являются источником мутаций институтов, замещения норм и производства новых властных отношений. Так формулируется концепция «культурной истории социального», центральным вопросом которой является соотношение между

³² Гренди, Эдоардо. Еще раз о микроистории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. М., 1997. С. 296-298.

нормами, представлениями (репрезентациями) и практиками. Ключевым становится тезис о культурном многообразии, который указывает на существование в культуре «разломов», или «разрывов», возникающих вследствие половозрастных, социальных, экономических, этнических, политических различий. Эти различия обуславливают специфическое восприятие и усвоение общекультурного фонда в процессе социализации и, соответственно, дифференциацию принимаемых индивидами или группами «культурных моделей». Помещая в фокус анализа не номенклатуру существующих в обществе социальных групп, категорий или страт, а непрерывный процесс их становления, «другая социальная история» ориентируется также на анализ локальных интерпретаций социальной структуры и государственной системы, порождающих «диалогические договорные отношения между центром и периферией»³³. Таким образом, изучение индивидуального поведения действующих лиц истории в «микроисторическом масштабе» позволяет лучше понять и макросоциальные процессы.

Главные проблемы исследования состоят в определении процедур согласования между собой социальных институтов и норм, с одной стороны, и действий индивидов, с другой; в идентификации процессов формирования и трансформации социальных организаций и групп; в совмещении анализа социальных институтов с анализом поведения конкретных индивидов³⁴. Странники «другой социальной истории»,

³³ Revel J. L'institution et le social // Les formes de l'expérience... P. 84. См. также: Stedman Jones, Gareth. Une autre histoire sociale // Annales. Histoire. Sciences Sociales. 1998. A. 53. No. 2. P. 383-392; Sur l'histoire sociale // Ibid., P. 393-394.

³⁴ Ведь «значительная часть нашего бессознательного есть не что иное, как история образовательных институтов, продуктом которых мы являемся», в результате чего формируется готовность и склонность «агента» реагировать, говорить, ощущать, думать определенным способом. Бурдье П. За рационалистический историзм // Социологос-97. С. 25.

группирующиеся вокруг «Анналов», считают, что институты и нормы не являются чем-то «внешним по отношению к социальному полю». Социальные институты и нормы рождаются в ходе взаимодействий индивидов, результатом которых являются так называемые «договоренности», «соглашения».

В целом, определяющими для понимания новой концепции являются такие понятия, как «практики», «взаимодействия» («транзакции»), «договоренности» или «соглашения» («конвенции»), «репрезентации» и «дискурсы». Так социальная история обретает свой новый язык.

Преимущества «другой социальной истории» были блестяще продемонстрированы в работах Симоны Черутти по туринским профессиональным корпорациям XVII–XVIII вв.³⁵ Провозгласив свое исследовательское кредо – изучать «процесс, а не объект», Черутти применила процессуальный подход к истории локальных социальных институтов, сосредоточившись не на их функциях, а на анализе индивидуальных и семейных стратегий, поляризовавших городское социально-политическое пространство. В очерченном поле взаимодействий внутри каждой профессии вместо гомогенной корпоративной идентичности обнаружился сложный клубок сталкивающихся интересов, конкурирующих союзов, чередующих ссор и переговоров. Таким образом, центральная задача состояла в том, чтобы выяснить связь между индивидуальной рациональностью и коллективной идентичностью.

Изучая процесс формирования социальных групп торгово-ремесленного населения в Турине, С. Черутти сосредоточилась не на выяснении социальной принадлежности индивидов, а на реконструкции их индивидуального и коллективного

³⁵ Cerutti S. La Ville et les Métiers. Naissance d'un langage corporatif (Turin, 17e–18e siècle). P., 1990; *Eadem*. Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition // Les formes de l'expérience... P. 127–149; *Eadem*. Processus et expérience: individus, groupes et identités à Turin, au XVIIe siècle // Jeux d'échelles... P. 161–186.

опыта. «Их жизненные пути, отношения, которые они завязывали, определяли широту и качественные характеристики их социальных позиций, как и те ограничения, которые могли влиять на выбор ими тех или иных решений. В этом смысле, социальные отношения становились контекстом, в который вписывались их биографии (курсив мой. – Л. Р.)»³⁶. Черутти пришла к заключению о том, что отношения в производственно-экономической сфере не могли полностью сформировать групповое сознание туринских коммерсантов, поскольку их социальный опыт был разносторонним и противоречивым. Групповое сознание проявилось только перед лицом одновременных притеснений с разных сторон. Не будучи детерминированным общим положением в городской иерархии, форма и состав которой были предметом постоянного соперничества, оно возникло в результате утраты свободы действий во многих социальных полях. И центральный вывод: социальные процессы, вызвавшие «сужение институционального пространства», не были продуктом воздействия внешних сил: они оказались непреднамеренным и непредвиденным результатом (курсив мой. – Л. Р.) конкурентной борьбы «между теми самими индивидами, которые стали впоследствии их жертвами»³⁷.

Впрочем, главный итог работы Симоны Черутти, с точки зрения методологии «другой социальной истории», состоит в ином, а именно в отчетливо выявленной взаимозависимости между двумя уровнями – индивидуального поведения и институциональных отношений – и в использовании общего концептуального инструментария, независимо от масштаба анализа. Было показано, что разрыв между намерениями акторов и совокупным эффектом их действий может быть очень сильным, но при этом только «раскодирование индивидуального опыта» позволяет понять характер социальных групп и институтов.

³⁶ Cerutti S. Processus et experience... P. 184.

³⁷ Ibidem.

На становление «англосаксонского» варианта огромное влияние оказала теория структуриации выдающегося британского социолога Энтони Гидденса, который, разделяя позиции «критической социологии», получившей распространение еще в 1970-е годы, стремился, с одной стороны, преодолеть крайности функционализма и структурализма, лишавшие субъекта действия элементарной свободы, а с другой – крайности герменевтики, вовсе не находящей места для социальных структур³⁸. Критика функционализма велась сразу по четырем направлениям: за редуцирование человеческой деятельности к интериоризации ценностей, за неспособность объяснить жизнь общества как активно конституируемую посредством действий его членов, за отношение к власти как вторичному феномену, в отличие от норм и ценностей, которые рассматривались как основа социальной деятельности и главный объект социальной теории, за неспособность концептуализировать договорный характер норм, открытых различным интерпретациям и отражающих различные (в том числе и сталкивающиеся) интересы в обществе.

Главные постулаты социальной теории Гидденса состоят в следующем. Общество создается, воспроизводится и изменяется в результате деятельности его членов. Люди, действия ко-

³⁸ *Giddens A.* 1) *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration.* Berkeley, 1984; 2) *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretive Sociologies.* N.Y., 1976; 3) *Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis.* L.; Berkeley, 1979; 4) *Profiles and Critiques in Social Theory.* Berkeley, 1982; 5) *The Consequences of Modernity.* Stanford, 1990; 6) *Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age.* Cambridge, 1991; 7) *Politics, Sociology and Social Theory.* L., 1995; 8) *In Defence of Sociology.* Cambridge, 1996; 9) *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives.* L., 1999; etc. Некоторые важнейшие труды Гидденса переведены на русский язык: *Гидденс Э.* Устроение общества. Очерк теории структуриации. М., 2005 (1 изд. – 2003); *он же.* Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004; *он же.* Социология. М., 2005.

торых творят историю, воспроизводят общественную систему не по собственному произвольному выбору, а исходя из условий, в которых они находятся, и которые далеко не до конца осознаны и поняты ими. Социальная реальность выступает как дуальность структуры и действия. В процессе общественной практики формируются социальные структуры – «правила» и «ресурсы», используемые людьми в их взаимодействии. «Правила» создают саму возможность рациональной деятельности, участвуя в воспроизводстве социальной системы, моральных норм и отношений власти. «Ресурсы» представляют собой материальные средства и организационные способности действующих лиц, причем власть сама по себе не относится к ресурсам, а является результатом обладания ими. Различаются три измерения структуры: *сигнификация*, в рамках которой действующие субъекты осуществляют общение и рационализируют свои действия с помощью интерпретативных схем; *доминирование*, возникающее из асимметрий в распределении ресурсов; и *узаконивание*, посредством которого различные формы поведения утверждаются при помощи норм. Структура существует только в виде отпечатков в памяти и «возникает» в момент ее опредмечивания в действии. Формируя поведение людей, структура может быть изменена в результате их действий, последствия которых нельзя полностью предвидеть, причем отдаленные последствия принципиально непредсказуемы, поскольку развертывающиеся действия меняют социальный порядок. Непреднамеренные последствия целенаправленных индивидуальных и социальных действий могут затем сами стать условиями для последующих действий.

Несмотря на критику, которой подвергли теорию Гидденса ряд авторитетных коллег-социологов³⁹, многие британ-

³⁹ Archer, Margaret. Morphogenesis Versus Structuration: On Combining Structure and Action // British Journal of Sociology. 1982. Vol. 33. N 4. P. 455-483; Eadem. Social Integration and System Integration: Developing the Distinction // Sociology. 1996. Vol. 30. N 4. P. 679-699; Pleasants N.

ские, американские и другие практикующие историки англоязычного мира принимают теорию структуризации⁴⁰.

Как правило, в исторических работах речь не идет об открытой артикуляции положений, лежащих в основе теории структуризации, но их исследовательская платформа приближается к тому, что Крис Ллойд назвал «реляционным структуризмом»⁴¹. Согласно этой модели, социальные структуры понимаются как совокупность правил, ролей, отношений и значений, «в которых люди рождаются, и которые создаются, воспроизводятся и преобразуются их мыслью и действием». Именно люди «инициируют изменения, но их креативная деятельность и инициатива являются социально вынужденными. <...> люди имеют действенную силу, а структуры – обуславливающую». *Реляционный структуризм «отвергает легитимность той дихотомии действия и общества, на которую другие – индивидуалистическая и холистская онтологии – опираются, и пытается концептуализировать действие и общество как взаимопроизводящую дуальность» (курсив мой. – J. P.)*⁴².

Концепция возникающей структуры требует многоуровневого видения социокультурного пространства⁴³. Историки

Free to Act Otherwise? A Wittgensteinian Deconstruction of the Concept of Agency in Contemporary Social and Political Theory // History of the Human Sciences. 1997. Vol. 10. N 4. P. 1-28; Mestrovic S. Anthony Giddens: The Last Modernist. L., 1998; King A. The Structure of Social Theory. L., 2004; Idem. The Odd Couple: Margaret Archer, Anthony Giddens and British Social Theory // British Journal of Sociology. 2010. Vol. 61. N 1. P. 253- 260; etc.

⁴⁰ В этой связи любопытно, что некоторые коллеги считают возможным квалифицировать социологию Гидденса как «британский историзм». См.: Dominguez J. M. Evolution, History and Collective Subjectivity // Current Sociology. 1999. Vol. 47. P. 1-34.

⁴¹ Lloyd C. Explanation in Social History. Oxford, 1986. Chapter 14.

⁴² Lloyd C. The Structures of History. Oxford, 1993. P. 43.

⁴³ Взаимодействие относительно автономных макро- и микроуровней реализуется в объективированных контекстах – институциональном и культурном. См., в частности: Advances in Social Theory and

могут описывать действия индивида или группы в социокультурных пространствах, выстраивающихся по ранжиру от макроструктур (например, группы государств или их экономических, социальных и культурных систем) до структур среднего уровня (политических институтов, корпораций, социальных организаций, региональных субкультур) и микроструктур – «наверху», «внизу», «в центре» и на общественной периферии (олигархии, элитные клубы, маргинальные группы, семьи). Индивиды и группы имеют разную действенную силу и определяют баланс причинности различными способами, макро- и микроструктуры могут быть организованы в различные схемы, более того, структурные отношения изменяются разными темпами (иногда катастрофически), и возможности действующих субъектов предположительно меняются вместе с ними⁴⁴.

Нет и не может быть единого, отвлеченного от конкретной исследовательской ситуации, рецепта интеграции микро- и макроподходов, и именно логическая разноразмерность делает их комбинационные возможности исключительно перспективными. Имеются многочисленные образцы практического решения этой проблемы, опирающиеся на различные методики локального анализа и исследования исторических случаев, последовательно вписываемых в более широкие контексты. Исследовательские процедуры строятся на перемежающихся переходах между микро- и макроуровнями.

Образцом гармоничной комбинации макро- и микросоциальных подходов может служить классическое казуальное исследование, проведенное британским историком Ричардом Кастом на материале судебного процесса по иску некоего Томаса Бьюмонта из Лестершира против соседа-джентльмена о распространении клеветнических утверждений относительно

Methodology. Toward an Integration of Micro- and Macro-Sociologies / Ed. by K. Knorr-Cetina, A. V. Cicourel. Boston; L., 1981. Ср.: The Micro-Macro Link / Eds. Jeffrey C. Alexander et al. Berkeley, 1987.

⁴⁴ Lloyd C. The Structures of History. Oxford, 1993. P. 43.

неподобающего сексуального поведения его жены и детей (1607 г.)⁴⁵. В это время судебные иски о сексуальных оскорблениях и о защите чести и достоинства были распространенным явлением, и материалы этих процессов не прошли мимо внимания социальных историков, которым удалось извлечь из местных архивов тысячи дел о клевете. Одна из целей Р. Каста заключалась в том, чтобы показать, какие перспективы могут быть раскрыты, если попытаться интегрировать интенсивный анализ подобных казусов с более традиционными методами истории политической культуры раннего Нового времени.

Центральным моментом исследования является анализ концепций «чести», игравших ключевую роль в данном деле и по-разному артикулируемых в судебных показаниях участников процесса. Опираясь на антропологическое определение понятия чести как связующего звена между общественными идеалами и их воспроизводством в индивидуе, стремившемся эти идеалы персонифицировать, исследователь превратил развернутый анализ наличного спектра концепций «чести» в средство изучения коллективно разделяемых ценностей и норм (как важнейших императивов индивидуального поведения), а также способов социальной конкуренции индивидов, пытающихся сохранить или повысить свой статус в этом обществе.

Автор исходит из того, что репутация индивида в обществе определяется сложной амальгамой суждений и оценок, которые могут иметь отношение к его должности либо к признанию со стороны властей, но могут зависеть и от таких вещей, как гостеприимство, демонстрация личных качеств, прочность семейных уз, сексуальное поведение. «Приватное» и «публичное» оказываются постоянно и неразрывно сплетенными, особенно в раннее Новое время, когда семья обычно воспринималась как некий микрокосм общества и государства.

⁴⁵ *Cust R. Honour and Politics in Early Stuart England: The Case of Beaumont v. Hastings // Past & Present. 1995. No. 149. P. 57-92.*

Р. Каст исчерпывающим образом проанализировал всю серию дискурсов о чести, зафиксированных в материалах судебного процесса, разбирая показания его участников, отражавшие их взгляды и ценности. Показания женщин акцентировали заботу о «женской чести», которая однозначно определялась как репутация, главные слагаемые которой – добропорядочность и чистота (в сексуальном смысле). Но гораздо громче прозвучали дискурсы о мужской и дворянской чести. В одном из них делается упор на благородство крови и линияжа и на кодекс чести, основанный на чувстве собственного достоинства. Но было в ходу и другое представление о чести, в котором подчеркивались такие качества, как мудрость, образованность, благочестие и сдержанность. Наконец, лишь частично перекрывая оба эти представления, выстраивались дискурсы, выдвигающие на первый план верность монарху, служение государству и законопослушность. Каждая из этих концепций чести оказывается выраженной разными способами и приемлемой для различных целей, согласно обстоятельствам. Особенно очевидной эта подвижность становится в еще одном дискурсе, который выявляется в данном казусе и связывает понятие чести со способностью утвердить патриархальную власть в семье. Кстати, этот последний аспект понятия чести свидетельствует об исключительной проницаемости границ между «частным» и «публичным» в рассматриваемый период. Автор подтверждает это наблюдение и материалами других судебных казусов, в которых рассматривались сексуальные обвинения против должностных лиц как свидетельство их непригодности именно в качестве таковых.

Пристальное изучение текста судебного дела и его исторического контекста, к которому автор обращается на всех этапах исследования, позволило показать сколь разнообразными были концепции «чести» в раннестюартовской Англии, и убедительно доказать, что было бы заблуждением отдавать приоритет какой-то одной из них, рассматривая остальные как

маргинальные. Принципиально важно, однако, отметить, что это последнее утверждение явилось результатом уже не казуального исследования, а сравнительного анализа сделанных наблюдений с данными обширного комплекса нормативных источников и выводами, полученными на серийном материале. Р. Каст намеренно акцентировал это обстоятельство, признавая существенную ограниченность казуального исследования, которую он видит в том, что, раскрывая все нюансы богатого спектра представлений в каждый данный момент, оно оказывается не в состоянии описать их изменения во времени. Последняя исследовательская задача требует иного подхода, макросоциального анализа, позволяющего распознать общественные и культурные сдвиги, в данном случае – протестантскую реформацию, растущую обеспокоенность ослаблением патриархальной власти в семье и расширением полномочий центрального правительства, т.е. все те факторы, которые сообща участвовали в преобразовании концепций чести.

Размышляя над подобной исследовательской ситуацией, другой крупный британский историк Ч. Фитьян-Адамс охарактеризовал ее предельно точно. Он, в частности, указал на то, что современный историк, который пытается посвятить себя исследованию социальных структур, социальных процессов, культурных представлений и ожиданий в том виде, как они проявляются на всех уровнях от локального до национального, должен сделать «самый первый и обманчиво простой шаг»: представить, как люди того времени вели себя по отношению друг к другу, «согласно собственным конвенциям, в реальных ситуациях непосредственного общения, в самых разных обстоятельствах широкого спектра – от нормальных к аномальным». Ставится задача с максимальной полнотой выявить весь возможный репертуар непосредственных intersубъективных взаимодействий в данном культурном пространстве, с учетом их разнообразных стратегий и характерных проявлений. «Не поняв этого, вообще нельзя постичь инаковость прошлого, не

говоря уже о тех более формальных суперструктурах разного рода, которые возвышаются над индивидом в каждом обществе: то, что мы теперь называем социальной структурой, в конце концов, складывается или должно складываться из бесчисленных регулярностей, наблюдаемых в практике повседневных социальных отношений»⁴⁶. Изучая проявления конфронтаций, историк неизбежно сталкивается с рядом трудностей, прежде всего – с неравномерностью имеющейся документации по отдельным аспектам межличностной коммуникации. С учетом этого обстоятельства и должна быть выстроена вся исследовательская стратегия, базирующаяся на казуальном подходе.

На первом этапе реконструируются отдельные аспекты поведения индивида, которые формировали его предположительно нормативную, санкционированную обществом модель, включая широкий репертуар символических действий.

Отталкиваясь от этой модели, на втором этапе исследователь обращается от идеала к реальности, к подробнейшему описанию и анализу конкретного межличностного взаимодействия в изменчивых и всегда непредвиденных обстоятельствах подвижной структуры социального пространства. Обоснованием данного шага является кажущийся парадоксальным тезис о том, что существенные характеристики социальной организации общества рельефнее всего проявляются в тех пунктах, где она, на первый взгляд, кажется наиболее уязвимой и, таким образом, теоретически наименее эффективной. Задачей этого этапа становится «реконструкция межличностного столкновения как детализированного процесса локального взаимодействия»⁴⁷ с целью выяснить наличие или отсутствие каких-либо сдерживающих, заданных обществом правил. Речь идет о социально «санкционированных» и передаваемых через культуру спосо-

⁴⁶ *Phythian-Adams Ch. V. Rituals of Personal Confrontation in Late Medieval England // Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester. 1991. Vol. 73. No. 1. P. 65-90. [P. 66-67].*

⁴⁷ *Ibid. P. 73.*

бах межличностной коммуникации, наборе прагматических установок, статусно дифференцированных «образцов» поведения и высказывания в соответствующих ситуациях.

Достичь желаемого уровня детализации позволяет казуальный подход. В центре внимания историка – исключительно полно представленное свидетельскими показаниями дело Дж.Чилтона из Стаффорда (1540 г.) по факту личной ссоры, завершившейся насильственными действиями. Рассмотрение эпизода во всех его живописных деталях обнаруживает логику определенного поведенческого кода, разнообразных приемов демонстрации намерений, наконец, набор максимально допустимых и переходящих допустимые границы действий. В данном конкретном случае был выявлен метафорический характер большинства зафиксированных конфронтаций, в которых за угрозами применения насилия скрывалась надежда на то, что в действительности осуществление его в указанной форме вовсе не потребует: гиперболизированный язык угроз был, таким образом, демонстрацией агрессивных намерений, то есть своеобразным «последним предупреждением».

Наконец, вернувшись к обобщающим процедурам с опорой на сравнительный анализ длинной серии казусов данного типа, историк приходит к выводу о характере зафиксированных взаимодействий, скрытых мотивов, ожиданий и интенций и суммирует некоторые основные правила ритуала конфронтации, обнаруженные в свидетельствах. По отношению к преувеличенному нормативно-вежливому поведению этот дедуктивно выявленный кодекс конфронтации⁴⁸ оказывается на противоположном полюсе широкого спектра ритуальной коммуникации. Однако, будучи скорректировано примирительными конвенциями повседневности, такое поведение видится «не столько все менее узнаваемым продолжением нормы, сколько в общих чертах признаваемой ее частью <...> ритуалы кон-

⁴⁸ См.: Ibid. P. 88-89.

фронтации представляли институализацию приемлемого физического и, конечно, словесного насилия как неотъемлемой части общей социальной организации этого периода, в особенности поскольку она выражалась в локальных формах»⁴⁹.

Таким образом, отталкиваясь от микросоциального анализа атипичных (и даже экстремальных) случаев, историк ставит перед собой более масштабную задачу исследования социокультурного контекста, проявляя границы его возможностей. При этом он постоянно меняет ракурс, в котором рассматривает свой объект: последний то разбухает, занимая все видимое поле (и даже не вмещаясь в него целиком), то «теряет лицо» в длинном строю «фактов» поглотившей его совокупности. И эта исследовательская тактика, которую можно назвать компенсационной, оказывается абсолютно адекватной: ведь чем пристальнее историки рассматривают отдельные эпизоды и действия индивидов, тем больше отходят на второй план социальные процессы и структуры, а при переключении фокуса на крупномасштабные структуры и процессы, из поля зрения исчезают акторы и их персональные истории.

Третий («германский») вариант был предложен Мартином Дингесом, который не только использовал его в своих конкретных исследованиях и защищал в полемике со сторонниками «социально-научной истории», но также выступил с программной статьей на страницах альманаха «Одиссей»⁵⁰. Критикуя социологию Пьера Бурдьё за «параллелизм экономического, социального и культурного, который «вызывает иллюзию их реальной разделенности и равновесности», Дингес развернул исследовательскую программу «культурной истории повседневности» (*Alltagskulturgeschichte*), которая, как ему

⁴⁹ Ibid. P. 90.

⁵⁰ Дингес М. Историческая антропология и социальная история: через теорию «стиля жизни» к «культурной истории повседневности» // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 96-124.

представляется, могла бы объединить достижения социальной истории и исторической антропологии и которая «исходит из интегрального представления о культуре и полагает, что культура есть медиум, воспринимающий воздействия со стороны прочих сфер (экономической, социальной, политической, религиозной) и их структурирующий». В качестве исходной теоретической посылки «культурной истории повседневности» предлагается теория «стилей жизни», разработанная на основе социологического понятия о «стилях поведения»⁵¹.

Более общую категорию «стилей жизни» Дингес определяет как «сравнительно устоявшийся тип решений, принимаемых индивидами или группами, делающими выбор из предлагаемых им обществом вариантов поведения. Индивиды, группы или общества могут целенаправленно культивировать стили жизни, чтобы тем самым обозначить социальные различия и сформировать свою идентичность». «Стили жизни» понимаются им как «структурированные во времени и пространстве модели образа жизни, которые зависят от ресурсов (материальных и культурных), от типа семьи и хозяйства, а также от ценностных установок. Ресурсы определяют жизненные шансы, возможности выбора в каждой данной ситуации; тип семьи и хозяйства есть характеристика экзистенциальной, жилищной и потребительской ячейки; и, наконец, ценностные установки определяют главные жизненные цели, формируют ментальности и выражаются в специфическом хабитусе»⁵².

⁵¹ Там же. С. 105–106. В социологии «стили поведения» определяются как относительно устойчивые модели поведения индивидов или групп в той или иной сфере жизнедеятельности.

⁵² Там же. С. 106–107. В социологии «стили жизни» рассматриваются как одна из характеристик образа жизни. Стил жизни акцентирует внимание на субъективной стороне человеческой деятельности, мотивах, формах поступков, социально-психологических особенностях повседневного поведения и общения людей. Между тем как ключевое понятие психологии личности «стиль жизни» выражает творческую реакцию ин-

Мартин Дингес подчеркивает, что теория стилей жизни делает возможным подлинно комплексный анализ социальных структур, способный выявить «как структурообразующий эффект поведения индивидов и групп, так и обратное воздействие социальных структур на поведение людей». При этом важно, наряду с устойчивыми вариантами, не упускать из виду и изменяющиеся (в течение жизни или в зависимости от ситуации) формы поведения, «поскольку именно они зачастую представляют собой отправные точки последующих исторических перемен». «В то время как изучение стилей поведения может быть плодотворным при исследовании поведения конкретных исторических субъектов в конкретных ситуациях, анализ стилей жизни более непосредственно подводит к изучению социальных групп и целых обществ»⁵³.

Интересно, что свои теоретико-методологические постулаты М. Дингес иллюстрирует на примере анализа все таких же случаев оскорбления и защиты чести и достоинства, о которых говорилось выше: он эмпирически реконструирует стили поведения по материалам изученных им судебных казусов, имевших место в Париже XVIII века. Действительно, конфликты подобного рода ставили участников в напряженную ситуацию выбора из структурно обусловленных возможностей (вызывающее поведение, оскорбительные слова, угрожающие жесты, рукоприкладство, эскалация насилия, вмешательство соседей, гражданский иск) и особенно стимулировали «индивидуальное стилиобразование». Для того чтобы продемонстрировать эффективность теории стилей поведения в «культурной истории повседневности», автор привлекает внимание читателя к тому обратному действию, которое оказывали выбираемые стратегии (стили поведения) на структуры распределения

дивида на опыт первых лет жизни, который влияет на всю картину его восприятия себя и мира, на его эмоции, мотивы и действия. (См.: Адлер А. Понять природу человека. СПб., 1997. С. 249).

⁵³ Там же. С. 107.

влияния в рамках общества. Отметив, что аристократы не так легко решались переходить от вербальных оскорблений к оскорблению действием, как представители других социальных групп, и зафиксировав меньшую склонность к применению насилия в конфликтах по поводу чести как стиль поведения высшего слоя общества, Дингес приписывает ему «дистинктивное значение» и влияние на образование классовых структур. Растущее число посягательств на честь лиц, занимающих более высокое общественное положение, оценивается аналогичным образом: как нарушения «межклассовых границ» и «зачаточная форма» расшатывания существующей иерархии. Результат, т.е. реальное изменение распределения экономических и политических ресурсов в данном обществе, «зависит от того, сколько индивидов переймут такой стиль поведения»⁵⁴. Применение более широкой аналитической категории «стилей жизни» (они обычно складываются из нескольких стилей поведения) позволяет обнаружить как механизмы социокультурной репродукции, так и процессы структурных перемен.

В итоге получаем модель, «до боли» напоминающую процесс структуризации Гидденса. Индивиды и группы действуют в условиях асимметричного распределения ресурсов и относительно свободного выбора стилей жизни и поведения. «Закрепившийся выбор, осуществленный множеством действующих лиц, оказывает обратное воздействие на распределительные структуры общества... Изменившиеся структуры распределения гендерных ролей, экономических, социальных, политических и культурных ресурсов, в свою очередь, изменяют условия, в которых реализуются стили жизни и поведения»⁵⁵.

В том же плане можно говорить и о российской школе микроисторических исследований выдающегося отечественного историка Ю. Л. Бессмертного. Открывая первый выпуск на-

⁵⁴ Там же. С. 112.

⁵⁵ Дингес М. Указ. соч. С. 118.

учного альманаха «Казус», вышедшего в свет в 1997 г., он изложил программные цели и принципы оригинальной модели казуального подхода⁵⁶. Думаю, что это теоретическое обоснование исследовательской программы заслуживает внимательного рассмотрения в свете современной историографической ситуации. Прежде всего, стоит привести перечисленные автором «оправдания» предлагаемого им подхода.

Во-первых, указав на многозначность самого слова *казус*, автор проекта счел необходимым отметить, что это общее понятие «подразумевает при разговоре о прошлом прежде всего нечто конкретное, поддающееся более или менее подробному описанию». Однако в рассказе о «различных “случаях”, наполняющих человеческую жизнь» и дающих читателю возможность почувствовать «аромат времени», он видел «ближайшую», но не главную задачу предпринимаемого издания⁵⁷.

Во-вторых, был сделан акцент на анализ ситуации выбора, проблемы возможностей, существовавших у индивида в разных обществах, и роли неординарных действий отдельно взятого человека в изменении принятых в обществе стереотипов⁵⁸: «Соглашусь, что индивидуальное поведение может изучаться и через анализ случаев, в которых человек выбирает между различными вариантами принятых норм. Но наиболее показательны все-таки казусы, в которых персонаж избирает вовсе не апробированный до сих пор вариант поведения. Это может быть поведение, пренебрегающее нормами или, наоборот, абсолютизирующее их (и потому шокирующее окружающих попыткой воплотить недостижимые для большинства идеалы). В таких случаях виднее, *что может человек данной группы в данное время и в данной конкретной ситуации*; этот тип казусов показательнее для решения нашей сверхзадачи –

⁵⁶ Бессмертный Ю. Л. Что за «Казус»?.. // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. М., 1997. С. 7-24.

⁵⁷ Там же. С. 7.

⁵⁸ Там же. С. 8.

осмысления возможностей отдельного человека на разных этапах исторического прошлого»⁵⁹. И в связи с этим ставилась задача изучить общественный резонанс исключительных и случайных событий, и соответственно – дать ответ на вопрос «какие условия в разные периоды прошлого способствовали такому резонансу уникальных казусов (включая в их число и нестандартные поступки отдельных индивидов)»⁶⁰. Наличие общественного резонанса, сохраняющего необычное событие в социальной памяти, рассматривалось как необходимое условие превращения просто странного эпизода в исторический казус.

В-третьих, анализ казусов способен раскрыть «культурную уникальность времени», увидеть «то, что *особенно* как раз для данной эпохи», он «невиданно приближает к тому Другому, которого стремится рассмотреть в прошлом всякий историк»⁶¹. Вписывая казуальный подход в общую тенденцию микроистории с ее «пристрастием к выбору очень небольших исторических объектов: судьба одного конкретного человека, события одного единственного дня, взаимоотношения в одной отдельно взятой деревне на протяжении относительно небольшого периода», Ю. Л. Бессмертный подчеркивал: «Исследование не привлечавших раньше внимания подробностей позволяло увидеть этот объект в принципиально новом свете, рассмотреть *за ним* (курсив мой – Л. Р.) иной, чем виделся предшествующим поколениям исследователей, круг явлений». В конечном счете, именно этот «круг явлений», который исследователь стремится рассмотреть *за объектом* своего микроанализа, *за казусом*, оказывается главной проблемой⁶².

⁵⁹ Споры о «Казусе». [Ю. Л. Бессмертный] Ответы на вопросы // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. С. 306.

⁶⁰ Бессмертный Ю. Л. Что за «Казус?...» С. 9.

⁶¹ Там же. С. 10.

⁶² Касаясь итальянской микроистории 1970-х – 1980-х годов, избравшей межличностные отношения в качестве основного предмета анализа (см.: Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус. Индивидуаль-

Как можно в микроаналитической перспективе увидеть то, что выходит за пределы чувствительности ее «оптики»? По признанию Ю. Л. Бессмертного, «параллельное применение» микро- и макроанализа «выступает как трудно достижимый идеал. Ведь взгляд на какой бы то ни было феномен прошлого “с близкого расстояния” не способен воспроизвести одновременно и “общий план”: для этого нужен совсем иной “объектив”, который, увы, будет скрадывать детали»⁶³.

Положительно оценивая антифункционалистский пафос «другой социальной истории», Ю. Л. Бессмертный, однако, считал, что ее сторонники в вопросе о связи между поведением индивида и социальным контекстом «существенно сужают его пространственные рамки»⁶⁴. Эффективность анализа казусов, проявляющих нестандартные, нетипичные поступки и действия конкретных людей, виделась ему именно в раскрытии взаимодействия индивидуального выбора и общепринятых моделей поведения и, соответственно, в ориентации «на посильную реализацию принципа «дополнительности» микро- и макроанализа, на поиск путей их сопряжения. С этим связана и идеальная, с его точки зрения, форма повествования: сначала – в виде *зачина* – рассказ о конкретном казусе, затем попытка «осмыслить *контекст* рассмотренного случая. Здесь анализ действий индивида как бы пересекается с анализом социальной ситуации и более протяженных общественных процессов. Изучение конкретного фрагмента сме-

ное и уникальное в истории. 1996. С. 292), Ю. Л. Бессмертный обращал внимание на то, что конкретность и полнота анализа давали возможность выяснить причины и мотивы действующих лиц, но при этом «возможности генерализации собранных наблюдений оказывались здесь под вопросом. Еще менее ясным представлялся способ включения изученного микрообъекта в более широкий социальный контекст». *Бессмертный Ю. Л. Что за «Казус»?... С. 11.*

⁶³ Там же. С. 14.

⁶⁴ Там же. С. 18.

няется исследованием его социального резонанса и последствий. В этой части... рассказ уступает место обзору накопленных по данному вопросу научных сведений, с тем чтобы на этой базе можно было бы осмыслить суть и последствия изученного казуса. Именно здесь эксплицитно или имплицитно освещается роль индивида в общественном развитии»⁶⁵.

Значимый момент в программе Ю. Л. Бессмертного звучен идеям, высказываемым всеми сторонниками «другой истории» – интерес к культурному измерению прошлого и изучению мнений и намерений действующих лиц, их собственных мотивировок, представлений и всей культурной оснастки, тех индивидуализирующих различий, которые превращали жизненный опыт каждого человека в уникальный. По убеждению ученого, «в рамках казуального подхода каждый исторический персонаж видится заведомо отличным от действующих параллельно с ним персонажей (даже если речь идет о равноправных членах одной и той же общественной группы); эти отличия складываются за счет бесконечного многообразия конкретных жизненных ситуаций, особенностей их восприятия и реакций на них со стороны их участников, многоликости социальных ролей, достигающихся отдельным людям, не говоря уже об их психофизических и когнитивных различиях»⁶⁶.

В свое время американский историк Дэвид Ливайн сравнил дилемму микро- и макроистории с ситуацией в познании природного мира: «Изучение истории требует от нас организовывать множества событий в хронологические последовательности и структуры <...> Это противоречие создает проблему для социальной истории: признавать процесс общественных изменений и одновременно постигать эти структуры так, как они переживались людьми прошлого. По

⁶⁵ Там же. С. 20.

⁶⁶ Споры о «Казусе». [Бессмертный Ю. Л.] Ответы на вопросы // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. С. 307.

существо, эта проблема подобна той, которая была поставлена Максом Планком и Вернером фон Гейзенбергом в попытке прийти к согласию с новым пониманием физического мира, когда общие теории оказались неспособными объяснить поведение микрочастиц. Здесь требуются два типа объяснения – каждое из них зависит от типа задаваемых вопросов, причем каждый из этих способов исследования является “правильным” в своей части... Средние показатели могут нам кое-что прояснить, но слишком часто их анализ извращается скрытым предположением о том, что “все картофелины в мешке похожи друг на друга”. И это верно, если мы сравниваем их с бананами. Однако если мы сравниваем их друг с другом, тогда различия становятся более важными и более реальными. Ведь это как раз те различия, которые понимались и переживались людьми прошлого... Но, обращая внимание на эти различия, которые индивидуализировали мужчин и женщин и превращали их жизненный опыт в уникальный, *следует избежать феноменологической ловушки* (курсив мой. – Л. Р.) <...> Именно выяснение средних показателей дает возможность лучше осознать степень соответствия между общественными нормами и реальным поведением... Но сами по себе они не могут рассказать нам о том, как эти нормы интерпретировались индивидами, которые слишком часто изучаются в этом “общем мешке”. Только заглядывая за эти средние показатели и рассматривая способы, которыми социальные нормы инкорпорировались в повседневность, мы можем понять жизненный опыт людей прошлого. Ключ к пониманию предложен Бурдьё в концепции “стратегий”, которая прямо признает разнообразие конкурирующих интересов внутри кажущегося господства нормативных стандартов»⁶⁷.

⁶⁷ *Levine D. Tunnel Vision // Theory and Society. 1980. Vol. 9. № 5. (Problems in Social History: A Symposium). P. 677-678.*

Версия казуального подхода, предложенная Ю. Л. Бессмертным, не ведет в «феноменологическую ловушку», поскольку, будучи ориентирована на понимание сложного взаимодействия структур и акторов, на максимальный учет обратной связи с контекстами разного уровня, предполагает как одну из ключевых задач определение степени соответствия между реальным поведением конкретных индивидов и общественными нормами. Близость казуального подхода к «другой социальной истории» ученый видел в осознании комплементарности микро- и макроанализа, в акцентировании преобразующей и интерпретирующей функций конкретного индивида, «посвоему выбирающего линию поведения»⁶⁸. Отвечая же на вопрос о специфике предлагаемой им версии микроанализа, Ю. Л. Бессмертный обратил внимание на «интерес к возможностям и функциям отдельного человека в разные эпохи и к соответствующим казусам, в которых выявляется *противостояние* конкретного астега и окружающей его социальной среды». Понимание этого *противостояния* связывалось им с реализацией поставленной для казуальных исследований сверхзадачи – ответом на вопрос о том, в каких пределах индивид обладал свободой воли, «насколько мог противостоять групповым стереотипам и общему “ходу вещей”»⁶⁹.

В заключительном слове Ю. Л. Бессмертный глубже раскрыл социокультурную направленность своего подхода,

⁶⁸ Казус–1996. С. 307. Именно тезис о «двуедином» видении прошлого, при котором требуется «с одной стороны, исследование общественных и групповых стереотипов и структур, а с другой – своеобразия каждого доступного... анализу изолированного казуса и фигурирующего в нем индивида» (Бессмертный Ю. Л. Метод // Человек в мире чувств... С. 20), вызвал критику с позиции «экзистенциального» варианта персональной истории, в центре внимания которого оказывается «динамика внутреннего мира индивида, а не его “внешние” деяния, его сознание, а не его общественная практика». Подробно об этом см. ниже, гл. 7.

⁶⁹ Там же. С. 307-308.

согласно которому исследователь, изучая действия людей прошлого в любой сфере, в первую очередь должен интересоваться тем, как они сами понимали свою деятельность, «как к ней относились, насколько стандартно вели себя в ней, в какой мере (и насколько успешно) пытались ее перестроить и т.д. <...> Там где удастся с достаточной полнотой осмыслить заботы, чаяния и приоритеты отдельных действовавших в прошлом лиц, историк получает, на мой взгляд, редкостную возможность максимально приблизиться к главному предмету своих изысканий – человеку других эпох. В подобных случаях открывается самое заветное в прошлом, а средостение, извечно отделяющее историка от изучаемых героев, становится наименее непрозрачным. И даже если исследователю открываются при этом всего лишь один-два субъекта из отдаленного прошлого, осмысление их образов дает колоссально много для понимания всего их мира. Это – как телескоп, позволивший рассмотреть пусть лишь одно живое существо на далекой планете. Конечно же, на той планете могут быть и совсем другие “гуманоиды”. Но даже рассмотрев лишь одного из них, мы уже совершили бы гигантский прорыв в познании другой жизни... Объясняется это тем, что стержнем любого сообщества одухотворенных существ выступает его культурная уникальность. Именно ее важно постичь как в мирах иных, так и в каждой из эпох прошлого. Поэтому одна из важнейших задач исторического познания – в том, чтобы осмыслить конституирующие элементы культурного универсума прошлого, включая естественно в первую очередь своеобразие восприятия и поведения людей и их психофизические, ментальные, когнитивные и иные особенности. Если казуальный анализ позволяет сделать это по отношению хотя бы к отдельным людям той или иной эпохи, он уже оправдывает себя и может считаться одним из перспективных инструментов историка»⁷⁰.

⁷⁰ Казус–1996. С. 316-317.

Этот фрагмент заключительного слова заслуживает самого внимательного прочтения. Обращение к «телескопической» оптике, призванной выявить культурную уникальность «сообщества одухотворенных существ», переносит нас к началу нового поворота в теоретико-методологической рефлексии Ю. Л. Бессмертного, которая, хотя и опиралась на казуальный проект, но по существу выходила за его рамки, – я имею в виду размышления историка (к несчастью, не завершённые) о «странном прошлом», вызывающем удивление исследователя как немислимое в собственной логике, о принципиально иных логических основаниях миропонимания и поведения людей отдаленных эпох, о необходимости отказа от интеллектуального насилия над прошлым, проистекающего из «достаточно самонадеянной позиции, в основе которой уверенность, что люди прошлого были подобны нам по своему внутреннему миру и восприятию»⁷¹.

Интересный эксперимент, связанный с применением в социально-историческом анализе логического инструментария «теории игр» (математической теории качественного анализа целенаправленных действий индивидов и групп), был обстоятельно рассмотрен А. Л. Ястребицкой⁷² на материале статьи профессора Стенфордского университета А. Грайфа «Теория игр и исторический анализ институтов. Экономические институты Средневековья»⁷³.

⁷¹ Бессмертный Ю. Л. Странное счастье рыцаря // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2002. М., 2002. С. 54.

⁷² Ястребицкая А. Л. «Другая» социальная история в поиске объяснительных моделей социальной целостности: об одной публикации во французском журнале «Анналы. История, социальные науки» (Аналитический обзор) // XX век. Методологические проблемы исторического познания. Сборник обзоров и рефератов. Часть 2. М., 2002. С. 50–85.

⁷³ Greif A. Théorie des jeux et analyse historique des institutions: Les institutions économique du Moyen Age // Annales: Histoire. Sciences sociales. P., 1998. A. 53. No. 3. P. 597–635.

Математическая «теория игр», как известно, исходит из того, что индивиды не только имеют разные интересы, но и располагают для осуществления своих целей «теми или иными свободно выбираемыми ими способами действий». Таким образом, речь идет о социальной детерминации, вытекающей не из универсальных законов, а из индивидуальных действий («из индивидуальных поведенческих актов»). Формализованные аналитические процедуры «теории игр» направлены на то, чтобы выяснить, каким образом достигаются ситуации «равновесности», когда ни один из «игроков» не может увеличить свой «выигрыш» (или уменьшить «проигрыш») за счет изменения своей стратегии, или каковы должны быть «конфигурации» рационального сочетания индивидуальных и коллективных интересов, чтобы обусловить «осуществление цели» (в случае объединения – «коалиции» игроков) и т.д.⁷⁴

А. Грайф опирается на «новый институциональный анализ» – выработанный в экономической науке анализ интерактивных сетей, социально-психологических и культурных механизмов, которые направляли деятельность экономических ассоциаций («организаций») и их функционирование в качестве «саморегулятивных институтов». Связав логическое моделирование «теории игр» с микроаналитическим конструированием социального опыта индивидов и групп – конкретных поведенческих стратегий, практик взаимодействия и их рационально-психологических мотиваций, Грайф применяет эту модель к средневековому обществу, исследуя логику принятия решений, результаты которых воплощаются в социальных отношениях и оформляющих их сообществах.

В центре внимания оказываются: политический институт подеста в итальянских городах XII–XIII вв., купеческие гильдии и союзы городов, формы ассоциаций средиземноморского

⁷⁴ Подробнее см.: фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М., 1979.

купчества, ярмарочные и рыночные суды, а также соответствующие каждому из этих институтов типы логического моделирования поведенческих ситуаций, которые обеспечивали их воспроизводство. Исходя из того, что торговой экспансии и интеграции рынков на рубеже Средневековья и раннего Нового времени благоприятствовали новые практики, направленные на упорядочивание отношений между купцами и их агентами (судовладельцами и мелкими торговцами, осуществлявшими заморские экспедиции) и призванные уменьшить издержки, избежать непредвиденного риска, разнообразить сбыт и т.п., Грайф, с помощью «теории игр», моделирует формы контрактных отношений, вызвавшие к жизни институты, которые позволяли купцам налаживать отношения сотрудничества.

В этой связи привлекают особое внимание известные социологические теории, исходящие из необходимости учета индивидуальной рациональности (т. е. расчетов индивида по оптимизации своей ситуации) и подчеркивающие взаимодополнительность рационального выбора и социальных норм (норм потребления, распределения, взаимоотношений, наказаний и т.д.) как коллективно разделяемых императивов поведения. Речь идет о «теории социальных норм» как важнейшей категории мотивации действия, несводимой к рациональности⁷⁵.

Направляющая роль в действиях индивидов (и таким образом – в «производстве и воспроизводстве социального по-

⁷⁵ См., в частности: *Elster J. The Cement of Society. A Study of Social Order. Cambridge, 1989. P. 98.* Лоран Тевено предлагает при анализе конкретной ситуации социального взаимодействия рассматривать повседневные навыки, используемые акторами для оценки происходящего, определения стратегий действия и разрешения проблем. *Thévenot L. Rationalité ou normes sociales: une opposition dépassée? // Le modèle et l'enquête. Les usages du principe de rationalité dans les sciences sociales / Dir. par L.-A. Gérard-Varet et J.-C. Passeron. P., 1995.* См. перевод этой статьи: *Тевено, Лоран. Рациональность или социальные нормы: преодоленное противоречие? // Экономическая социология. 2001. Т. 2. № 1. С. 88-122.*

рядка»), приписываемая двумя основными социологическими традициями – индивидуализмом и холизмом – социальным нормам, ценностям и институтам, видится объединяющим моментом, несмотря на нерешенные концептуальные проблемы (точнее – несмотря на противоположные по установкам решения) относительно роли власти, господства и принуждения в возникновении, сохранении и изменении социальных норм⁷⁶.

Горан Терборн в своей статье, по его собственному определению, «скромно-примиряющей и в то же время амбициозно-критической», советовал «посмотреть, как различается поведение действующих, принадлежащих к разным культурам и занимающих разное место в структуре, в различных культурных и структурных ситуациях» и подчеркивал: «недавняя междисциплинарная дискуссия вновь укрепила старое социологическое убеждение в том, что нормы, верования и идентичности нередуцируемы к целерациональности. Разрядить напряженность между этими двумя соперничающими выводами – вот, на мой взгляд, самый верный путь»⁷⁷.

Попытка в канун второго столетия развития социологии «консолидировать накопленные знания» в рамках «типично социологического подхода» предполагала признание комплементарности двух описанных конкурирующих парадигм⁷⁸. Прямым аналогом этой когнитивной ситуации является обсуждение перспектив «консолидации» макроистории, «чувствительной к воздействию структурных ограничений, осуще-

⁷⁶ *Zafirovski, Milan Z.* Spencer is Dead, Long Live Spencer: Individualism, Holism, and the Problem of Norms // *British Journal of Sociology*. 2000. Vol. 51. No. 3. P. 553-579. (P. 573).

⁷⁷ *Терборн Г.* Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке // *THESIS*. 1994. Т. II. Вып. 4. С. 115.

⁷⁸ *Therborn, Göran.* At the Birth of Second Century Sociology: Times of Reflexivity, Spaces of Identity, and Modes of Knowledge // *British Journal of Sociology*. 2000. Vol. 51. No. 1. P. 37-57. (P. 53).

ствляемых на протяжении большой длительности (*longue durée*)), и микроистории, столь же «чувствительной к попыткам и способности социальных агентов договориться между собой в ситуации неопределенности»⁷⁹.

Нельзя не заметить, что активные методологические поиски конца XX – начала нынешнего столетия велись зачастую по разным интеллектуальным каналам, но практически параллельным курсом и, по сути, в одном направлении.

Используя обновленный аналитический инструментарий и понятийный аппарат социологических теорий⁸⁰, позволяющих исследовать роль индивидуального начала в повседневных социальных практиках в контекстах разных уровней, сторонники социокультурной истории вовсе не отказываются от изучения макропроцессов. Линия раздела, по существу, пролегает сегодня уже в иной плоскости – между двумя принципами осмысления исторического процесса: с одной стороны, посредством «наложения» априорных, универсальных концепций, и, с другой – вероятностными методами, позволяющими моделировать индивидуальные поведенческие практики и коллективные социальные действия, исходя из эмпирических данных. В последнем случае только и могут позитивно реализоваться эпистемологические ожидания, связанные с «другой социальной историей», которая предполагает обращение «от микроанализа к опыту» (вспомним подзаголовок сборника под редакцией Ж. Ревеля) и к изучению структурных сдвигов, но уже на новой теоретической и мировоззренческой основе.

С этой платформы ведется критика социального и культурного детерминизма, который рисует индивидов как полно-

⁷⁹ Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 262.

⁸⁰ См. их описание в книге: Ритцер, Джордж. Современные социологические теории. М., 2002; а также обсуждение состояния социальной истории: Journal of Social History. 2003. No. 4; Eley G., Nield K. The Future of Class in History: What's Left of the Social? Ann Arbor, 2007.

стью формируемых либо социальными, либо культурными факторами. Интегральная модель связывает воедино анализ всех уровней социальной реальности. При этом во всем подчеркивается активность действующих лиц: индивиды не только естественно сопротивляются властям, которые обучают их правилам, ролям, ценностям, символам и интерпретативным схемам, – они имеют тенденцию обучаться не тому, чему их учат, поскольку индивиды не только интерпретируют и преобразуют то, чему их научили, в соответствии со своими нуждами, желаниями и принуждением обстоятельств, но их рецепция культуры также отражает причуды культурной трансмиссии. Таким образом, процессы социализации и аккультурации не дают единообразных результатов, к тому же люди часто *ре-социализируются* и *ре-культуризируются* в разные моменты своей жизни и в различных социокультурных локациях. Это плюралистическое и динамическое видение социального мира влечет за собой множество следствий: гораздо более богатое понятие социокультурной гетерогенности, чем предполагалось раньше, гораздо более сложную картину социокультурных изменений, больший простор для деятельности (как индивидуальной, так и коллективной) и для случайности.

Важное следствие методологического характера – процессуальный подход к анализу форм социальной жизни и социальных групп сквозь призму их непрерывной интерпретации, поддержания или преобразования в практической деятельности взаимодействующих социальных агентов. Таким образом, процесс переопределения самой категории «социального» в концептуальном аппарате социокультурной истории опирается на социальную праксеологию, объединяющую структурный (нормативный) и феноменологический (интерпретативный, или конструктивистский) подходы⁸¹.

⁸¹ Согласно социологии П. Бурдьё, структуры социального универсума «ведут двойную жизнь», выступая, с одной стороны, как «реаль-

Сегодня противопоставление культурного и социально-исторического анализа не в состоянии описать различия между исследовательскими методами, существующими внутри микроистории. Возведя в эвристический принцип непрерывную смену уровней и масштабов и переходя от людей к структурам и обратно, «другая социальная история» во всех ее рассмотренных версиях дает возможность реализовать в конкретном историческом исследовании интегративный потенциал современного социокультурного анализа.

Так были ли основания говорить о драматическом «конце социальной истории»? За последние полвека кардинальные сдвиги в самом толковании понятия «социального» вновь и вновь перекраивали концептуальное пространство социальной истории, сводя воедино некоторые ее формы и размежевывая другие. Старая «новая социальная история», во всех ее вариантах с ограниченным пониманием социальности, действительно угасла, и в условиях, когда подверглось сомнению само существование социальной истории как области исторического знания, преодоление кризиса потребовало предельного расширения ее исследовательской перспективы. Те, кто поспешил объ-

пость первого порядка», данная через распределение материальных ресурсов и средств присвоения престижных благ и ценностей, а с другой – как символическая реальность, или «реальность второго порядка», – в представлениях, стереотипах мышления и поведения социальных агентов, которые «непрерывно конституируют социальный мир через практическую организацию повседневной жизни». – *Бурдьё П.* Социология политики. М., 1993. С. 16. В этой модели нет односторонней детерминации, поскольку «когнитивные структуры, которыми оперируют социальные агенты для познания социального мира, являются инкорпорированными социальными структурами». – *Bourdieu P.* La distinction: critique sociale du jugement. Paris, 1979. P. 544. В другой терминологии, речь идет о включенности объективных условий опыта в его субъективное переживание. – См.: *Barth F.* Process and Form in Social Life. L., 1981.

явить о «конце социальной истории», по существу, имели в виду формы социально-исторического знания, которые уже уступили авансцену другим, выдвинувшимся им на смену в результате длительного и непрерывного творческого процесса – критического пересмотра собственных теоретических оснований. В *новейшей* социальной истории базовые концепции социальной структуры, культуры, индивида перестают рассматриваться как некие отделенные друг от друга онтологические сущности и понимаются как взаимосвязанные аспекты, или измерения, человеческого поведения и социального взаимодействия.

Таким образом, переосмыслив опыт недавнего прошлого в условиях эпистемологического кризиса, ведущая часть мирового научного сообщества оказалась способной, творчески используя теоретический арсенал микроанализа, накопленный в современном обществоведении, закрепив эпистемологические принципы микроистории и кардинально преобразовав свой понятийный аппарат⁸², разработать новые модели, призванные избавить социальную историю от ставших тесными форм.

Социальная история в ее новейшем модусе, ориентированная на комплексный анализ субъективного и объективного, микро- и макроструктур в человеческой истории, превратилась в своей основе в историю *социокультурную*.

⁸² См. обсуждение состояния социальной истории: *Journal of Social History*, 2003. No. 4. Ср.: *Eley G., Nield K. The Future of Class in History: What's Left of the Social?* Ann Arbor, 2007.

ГЛАВА 3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ ПОСЛЕ «ПОСТМОДЕРНА»

Если сравнить некоторые аспекты историографической ситуации середины XX столетия с ситуацией конца XX – начала XXI в., то контрасты бросаются в глаза. Это, прежде всего, принципиальные различия в понимании характера взаимоотношений историка с источником, предмета и способов исторического познания, содержания и природы исторического знания, определения его статуса и формы изложения, а также возможностей последующих интерпретаций исторического текста. Одним из наиболее заметных знаков перемен, произошедших в конце XX века, стало интенсивное использование в исторических работах источников литературного происхождения с помощью теорий и методов, заимствованных из современного литературоведения.

Наряду со словом «кризис», практически не сходящим со страниц научно-исторической периодики конца XX века, на них замелькали ставшие не менее популярными фразы «лингвистический поворот» и «семиотический вызов». Появилось множество публикаций, обзоров, полемических выступлений, зачастую весьма эмоциональных, а иногда просто панических. На рубеже 1980-х и 1990-х гг. прошли серьезные (по содержанию) и резкие (по тональности выступлений) теоретические дискуссии на страницах научных журналов (*"History & Theory"*, *"American Historical Review"*, *"Speculum"*, *"Past & Present"*, *"The Monist"* и др.). В бурных научных де-

батах, в которых принимали активное участие и философы истории, и сами историки, в том числе признанные лидеры мирового научно-исторического сообщества, оттачивались обсуждаемые новые концепции, совершенствовались формулировки, создавалась платформа для будущего консенсуса¹. Многочисленные монографические исследования и коллективные сборники статей отразили не только вызовы времени, с которыми столкнулись историки на рубеже двух веков и эпох, но и весь спектр реакций на эти вызовы.

¹ См.: *Ankersmit F. R.* The Dilemma of Contemporary Anglo-Saxon Philosophy of History // *History and Theory*. 1986. Vol. 25. No 1. P. 1-28; *Partner N. F.* Making up Lost time: Writing on the Writing of History // *Speculum*. 1986. Vol. 61. N 1. P. 90-117; *Carr D.* Narrative and the Real World // *History and Theory*. 1986. Vol. 25. N 2. P. 117-131; *Toews J. E.* Intellectual History after the Linguistic Turn // *American Historical Review*. 1987. Vol. 92. N 4. P. 879-907; *Brown R. H.* Positivism, Relativism and Narrative in the Logic of the Historical Sciences // *American Historical Review*. 1987. Vol. 92. N 4. P. 908-920; *Hobart M. E.* The Paradox of Historical Constructionism // *History and Theory*. 1989. Vol. 28. N 1. P. 43-58; *Ankersmit F. R.* Historiography and Postmodernism // *History and Theory*. 1989. Vol. 28. N 2. P. 137-153; Forum. Intellectual History and the Return of Literature // *American Historical Review*. 1989. Vol. 94. N 3. P. 581-626; *Spiegel G. M.* History, Historicism and the Social Logic of the Text in the Middle Ages // *Speculum*. 1990. Vol. 65. N 1. P. 59-86; *Krausz M.* History and its Objects // *The Monist*. 1991. Vol. 74. N 2. P. 217-229; *Reisch G. A.* Chaos, History, and Narrative // *History and Theory*. 1991. Vol. 30. N 1. P. 1-20; *Norman A. P.* Telling it Like it Was: Historical Narratives on their Own Terms // *History and Theory*. 1991. Vol. 30. N 2. P. 119-135; *McCullagh C. B.* Can Our Understanding of Old Texts be Objective? // *History and Theory*. 1991. Vol. 30. N 3. P. 302-323; *Mazlich B., Strout C., Jurist E.* History and Fiction // *History and Theory*. 1992. Vol. 31. N 2. P. 143-181; *Bevir M.* The Errors of Linguistic Contextualism // *History and Theory*. 1992. Vol. 31. N 3. P. 276-298; *Martin R.* Objectivity and Meaning in Historical Studies // *History and Theory*. 1993. Vol. 32. N 1. P. 25-50; *Zammito J. H.* Are We Theoretical yet? The New Historicism, the New Philosophy of History and "Practising Historians" // *Journal of Modern History*. 1993. Vol. 65. N 4. P. 783-814; etc.

3.1. «Вызов постмодернизма» и его последствия

Главный «постмодернистский вызов» истории был направлен против ее представления об исторической реальности и, следовательно, об объекте исторического познания, которые выступали в новом толковании не как нечто внешнее познающему субъекту, а как то, что конструируется языковой и дискурсивной практикой. Язык стал рассматриваться как смыслообразующий фактор, детерминирующий мышление и поведение: ведь именно «язык, благодаря своим “обязательным категориям” (а не только запретам) заставляет нас мыслить так, а не иначе»². Тем не менее, в семиотическом анализе специфика языка и дискурса, активно воздействующих на социальные процессы, определяется социальным контекстом.

Однако вслед за семиотическим отрицанием «невинности» малых лингвистических форм по отношению к описываемой ими внеязыковой действительности, было подвергнуто сомнению и сокрушительной критике представление о «естественности» исторического дискурса как такового, проблематизировано само понятие и предполагаемая специфика исторического нарратива как формы адекватной реконструкции прошлого, предельно акцентирован креативный характер исторического повествования, выстраивающего неравномерно сохранившиеся, отрывочные и нередко произвольно отобранные сведения источников в последовательный временной ряд.

По-новому был поставлен вопрос не только о возможной глубине исторического понимания, но и о привычных критериях объективности и способах контроля со стороны исследователя над собственной творческой деятельностью³.

² Барт Р. Избранные работы. М., 1994. С. 375.

³ Gorman J. L. Objectivity and Truth in History [1974] // History and Theory: Contemporary Reading / Ed. by B. Fay et al. Oxford, 1998. P. 320-341. См. также: Gorman J. L. The Truth of Historical Theory // Storia della storiografia. 2006. No. 48. P. 38-48.

От историка потребовалось пристальнее вчитываться в тексты, использовать новые средства, чтобы раскрыть то, что скрывается за прямыми высказываниями, и расшифровать смысл на первый взгляд едва различимых изменений в языке источника, анализировать правила и способы прочтения исторического текста той аудиторией, которой он предназначался, и многое другое⁴. Серьезные изменения в связи с формированием постмодернистской парадигмы произошли и в сфере профессионального сознания и самосознания историков: они заставили пересмотреть сложившиеся представления о месте истории в системе научного знания, ее внутренней структуре и исследовательских задачах.

Итак, постмодернистская парадигма, которая прежде захватила господствующие позиции в литературоведении, распространив свое влияние на все сферы гуманитарного знания, поставила под сомнение «священных коров» историографии: 1) само понятие исторической реальности, а с ним и собственную идентичность историка, его профессиональный суверенитет (стерев казавшуюся нерушимой грань между историей и литературой), 2) критерии достоверности источника (размыв границу между фактом и вымыслом) и, наконец, 3) веру в возможности исторического познания и стремление к объективной истине⁵. История была приравнена, с одной стороны, к

⁴ Развернутый анализ языка, логики и структуры исторического нарратива см.: Кизюков С. Типы и структура исторического повествования. М., 2000. См. также монографию (особенно главы о теории нарратива и типах наррации) ведущего историка-«деконструкциониста»: Munslow A. Narrative and History. Basingstoke, 2007.

⁵ Выразительно звучало название книги «Та благородная мечта», в которой обсуждался вопрос об объективности истории. Novick P. The Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession. Cambridge, 1988. И в последние два десятилетия проблема взаимоотношений постмодернизма и исторической науки не теряет актуальности: Windschuttle K. The Killing of History: How Literary Critics and Social Theorists Are Murdering Our Past. San Francisco, 1996; Joice, Patrick. The

литературе (и акцентирована роль эстетического критерия в оценке исторического текста), а с другой – к идеологии⁶.

Распространение приемов литературной критики на анализ исторических текстов было связано с концептуальными разработками американских гуманитариев во главе с автором «тропологической теории истории»⁷, признанным лидером постмодернистского теоретического и методологического обновления историографической критики Хейденом Уайтом. Заметим, однако, что и в этом направлении наступления на историю как науку говорить о полноценном «реванше литературы»⁸ не приходится: объектами постмодернистских исследований оказались преимущественно близкие к стилистике исторической прозы тексты «литераторствующих» историков

Return of History: Postmodernism and the Politics of Academic History in Britain // *Past & Present*. 1998. No.158; *Clark J. C. D.* Our Shadowed Present: Modernism, Postmodernism and History. L., 2003; *Thompson W.* Postmodernism and History. Basingstoke, 2004.

⁶ См., в частности: *The Postmodern History Reader* / Ed. by Keith Jenkins. L.; N.Y., 1997. Подчеркивалась «литературность» исторических текстов, выбор жанров, построение сюжета, использование риторических и стилистических приемов, символов, образов, метафор. (См.: Вжозек В. Историография как игра метафор // *Одиссей. Человек в истории*. 1991. М., 1991. С. 60-74). «В наиболее радикальном понимании труд историка становится фактом *литературы*, а историческое познание – формой эстетического осмысления мира». *Парамонова М. Ю.* «Несостоявшаяся история»: аргумент в споре об исторической объективности? Заметки о книге А. Деманда и не только о ней // *Одиссей. Человек в истории*. 1997. М., 1998. С. 341.

⁷ *White H.* *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. Baltimore; L., 1973; *Idem.* *Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism*. Baltimore; L., 1978; *Idem.* *The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation*. Baltimore; L., 1987. См. рус. пер.: *Уайт Х.* *Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века*. Екатеринбург, 2002.

⁸ *Orr L.* *The Revenge of Literature: A History of History* // *New Literary History*. 1986. Vol. 18. No. 1. P. 1-22.

XIX века, а ведь, по признанию того же Х. Уайта, «историки, которые не желают “нарративизировать” события прошлого, а хотят только “сообщать” то, что нашли в архивах “о том, что случилось в прошлом”, делают нечто отличное от того, что историки делали столетиями, “рассказывая некую историю”»⁹.

Кульминация противостояния двух полярных позиций – «лингвистической» и «объективистской», «постмодернистских критиков» и «ортодоксальных реалистов» – пришлась на рубеж 1980–1990-х гг., однако итоги этой «позиционной войны» оказались не столь сокрушительными, как это представлялось. По мере усвоения поначалу казавшихся сумасбродными идей, все больше стали звучать голоса «умеренных», призывающие оппонентов к взаимопониманию. Сначала среди желающих найти компромисс ведущую роль играли философы, занимающиеся проблемами эпистемологии¹⁰. Несколько позднее естественный протест историков против крайностей «лингвистического поворота» был конвертирован в конструктивные предложения и весомые аргументы в пользу так называемой «средней позиции», выстроенной вокруг ставшей в настоящее время центральной концепции «исторического опыта».

⁹ Интервью с Хейденом Уайтом // Диалог со временем. 2005. Вып. 14. С. 344. Уайт уверен, что аргументы историков «должны больше основываться на здравом смысле, чем быть научными, и они должны излагаться в форме нарратива, а не в форме логической демонстрации». (Там же. С. 343).

¹⁰ Приоритет здесь принадлежит известному голландскому философу Ф. Р. Анкерсмит: *Ankersmit F. R. Narrative Logic. A Semantic Analysis of the Historian's Language*. The Hague, 1983; *Idem. The Reality Effect in the Writing of History; The Dynamics of Historiographical Topology*. Amsterdam etc., 1989; *Idem. History and Topology. The Rise and Fall of Metaphor*. Berkeley, 1994; *Idem. Sublime historical experience*. Stanford, 2005; etc. См. также переводы его книг на русский язык: *Анкерсмит Ф. Нарративная логика: семантический анализ языка историков*. М., 2003; *Он же. История и тропология: взлет и падение метафоры*. М., 2003; *Он же. Возвышенный исторический опыт*. М., 2007.

К середине 1990-х гг. «третья платформа», отличная и от научно-объективистской, и от лингвистической, была уже сформулирована. «Умеренные» нашли точку опоры в существовании реальности вне дискурса, независимой от представлений о ней и воздействующей на эти представления, в том, что невозможность *прямого* восприятия ушедшей в небытие реальности не означает полного произвола историка в ее «конструировании», и круг разделяющих эту позицию постепенно расширялся¹¹. Такую позицию, при всей ее привлекательности, нельзя назвать комфортной, так как «на границе, отделяющей твердую почву дискурсивных свидетельств от необозримой глади внетекстуальных, внеязыковых практик, современный историк стремится установить связи между ними и не поддаться искушению поставить знак равенства между логикой высказывания и логикой поведения и поступка»¹². С пониманием, хотя и несколько иронически, высказался об этом известный польский методолог Войцех Вжозек: «... Те, кто ищет в этом хаосе какого-либо порядка, с удовольствием поддаются очарованию компромиссных предложений, расположенных между модернизмом и постмодернизмом. Они удовлетворяют свою потребность в наличии порядка мышления и одновременно не хотят отказаться от языка модернизма, воспринимая мир в духе постмодернизма. Эта позиция позволяет, в сущности, сохранить непрерывность в культуре, обеспечивает общение и, если кто-то хочет, создает возможность эффективного объяснения нового образа мира»¹³.

¹¹ *Chartier R.* Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories // *Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives* / Ed. by D. LaCapra, S. L. Kaplan. Ithaca, 1982; P. 41. 18-th International Congress of Historical Sciences. Montreal, 1995. P. 159-181.

¹² *Шаф И. К.* Роже Шартье: итог двух десятилетий // *Одиссей. Человек в истории.* 2000. М., 2000. С. 288-295. (С. 294)

¹³ *Вжозек, Войцех.* Интерпретация человеческих действий. Между модернизмом и постмодернизмом // *Проблемы исторического*

Абсолютно верное замечание о неискоренимой потребности в сохранении «порядка мышления» способствует более глубокому пониманию мотивации самых упорных «защитников истории»¹⁴. Между тем, в отличие от «ортодоксальных реалистов», историки, разделяющие «среднюю платформу», радикально переосмыслили свою практику с учетом «лингвистического поворота»¹⁵, хотя и готовы были признать его лишь «поскольку он не доходит до того крайнего предела, за которым отрицается само понятие истории, отличное от понятия литературы»¹⁶. Решительно отвергая «постмодернистское расщепление истории (и поглощение ее текстологией)» и оценивая возможность «историописания в век постмодернизма», Г. Спигел писала: «Гибкая оценка способов, посредством которых постмодернизм мог бы помочь перестроить и углубить исторические исследования, несомненно оказалась бы разумным путем приобщения к его принципам, вовсе не обязываю-

познания. Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. / Отв. ред. Г. Н. Севостьянов. М., 1999. С. 153.

¹⁴ См.: *Evans R. J. In Defence of History*. L., 1997.

¹⁵ Как подчеркивал А. Я. Гуревич, «было бы ошибочным отрицать тот факт, что постмодернистская критика историографии обнаружила действительные слабости в методологии историков. Она как бы разбередила раны, на которые историки до недавнего времени не обращали должного внимания». *Гуревич А. Я. Историк конца XX века в поисках метода // Одиссей. Человек в истории*. 1996. М., 1996. С. 7.

¹⁶ *Stone L. History and Postmodernism // Past and Present*. 1992. N 135. P. 191; *Spiegel G. History, Historicism and the Social Logic of the Text in the Middle Ages // Speculum*. 1990. Vol. 65. N 1. P. 59-86; *Eadem. The Past as Text: The Theory and Practice of Medieval Historiography*. Baltimore, 1997; *Chartier R. On the Edge of the Cliff: History, Language, and Practices*. Baltimore, 1997; *Stråth B. The Postmodern Challenge and a Modernised Social History // Societies Made up of History / Eds. R. Björk, K. Molin. Edsbruk 1996. P. 243-262*. См. также: *Шартье Р. История сегодня: сомнения, вызовы, предложения // Одиссей. Человек в истории*. 1995. М., 1995. С. 192-205; *Спигел Г. М. К теории среднего плана: историописание в век постмодернизма // Там же*. С. 211-220.

шим нас присоединяться к его крайним формам. Но даже если бы мы захотели (а хотят этого немногие), мы никогда не сможем вернуться к самоуверенным гуманистическим допущениям позитивистской историографии XIX в.»¹⁷.

Выход был найден в парадигме «новой социокультурной истории», интерпретирующей социальные процессы разных уровней сквозь призму культурных представлений, символических практик и ценностных ориентаций. Наряду с освоением приемов литературной критики, внимание было привлечено к «социальной логике текста» – к внелингвистическим характеристикам дискурса, связанным с биографическим, социально-политическим, событийным, духовным контекстами, в которых был создан текст, а также с целями, интересами и мировоззренческими ориентациями его создателя¹⁸. В результате нарастания этой тенденции в 2000-е годы, стало выглядеть более обоснованным резюме Л. Стоуна (в дискуссии 1992 года), которое тогда могло показаться чересчур оптимистичным: «Я верю, что возможно найти общую платформу, на которой сойдутся большинство историков моего поколения и наиболее осмотнительные из постмодернистов. Мое возражение в отношении работ историков, ослепленных соблазнами “дискурса”, возникает только тогда, когда они доводят свое утверждение автономии “дискурса” до признания его совершенно независимым историческим фактором, что делает невозможным объяснение изменений на основе более сложного взаимодействия материальных условий, идеологии и власти»¹⁹.

¹⁷ *Стигел Г. М.* К теории среднего плана: историописание в век постмодернизма // *Одиссей. Человек в истории.* 1995. М., 1995. С. 219.

¹⁸ Там же. С. 214-219. О «генерирующей» роли логики и эстетики в конструировании исторического нарратива см.: *Topolski, Jerzy.* The Role of Logic and Aesthetics in Constructing Narrative Wholes in Historiography // *History and Theory.* 1999. Vol. 38. No. 2. P., 198-210.

¹⁹ *Stone L.* History and Postmodernism // *Past and Present.* 1992. No. 135. P. 191.

Рассматривая проявление новых тенденций в историописании, будет излишним еще раз констатировать неразрывность интеллектуальных процессов в сфере гуманитарного знания. В то же время, особенно в связи с жаркими баталиями, которые сопровождались созданием образа покушающегося на суверенитет истории внешнего врага, представляется существенно важным подчеркнуть, что в своей основе новые тенденции вовсе не были навязаны извне. Будучи одним из проявлений всеобщего культурного сдвига, «лингвистический поворот» воплотил в себе все то, что длительное время оставалось невостребованным и казалось утраченным, но постепенно вызревало в самой историографии, и то, что было переработано ею в лоне междисциплинарной «новой истории». И сегодня следует признать, что, по меньшей мере, один «пророк» уже в 1971 году в совершенно не располагающих к тому обстоятельствах отметил начало поворота «к такому типу истории, который характеризуется тесной близостью с литературой»²⁰.

Задолго до «лингвистического поворота» стала очевидной и необходимость структурной перестройки всех исторических дисциплин. Старое деление на экономическую, политическую, социальную историю и историю идей изжило себя, хотя до поры эта перестройка проходила латентно на постоянно разбухавшем исследовательском поле, колонизованном в свое время новой социальной историей с ее переплетающимися и перетекающими одна в другую субдисциплинами.

Пожалуй, наиболее отчетливо ощущение континуитета в историографии второй половины XX века сквозь призму личных воспоминаний выразил тот же Л. Стоун: «Когда я был еще очень молод... меня учили следующим вещам... тому, что надо писать ясно и понятно; что историческая истина недостижима, а любые выводы предварительны и гипотетичны и всегда могут быть опровергнуты новыми данными... что все мы подвержены пристрастиям и предрассудкам — националь-

²⁰ *Marwick A. The Nature of History. N.Y., 1971. P. 266.*

ным, классовым и культурным... что документы – мы не называли их в те дни текстами – написаны людьми, которым свойственно ошибаться, делать ложные утверждения и иметь свои собственные идеологические позиции... а потому следует принимать в расчет намерения авторов, характер документа и контекст, в котором он был создан; что восприятия и представления о реальности часто весьма отличны от этой реальности и иногда имеют не меньшее историческое значение, чем она сама; что ритуал играет важную роль и как выражение религиозных представлений, и как демонстрация власти; вот почему мы восхищались “Королями-чудотворцами”, а позднее “Двумя телами короля” Эрнста Канторовича. Ввиду всего этого, я полагаю, что, за некоторыми примечательными исключениями, мы вовсе не напоминали тех позитивистских троглодитов, которыми нас теперь часто представляют»²¹.

Совершенно не похожие на «позитивистских троглодитов» историки среднего поколения, позитивно восприняли «семиотический вызов» и «реванш литературы»²², в результате чего сформировалось два перспективных течения, с оригинальными подходами, в которых проявилось мощное стимулирующее воздействие постмодернистских тенденций: *новая культурная* и *новая интеллектуальная история*. Эти родственные многослойные образования в одних трактовках напоминают сиамских близнецов, а в других обладают способностью расходиться между собой и вновь смыкаться, как Сцилла и Харибда, и время от времени менять обличья, выставляя на первый план то одну, то другую из своих разнородных составляющих. Попытки разобраться в каждом из них в отдельности и в их непростых взаимоотношениях предпринимались с завидной регулярностью рядом ученых; некоторые из них пред-

²¹ Debate. History and Postmodernism. III. (L. Stone). // *Past and Present*. 1992. No. 135. P. 189-190.

²² См.: Orr L. The Revenge of Literature: A History of History // *New Literary History*. 1986. Vol. 18. N 1. P. 1-22.

почитают не проводить водораздела между «новой культурной» и «интеллектуальной историей», и эта позиция понятна, если учесть, что представители «культурной истории» нередко дают ей всеобъемлющее толкование²³.

Новая культурная история сформировалась в болевых точках *новой социальной истории*, ставших в процессе переопределения самой категории *социального* точками роста. Так состоялась переориентация социокультурной истории «от социальной истории культуры к культурной истории социального», или «к культурной истории общества», предполагающей конструирование социального бытия посредством культурной практики, возможности которой, в свою очередь, определяются практикой повседневных отношений.

«Культурная история социального» – с помощью новой эпистемологии и опыта микроистории – представляет «*другой образ социальной реальности*»²⁴. Социальные нормы и институты рассматриваются в контексте культурных практик исто-

²³ *White H.* The Tasks of Intellectual History // *The Monist*. 1969. Vol. 53. N 4. P. 606-630; *Krieger L.* The Autonomy of Intellectual History // *International Handbook of Historical Studies: Contemporary Research and Theory* / Ed. by G. G. Iggers, H. T. Parker. Westport (Conn.), 1979. P. 109-125; *New Directions in American Intellectual History* / Ed. by J. Higham, P. K. Conkin. Baltimore, 1979; *Darnton R.* Intellectual and Cultural History // *The Past Before Us* / Ed. by M. Kammen. Ithaca, 1980. P. 327-354; *Bowsma W. J.* Intellectual History in the 1980s: From History of Ideas to History of Meaning // *Journal of Interdisciplinary History*. 1981. Vol. 12. N 3. P. 279-290; *LaCapra D.* Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language. Ithaca, 1983; *Dialogue a propos de l'histoire culturelle* // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1985. Vol. 59. P. 86-93; *Chartier R.* Intellectuelle (Histoire) // *Dictionnaire des sciences historiques* / Sous la dir. de A. Burguiere. Paris, 1986. P. 372-377; *The New Cultural History* / Ed. by L. Hunt. Berkeley etc., 1989; *Harlan D.* Intellectual History and the Return of Literature // *American Historical Review*. 1989. Vol. 94. P. 581-609; *Interpretation and Cultural History* / Ed. by G. H. Pittock, A. Wear. L., 1991.

²⁴ *Ревель Ж.* Микроисторический анализ и конструирование социального // *Одиссей. Человек в истории*. 1996. М., 1996. С. 110-127.

рических акторов, а социальная динамика – как процесс, который включает в себя не только структурную дифференциацию и реорганизацию деятельности индивидов и групп, но также и «реорганизацию умов» – изменения в ценностях и понятиях, т.е. некое новое сознание или *новую культуру*, которая буквально *видит* окружающий мир (как природный, так и социальный) *с другой точки зрения*.

Главная задача исследователя состоит в том, чтобы показать, каким образом субъективные представления, мысли, способности, интенции индивидов действуют в пространстве возможностей, ограниченном созданными предшествовавшей культурной практикой коллективными структурами, испытывая на себе их постоянное воздействие. По версии Р. Шартье, это сложное соподчинение описывается аналогичным по составу понятием репрезентации²⁵, позволяющим артикулировать «три регистра реальностей»: коллективные представления – ментальности, организующие схемы восприятия индивидами социального мира; символические представления – формы предъявления, демонстрации, навязывания обществу своего социального положения или политического могущества, и, наконец, «закрепление за представителем-«репрезентантом» (конкретным или абстрактным, индивидуальным или коллективным)» утвержденного в конкурентной борьбе и признанного обществом социального статуса и властных полномочий²⁶.

²⁵ Поль Рикёр, говоря о замещении понятия ментальностей понятием репрезентаций, резюмировал: «Упор делается на социальные практики и на включенные в эти практики репрезентации, причем репрезентации здесь фигурируют в качестве символической составляющей в структурировании социальных связей и являющихся их целью идентичностей». Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 262.

²⁶ Chartier R. Le monde comme representation // Annales E.S.C. 1989. N 6. P. 1505-1520; Idem. Luites de representations et identites sociales // XVIIIe Congres International des Sciences Historiques. Actes. Montreal, 1995. P. 455-456. См. также: Chartier R. On the Edge of the Cliff: History, Language and Practices. Baltimore, 1997.

В таком контексте социальные конфликты превращаются в «борьбу репрезентаций». Концепция конкурирующих «репрезентативных стратегий» открывает новые пути изучения динамики социальных процессов разных уровней. Происходит «переворот аналитической перспективы», который существенно углубляет содержание исследования, поскольку вместо того, чтобы принять принадлежность индивидов к социальным группам как данность и рассматривать отношения между ними как априорно установленные, историк, опираясь на социокультурный подход, исследует «каким именно способом сами эти взаимоотношения порождают общность интересов и союзы, или, иначе говоря, создают социальные группы». Речь, таким образом, идет не о том, «чтобы оспорить все социальные категории как таковые, а о том, чтобы пронизать их социальными отношениями, которые и вызывают их появление, как в прошлом, так и в настоящем»²⁷.

При этом новая культурная история сталкивается с трудными эпистемологическими проблемами, связанными со специфическими свойствами «нетрадиционных» источников, например, таких как следы повседневных практик «простых людей» или литературные памятники. Впрочем, «это отнюдь не обесценивает значимость подобных источников, нужно лишь отдавать себе отчет в том, что даже в тех случаях, когда источники не позволяют проникнуть на уровень событий, они могут дать нам немаловажную информацию о представлениях и убеждениях авторов этих текстов и, следовательно, вводят нас в круг идейных установок, т.е. помогают нам осознать характер духовной жизни эпохи...»²⁸.

Заметную роль в «пространстве возможного», ограниченном нормами исторической критики, занимают модели,

²⁷ Cerutti S. *Processus et experience: individus, groupes et identites a Turin, au XVIIe siecle // Jeux d'echelles...* P. 170.

²⁸ Гуревич А. Я. «Территория историка» // *Одиссей. Человек в историю* 1996. М., 1996. С. 91.

базирующиеся на признании определяющей роли социального контекста в отношении всех видов коллективной деятельности (включая и языковую), и следующие в своем стремлении уйти от дихотомий «литературы и жизни», «индивида и общества» за оригинальной диалогической концепцией М. М. Бахтина²⁹. Индивидуальный опыт и смысловая деятельность понимаются в контексте межличностных и межгрупповых отношений внутри изучаемого социума, с учетом наличия множества так называемых «конкурентных общностей», каждая из которых может задавать индивиду свою «программу поведения» в тех или иных обстоятельствах. С одной стороны, прочтение каждого текста включает его «погружение» в контексты дискурсивных и социальных практик, которые определяют его горизонты, а с другой стороны, в каждом тексте раскрываются различные аспекты этих контекстов и обнаруживаются присущие им противоречия и конфликты³⁰.

В исследованиях этого рода привлекает комбинация двух познавательных стратегий: с одной стороны, пристальное внимание к «принуждению культурой», к способу конструирования смыслов и организации культурных практик, к лингвистическим средствам, с помощью которых люди представляют и постигают свой мир, а с другой – выявление активной

²⁹ См., в частности: *Nielsen G. M. The Norms of Answerability: Social Theory between Bakhtin and Habermas. Albany, 2002.*

³⁰ Так, в исследованиях по истории чтения «произведения в обязательном порядке включаются в те системы норм, которые устанавливают пределы, но одновременно и создают предпосылки для их производства и понимания». *Шартье Р. История и литература // Одиссей. Человек в истории. 2001. С. 165.* См. также: *Chartier R. Texts, Printing, Readings / The New Cultural History / Ed. by L. Hunt. Berkeley; Los Angeles, 1989. P. 154-175; Idem. Cultural History: Between Practices and Representations. Ithaca, 1988.* Изменения в привычках чтения рассматриваются как отражения крупных социальных и политических сдвигов. См., например: *Reading, Society and Politics in Early Modern England / Ed. by K. Sharpe and S. N. Zwicker. Cambridge; N. Y., 2003.*

роли действующих лиц истории и способа, которым исторический индивид – в заданных и не полностью контролируемых им обстоятельствах – мобилизует и целенаправленно использует наличествующие инструменты культуры, даже если результаты деятельности не всегда и не во всем соответствуют его намерениям. В изучении истории повседневности приоритет отдается анализу символических систем, и, прежде всего, лингвистических структур, посредством которых люди прошлого воспринимали реальный мир, познавали и истолковывали окружающую их действительность, осмыслили пережитое и рисовали в своем воображении будущее.

3.2. От «средней позиции» к новым исследовательским моделям

Для многих участников дискуссий историков в последнее десятилетие XX века становилось все более очевидным, что сохранение за ремеслом историка достойного общественного статуса невозможно без осмысления всех последствий «методологических поворотов», создания новых теоретических моделей и восстановления синтезирующего потенциала исторического знания на новом уровне.

Йорн Рюзен, освещая проблему «нарративности и объективности в исторических исследованиях», так описал ситуацию: с одной стороны, метаисторическая нарративность как принцип исторического мышления, который логически противостоит научной объективности в представлении прошлого как истории; а с другой – все еще достаточно прочные академические традиции и процедуры профессиональных историков с их приверженностью рациональному методу познания, претендующему на объективность. Рюзен попытался «примирить» эти две позиции, показав, что объективность может быть легитимирована и в рамках нарративистской теории истории, а, по сути, синтезировав два подхода путем «снятия» их полярностей. В главе «Навстречу новой концепции объективно-

сти» он рассматривает это понятие с двух сторон. Исходя из того, что рациональные процедуры исторического исследования основываются на признании «некоей предзаданности опыта по отношению к исторической интерпретации», он подчеркивает: *опыт является одной из границ интерпретации*, т.е. интерпретация (если она стремится установить, что случилось в прошлом, когда, где, как и почему нечто произошло) не может выйти за границы опыта, но такое отношение к опыту не устраняет проявления субъективности историка. Во втором значении понятие объективности, по Рюзену, включает и эту «субъективную» сторону исторической интерпретации, а это означает, что интерпретация не является произвольной относительно культурного дискурса и социальной жизни, в рамках которых создается исторический нарратив. Речь идет об интерсубъективной истине: учет всех трех обозначенных перспектив в интерпретации исторического опыта дает достаточные основания для того, чтобы один нарратив принять, а другой отвергнуть: «Практическая когерентность» (соотносимость с опытом) – это «качество исторического нарратива, благодаря которому он выполняет функцию ориентации в практической жизни, и прежде всего важную роль в формировании персональной и социальной идентичности». Плюрализм точек зрения историков понимается не как отрицание объективности исторической интерпретации, а, напротив, как условие ее реализации. Интерпретация рассматривается сквозь призму пересечения перспектив, соотносимых с различными идентичностями, или «вбирает их в себя как комплементарные». Иными словами, речь идет о такой концепции плюрализма, которая, учитывая современную ситуацию полипарадигмальности, базируется на принципе взаимодополнительности, взаимной критике и взаимном признании³¹.

³¹ *Rüsen J.* Narrativity and Objectivity in Historical Studies // Symposium: History and the Limits of Interpretation. Rice University (USA). March 15-17. 1996. (<http://cohesion.rice.edu/humanities/csc/conferences>).

Полемика вокруг проблем «объективности» и «истинности» исторического знания, с особой силой разгоревшаяся в наше время, имеет давнюю историю, которая, кстати, заслуживает специального изучения. Представляется полезным обратиться к нескольким важным рассуждениям.

В свое время Р. Дж. Коллингвуд, опровергая «теорию исторического знания в рамках здравого смысла», подчеркивал, что в соответствии с «обыденной теорией исторического знания» история представляет собой «веру в истинность чьих-то воспоминаний», и все, что передал историку его авторитетный источник, есть «единственно доступная истина и ничто, кроме истины». Он оценивал как потенциальную «коперниковскую революцию» в теории истории признание того, что мысль историка «автономна, независима и обладает неким критерием, которому должны соответствовать его так называемые авторитеты, критерием, на основании которого они и подлежат критической оценке». И этот критерий – «идея самой истории, идея воображаемой картины прошлого»³².

Ссылка на «коперниковскую революцию» в теории истории побуждает вспомнить яркие размышления М. Полани об «уроках коперниканской революции» в истории науки в главе «Объективность» его классического труда «Личностное знание», где он затронул столь живо обсуждаемую сегодня проблему неискоренимой *перспективности* мышления: «Коперник лишил человека позиции в центре Вселенной, позиции, которую предписывала ему как система Птолемея, так и Библия. С тех пор всевозможные моралисты многократно и решительно призывали нас оставить сентиментальный эгоизм и взглянуть на себя объективно, в подлинной перспективе пространства и времени. Что же это означает? Если посмотреть в ускоренном темпе фильм, точно запечатлевший с сохранением масштаба времени основные события истории Вселенной, то

³² Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории. Автобиография*. М., 1980.

становление человека от первых его шагов до всех достижений XX века промелькнет на экране за долю секунды. Если же мы сделаем попытку изучать Вселенную объективно, уделяя одинаковое внимание равным по массе порциям материи, это закончится тем, что на протяжении всей нашей жизни мы будем изучать межзвездную пыль, делая небольшие перерывы для изучения скоплений раскаленного водорода; и не раньше, чем через тысячу миллионов исследовательских жизней, наступит момент, когда одну секунду времени можно будет посвятить изучению человека. Нет нужды говорить, что никто – включая ученых – не придерживается такого взгляда на вселенную, какие бы славословия ни возносились при этом “объективности”. Но нас это не удивляет. Потому что, будучи человеческими существами, мы неизбежно вынуждены смотреть на вселенную из того центра, что находится внутри нас, и говорить о ней в терминах человеческого языка, сформированного насущными потребностями человеческого общения. Всякая попытка полностью исключить человеческую перспективу из нашей картины мира неминуемо ведет к бессмыслице...»³³.

Постнеклассическое состояние естественных наук позволяет историографии преодолеть свой извечный комплекс научной неполноценности, противопоставив радикальному постмодернистскому релятивизму «здоровый» релятивизм, позаимствованный из современного естествознания³⁴.

«Коперниковская революция» в теории истории свершилась. Как ответ на вызов современности произошли серьезные изменения в проблемном поле и в образе исторической

³³ Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. С. 20.

³⁴ Одно из предложений в этом духе – «корреляционная теория истины», согласно которой наше знание о прошлом обусловлено, но не детерминировано культурой, и реализм в отношении прошлого состояния мира совместим с культурным релятивизмом в отношении знания о нем. См.: McCullagh C. Behan. The Truth of History. L., 1998. P. 26-28.

науки, в том числе возникли новые подходы к пониманию исторической истины, вызвавшие многочисленные методологические дискуссии 1990-х и начала 2000-х гг., бурные дебаты о «фактах» и «фикциях»³⁵. Однако даже в профессиональной среде утверждения, что история должна рассказывать о том, «как это было на самом деле», или о «восстановлении», «воскрешении» прошлого, отнюдь не изжиты. И не похоже, что ситуация кардинально изменится в ближайшие годы.

Наиболее интересная аргументация по поводу специфики использования воображения историками и «нефикциональности» исторического нарратива принадлежит Дэвиду Карру, который исходит из того, что, разделяя ряд черт с литературой, прежде всего нарративную форму, история не является фикцией, так как «воображение в широком смысле» – это способность представлять себе то, что не дано непосредственно в ощущениях, и «продукция воображения» может относиться равным образом к тому, чего не было, и к тому, что действительно было. Д. Карр критикует тезис о принципиальной несовместимости реального прошлого с нарративной формой («при этом забывается, что история рассказывает не о физическом, а о человеческом мире»). Он доказывает, что «человеческий мир манифестирует конкретную версию нарративной формы в самой структуре действия. Структура средства – цель – действия является прототипом нарративной структуры начало –

³⁵ См., прежде всего: Эксле О. Г. «Факты» и «фикции»: о текущем кризисе исторической науки // Диалог со временем. 2001. Вып. 7. С. 49-60. С обсуждением проблемы «вымышленности» непосредственно связан вопрос об историческом воображении. В этой связи хотелось бы напомнить давно высказанную и очень точную мысль: «Историк близок к писателю не тогда, когда недостаток материалы заставляет его пускаться в ход воображение. Как раз в этих случаях историк крайне осторожен в своих утверждениях и предположениях. Он “конкурирует” с писателем лишь тогда, когда обилие достоверного материала дает возможность нарисовать яркую картину действительности». Гулыга А. В. История как наука // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 43-44.

середина – конец, и можно сказать, что люди проживают свои жизни, создавая и актуализируя истории, которые они имплицитно рассказывают себе и другим». И время в этом мире – нарративное: люди проживают свои жизни не просто от момента к следующему моменту, «но вспоминая о том, что было, и проецируя то, что будет. И хотя оно, разумеется, погружено в физический мир и датируемо, человеческое время не является... временем *до* и *после*, *раньше* и *позже*, но временем прошлого и будущего, переживаемых с позиции настоящего действующими лицами, имеющими сознание и намерения. А если это так, тогда нарративная форма присуща не только историческому повествованию, но и тому о чем они рассказывают. <...> Именно об этом, по-человечески реальном, мире рассказывают история и другие формы нефикционального нарратива, такие как биография и автобиография. Нарративная форма вполне этому миру соответствует, так как нарративные структуры уже присутствуют в самой ткани человеческой реальности, и историку не надо вписывать их в нее. Это, однако, не значит, что всякий нарратив истинен, или что некоторые нарративы не лучше, чем другие, или что всякое использование воображения в истории легитимно»³⁶.

Развернутый анализ проблемы истинности в исторической науке представлен в трудах И. М. Савельевой и А. В. Полетаева. Речь, в частности, идет о специфике исторического познания, относительности критериев истинности, объективности и достоверности в историческом исследовании; убедительно показана неизбежность и необратимость радикального

³⁶ Carr D. History, Fiction and Human Time // Symposium: History and the Limits of Interpretation... Cp.: Noiriel G. L'historien et l'objectivite // L'histoire aujourd'hui. Auxerre, 1999. P. 421-426; Harrison R., Jones A., Lambert P. 'Scientific' History and the Problem of Objectivity // Making History. An Introduction to the history and practices of a discipline / Eds. P. Lambert, Ph. Schofield. L.; N. Y., 2004. P. 26-37; Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 358-391.

обновления его теоретических оснований. При этом не размывается граница между «фактами» и «фикциями», авторы не впадают в дефляционизм³⁷, им не изменяет вера в возможности исторического познания и стремление к той самой столь специфичной и труднодостижимой «исторической истине». Процесс реформатирования и спецификации современной историографии не ведет к утрате ею образа «строгой науки» с собственными способами порождения нового знания. Ключевое слово здесь – именно «знание», и вся проблематика «истинности» и «объективности», а также «реальности», «исторического факта» и т.п., включена в рассуждения по поводу современных представлений об этом комплексном понятии. Интегрируя современные исследования по проблеме знания в философии науки, социологии знания, психологии познания, авторы решительно отвергают тезис о том, что различие между субъективными представлениями, или мнениями, с одной стороны, и знанием, с другой стороны, связаны с самим объектом познания. Они определяют знание – в соответствии с местом его формирования – как социально объективированное. И вполне последовательно отдельные типы знания – в данном случае это знание историческое – рассматриваются как равноправные формы конструирования социальной реальности, различающиеся специфическими характеристиками³⁸.

Введение в размышления о специфике истинности в истории авторитетных теоретических концепций (разработанных главным образом для естественнонаучного знания) и анализа процедур формирования социального запаса знания существенно расширяет горизонты методологических дискуссий об истине истории и истине в истории и способствуют углублению и развитию теоретической рефлексии над конкретной

³⁷ Дефляционизм – эпистемологическая теория, отрицающая теоретико-познавательную ценность категории истины.

³⁸ См.: Савельева И. М., Полежаев А. В. Знание о прошлом: теория и история. Т. 1–2. СПб., 2003–2006.

исследовательской и экспертной практикой историков. В предисловии к своей известной работе «История и истина» Поль Рикёр писал: «Название, данное этой книге, может показаться амбициозным, если предполагают, что найдут в ней систематическое изучение этих кардинальных понятий — Истина и История. Однако я привязан к ним потому, что они для меня определяют не столько программу для исчерпывающего анализа, сколько тенденцию и направленность исследований»³⁹. Без всякого сомнения, исчерпывающий анализ понятий «историческая истина» и «историческое знание» потребует от исследователей еще немало усилий.

Сторонники «третьей позиции» продемонстрировали довольно широкий спектр ответов на вызов постмодернизма. Ключевыми концептами в развернувшейся ревизии лингвистического подхода стали «опыт» (несводимый к дискурсу) и «практика». Причем именно понятию «практика», содержание которого может быть описано как *совокупность осознанных и неосознанных принципов, организующих поведение*, отдается предпочтение перед понятием «стратегии», которое акцентирует сознательный выбор⁴⁰.

Поиски новой исследовательской парадигмы привели к разработке концепций исторического развития, группирующихся вокруг разных теорий «прагматического поворота»⁴¹.

³⁹ Рикёр П. История и истина. СПб., 2002. С. 19.

⁴⁰ См., например: Revel J. L'institution et le social // Les formes de l'expérience: Une autre histoire sociale / Sous la dir. de Bernard Lepetit. Paris, 1995; Biernacki R. Language and the Shift from Signs to Practice in Cultural Inquiry // History and Theory. 2000. Vol. 39. N 3. P. 289.

⁴¹ О социальной теории практик и становлении прагматической парадигмы см.: Turner, Stephen P. The Social Theory of Practices: Tradition, Tacit Knowledge, and Presuppositions. Chicago, 1994; The practice turn in contemporary theory / Ed. by Theodore Schatzki et al. N.Y., 2001. Подробно о работах теоретиков «прагматического поворота» и многообраз-

Эти «теории практики» выводят на первый план действия исторических акторов в их локальных ситуациях, в контексте тех социальных структур, которые одновременно и создают возможности для действий, и ограничивают их, осуществляя «структурное принуждение». Таким образом в центре внимания оказался вопрос о том, как действующие лица истории изменяют условия своего существования и деятельности, что требует разработки интегральной теоретической модели, ориентированной на комбинацию микро- и макроанализа и включающей механизмы индивидуального выбора⁴².

Как выразился Дж. Гэддис, история, в отличие от точных наук, имеет дело с такими «частицами», которые «рефлексируют, производят обратную связь, обмениваются информацией, – я имею в виду людей. И дело здесь не в том сознании, которое имеется и у горилл, и у жирафов... То, чего нет у этих видов, это самосознание – способность индивидуально осмыслить свою ситуацию, принять четкое решение и сообщить его другим. Косяки рыб, стаи птиц, стада оленей реагируют на хищников одинаково, коллективно и почти мгновенно. Они не стоят кружком (либо летают или плавают), обсуждая эту ситуацию. Человеческое поведение гораздо сложнее. Способность к саморефлексии открывает возможность очень по-разному реагировать на схожие обстоятельства»⁴³.

Подобная концентрация внимания на действующем (как на рефлексивном, так и на бессознательном уровне) в сложившихся обстоятельствах индивиде, с соответствующим

ных концепциях «практики» в социальных науках см. в книге: *Волков В., Хархордин О.* Теория практик. СПб., 2008.

⁴² См.: *Ретина Л. П.* Комбинационные возможности микро- и макроанализа // Диалог со временем. Вып. 7. 2001. С. 61-88; а также: *Ким С. Г.* Историческая антропология в Германии: методологические искания и историографическая практика. Томск, 2002. С. 26-37.

⁴³ *Gaddis J. L.* The Landscape of History. How Historians Map the Past. Oxford, 2004. P. 111-112.

решением базовых эпистемологических проблем, задает наиболее значимые характеристики современных микроисторических исследований и приобретает особое значение для определения их теоретических ориентиров.

Микроистория в интерпретации как ее «зачинщиков», так и более широкого круга исследователей, придерживающихся «средней позиции», отвергает когнитивный релятивизм и сведение истории к дискурсу, представляя, таким образом, реальную альтернативу постмодернизму. В этом смысле показательно резюме Э. Гренди относительно исключительного интереса к формам выражения: «Мы не смогли бы защитить себя от этого крайнего релятивизма, если бы игнорировали известные нам экспрессивные формы и не давали бы им исторической интерпретации. Однако я думаю, что лучшей защитой исторической реальности было бы включение анализа этих экспрессивных форм в общий анализ социальных процессов, развитие и проявления которых являются важнейшими аспектами исторической действительности: образ не может быть порождением иного образа; он связан также с ситуацией, которую одновременно отображает и организует. Историк может найти и проверить интерпретационные схемы, на основе которых эти социальные процессы могут стать понятными. И он может добиться лучших результатов, если сможет опереться на традиции социальных наук, кодифицируя, адаптируя и даже изобретая различные способы анализа, но не рассматривая, тем не менее, ни один из них как единственный»⁴⁴. Аналогичным образом рассматривал принципы и задачи микроистории Ханс Медик, высказав, к тому же, очень важные соображения относительно направления «микроисторического наблюдения», открытого для понимания широких исторических связей и теоретического осмыслении...»⁴⁵. Отвечая на критику оппо-

⁴⁴ Гренди Э. Еще раз о микроистории. С. 300.

⁴⁵ Медик Х. Микроистория // THESIS. 1994. Т. II. Вып. 4. С. 201.

нентов в адрес микроистории, он указал на то, что они производят недопустимое «смещение масштаба предмета познания с масштабом *перспективы познания* (курсив мой – Л. Р.)». И дело здесь не только в том, что микроистория поставила под вопрос сложившуюся «иерархию как объектов исторического исследования, так и задач исторического познания», а именно в смене перспективы – сужение поля наблюдения позволяет осуществить «экспериментальное изучение сети социальных отношений и типов поведения, конечно, никогда не замыкающееся только на них самих, а всегда учитывающее также общественные, экономические, культурные и политические условия и отношения, которые действуют и выражаются через них и даже вопреки им. Таким образом открывается возможность нового взгляда на становление исторических структур, а также на кратко- и среднесрочные исторические процессы»⁴⁶.

Отнюдь не случайно, говоря о стремлении микроистории к максимальной детализации и учету всех механизмов конструирования реальности, нередко используют термин *неопозитивизм*, одновременно отмечая смещение предмета исследования: вместо «*того, что действительно произошло*», исторической реконструкции подлежит «*все то, что привело к тому, что произошло, или тому, что могло бы произойти*» (курсив мой – Л. Р.)⁴⁷.

Из перспективы микроистории обнаруживается выход и к специфичному для нее методу сравнения. Метод «децентрирующего сопоставления» (так его назвала Натали Дэвис) берет за точку отсчета именно единичные и уникальные случаи – речь, таким образом, идет о казуальном подходе. В докладе «Децентрирующая история: локальные истории и культурные пересечения в глобальном мире», представленном на симпо-

⁴⁶ Медик Х. Микроистория. С. 196-197.

⁴⁷ Rosenthal P.-A. Construire le “macro” par le “micro”: Frederic Barth et la microstoria // Jeux d'echelles. La micro-analyse a l'experience / Textes rassembles et presentes par J. Revel. P., 1996. P.141-159. (P.159).

зиуме в Бергене, Н. Дэвис поставила вопрос о соотношении «децентрирующей социокультурной истории – часто узко-локальной и переполненной конкретными деталями – с перспективами глобальной истории». Она продемонстрировала такой метод, сопоставляя единичные казусы, разбросанные по разным странам, континентам, цивилизациям, и представляя зафиксированный в этих казусах исторический опыт не в терминах «отсталости» и «развитости», а как альтернативные. По ее же определению, «децентрирующий историк не рассказывает о прошлом с какой-то выгодной позиции – единственной части мира или могущественной элиты, а, скорее, расширяет свое поле наблюдения, в социальном или географическом плане, и вводит в свое изложение множество разных голосов»⁴⁸.

Несложно обнаружить, что сторонники «третьей платформы» в профессиональном историческом сообществе пристально следят (и часто следуют) за ведущими теоретиками-социологами в их поисках «третьего пути» в представлении теоретической модели социальной реальности как синтеза между объективизмом системно-структурного подхода и субъективизмом феноменологии. «Прагматический поворот», действительно, привел к укоренению категории «практик» в самом широком спектре предметных полей современного социогуманитарного знания (включая историю, теорию языка и литературную теорию), и это свидетельствует о том, что «формируется некоторая общая для социальных наук парадигма», в рамках которой и появилось новое представление об исторической социальности – через процесс формирования социального в деятельности культурных субъектов.

Соглашаясь с тем, что «для каждой дисциплины характерен свой, отличный от других способ включения этих понятий в исследовательскую традицию, свой способ концептуали-

⁴⁸ См.: *Davis N. Zemon. Decentering History: Local Stories and Cultural Crossings in a Global World // History and Theory. 2011. Vol. 50. No. 2. С. 188-202.*

зации»⁴⁹, добавим, однако, что сегодня и внутри одной дисциплины исследовательские стратегии и способы концептуализации могут существенно различаться, и они не ограничиваются «стремлением продемонстрировать то, что кажущиеся естественными способности человека (например, рациональность или эстетическая способность), основные формы опыта (сексуальность, насилие, сумасшествие, познание, смерть) и самосознания (личность, индивидуальность), а также ставшие естественными основные культурные практики (манеры поведения, разговорная речь, чтение) имеют длительную и, часто, нелинейную историю становления или трансформации»⁵⁰.

Происходившее в историографии конца XX – начала XXI в. движение в направлении новой концептуализации социально-исторической реальности опиралось главным образом на социологические теории 1980-х гг., которые были созданы в противовес концепциям постмодернизма и анализировали организацию социальной жизни в комплексе взаимодействий ее локальных и интегральных составляющих.

В соответствии с этими теориями именно практики, а не структуры, становятся отправным пунктом социального анализа, обогащенного «субъективной перспективой» действующих индивидов – последовательным анализом их ментальных актов и интерпретационных схем, акцентирующим расхождение между культурно заданными значениями и индивидуальным, исторически обусловленным их употреблением. В этом и, на мой взгляд, только в этом смысле следует понимать тезис А. Я. Гуревича о том, что «исследование человеческой субъективности является тем узлом, в котором *связываются все линии исторического развития* (курсив мой. – Л. Р.)»⁵¹.

⁴⁹ Волков В., Хархордин О. Теория практик. С. 12.

⁵⁰ Там же. С. 16-17. Ряд моделей, отличающихся от описанной, являются предметом анализа в данной книге. См. также: Tanner, Kathryn. *Theories of Culture: A New Agenda for Theology*. Minneapolis, 1999.

⁵¹ Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». С. 273.

Можно констатировать, что в парадигме культурной истории разместившиеся под зонтиком «праксеологических теорий» неофеноменологические и неогерменевтические подходы сохраняют важнейшие достижения постструктурализма, но, с другой стороны, они же возвращают историографию к давно апробированным исследованиям социальных условий, процессов, изменений и трансформаций. В диалектическом понимании культуры как непрерывного взаимодействия между общественной системой и практикой социальной жизни происходит – на основе переопределения и усложнения самого понятия *социального* – реабилитация социальной истории, прошедшей горнило лингвистического и культурного поворотов. И даже апологеты новомодного тренда – так называемого «перформативного поворота» – рассматривают его в связке с предшествующими «релевантными поворотами», обозначая в качестве его центральных категорий «изменение как ценность» и «активного деятельностного субъекта»⁵².

В описанной модели оказывается возможным эффективное включение истории в пространство социогуманитарного методологического синтеза. В предлагаемой *деятельностной* перспективе появляется также шанс раздвинуть узкие шоры привычного историкам ретроспективного видения, преодолеть линейное историографическое мышление, которое редуцирует многообразие возможностей прошлых ситуаций (с их сложной динамикой и открытым, отнюдь не predetermined будущим) к «реально состоявшемуся», а точнее – к выстроенному с презентистской позиции, историческому процессу.

⁵² Доманска, Эва. Перформативный поворот в современном гуманитарном знании // Способы постижения прошлого: методология и теория исторической науки / Отв. ред. М. А. Кукарцева. М., 2011. С. 226-235. (С. 230-231); Берк, Питер. Перформативный поворот в современной историографии // Одиссей. Человек в истории. 2008. М., 2008. С. 337-354. См. там же точный комментарий Е. Е. Савицкого к статье П. Берка (С. 355-366).

Противовес привычным стереотипам ретроспективного мышления может дать только теоретическое знание, которое «является более объективным, чем непосредственный опыт»: «В сущности, всякую теорию можно представить как своеобразную карту, протяженную в пространстве и во времени. <...> Чтобы найти дорогу, руководствуясь картой, я должен совершить сознательный акт чтения карты, и здесь я могу ошибиться, но *карта* не может ошибиться – она является истинной или ложной сама по себе, безличностно. Соответственно теория, на которую я опираюсь, будучи частью моего знания, не испытывает на себе влияния никаких перемен, которые происходят во мне. Ей присуща собственная четкая структура, и я сам нахожусь в зависимости от нее, каковы бы ни были мои сиюминутные желания и настроения»⁵³.

Тем не менее, историки, как правило, не испытывают особой тяги к занятиям теорией; они, действительно, «традиционно относились к теории с высокой степенью недоверия, видя в ней что-то вроде кукушки в гнезде историка». Суть этой настороженности точно сформулировал А. Мегилл: «конфликт между теорией и историей... существует на глубинном уровне, поскольку теория немыслима без генерализаций, выходящих за пределы конкретных контекстов, в то время как историки стремятся описывать, объяснять и интерпретировать исторические контексты или их совокупность *без намерения сконструировать на основе своего исследования теоретические суждения* (курсив мой. – Л. Р.)»⁵⁴. Отсутствие элемента целеполагания здесь, несомненно, момент ключевой: историк в *историческом* исследовании не ставит себе задачу построить новую теорию. Однако, как показано

⁵³ Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. С. 21-22.

⁵⁴ Мегилл, Аллан. Роль теории в историческом исследовании и историописании // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы / Под. ред. Л. П. Репиной. М., 2011. С. 24-40. (С. 25).

выше, в одном важном аспекте теоретической работы современные историки приняли активное участие, к тому же сегодня наблюдается все возрастающий интерес к теоретическим обоснованиям историографической практики в обоих ее аспектах – в исследовании и в репрезентации⁵⁵. Можно, вслед за А. Мегиллом, выделить четыре основные роли, которые теория должна играть в истории (эпистемологическую роль, роль критики и самокритики, спекулятивную роль, наконец, осмысление результатов исследования), но стоит, именно вследствие живучести в историографии так называемой «ремесленной» традиции, привлечь внимание, прежде всего, к первой из них – к исторической эпистемологии, определяющей базовые принципы исторического познания⁵⁶.

Итак, в зарубежной историографии в настоящее время можно констатировать появление солидного корпуса работ, обсуждающих теоретические проблемы истории в новой интеллектуальной ситуации, как она сложилась к началу третьего тысячелетия⁵⁷. Речь в них, как правило, идет не о теории

⁵⁵ См.: *Meaning and Representation in History* / Ed. by Jörn Rüsen. N.Y.; Oxford, 2006.

⁵⁶ Разработке этих проблем (с ответами на острые вопросы, поставленные теоретиками постмодернизма) посвящен солидный труд: *Fulbrook, Mary. Historical Theory*. L.; N. Y., 2002. См. также: *Мегилл, Аллан. Историческая эпистемология*. М., 2007.

⁵⁷ Помимо уже упоминавшихся см.: *Southgate B. History: What and Why? Ancient, Modern and Postmodern Perspectives*. L., 1996; *Idem. Why Bother with History?* / Harlow, 2000; *Iggers G. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge*. Hannover, 1997; *Hobsbawm E. On History*. L., 1997; *McCulloch C. B. The Truth of History*. L., 1998; *Imagined Histories. American Historians Interpret the Past* / Eds. A. Molho, G. Wood. Princeton, 1998; *History and Theory: Contemporary Readings* / Eds. B. Fay, Ph. Pomper, R. T. Vann. Oxford, 1998; *Haskell Th. Objectivity is Not Neutrality: Explanatory Schemes in History*. Baltimore; L., 1998; *Lerner, Gerda. Why History Matters: Life and Thought*. Oxford, 1998; *Reading the Past* / Ed. by T. Spargo. Basingstoke, 2000; *Historians on History: An Anthology* / Ed. by J. Tosh. Yarlow, 2000. Introduction.

исторического процесса или о применении в историографии теорий социально-гуманитарных наук, а именно об «исторической теории», о теории исторического знания.

В современной отечественной историографии также можно обнаружить разные взгляды на влияние постмодернизма на историческую науку и методологию истории и различные предложения теоретического характера⁵⁸. Важно, чтобы бросающееся в глаза терминологическое разнообразие не заслоняло их родовую концептуально-методологическую общность в контексте формирования «новой рациональности» и нового образа исторической науки.

Так, в фокусе работ Ю. Л. Бессмертного в самом начале 2000-х гг.⁵⁹ находился эпистемологический поворот, суть которого автор видел в резкой смене «самой логики анализа», «набора мыслительных приемов», в том, что «эго-логический анализ прошлого предлагается сегодня дополнить альтерологическим»⁶⁰. Сопровождающие этот поворот новые явле-

P. 1-16; *Thompson W.* What Happened to History? L., 2000; *Ashplant T. G., Smith G.* Explorations in Cultural History. L., 2001; *The History and Narrative Reader / Ed. by G. Roberts.* L., 2001; *Iggers, Georg J., Wang Q. E.* A Global History of Modern Historiography. Harlow, 2008; etc.

⁵⁸ См., в первую очередь: *Савельева И. М., Полетаев А. В.* Знание о прошлом: теория и история. Т. 1-2. СПб., 2003–2006.

⁵⁹ Наиболее значимы из них следующие: *Бессмертный Ю. Л.* Это странное, странное прошлое... // Диалог со временем. Вып. 3. М., 2000. С. 34–46; *Он же.* Многоликая история. (Проблема интеграции микро- и макроподходов // *Казус.* Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. М., 2000. С. 52–61; *Он же.* Иная история. (Вместо послесловия к статье П. Фридмана и Г. Спигеля) // Там же. С. 165–177; *Он же.* Индивид и понятие частной жизни в Средние века (в поисках нового подхода) // *Казус.* Индивидуальное и уникальное в истории. 2003. М., 2003. С. 484–491; *Он же.* О понятиях «Другой», «Чужой», «Иной» в современной социальной истории // Там же. С. 492–496.

⁶⁰ *Бессмертный Ю. Л.* К изучению разрывов в интеллектуальной истории западноевропейского средневековья // Пресметственность и разрывы в интеллектуальной истории. М., 2000. С. 34.

ния в современной историографии он расценивал как свидетельство «в пользу решительного отказа от эволюционистски-преемственной позиции, исходя из которой феномены прошлого интерпретируются в рамках семантического ряда, единого с их аналогами более позднего времени»⁶¹.

Вместе с тем, в обсуждаемом комплексе работ нельзя не заметить некоторой внутренней напряженности, порождаемой присутствием в них противоречивых авторских высказываний, если и не опровергающих друг друга, то указывающих, по меньшей мере, на незавершенность методологических поисков исследователя, который, несомненно, сам достаточно отчетливо видел и даже фиксировал эти противоречия, пытаясь снять их с помощью необходимых оговорок. Прежде всего, это относится как раз к проблеме понимания Другого, которая неизбежно обостряется в связи с подчеркиванием не просто качественных отличий, но принципиальной несопоставимости (несоизмеримости) логики и мотивов людей Средневековья и современных историков. С одной стороны, раскрытие «странности» и «чуждости» всего того, что было в прошлом, явлениям Нового времени, предполагает отказ от идеи преемственности и требует применения к прошлому его собственных понятий и мыслительных приемов. С другой стороны, без определенной «дозы» преемственности само более или менее адекватное описание «неповторимого своеобразия средневекового феномена» становится недостижимым. В этих работах отнюдь не случайно, а вполне логично (в современных категориях) Ю. Л. Бессмертный переходит от целостной категории «несопоставимости-несоизмеримости» к идее градуированности (заметим, кстати, что «градус» – категория не качественная, а количественная) фиксирующих ее понятий, вводит различение категорий «Иной» (подразумевающей «некоторое более или менее заметное своеобразие, не требующее для своего осмысления иных, чем в сопоставляемых случаях, логиче-

⁶¹ Там же. С. 36.

ских оснований») и «Другой» (подразумевающей «крайнюю форму инакости рассматриваемого феномена»).

Совершенно очевидно, что настойчивое отрицание преемственности и абсолютизация прерывности в этих работах – это «антидот», методологический прием, инструмент самоконтроля исследователя, ибо «там, где признается преемственная связь времен, историку естественно отправляться от знакомого по собственной практике набора понятий, лишь корректируя их наполнение для разных этапов»⁶².

Необходимо помнить: это «странное прошлое» отделено от нас, и даже то в нем, что кажется знакомым, может иметь совершенно иное содержание. А то, что вызывает удивление исследователя (как немислимое в его собственной логике), имеет огромное познавательное значение: именно здесь может быть «зарыта» специфика изучаемой эпохи, «изюминка» прошлой культуры. Когнитивный компонент удивления был отмечен американской исследовательницей Кэролайн Байнум, вполне серьезно и абсолютно справедливо утверждавшей, что средневековое понимание *admiratio* уместно приложить к задачам всех историков – исследователей и преподавателей. «Удивляешься только тому, чего не смог *понять*» (курсив мой. – Л. Р.), и таким образом удивление вызывает стремление к познанию, становится стимулом к дальнейшим изысканиям. Средневековые интеллектуалы рассматривали удивление как реакцию на нечто скрытое в самом явлении, как ответ на что-то новое и странное, одновременно ускользающее от объяснения и указывающее на то, что за ним стоит какой-то смысл. «Можно поражаться только *тому*, – заключает Байнум, – *что по меньшей мере в некотором смысле где-то существует* (курсив мой. – Л. Р.). Удивление является ответом на конкретность, специфичность, индивидуальность события»⁶³.

⁶² Бессмертный Ю.Л. Это странное, странное прошлое... С. 43.

⁶³ Вунит С. Wonder // American Historical Review. 1997. Vol. 102. № 1. P. 1-26.

Впрочем, удивление – реакция заведомо субъективная, в большой степени она определяется специализацией и исследовательским опытом историка. И здесь следует выделить один аспект удивления – назовем его методологическим. Эксплицитно выраженное или ощутимое в тексте удивление современников описываемых событий может дать исследователю важный ориентир, послужить верификации его собственного восприятия того или иного явления или события прошлого.

Вернемся к «формам инакости и странности», как они предстают в проделанном Ю. Л. Бессмертным анализе на конкретном материале. Говоря о странном в риторике, касающейся рыцарского счастья, автор выделяет две группы представлений. Во-первых, те, что отличаются от известных нам по новоевропейскому опыту, но, тем не менее, ему подобны и могут рассматриваться в эволюционной ретроспективе (включая «нарастание интимности любовных взаимоотношений»). И, во-вторых, «подлинно странные», к которым он относит критерии счастья, связанные с «погружением в куртуазный культ» или в поиск личного успеха в неподдающейся никакому разграничению частно-публичной сфере», а также представления о возможности достичь успеха, соединяя соблюдение принятой нормы поведения с ее нарушением» (или «нетривиальным воплощением нормы»). Последнее, однако, не кажется мне столь уж странным и чуждым последующим эпохам. Смущает также и то, что в отношении характеристики разных эпох ощущается «двойной стандарт»: новоевропейская культура, в отличие от средневековой, предстает как некий «монолит», внутри нее как будто нет места изменениям, «разъемам и зазорам». Может быть, Средневековье не покажется столь чуждым и немыслимым, если мы дифференцируем (пространственно, хронологически и социально) как его самое, так и то, чему мы его противопоставляем, и если пристальнее рассмотрим его «долю» в европейском культурном наследии от эпохи Возрождения до эпохи Постмодерна.

Известный историк и специалист по теории исторического познания К. В. Хвостова, скептически оценив влияние постмодернизма на историографию и предприняв критический анализ его центральных теоретических положений, задается резонным вопросом: «не кроется ли в рассуждениях постмодернистов об отрицании “единых первичных оснований” серьезное противоречие, присущее всей философии постмодернизма и связанное с отношением ее приверженцев к знанию? Ведь утверждение, согласно которому в основе всех представлений о культуре и человеке лежит анализ языка, – это, по существу, и есть признание “единого первичного основания”. Иными словами, анализ языка выполняет в рамках постмодернизма ту же функциональную роль, которую в классических философиях играют выше названные “единые первичные основания”»⁶⁴. Хотя историк, изучающий отдельные аспекты проблемы, конкретные явления в ограниченном пространственно-временном диапазоне, продолжает привычно пользоваться методами нахождения каузальных связей, факторов внешнего вынуждения и детерминации, все же историческая наука нуждается в рационалистической философии, способной преодолеть механицизм позитивизма и оправдывающей историческую истину. Речь идет о том, что историки рассматривают истину в феноменологическом плане как соответствие вывода, основанного на «правдоподобных рассуждениях» и аргументации, – тем данным об исторической реальности, которые содержатся в исторических источниках⁶⁵.

В качестве «единого первичного основания новой рационалистической теории истории» К. В. Хвостова предлагает понятие *информации*, подчеркивая роль последней в формировании и развитии социума: «оперирование понятием “инфор-

⁶⁴ Хвостова К. В. Постмодернизм, синергетика и современная историческая наука // Новая и новейшая история. 2006. № 2. С. 27.

⁶⁵ Хвостова К. В., Финн В. К. Проблемы исторического познания в свете современных междисциплинарных исследований. М., 1997. С. 107.

мация” в отличие от оперирования понятиями “язык” и “текст” обязательно предполагает всесторонний, в том числе и на уровне объяснения, а не только понимания, учет соотношения знака и реальности, что и свойственно подходу историка при осуществлении им конкретно-исторического исследования, а именно: необходимыми становятся рассуждения о содержательных различиях передачи, переработки и хранения социальной информации в разные исторические эпохи»⁶⁶.

Если К. В. Хвостова сожалеет о том, что в философии истории пока не оформилось *неорационалистическое направление*, противостоящее крайнему релятивизму и субъективизму постмодернизма, то А. В. Лубский в отношении историографии проявляет гораздо больший оптимизм и констатирует формирование *критико-реалистического направления* и интегральной *неоклассической модели* исторического исследования⁶⁷. Он отмечает, что влияние постмодернизма на историческую науку способствовало формированию особого стиля исторического мышления, а благодаря «лингвистическому повороту» исследователи стали изучать не только культуру как набор ценностей и норм, но и то, как она «работает» и вписывается в социальный контекст. Констатируя переход «от одномерных интерпретаций истории к многомерным на основе синтеза “положительных” когнитивных установок классической и неклассической моделей»⁶⁸, А. В. Лубский обращается к проблеме *научности* исторического исследования, соотношения его эмпирической и теоретической составляющих.

⁶⁶ Хвостова К. В. Постмодернизм, синергетика... С. 33. Тезис об исторической информации как базовом понятии «новой рационалистической теории и философии истории» развивается и в других работах. См., например: Хвостова К. В. Диалог со временем и современная количественная история // Диалог со временем. Вып. 16. 2006. С. 134-146.

⁶⁷ Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования. М., 2005. С. 86.

⁶⁸ Там же. С. 267, 271.

Речь идет о реабилитации рационально-научного объяснения в историческом познании, а, следовательно, и о разработке *исторических теорий* – имеются в виду *теории среднего уровня*, которые, не являясь простыми производными от общественно-научных теорий, «интерпретируют взаимосвязь между индивидуальными действиями и социальными структурами»⁶⁹. Нельзя не согласиться и с резюме А. В. Лубского (вслед за другими авторами⁷⁰) о том, что историческая теория имеет инструментальное значение, вероятностный характер, акцентирует взаимосвязь объективного и субъективного (что и обуславливает ее познавательную эффективность), не обладает универсальностью (эвристически ограничена), всегда предполагает наличие альтернативных теоретических интерпретаций.

Такая оценка когнитивного потенциала теорий среднего уровня и определила задачу создания методологии исторического исследования, основанной на синтезе конкурирующих стратегий. Оригинальная конструкция полидисциплинарной методологии анализа, разработанная «на базе *методологически сопоставимых и комплементарных подходов, фокусирующихся вокруг проблемы бессознательного*», и ориентированная на решение «проблемы изменчивости ментальных структур в их системной взаимосвязи с историческим контекстом», была разработана и успешно апробирована в практическом исследовании крупномасштабных социальных трансформаций раннего Средневековья и начала Нового времени в монографии И. Ю. Николаевой⁷¹. Речь идет о полидисциплинарной техно-

⁶⁹ Там же. С. 282.

⁷⁰ Автор ссылается, в частности на работы: *Том Дж.* Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000; *Могильницкий Б. Г.* Историческая теория как форма научного познания // *Историческое знание и интеллектуальная культура*. М., 2001. С. 3-7.

⁷¹ *Николаева И. Ю.* Проблема методологического синтеза и верификации в истории в свете современных концепций бессознательного. Томск, 2005.

логии, дающей возможность верифицировать полученные с ее помощью результаты и проверить ее эвристический потенциал на региональном конкретно-историческом материале. Приоритет в новой комбинированной исследовательской стратегии отдается собственно историческим методам, и особенно важна в этом плане последовательно проведенная всесторонняя проверка совместимости избранного автором инструментария (и, соответственно, предлагаемой синтетической технологии) с макроисторическими теориями среднего уровня – теорией типологии генезиса феодализма и теорией типологии раннеевропейской модернизации.

Таким образом, эта модель методологического синтеза, осуществляемая на уровне историографической практики, «предполагает получение нового верифицируемого знания в истории путем привлечения дополняющих и контролирующих (!) друг друга исследовательских установок и методик, наработанных в других дисциплинах»⁷².

Здесь социально-психологический инструментарий составляет «промежуточное звено» между эмпирикой конкретных ситуаций и «теориями среднего уровня», а точнее – задает палитру возможных концептуализаций первых и рамочные условия проверяемости последних. И в связи с этим, возвращаясь к размышлениям А. В. Лубского, не могу согласиться с его выводом из критики «неоклассиками» односторонних принципов «неклассической модели». Возражение вызывает следующий тезис: «неоклассики <...> считают, что субъективизм и релятивизм в исторической науке усугубились в связи с популярностью в ней социокультурной проблематики, приведшей по существу к отказу от объективно-каузального объяснения исторических событий»⁷³.

⁷² Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / Под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой, Л. П. Репиной. М., 2004. С. 3-4.

⁷³ Лубский А. В. Альтернативные модели... С. 267.

Сторонники «средней позиции», «прагматического поворота» и разнообразных версий «другой социальной истории» в современной мировой историографии, реализующие теоретические подходы, тождественные тем, которые характеризуют «неоклассическую модель», не только относятся вполне лояльно к социокультурной проблематике, но и прямо идентифицируют собственные исследования с *социокультурной историей*, педалируя при этом свои отнюдь не тематические, а именно методологические предпочтения – ориентацию на синтез социальной и культурной истории, макро- и микроанализа, объяснения и понимания.

В связи с этим можно также вспомнить популярную у историков этого направления «теорию структуризации» Гидденса, согласно которой структурные свойства социальных систем являются одновременно и средством, и результатом практики, которую они организуют, поскольку структура предстает как совокупность «правил», «ресурсов» и «процедур» и реализуется только в процессе их применения – в повседневной социальной практике исторических акторов⁷⁴.

В практике «новой социокультурной истории» культура выступает не как детерминирующая система символов и знаков, а как набор компетенций, инструментов или стратегий, посредством которых индивид использует эти символы и знаки в своей практической деятельности. Иначе говоря, знаковые системы «задают условия, но не управляют» этим процессом⁷⁵. Или – в метафорическом выражении: «Культура, как и язык, дает индивиду определенный набор возможностей – что-то

⁷⁴ Подробно об этом см. выше, гл. 2.

⁷⁵ Sewell W. The Concept(s) of Culture // *Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture* / Ed. by V. E. Bonnell, L. Hunt. Berkeley, 1999. P. 44; Biernacki R. Language and the Shift from Signs to Practice in Cultural Inquiry // *History and Theory*. 2000. Vol. 39. No. 3. P. 289; Lorenz C. Some Afterthoughts on Culture and Explanation in Historical Inquiry // *History and Theory*. 2000. Vol. 39. No. 3. P. 350.

вроде клетки из гибких и невидимых прутьев, ограничивающей его свободу»⁷⁶. Конечно, можно акцентировать либо слово *клетка*, либо понятие свободы, пусть и ограниченной «гибкими и невидимыми прутьями». И все же здесь обозначена именно двойная и – что, на мой взгляд, для историка особенно важно – процессуально понимаемая система детерминации.

При этом оказывается, что в теоретических основаниях различных неоклассических моделей, опирающихся на личностный, локальный или даже глобальный подход к истории, есть важные общие предпосылки. Это, прежде всего, понимание социального контекста деятельности как ситуации, задающей не только условия, но вызовы и проблемы, которые требуют своего разрешения, а также установка на то, что субъективность исторического актора (индивида или группы) во многом определяет результаты его деятельности, которая, в конечном счете, преобразует собственный контекст.

Однако сочетание в представлении о социальной (исторической) реальности, с одной стороны, идеи единства, целостности, глобальности, а с другой – разнообразия, различия, локальности порождает трудноразрешимую методологическую проблему, которая была очень точно сформулирована в широко цитируемой редакционной статье «Анналов» 1988 года: «Как разграничить уровни наблюдения и определить модальности необходимого обобщения, поднимаясь от отдельного человека к группе и обществу в целом, от локального к глобальному? И если двигаться в другом направлении, как создать условия для совмещения и сравнения результатов?..»⁷⁷.

В этой связи несомненный интерес представляет сетевая модель, реализованная в исследовании глобальной истории интеллектуальных изменения американским социологом Рэн-

⁷⁶ Гинзбург, Карло. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000. С. 42.

⁷⁷ «Анналы» на рубеже веков. Антология / Отв. ред. А. Я. Гуревич. М., 2002. С. 12-13.

даллом Коллинзом. Для него локальная ситуация выступает как безусловно необходимая, отправная, но не конечная точка анализа: «Микроситуация... проникает сквозь индивидуальное, и ее последствия распространяются вовне через социальные сети к макро- сколь угодно большого масштаба... Никакая локальная ситуация не является одиночной; ситуации окружают друг друга во времени и пространстве. Макроуровень общества должен быть понят не как слой, расположенный вертикально над микро- (как если бы он находился в другом месте), но как развертывание спирали микроситуаций. Микроситуации встроены в макропаттерны, являющиеся именно теми способами, которые связывают ситуации друг с другом; причинность, – если угодно деятельность (agency) – проистекает извне вовнутрь так же, как и изнутри вовне. То, что случается здесь и теперь, зависит от того, что случилось там и тогда. Мы можем понимать макроструктуры, не реифицируя (не овеществляя) их, как если бы они были сами по себе существующими объектами, но рассматривая макро- как динамику сетей, объединение цепочек локальных столкновений...»⁷⁸.

Тем не менее, остается неясным, как описать многомерную, лишенную доминантного вектора динамику социальной практики в традиционных формах исторического нарратива⁷⁹. Это вопрос чрезвычайно сложный. Ведь речь идет, разумеется, не о довольно распространенном представлении о нарративистском подходе как сугубо описательном, а о таком специфическом и «скорее утонченном, чем наивном» способе исторического объяснения, которое «не нуждается в том, чтобы быть артикулированным по каждому поводу посредством объяснительно-аналитического дискурса», по-

⁷⁸ Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 67. См. также: *Collins R. Macro-History: Essays in Sociology of the Long Run. Stanford, 1999.*

⁷⁹ См.: *Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn / Ed. by G. M. Spiegel. N. Y.; L., 2005. P. 25.*

сколькx такое объяснение, в действительности, заложено в самом нарративе как форме дискурса⁸⁰. Этот взгляд в принципе согласуется с тезисом Поля Рикёра об «опосредованном отношении деривации», «в силу которого историческое знание является производным от нарративного понимания, ни в коей мере не утрачивая своих научных устремлений»⁸¹. Рикёр утверждал, что «история, наиболее удаленная от повествовательной формы, сохраняет связь с нарративным пониманием, будучи *производной* от него, и эту связь можно шаг за шагом, ступень за ступенью восстановить при помощи соответствующего метода»⁸². Однако характерная для представленной выше теоретической модели многоуровневая динамика – со сложными переплетениями разномасштабных действий, явлений и процессов и с необходимой для их анализа «игрой масштабов» – в принципе не может быть адекватно описана в *линейной нарративной логике последовательных событий*.

Отсюда – «очевидный крах той идеи, что всё прошлое может быть охвачено в рамках *одной*, официальной истории, так называемого «большого нарратива», под который могут быть подведены остальные, “более мелкие нарративы”»⁸³.

Многообразие исследовательских перспектив приводит к многообразию создаваемых исторических нарративов. Результат может быть охарактеризован двояко (в зависимости от личностных установок): как «фрагментация» истории или как обогащение нашего понимания исторического прошлого. Ясно одно – освященный вековой интеллектуальной традицией иде-

⁸⁰ Обоснование такой позиции, а также строгого разграничения «исторического нарратива, основанного на фактах», и построенного на воображении и вымысле так называемого «фикционального нарратива» см., в частности, в книге: Lemon M. C. *The Discipline of History and the History of Thought*. L., 1995. P. 53-54.

⁸¹ Рикёр, Поль. *Время и рассказ*. Т. 1. М.; СПб., 2000. С. 110.

⁸² Там же. С. 109.

⁸³ Мегилл А. *Историческая эпистемология*. М., 2007. С. 461.

ал исторической когерентности в виде всеобъемлющего «гранд-нарратива» потерял свою актуальность для современной исторической науки, и «надо отрешиться от поиска связности высшего порядка и попыток в угоду тем или иным подспудным тенденциям подчинять разнообразие реальности господству единомыслия или однонаправленности»⁸⁴.

Любое историческое сочинение имеет некую теоретическую основу, согласно которой автором был произведен отбор «фактов» из хаотического нагромождения фрагментарных «свидетельств» и осуществлена их интерпретация. В каждую эпоху статус исторического документа и значение различных категорий исторических источников переопределяется в соответствии с современными представлениями и потребностями осмысления связи времен – прошлого, настоящего и будущего. То или иное концептуальное построение обретает ценность постольку, поскольку создает новые возможности для интерпретации имеющихся в историческом наследии «сырьевых ресурсов» или открытия и разработки новых «залежей».

⁸⁴ Эмар М. История и компаративизм. С. 97.

ГЛАВА 4

ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: ПОИСКИ ИНТЕГРАТИВНЫХ ПОДХОДОВ

4.1. Комбинация микро и макроподходов в локальной истории

Развитие микроисторических исследований в западной историографии последней четверти XX столетия справедливо связывают с рождением и распространением влияния итальянской школы микроистории. Между тем применение микроаналитических подходов начало осуществляться гораздо раньше – в рамках «новой локальной истории», прежде всего британской¹. Обновление британской традиции локальной истории произошло еще в 1960-е годы, когда, при сохранении наименования по «местному» объекту исследования, качественно изменилось видение предмета и на основе теоретических разработок микросоциологии был радикально пересмотрен ее концептуально-методологический арсенал.

¹ Лидирующую роль в этом процессе кардинального обновления британской локальной истории сыграла Лестерская школа локальной истории, основанная У. Хоскинсом и Г. Финбергом, которые поставили во главу угла не локально-территориальный принцип, а описание и анализ реально существовавших социальных организмов, и приступили к воплощению на локальном уровне познавательного идеала социальной истории – истории общества как целостности. См.: English Local History at Leicester, 1948–1978. A Bibliography of Writings by Members of the Department of English Local History, University of Leicester / Comp. by A. Everitt, M. Tranter. Leicester, 1981; The Oxford Companion to Local and Family History / Ed. by D. Hey. Oxford, 2002.

В отличие от «старой» локальной истории, которая в основном поставляла необходимый иллюстративный материал для подтверждения отдельных, нередко противоположных положений, выдвигаемых специалистами по национальной и региональной истории, это был совершенно новый тип локальной истории, неразрывно связанный с «новой социальной историей», с историей социальных групп, но ставящий ее в пространственно-временные рамки реального социального взаимодействия. В течение второй половины XX века новая локальная история вела интенсивную «колонизацию» все новых локальных объектов (как сельских, так и городских), последовательно замещая старые модели исторического краеведения, имевшие глубокие и прочные традиции.

Методологическое переоснащение локальной истории осуществлялось на основе теорий и подходов микросоциологии: сначала превалировала теория обмена Джорджа Хоманса, а позднее начал активно применяться сетевой анализ. Сетевой анализ (в разных его вариантах)² представлялся многим специалистам, занимающимся локально-историческими исследованиями, весьма многообещающим в решении проблемы возвращения в историю индивида, который выпал из поля зрения исследователей, увлекшихся анализом макропроцессов. Крупномасштабным проектам, сосредоточенным на изучении какой-то одной важной проблемы в большом диапазоне времени, противопоставлялся совершенно иной подход, основанный на максимальной детализации и индивидуализации исследовательских объектов. Этот тип интенсивного исторического анализа локальных общностей иногда определялся как «микросоциальная история»³.

² Network Analysis: Studies in Human Interaction / Ed. by J. Boissevain, J. C. Mitchell. The Hague, 1973; *Leinhardt S. Social Networks: A Developing Paradigm*. N. Y., 1977; etc.

³ *Macfarlane A. History, Anthropology and the Study of Communities // Social History*. 1977. № 5. P. 631-652. (P. 642). Но в британской ис-

Микроподходы становились все более привлекательными, по мере того как обнаруживалась неполнота и неадекватность макроисторических выводов, ненадежность средне-статистических показателей («статистических фантазий»), направленность доминирующей парадигмы на свертывание широкой панорамы исторического прошлого в узкий диапазон «ведущих тенденций», на сведение множества вариантов исторической динамики к псевдонормативным образцам или типам. И уход на микроуровень в рамках антропологической версии социальной истории изначально подразумевал перспективу последующего возвращения к генерализации на новых основаниях (что ориентировало на последовательную комбинацию инструментов микро- и макроанализа), хотя и с достаточно отчетливым осознанием тех труднопреодолимых препятствий, которые встретятся на этом «обратном» пути.

Новые тенденции последовательно проявлялись во все возрастающем корпусе исследований, нацеленных на всестороннее изучение той или иной локальной общности как некоего микрокосма, как развивающегося социального организма, на создание ее полноценной коллективной биографии. При этом внутри новой локальной истории сложились и стали зачастую даже противопоставляться друг другу два различных исследовательских подхода.

Первый из них отталкивается именно от «локальности», от раскрытия внутренней организации и функционирования социальной среды в самом широком смысле этого слова, включая местный исторический ландшафт, отражающий

ториографии новая локальная история очень быстро и практически безраздельно стала оплотом микроаналитических исследований, и именно поэтому сделала излишним какое-либо дополнительное акцентирование их специфической методологии в самоназвании. Возможно, не в меньшей мере такое постоянство объясняется характерной приверженностью национальным традициям, которая распространяется и на классификацию исторических направлений и субдисциплин.

«физическую реальность локального мира», также социальную экологию человека, все многообразие человеческих общностей (неформальных и формальных групп, различных ассоциаций и корпораций), и выявляет их соотношение не только между собой, но также с социальными стратами, сословными группами, классами.

Во втором варианте исследователь подходит к той же проблеме со стороны индивидов, составляющих ту или иную общность (при этом используется вся совокупность местных источников, фиксирующих различные аспекты деятельности индивидов), описывая жизненный путь человека от рождения до смерти через смену социальных ролей и стереотипов поведения в контексте занимаемого им жизненного пространства. Такой тип микросоциального анализа имел сверхзадачу – выяснение соотношения между организацией жизни в локальной общине, которая функционирует главным образом как форма личной, естественной связи людей, с одной стороны, и социально-классовой структурой, фиксирующей качественно иную – опосредованно-вещный характер социальных отношений, с другой стороны. А значит – был взят курс на поиски выхода из микрокосмического пространства локального социума на более высокие «орбиты», что ориентировало на последовательную комбинацию инструментов микро- и макроанализа⁴.

Многочисленные локальные исследования последней трети XX в. выявили исключительное разнообразие локальных вариантов демографического, экономического и культурного развития, социальных структур и структур местного управления, хотя новые теоретические основания для их обобщения на региональном, а тем более на национальном уровне, еще не были разработаны. Локальные историки исходили из того, что

⁴ *Phythian-Adams C. Re-thinking English Local History. Leicester, 1987; Idem. Local History and National History: The Quest for the Peoples of England // Rural History. 1991. V. 2. № 1. P. 1-23; Idem. Local History and Societal History // Local Population Studies. 1993. Vol. 51. N 1. P. 30-45.*

реальность человеческих отношений может быть понята лишь в их субстратной среде, в рамках социальной жизни, приближенных к индивиду, на уровне, непосредственно фиксирующем повторяемость и изменчивость индивидуальных и групповых ситуаций и возникновение новых форм «социального обмена»⁵. При этом многие историки прекрасно осознавали условный характер и искусственность вычленения изучаемого объекта из окружающего его более обширного социума.

Способ повседневного существования людей устанавливает их отношения друг к другу и образует саму локальную общность, а она, в свою очередь, входит в различные контуры-подсистемы социального управления и играет важную роль в детерминации поведения образующих ее индивидов. Границы же разномасштабных общностей накладываются друг на друга, пересекаясь в локальном микрокосме и даже в одном и том же индивиде⁶, формируя сети социального взаимодействия и создавая основу для перекрывающихся друг друга социальных идентичностей. Как бы ни называть объекты идентичности – регионами, землями, провинциями или как-то иначе – главный и определяющий момент для исследователя состоит в том, что именно к этим территориям люди чувствовали свою принадлежность и эмоциональную привязанность⁷.

⁵ В этом плане весомое значение придается изучению местных форм социальной коммуникации в раннее Новое время, когда получают развитие способы общения, которые выполняют функции своего рода становящейся «публичной сферы». См., в частности: *Kümin B. Drinking Matters: Public Houses and Social Exchange in Early Modern Central Europe. (Early Modern History: Society and Culture). Houndsmills, 2007.*

⁶ *Phythian-Adams C. Re-thinking English Local History. Leicester, 1987; Idem. Local History and National History: The Quest for the Peoples of England // Rural History. 1991. V. 2. № 1. P. 1-23; Idem. Local History and Societal History // Local Population Studies. 1993. Vol. 51. N 1. P. 30-45.*

⁷ *Schürer K. Surnames and the Search for Regions // Local Population Studies. 2004. Vol. 72. N 1. P. 50-76; Naming, Society and Regional Identity / Ed. by D. Postles. Oxford, 2002.*

Между тем, все больше конкретных локальных исследований стали приближаться к идеальной модели, получившей признание как образец тотальной истории на микроуровне. Такое исследование направлено не просто на максимально эффективное использование разнообразных приемов анализа и фронтальную обработку данных местных архивов (налоговых описей, приходских регистров, завещаний, судебных протоколов и др.) для восстановления жизненных судеб индивидов и их межличностных взаимодействий. В целостной картине повседневной жизни местной общины они – через систему многообразных «региональных фильтров» – связывались с течением макропроцессов во всех сферах общественного бытия.

Практически неизменным атрибутом данного типа локально-исторических исследований стал анализ:

- основных характеристик экономической и демографической ситуации в целом;
- структуры семьи и домохозяйства;
- порядка и правил наследования собственности;
- систем родственных и соседских связей;
- индивидуальной и групповой социальной и географической мобильности;
- социальных функций полов;
- локальных политических структур и культурных представлений;
- формальных и неформальных средств социального контроля и распределения власти и влияния внутри общины;
- сравнительный сетевой анализ индивидуальных и коллективных социальных контактов.

Широко использовалась социологическая концепция «локальной социальной системы», опирающаяся, в частности, на такие критерии, как стратегия выбора брачных партнеров в ближайшей округе, частота обращений за материальной и социальной помощью в пределах домососедства и др. Разумеет-

ся, исследователи локальных систем исходили, прежде всего, из того, что социальный статус индивида не может рассматриваться вне контекста локальных социальных общностей (деревенских общин, городских приходов и т.д.); тем не менее, они учитывали экстралокальные источники влияния и социального престижа, если таковые обнаруживались. Впрочем, трудности включения в поле анализа экстралокальных связей вполне осознаются, и эта проблема продолжает обсуждаться⁸.

В ряде случаев источниковая база позволяет применить полноценный сетевой анализ (путем комбинации разных микросоциологических методик) даже в исследованиях по средневековой истории. Речь идет о сочетании, с одной стороны, качественного сетевого анализа, учитывающего не только плотность и интенсивность индивидуальных контактов, но также содержание и направленность межличностных коммуникаций для членов различных групп внутри локальной общности, а с другой стороны, количественного анализа и сравнения социальных сетей (кругов социальных взаимодействий) представителей различных социальных страт и половозрастных групп⁹. Непревзойденным образцом такого анализа до сих пор является книга Джудит Беннет «Женщины средневековой английской деревни» по истории повседневной жизни манора Бригсток в Нортгемптоншире с 1297 по 1348 г. Автору удалось в деталях проследить изменение социального статуса женщины на разных стадиях жизненного цикла (в девичестве, в браке и после смерти партнера). Дж. Беннет показала, что роль женщин в локальной общине обуславливалась статусом микросоциальной группы – домохозяйства и фазой его циклического развития. Выявление всего спектра возможных вариантов позволило сделать вывод о двойственности и противоречивом

⁸ См., например: *The Self-Contained Village?: the Social History of Rural Communities, 1250–1900* / Ed. by C. Dyer. Hatfield, 2007.

⁹ См.: *Bennett J. M. Women in the Medieval English Countryside: Gender and Household in Brigstock before the Plague*. N.Y., 1987.

характере воздействия этой естественной социальной общности на статус женщины, поскольку, задавая социальные нормы, принижающие его на определенных отрезках жизненного цикла, то же домохозяйство способствовало высвобождению социальной активности женщины, создавая многочисленные жизненные обстоятельства, в которых эти нормы отвергались самими потребностями его функционирования.

Таким образом, с помощью эффективных инструментов и методов микросоциологии локально-историческое исследование корректирует обобщенные утверждения или предположения, построенные на материале нормативных или дескриптивных экстралокальных источников.

Применение социологических и антропологических моделей сетевого анализа межличностных взаимодействий дало импульс развитию так называемой контекстуальной исторической биографии, которая, опираясь на ту же сетевую концепцию социальной структуры, объясняет поведение исторического индивида или группы морфологией, плотностью и интенсивностью межличностных контактов. Биография же выстраивается как вертикальная темпоральная последовательность горизонтальных срезов, на каждом из которых пространственно фиксируется конфигурация социальных связей индивида в соответствующий отрезок его жизненного пути. Конечно, конструируя графический образ последнего, сетевой анализ ориентируется на сравнение, по существу, анонимных биографий. Но он может послужить и фундаментом для настоящей биографии, здание которой достраивается уже с помощью иных познавательных инструментов. Введение в биографию качественного сетевого анализа при сохранении интереса к ее индивидуально-психологическим аспектам раскрывает перед ней новые перспективы. Однако сами по себе методы микросоциологии не могли – в силу своей несовместимости с макроподходами – предоставить историкам готовую теоретическую конструкцию для синтеза полученных ими новых данных. Это признавали ведущие представители

«новой локальной истории» 1980–1990-х гг. Так, в частности, Ч. Фитьян-Адамс, оценивая промежуточные итоги развития локальной истории в конце XX века, подчеркнул, что «от локально-исторических исследований стали ждать не иллюстрации единства национальных процессов, а свидетельства их многовариантности. Таким образом, локальная история стала средством углубления нашего понимания отдельных национальных процессов на более низких, но все еще приемлемых уровнях исторического обобщения... Другими словами, академическая локальная история стала рассматриваться как уважаемое интеллектуальное занятие, больше из-за ее соответствия дезинтегрированной форме историографии, чем из-за ее способности дать интегрированную версию английского или любого другого национального прошлого»¹⁰.

В это время все острее осознавалась необходимость создания новых теоретических моделей, способных выявить механизмы взаимодействия локальных, региональных, национальных и даже наднациональных процессов. Возможности интеграции микро- и макроподходов были блестяще реализованы в обобщающем труде по истории английского общества в XVI–XVII вв., который по методологической оснащенности значительно превосходил уровень схожих по масштабу работ, вышедших в свет в первой половине 1980-х гг. (не случайно возникла потребность переиздать книгу через 20 лет)¹¹. Ныне один из ведущих британских историков К. Райтсон, опираясь на десятки локально-исторических исследований, предметно показал, как крупные социальные сдвиги, вызванные совокупным эффектом демографических, экономических, культурных и административных изменений в национальном масштабе, с одной стороны, привели к усложнению социальной стратификации на местах, к перестройке в локальных социальных отношениях, а с другой – к интенсификации взаимодействия ме-

¹⁰ *Phythian-Adams Ch. Local History and National History...* P. 1-23.

¹¹ *Wrightson K. English Society, 1580–1680. L., 1982; 2 ed. – 2002.*

жду различными локальными сообществами и более тесной интеграции последних в национальную общность.

Центральное место в его интегральной теоретической конструкции, охватывающей семью, локальную общность и систему социальной дифференциации национального масштаба, заняла локальная община, включающая в себя и микрогруппы, и элементы социальной макроструктуры, и другие фрагменты целого и представляющая собой не усредненно-типичное, а конкретное пространственно-идентифицируемое выражение общественных отношений, что дало реальную возможность представить весь диапазон региональных вариаций в их специфической связи с национальным целым.

Институты брака и семьи, внутрисемейные отношения, социальные группы и вертикальные связи локального уровня были рассмотрены в контексте макропроцессов – движения населения, сдвигов в экономической и духовной сферах, в функционировании институтов общественного контроля и механизмов разрешения социальных конфликтов. В углублении социальной дифференциации на местах и поляризации интересов в тысячах провинциальных общин был найден ключевой момент связи между макроструктурными сдвигами и повседневной жизнью людей. Локальный микроанализ выявил существование сословно-иерархических и протоклассовых представлений как альтернативных, в зависимости от обстоятельств – в родном приходе или вне его (при относительной стабильности или во время конфликта), и поставил вертикальные патерналистские связи в макроисторический контекст социального неравенства и реального распределения власти в обществе¹². Соотношение между двумя системами социальной классификации определялось местной спецификой: локальные модели социальных отношений возникали из согласования

¹² Ibid. P. 222-223. См. также: *Negotiating Power in Early Modern Society: Order, Hierarchy and Subordination in Britain and Ireland* / Ed. by Michael J. Braddick and J. Walter. Cambridge, 2001.

между силами социальной идентификации (в качестве родственников, друзей, соседей, патрона и клиента и т.п.) и силами социальной дифференциации (в качестве лендлорда и держателя, хозяина и слуги, богатого и бедного и т.д.). Оба измерения социальных отношений присутствовали как повседневная реальность, однако баланс между ними менялся. Наличие двух моделей социальной классификации определяло и наличие двух соответствующих моделей политического поведения.

Проведенное исследование долговременного процесса трансформации традиционного восприятия социального мира, средневековых представлений об общественной иерархии – через трехчастную модель концептуализации социальной дифференциации в терминах «сортов», или «разрядов» людей – в социологию классов Нового времени, позволяет глубже понять социальный динамизм переломной эпохи¹³. По существу, в работах К. Райтсона была на практике осуществлена та самая «инкорпорация повседневной жизни в бурные воды исторического процесса», о которой – как о центральной задаче синтетической программы – писал известный американский историк и социолог Ч. Тилли, выдвигая в качестве главной цели социальной истории «реконструкцию человеческого опыта переживания крупных структурных изменений»¹⁴.

Все же центральным для всех локальных исследований по-прежнему оставался вопрос о методах включения материалов локального анализа в более широкие обобщающие построения на макроуровне. Дальнейшая разработка синтетического подхода была проведена Ч. Фитьян-Адамсом. Его модель учитывает социально-пространственные структуры разного уровня и различной степени интеграции:

¹³ Райтсон К. «Разряды людей» в Англии при Тюдорах и Стюартах // *Средние века*. Вып. 57. 1994. С.46-61. См. также: French H. R. *The Middle Sort of People in Provincial England 1600–1750*. Oxford, 2007.

¹⁴ Tilly C. *Retrieving European Lives // Reliving the Past. The Worlds of Social History* / Ed. by O. Zunz. Chapel Hill; L., 1985. P. 11-52.

- так называемое «ядро общины»;
- общину как целое (сельскую или городскую);
- группу соседских общин;
- более широкую область с общей социокультурной характеристикой; графство; провинцию, или регион.

В основу этой модели положена концепция «социального пространства», охватывающего по-разному ограниченные и частично перекрывающиеся друг друга сферы социальных контактов. Локальная социальная структура задает пределы реальному поведению индивидов и их межличностным отношениям и выступает как своеобразный фильтр, опосредующий связи между индивидами в более широком социальном пространстве. Не случайно, что именно вопрос о том, как локальные общины «взаимодействовали с миром за пределами своих границ» в разные исторические эпохи, в последнее десятилетие оказался в центре внимания ведущих специалистов в области локальной и региональной истории¹⁵.

Взаимосвязанные, но индивидуально различимые «локальные общества», составляющие целое, предстают как объединенные не только национальной идеологией, формальными атрибутами и аппаратом централизованного государства, но и разделяемой ими совокупностью общественных норм и ценностей («социальной организацией»). Социальная структура национального масштаба представляется как набор возможных социальных позиций, специфические комбинации которых на местах могут существенно различаться согласно тому, какая именно структура здесь исторически сложилась. Фундаментальные сдвиги на уровне локальных социальных структур, связанные с приспособлением к новым условиям и

¹⁵ The Self-Contained Village? The Social History of Rural Communities, 1250–1900 / Ed. by Christopher Dyer. Hatfield, 2007. (Series “Explorations in Local and Regional History”. Vol. 2). Preface. P. 1. См. также: A Social History of England, 1200–1500 / Ed. by Rosemary Horrox, W. Mark Ormrod. Cambridge, 2006.

с соответствующими изменениями в образе жизни, приводят, в конечном счете, к образованию новых комплексов социальных позиций и отношений на более высоком уровне.

Само понятие «локальное общество» делается в такой перспективе подвижным, а во главу угла ставится проблема последовательной исторической реконструкции каждого из звеньев этой цепочки с обеих ее противоположных концов, на которые расходятся интересы специалистов по локальной и национальной истории. Но последний должен, не ограничиваясь анализом общественного строя и государственных структур, исследовать и различные аспекты национальной культуры (включая право, религию, образование и др.), и нормы поведения, и центростремительные силы «двора и капитала», и многочисленные провинциальные «сферы аристократического влияния», и «соединительную ткань коммуникаций», а также всю совокупность тех категорий людей (от коммерсантов до бродяг), чьи передвижения способствовали смешению региональных популяций. Интеграция локальной и национальной истории предполагает изучение сферы осуществления властных функций на всех уровнях общества: именно система распределения власти – властная структура, выполняя роль арматуры, скрепляющей общественный организм, охватывала сложную иерархию местных сообществ.

Важной ступенью восхождения от синтеза на локальном уровне к общенациональному становится изучение промежуточных сообществ более крупного масштаба, чем сельские и городские. К сожалению, до сих пор совершенно недостаточно изучена роль так называемых территориальных общностей второго порядка не только в формировании политической культуры (в ее региональных вариантах), но и в опосредовании активного воздействия общегосударственных структур на ситуацию в локальных сообществах. Однако в настоящее время внимание исследователей все больше сосредоточивается на том, каким образом функционировала иерархическая система распределения власти в целом, и на изучении системы управ-

ления и политической жизни на местах, сменяя таким образом фокус анализа политических институтов в направлении тех переходных звеньев, в которых реализовывалась обратная связь между государством и обществом, а также между макро- и микроструктурами разного уровня.

Сфера деятельности локального историка простирается ниже уровня «посредников национального масштаба», но тесно связана с ним – через провинциальных лидеров, игравших какую-то роль на национальной сцене, через органы местного управления, через тех, кто вступал в межрегиональные контакты. Так размыкаются интеллектуальные границы социально-исторического микроанализа и нащупывается стык социальной макроистории и микроистории на промежуточном уровне, в проводящих прямую и обратную связь социально-пространственных структурах среднего звена.

4.2. Региональная история: преимущества и перспективы

Процессы регионализации, наблюдаемые, с одной стороны, в интеграции локальных сообществ в более крупные территориальные комплексы, с другой – в сохранении культурных различий, как в рамках этих комплексов, так и между ними, привели к актуализации трансдисциплинарных региональных исследований. На рубеже XX–XXI вв. происходит обновление региональной истории, которая решительно размежевывается с историей национальной. Так «размывается» сложившаяся в Новое время и до сих пор формирующая нашу «ретроспективную оптику» исторически несостоятельная концепция жестких государственных границ, которые, однако, явственно «просматриваются» в таких терминах, как «субнациональный регион» и «транснациональный регион»¹⁶.

В одних своих версиях региональная история смыкается с локальной историей, в других – дистанцируется от нее,

¹⁶ См.: *Smith D., Wistrich E. Collective Identities in a Changing World // Regional Identity and Diversity in Europe. L.; N.Y., 2007. P. 6-21.*

причем границы между ними остаются неясными и зачастую просто не рефлексированы. В этой ситуации нельзя не согласиться с характеристикой сегодняшнего научного статуса региональной истории как «субдисциплины, еще не достигшей своего совершеннолетия», с «неопределенными концептуальными горизонтами»¹⁷. Регионалистика претендует на статус самостоятельной «супер-дисциплины» в системе гуманитарного знания; но, с другой стороны, сегодня в зарубежной историографии отчетливо проявляется тенденция перевести обсуждение перспектив региональной истории в контекст более специализированной интеллектуальной традиции историко-географических исследований или так называемой географической истории, изучающей пространственную сторону исторического процесса. В России не менее значимое место в регионалистике занимает ее «политологическая версия»¹⁸.

Всесторонний анализ взаимодействия географии и истории на «пересекающихся» проблемных полях, в том числе и в исследовательском пространстве современной регионалистики, представлен известным британским ученым Аланом Бейкером¹⁹, который считает, что преодолеть разрыв между

¹⁷ An Agenda for Regional History / Ed. by Bill Lancaster, Diana Newton, Natasha Vall. Newcastle-upon-Tyne, 2007. P. VIII. В книге специально исследуются вопросы формирования региональных идентичностей (на материале различных регионов Европы), рассматриваются такие общие проблемы, как: «регион и пространство», «регион и империя», «регион и политика», «регион и город», «регион и культура».

¹⁸ См., например: Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Основы региональной политики. СПб., 1998; Нечаев В. Д. Региональный миф в политической культуре современной России. М., 1999; Бусыгина И. М. Политическая регионалистика. М., 2006; Фадеева Л. А. Сквозь призму политической культуры: нация, класс, регион. Пермь, 2006; и мн. др.

¹⁹ Baker, Alan R. H. Geography and History: Bridging the Divide. Cambridge; N. Y., 2003 (2nd ed. – 2005); *Idem*. Place, Practice and Structure. Cambridge, 1988; Grabowski R., Self S., Shields M. P. Economic Development: A Regional, Institutional and Historical approach. L., 2007.

историей и географией удастся, только если историки расширят свои географические горизонты, а географы углубят свои исторические представления. Предметное поле и современное состояние исторической географии активно обсуждается и отечественными историками²⁰.

В современном интеллектуальном контексте представляется важным отметить, что эффективное междисциплинарное сотрудничество строится на разделяемой всеми сторонами теоретической установке – приоритете социокультурного измерения и признании активной роли человека в формировании окружающей среды и пространства регионов²¹.

Поиски синтеза макро- и микроистории, осложненные очевидной несовместимостью их понятийных сеток и аналитического инструментария, разумеется, не ограничиваются рассмотренными выше способами интеграции локальных исследований. Движение в этом направлении весьма заметно и в рамках историко-антропологического подхода «новой политической истории», который возник как метод осмысления культурных стереотипов в сфере реальных властных отношений и впоследствии обратился к ключевой проблеме соотношения высокой политики и народной культуры, и в новых модификациях событийной истории²².

²⁰ Среди самых недавних публикаций см.: Историческая география: Пространство человека vs человек пространства. Материалы XXIII Международной научной конференции. Москва, 27-29 января 2011 г. / Отв. ред. М. Ф. Румянцев. М., 2011. В общетеоретических работах также превалирует географическая перспектива. См., в частности: Попов П. Л. Элементы теории регионов. Новосибирск, 2005.

²¹ Ср.: Place / Culture / Representation / Ed. by J. Duncan and D. Ley. L., 1993; Основания регионалистики. Формирование и эволюция историко-культурных зон / Под ред. А. С. Герца, Г. С. Лебедева. СПб., 1999.

²² Подробнее об этом см.: Ретина Л. П. От альтернативы к синтезу: высокая политика и народная культура в интерпретациях Английской революции // Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации. М., 1995. С. 130-141.

В 1990-е годы главной темой таких исследований стал «ландшафт как продукт властных отношений»²³ в пространственных конфигурациях разного масштаба – от локального до геополитического. Однако наряду с этим на передний план выходят исследования региональной идентичности и региональной культуры²⁴. Понятия «региональной идентичности» и «региональной культуры» трактуются в широком диапазоне. В лаконичном определении Э. Ройля, «региональная культура» – это «постоянно изменяющаяся культура, с глубокими корнями в прошлом и связями с природным окружением, но поддающаяся обновлению и изобретению традиций в настоящем»²⁵.

Противоречивые дефиниции региональной истории в современной историографии отражают имеющиеся различия в трактовках понятия «регион», которые проявляются как в отношении их пространственных масштабов – согласно различным схемам организации географического пространства или дифференциации исследуемых регионов на внутригосударственные и надгосударственные (т.е. на основе административного или геополитического критерия), так и в практике их выделения на основе общего набора содержательных характеристик. В. Г. Рыженко предлагает такую классификацию существующих интерпретаций этого понятия: «административно-территориальная (политико-административная или

²³ Historical Geography // Encyclopedia of Historians and Historical Writing / Ed. by K. Boyd. L.; Chicago, 1999. Vol. 1. P. 538. См. также: Historical Ecology: Cultural Knowledge and Changing Landscapes / Ed. by Carole L. Crumley. Santa Fe, 1994.

²⁴ См., например: Region, Nation, Europa / Ed. by Günter Lottes. Heidelberg, 1992; Applegate, Celia. A Europe of Regions: Reflections on the Historiography of Sub-National Places in Modern Times // American Historical Review. 1999. Vol. 104. No. 4. P. 1157-1183; Storm, Eric. Regionalism in history, 1890 – 1945: The Cultural Approach // European History Quarterly. 2003. Vol. 33. No. 2. P. 251-262.

²⁵ Royle E. Introduction: Regions and Identities // Issues of Regional Identity. In Honour of J. Marshall / Ed. by E. Royle. Manchester, 1999. P. 10.

юридическая); философская (особо важная для изучения истории культуры региона, так как в ней акцент переносится на менталитет, образ мышления, традиции, мироощущение обитателей того или иного региона, что сближает регионоведение с новейшими направлениями в исторической науке); историческая трактовка региона (способствует восстановлению утраченной со временем идентичности); геополитическое понимание региона (акцент переносится на соотношение центров “мощи” и “слабости” в пространственной дифференциации различных политических сил); экономический регион (обозначение территории с четко выраженной специализацией производства и хозяйственной целостностью)²⁶.

Хотя в результате «культурного поворота», охватившего всю область социально-гуманитарного знания на исходе XX столетия, приоритет в регионально-исторических научных исследованиях все больше переходит от сферы экономики к культурной специфике региональных сообществ, последние и сегодня нередко определяются по территориально-административным границам и номинируются по названиям соответствующих округов или исторических областей, причем, как правило, ретроспективно используются нынешние границы, без учета их подвижности и изменчивой конфигурации. Более осмысленная исследовательская модель опирается на комплекс природных, экономических, культурных и других признаков, который может объединять несколько различных округов или существовать внутри одного из них, но, тем не менее, представляет собой определенную культурно-хозяйственную целостность на основе устойчивых связей, общих представлений, образа жизни, исторических традиций, независимо от современных административных границ.

²⁶ Рыженко В. Г. Историческая наука, регионоведение, культурология: возможности кооперации вокруг проблемы «присвоения прошлого» // Историческая наука сегодня: проблемы, методы, перспективы / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2011. С. 338.

Поскольку ни сугобо географические, ни административные таксономические единицы территориального членения не могут сегодня служить опорой теоретического «регионостроительства», споры вокруг дефиниций остаются малопродуктивными и рискуют затянуться. Так, известный британский ученый и теоретик локальной и региональной истории Дж. Маршалл (1919–2008) полвека своей научной карьеры активно участвовал в дискуссиях по этим проблемам с представителями «лестерской школы», которые строили модели изучения локальной истории доиндустриального периода вокруг концепта «локального сообщества». Для анализа реалий индустриальной эпохи он обоснованно отстаивал необходимость изучения более широких региональных контекстов²⁷.

Найти какой-то безупречно нейтральный термин невозможно в силу историко-культурной «привязанности» всех понятий, имеющих хождение в мировой и отечественной историографии. В целом соглашаясь с критическими замечаниями М. П. Мохначевой²⁸ по поводу существующих в со-

²⁷ См., например: *Marshall J. D. The Study of Local and Regional "Communities": Some Problems and Possibilities // Northern History. 1981. Vol. 17. P. 203-230; idem. Why Study Regions? // Journal of Regional and Local Studies. 1985. Vol. 5. P. 15-27; idem. Why Study Regions? Some Historical Considerations // Journal of Regional and Local Studies. 1986. Vol. 6. N 1. P. 1-12; idem. Communities, Societies, Regions and Local History: Perceptions of Locality in High and Low Furness // Local Historian. 1996. Vol. 26. N 1. P. 36-47; idem. The Tyranny of the Discrete: A Discussion of the Problems of Local History in England. Aldershot, 1997. К началу нового века необходимость обновления канона локально-региональных исследований высвечивалась все ярче. См.: *Sheeran, George and Yanina. Reconstructing Local History // Local Historian. 1999. Vol. 29. N 4. P. 256-262; Becket J. Local History, Family History and the Victoria County History: New Directions for the Twenty-first Century // Historical Research. 2008. Vol. 81. N 212. P. 350-365.**

²⁸ См.: *Мохначева М. П. Провинциальная историография и историческое краеведение: предметные поля и дисциплинарные полномочия // Новая локальная история. Вып. 3. Ставрополь, 2006. С. 202-216.*

временной литературе этимологических изысканий, считаю все же целесообразным, по возможности, избегать в обозначении научных направлений слов, перегруженных коннотациями – таких, например, как эпитет «провинциальный».

Термин «регион/региональный» можно признать наиболее нейтральным из всех наличествующих. И он правомерно становится общепринятым в международном научном сообществе, так как дает возможность вербально предьявить отличие научного подхода к изучению прошлого, обозначаемого данным термином, от традиционных для соответствующих национальных традиций историописания – «истории области/края» в России, «истории земли» в Германии, «истории графства» в Англии, «истории провинции» во Франции (провинции в административно-территориальном значении, а не в значении периферии), – оставив эти последние для обозначения объектов историко-историографических исследований.

Образцом такого историко-историографического исследования может служить фундаментальный коллективный труд «Английские истории графств»²⁹, в котором представлен анализ особого рода исторических нарративов – всех так называемых «историй графств» (разных уровней – и графства как целого, и его округов, и выходящих за его пределы культурно-исторических областей), начиная с местных эрудитов XVI столетия (включая неопубликованные рукописи, завершённые и незавершённые, а также собранные антикварами коллекции документов и артефактов, предназначавшихся для

Ср.: Шмидт С. О. Краеведение и региональная история в современной России // Методология региональных исторических исследований. Российский и зарубежный опыт. Материалы международного семинара 19-20 июня 2000 года. СПб., 2000. С. 11-15.

²⁹ English County Histories. A Guide // Ed. by C. R. J. Currie and C. R. Elrington. Stroud, 1994. См. также: *Broadway, Jan*. 'No historie so meete'. Gentry Culture and the Development of Local History in Elizabethan and Early Stuart England. Manchester, 2006.

создания истории графства или его частей, или отдельных местных общин) и до профессионалов конца XX века.

Региональная история сегодня рассматривается в двух несоизмеримых культурных контекстах, имеющих разную идейную ориентацию: с одной стороны, как способ мобилизации исторической памяти, а с другой – как эффективный инструмент исторического познания, в котором находят применение теории, методы и концепции смежных дисциплин – к примеру, концепции «ментального пространства»³⁰ и «воображаемых сообществ». Первая ипостась региональной истории ярко воплощается в историко-культурном краеведении³¹, или «истории родного края», которая составляет национально-региональный компонент школьного образования³².

М. Ф. Румянцева, размышляя о причинах актуализации краеведения, справедливо отмечает факт его поощрения властями как идеологического средства государственного и национального утверждения. Представляя краеведение и новую локальную историю «как два оппонирующих типа локаль-

³⁰ Формирование ментальных границ региона «Кубань» в составе Российской империи («присвоение и символическое освоение») рассматривается как «пример воображаемого пространства, судьба которого теснейшим образом была связана с имперскими “войнами памяти”, необходимостью со стороны российского царизма управлять новыми окраинными землями». *Сень Д.* Воображаемая география в дискурсе империй: из истории «русификации» Причерноморья в конце XVIII века // *Україна в Центрально-Східній Європі*. Вип. 7. Київ, 2007. С. 346.

³¹ Об отечественной традиции историко-культурного краеведения см.: *Шмидт С. О.* Изучение местной истории и развитие исторической науки и общественно-исторического сознания // *В едином историческом пространстве*. М., 2009. С. 24-63. Об определении категории «места» и методологии местной истории см.: *Гомаянов С. А.* Местная история: проблемы методологии // *Вопросы истории*. 1996. № 9. С. 158-163.

³² Достаточно вспомнить о созданных в нашей стране в 1990-е годы многочисленных программах и учебниках по истории национальных республик и административных регионов – в отсутствие единой концепции национально-региональной истории России.

ных/региональных исследований – интравертный и экстравертный соответственно», она подчеркивает «значение новой локальной истории как концептуальной основы преодоления ксенофобии и воспитания толерантного мировосприятия»³³.

В той же плоскости рассматривается и «история пограничных областей», которая уже доказала свой эвристический потенциал и в последние десятилетия успешно развивается в контексте новой локальной и культурной истории. Однако, если в политико-идеологических и этических аргументах относительно значимости изучения пограничных зон, представляющих опыт (хотя и неоднозначный) совместного существования разных этнокультурных групп, для «воспитания в духе сотрудничества, синкретизма и интеграции» и «в интересах взаимопонимания»³⁴ недостатка нет, то научные основания и перспективы, которые открываются в *borderland history*, т.е. в истории пограничных регионов³⁵, и в истории так

³³ Румянцева М. Ф. Новая локальная история и современное гуманитарное знание // Новая локальная история. Вып. 3. Ставрополь, 2006. С. 272-273.

³⁴ См., например: Коткин С. О краеведении и его методологии // Методология региональных исторических исследований. Российский и зарубежный опыт. СПб., 2000. С. 16-20.

³⁵ Hurd, Madeleine. *Borderland Identities: Territory and Belonging in North, Central and East Europe*. Eslöv, 2006. О концептуальных проблемах истории пограничья см.: Мегилл, Аллан. Границы как историческая и теоретическая проблема // Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной научной конференции / Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2008. С. 212-214. А. Мегилл определяет регион как «сообщество людей в пространстве, отличном от локального, национально-государственного и глобального... Региональная история – это история, в которой национальные государства и их четко очерченные границы играют второстепенную роль или отсутствуют вовсе» (Там же. С. 212). См. также: Мегилл, Аллан. Границы и национальное государство. Предварительные заметки // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. 2010. Вып. 30. С. 42-58.

называемых *контактных зон* (речь обычно идет о регионах, в которых «переплетаются» исторические судьбы взаимодействующих народов, искусственно разделяемые в противоречащих друг другу историографических традициях), до сих пор остаются слабо эксплицированными.

В связи с этим акцент в региональных исследованиях на проблематику исторической памяти нередко оказывается не просто малопродуктивным, но откровенно манипулятивным. Д. В. Сень, справедливо замечая, что многие российские регионоведы используют «такие “химеры” региональной идентичности, как “коренной народ”, “родная земля”, “малая родина”», счел необходимым признать, что «региональный подход, зачастую приводящий к этнизации местной истории, становится все менее научно состоятельным на фоне возрастающей политической значимости национализма и регионализма» и может послужить «лишним горючим основанием для разжигания новых “войн памяти”»³⁶. Однако этот категоричный вывод, при всей его актуальной обоснованности, имеет отношение только к вполне определенному направлению идеологии регионализма и «этнизации прошлого».

Что касается собственно научной парадигмы локально-региональных исследований в современном историческом познании, то она имеет совершенно иную направленность, развиваясь как антидот от «национализации прошлого», к которой приводит доминирование традиционной перспективы национально-государственной историографии, ориентированной на задачи государственного строительства и нацио-

³⁶ Сень Д. В. «Черноморья» versus «Кубань»: некоторые аспекты дискурса империй и теоретические проблемы изучения истории Северо-Западного Кавказа конца XVIII – начала XIX в. // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2005 год. Краснодар, 2006. С. 380-381, 386. См. также: История края как поле конструирования региональной идентичности. Материалы семинара / Под ред. И. И. Куриллы. Волгоград, 2008.

нальной самоидентификации. По убеждению А. Мегилла, региональная история как жанр историографии привлекает многих исследователей именно «из-за своей способности эффективно работать против категорий “национальной” и “мировой” истории, которые тесно связаны с представлением о том, что во всем мире существует некий единственный, доминирующий процесс человеческого развития»³⁷.

Профессиональный интерес к региональной истории во многом объясняется более общим процессом децентрализации исторической перспективы. Задача же изучения специфических форм регионализма и культурной идентификации локальных и региональных субъектов («региональной идентичности») связывается с признанием роли социокультурного фактора в процессах региональной модернизации³⁸. Важное место региональные исследования занимают в «новой истории империй»³⁹. Стоит, однако, добавить, что в европейском контексте речь все чаще идет именно о региональной иден-

³⁷ Megill A. The Needed Centrality of Regional History // Ideas in History, 2009. Vol. IV. N 2. P. 11-37. (P. 13).

³⁸ Например, синтетическое исследование крупных историко-культурных зон или макрорегионов России рассматривается как актуальная задача культурологии в рамках современной регионалистики. См.: Мосолова Л. М. Историография XX века о глобальном и региональном в развитии культуры // Регионы России: Социокультурные контексты художественных процессов Нового и Новейшего времени / Отв. ред. Л. М. Мосолова. СПб., 2002. С. 16. Обоснование регионально-ориентированной модели изучения процессов модернизации см. в книге: Россия в XVII – начале XX в.: региональные аспекты модернизации / Отв. ред. И. В. Побережников. Екатеринбург, 2006.

³⁹ См. об этом ниже: гл. 5. В отечественной историографии см., например: Имперский строй России в региональном измерении (XIX – начало XX в.) / Отв. ред. П. И. Савельева. М., 1997; Российская империя в сравнительной перспективе / Под ред. А. И. Миллера. М., 2004; Локальные сообщества имперской России в условиях социальных конфликтов. (Подходы и практики в современных региональных исследованиях) / Под ред. В. И. Худяковой, Т. А. Сабуровой. Омск, 2009.

тичности (включая важную роль миграций в ее становлении и трансформации) не только в пределах национальных государств⁴⁰ или в «регионах, соединяющих нации-государства», но и в регионах, «рассекающих» все ныне существующие административно-государственные границы (включая создание транснациональных региональных ассоциаций)⁴¹.

При высоком градусе терминологических споров представляется странным, что в них, как правило, обходится стороной вопрос о предметных и методологических различиях локальной и региональной истории и связанный с ним вопрос о последовательной трансформации наиболее продвинутых концепций «новой локальной истории»⁴². Отсутствие в совре-

⁴⁰ British Regionalism, 1900-2000 / Ed. by P. L. Garside, M. Hebbert. L., 1989; Issues of Regional Identity. In Honour of John Marshall / Ed. by E. Royle. Manchester, 1998; *Gerson, Stéfane*. The Pride of Place: Local Memories and Political Culture in Nineteenth-Century France. Ithaca, 2003; Society, Religion and Culture in Seventeenth-Century Nottinghamshire / Ed. by M. Bennett. Lampeter, 2005; Regional Identity and Diversity in Europe: Experience in Wales, Silesia and Flanders / Ed. by D. M. Smith, E. Wistrich. L., 2007; Regional Identities in North East England c. 1300-2000 / Ed. by A. Green, A. J. Pollard. Woodbridge, 2007; *Jones R., Fowler C.* Where is Wales? Narrating the territories and borders of the Welsh linguistic nation // *Regional Studies*. 2007. Vol. 41. P. 89-101; etc.

⁴¹ См., в частности: *Sahlins P.* Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenes. Berkeley, 1989; Place and Politics of Identity / Ed. by M. Keith and S. Pile. L., 1993; *Pollard S.* Marginal Europe: The Contribution of Marginal Lands since the Middle Ages. Oxford, 1997; Bridging the North Sea: Conflict and Cooperation / Ed. by David J. Starkey and M. Hahn-Pedersen. Esbjerg, 2005.

⁴² О концепциях разных поколений представителей британской школы локальной истории см.: *The Changing Face of English Local History* / Ed. by R. C. Richardson. Aldershot, 2000; *Фитьян-Адамс Ч.* Англия Хоскинса: гений локальной истории // *Диалог со временем: истории в меняющемся мире* / Отв. ред. Л. П. Релина. М., 1996; *Beckett, John.* Writing Local History. Manchester, 2007. См. также: *Local History: Objective and Pursuit* / Ed. by H. P. R. Finberg and V. H. T. Skipp. Newton

менной историографии четкого различения предметных полей локальной и региональной истории⁴³ проявляется в их практическом отождествлении в учебных планах научно-образовательных центров. Показательна магистерская программа специализации по локальной и региональной истории (MA in Local and Regional History) Института исторических исследований Лондонского университета. Программа, в фокусе которой – история графств, состоит из трех частей: общие подходы к региональной истории; пространственно-темпоральные определения регионов, миграция и этничность, экономика, политика и религия, культурная идентичность, внешние связи и влияния, причем вводный курс включает тему «Идентификация регионов». Вместе с тем, одна из магистерских программ по региональной истории – программа международного Центра региональной истории (Centre for Regional History) при Институте истории Северо-Восточной Англии (the North-East England History Institute)⁴⁴ – предлагает

Abbot, 1961; *Hoskins W.* Provincial England. L., 1963; *Idem.* English Local History: the Past and Future. Leicester, 1966; Rural Change and Urban Growth 1500–1800: Essays in English Regional History: In Honour of W. G. Hoskins / Ed. by C. W. Chalkin, M. A. Havinden. L., 1974; *Everitt, Alan.* Ways and Means in Local History. L., 1971; *Idem.* Landscape and Community in England. L., 1985; *Hey D.* Family History and Local History in England. L., N.Y., 1987; *Campbell-Kease J.* A Companion to Local History Research. Sherborne, 1989; Essays in Regional and Local History: In Honour of E. M. Sigworth / Ed. by P. Swan. Beverley, 1992; etc.

⁴³ О дифференциации предметных полей регионалистики, краеведения, локальной и региональной истории и др. как насущной проблеме современной историографии см.: *Маловичко С. И., Мохначева М. П.* Регионалистика - историческое краеведение - локальная история: размышления о порогах и пороках «не/совместимости» // Харькiвський історіографічний збірник. Вип. 8. Харкiв, 2006. С. 24.

⁴⁴ Среди исследований ученых этого института по истории собственного региона см.: *North-East England in the Later Middle Ages* / Ed. by C. D. Liddy and R. H. Britnell. Woodbridge, 2005; *Newton D.* North-East England, 1569–1625: Governance, culture and identity. Woodbridge, 2006;

более широкий подход к региональной истории, стимулируя ее изучение, как в национальном, так и в международном контекстах, с применением компаративного анализа⁴⁵.

Передовые позиции в концептуализации локальной и региональной истории принадлежат признанному специалисту – Ч. Фитьян-Адамсу. Его известная концепция локальной социальной истории постепенно, но неуклонно расширялась и трансформировалась: от книги об отдельной городской общине через реконструкцию сельских сетей и взаимосвязей между городом и округой, и далее, через анализ развивающейся региональной идентичности в пограничных областях и концепцию «культурных регионов», к обобщающему труду, в котором исследуется эволюция провинциальной Англии как целого, с характерными для нее механизмами внутренней дифференциации, на историческом протяжении от Римской Британии до сегодняшнего дня, в широких контекстах всего Британского архипелага и континентальной Европы⁴⁶.

Milne G. J. North-East England, 1850–1914: the dynamics of a maritime-industrial region. Woodbridge, 2006; Regional Identities in North East England c. 1300–2000 / Ed. by A. Green, A. J. Pollard. Woodbridge, 2007; etc.

⁴⁵ Развиваются Манчестерский центр региональной истории (с 1987 г. издается *Manchester Region History Review*), Центр локальной и региональной истории Университета Эссекса. Отметим также специальные программы подготовки исследователей по локальной и региональной истории в Ланкастерском университете, университетах Ноттингема, Сассекса и др. См. также: *Jackson A. J. H. Local history and local history education in the early twenty first century: organizational and intellectual challenges // Local Historian. 2008. Vol. 38. N 4. P. 266-273.*

⁴⁶ *Phythian-Adams Ch. Re-thinking English Local History. Leicester, 1987 (2nd ed. – 1991); Idem. Desolation of a City: Coventry and the Urban Crisis of the Late Middle Ages. Cambridge, 1979; Idem. Introduction: An Agenda for the English Local History // Societies, Cultures and Kinship 1580–1850: Cultural Provinces in English Local History / Ed. by Ch. Phythian-Adams. L.; N.Y., 1993. P. 1-23; Idem. Land of the Cumbrians: A Study in British Provincial Origins AD 410–1120. Aldershot, 1996.*

Выявление локальных, региональных, межрегиональных социальных сетей и конкретного содержания осуществляемых в них регулярных или спорадических взаимодействий (с учетом как интегрирующей деятельности «центра», так и социоинтегративного потенциала локальных микроструктур) и выходами в транснациональное и глобальное пространство представляется одной из весьма востребованных возможностей современной региональной истории. «Опутывая» пространства разного уровня, эта непрерывно флуктуирующая сеть, в которой реализуется реальное многообразие социальных связей, формирует соединительную ткань социального целого. Данная историческая модель в целом корреспондирует с концепцией регионов как серии связанных социальными отношениями перемежающихся пространств, предложенной известными британскими специалистами по географии регионов⁴⁷, однако заметно отличается от последней включением долговременной динамической составляющей. И здесь неизбежно возникает вопрос, насколько правомерно в связи с заметным отходом «региональных» историков от перспективы национально-государственной истории говорить об усилении «фрагментации» исторического знания⁴⁸?

В этом плане целесообразно развести два уровня исследований, претендующих на статус региональной истории. Представляется, что растущая фрагментация характерна и, надо отметить, вполне естественна для исторических сочинений, занятых любительским или заказным продуцированием коллективной памяти и абсолютизирующих локальную (зачастую этнически детерминированную) перспективу в инте-

⁴⁷ Allen J., Massey D., Cochrane A. Rethinking the Region. L., 1998. Аналогичная модель применяется в серии публикаций "Cambridge Studies in Historical Geography". См.: Hoppe G., Langton J. Peasantry to Capitalism: Western Östergötland in the Nineteenth Century. Cambridge, 1995.

⁴⁸ Маловичко С. И. Глокальная перспектива новой локальной истории // Новая локальная история. Вып. 3. Ставрополь, 2006. С. 185.

ресах конструирования локальных идентичностей (местно-го/этнического самосознания). Что же касается собственно исторического знания, производимого на уровне научных исторических программ современной локальной и региональной истории, которые занимают все более прочные позиции в мировой историографии, то здесь (причем даже в казуальных региональных исследованиях⁴⁹) превалирует контекстуальное мышление, ориентация на компаративный анализ разных вариантов локально-регионального развития (включая возможность типологического обобщения эмпирического материала, получаемого в конкретно-исторических исследованиях на данном пространственном уровне) и изучение системы взаимосвязей как внутри микро- и мезо-социума, так и вне его.

Подобные принципы положены в основу концепции, разработанной ставропольскими и московскими историками научно-образовательного центра «Новая локальная история»⁵⁰. Эта концепция, определяя локальные и региональные

⁴⁹ Одно из блестящих исследований такого рода – *case-study*, которое заставляет пересмотреть ряд общепринятых объяснений крупных социальных процессов: *Bailey M.* Villeinage in England: A Regional Case Study, с. 1250 – с. 1349 // *The Economic History Review*. 2009. Vol. 62. N 2. P. 430–457. См. также: *French H. R., Hoyle R. W.* The Character of English Rural Society: Earle Colne, 1550–1750. Manchester, 2007.

⁵⁰ См. сайт упомянутого Центра (<http://www.newlocalhistory>), а также концепцию межвузовской научно-образовательной программы «Локальная история: компаративные подходы и методы изучения» (<http://www.newlocalhistory/work/konsercia.pht>). Центр выпускает одноименное периодическое издание и проводит ежегодные Интернет-конференции. Представляется весьма перспективным недавно начавшееся сотрудничество с созданным в 2006 г. Центром теоретико-методологических проблем исторической регионалистики Института истории Украины НАН Украины. См. изданные Центром сборники научных статей: *Регіональна історія України*. Вип. 1-4. Київ, 2007–2010. См. также: *Верменич Я. В.* Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. Київ, 2003; *Верменич Я. В.* Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний

объекты своего изучения не в традиционных границах, заранее заданных территориальными рамками, предполагает пристальное внимание к научно-методическому инструментарию и к контекстам локальной истории, понимание глобальной перспективы той или иной изучаемой проблемы, опору на способность «видеть целое прежде составляющих его локальных частей, воспринимать и понимать *контекстность*, глобальное и локальное, отношения исторических макро- и микроуровней», строить исследование «на признании глубокой взаимной детерминации “внешнего” и “внутреннего”»⁵¹.

В некоторых отношениях эта научная программа существенно развивает установившиеся в зарубежной историографии подходы в направлении создания развернутой модели полидисциплинарного исследования локальных сообществ и их «культурных миров»⁵². Важный момент – обращение к духовно-интеллектуальной жизни региона и конкретным ло-

стан, проблеми реформування. Ч. 1-2. Київ, 2009. Особий інтерес к исторической регионалистике вполне объясним спецификой современного положения и актуальными проблемами развития Украины.

⁵¹ Булыгина Т. А., Маловичко С. И. Новая локальная история: Новые исследовательские практики // Новая локальная история. Вып. 3. Ставрополь, 2006. С. 10; Маловичко С. И. Глобальная (г)локализация и практика контекстуализма новой локальной истории // Национальные образы прошлого: Этническая доминанта в историографии и философии истории. Третьи Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории / Отв. ред. А. В. Малинов. СПб., 2008. С. 140-147.

⁵² Эвристический потенциал историко-культурологических исследований демонстрируют труды по истории Сибирского региона: Рыженко В. Г., Назимова В. Ш., Алисов Д. А. Пространство советского города (1920–1950-е гг.): теоретические представления, региональные социокультурные и историко-культурологические характеристики (на материалах Западной Сибири). Омск, 2004; Алисов Д. А. Административные центры Западной Сибири: городская среда и социально-культурное развитие (1870–1914 гг.). Омск, 2006; Рыженко В. Г. Образы и символы советского города в современных исследовательских опытах (региональный аспект). Омск, 2010; и мн. др.

кальных сообществ на основе комплексного анализа локальных источников, в том числе местной периодики.

Региональная история сегодня стремительно развивается, постоянно обогащая свои теории и методы на базе междисциплинарного и международного сотрудничества, которое успешно преодолевает концептуально-терминологические и государственно-административные барьеры.

Центральное место в исследовательском пространстве региональной истории занимает история городов. Интерес к городской истории активизировался еще во второй половине XX в., когда на волне взаимного сближения истории и социологии исторической урбанистикой были достигнуты впечатляющие научные результаты⁵³. Несмотря на это, редактор вышедшего уже в начале XXI в. фундаментального труда⁵⁴ Жан Люк Пиноль был вынужден признать парадоксальное отсутствие четко определенной категории города (*ville*) в урбанизированной Европе: «Европейского города не существует, или, точнее, следует констатировать, что одновременно сосуществует несколько моделей европейских городов»⁵⁵.

В исторической урбанистике можно условно выделить: 1) сравнительно-типологический подход (предмет исследования – город и его варианты); 2) эволюционистский, или универсалистский подход (предмет – урбанизация); 3) локальный подход (предмет – город как целостный организм в его жестко фиксированных связях с местной периферией), иначе говоря, биография города и городских институтов в сочетании с местной историей; 4) социально-контекстуальный подход

⁵³ См. обобщающий труд: *Hohenberg P. M., Lees L. H. The Making of Urban Europe, 1000–1994. Cambridge (Mass.), 1994. (1 ed. – 1985).*

⁵⁴ *Histoire de l'Europe urbaine / Dir. par J.-L. Pinol. T. 1. De l'Antiquité au XVIIIe siècle: Genèse des villes européennes; T. 2: De l'Ancien Régime à nos jours: Expansion et limite d'un modèle. Paris, 2003.*

⁵⁵ *Histoire de l'Europe urbaine. T. 1. P. 14. См.: Johnson N. Reflecting Cities. L., 1993; Павлова Л. И. Город: модели и реальность. М., 1994.*

(город берется в его социальном окружении и рассматривается как функция более крупной общественной системы или систем разного уровня); 5) системно-структурный (город как подсистема, имеющая собственную развитую структуру – «городские микроструктуры»).

Последние два подхода, широко применяемые в современной урбанистике, в сущности, представляют собой две разновидности системного анализа. На условиях взаимодополнительности они создают основу такого исследования, в котором город рассматривается и как продукт исторического развития другой, более сложной системы – общества, и как своего рода «актор» исторического процесса (в режиме *longue durée*) в локальных, региональных, национальных и даже континентальных границах, и как динамичная система, все составляющие которой исследуются в их взаимосвязи и в свете общих характеристик развития данного города как целостного образования. Особого внимания заслуживают историко-урбанистические исследования переходных эпох⁵⁶. В переломную эпоху раннего Нового времени ключевым моментом было взаимодействие процессов урбанизации и трансформации средневековых монархий в современные государства, причем города определяли судьбы государств, выполняя функции накопления и распределения капитала⁵⁷.

В свое время социально-контекстуальный подход и анализ городских микроструктур послужили теоретической основой так называемой «новой городской истории», или же *урбанистории* (от *urban history*, по аналогии с урбан-социологией),

⁵⁶ См.: Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и социокультурные характеристики / Отв. ред. Э. В. Сайко. М., 2001; Город как социокультурное явление исторического процесса / Отв. ред. Э. В. Сайко. М., 1995; Урбанизация в формировании социокультурного пространства / Под ред. Э. В. Сайко. М., 1999.

⁵⁷ См.: *Cities and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800* / Ed. by Ch. Tilly and W. P. Blockmans. San Francisco, 1994. P. 8.

которая стала излюбленным местом приложения сил сторонников междисциплинарного подхода.

Контекстуальный подход мыслился как вариант системного, предполагавший соблюдение принципа детерминации локальных форм социально-экономическим или социально-политическим контекстом. Объединяло довольно разнородный контингент сторонников контекстуального подхода понимание города как частного выражения более крупных систем (цивилизаций, государств, обществ) в противовес дуалистическим концепциям, отделяющим город от его окружения и противопоставляющим их друг другу⁵⁸. Важнейший организующий принцип – каждый город должен быть рассмотрен как подсистема в его принадлежности к региональной или национальной системе: в этой системе отдельные города обладают конкретными функциями, взаимно дополняя друг друга. В рамках этого подхода город представал как комплексный объект (система или подсистема) в единстве своих многообразных (хозяйственных, организационных, административно-политических, военно-стратегических и др.) функций и одновременно как элемент включающей его целостности, как пространственное воплощение ее социальных связей и культурной специфики, то есть как динамично развивающаяся хозяйственная, социальная и культурная целостность в различных контекстах интерлокальных и региональных связей⁵⁹.

⁵⁸ Подробнее об этом см. *Ретина Л.П.* История и социология: основные тенденции в современной англо-американской урбанистике // История и историки. М., 1984. С. 88–111.

⁵⁹ Особый случай представляет столичный город: *Jones E.* *Metropolis*. L., 1990; *Merryman N.* *The Peopling of London*. L., 1993; *Sennet R.* *Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization*. N.Y., 1994; *Capital Cities and Their Hinterlands in Early Modern Europe* / Ed. by P. Clark, B. Lepetit. Aldershot, 1996; *Londonopolis: Essays in the Cultural and Social History of Early Modern London* / Ed. by P. Griffiths, M. S. R. Jenner. Manchester, 2000; *Urban Achievement in Early Modern Europe: Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London* / Ed. by P. O'Brien et al.

Системный метод позволил выявить функциональные взаимосвязи города и сельской округи, проследить складывание иерархической городской сети, роль в ней различных типов городов. Город как целое, будучи идеальным объектом для комплексного междисциплинарного исследования, впервые превратился из своеобразной сценической площадки, места социально-исторического действия в специальный предмет изучения именно в интеллектуальном контексте «новой городской истории». Огромное влияние на урбан-историю, изучающую город в контекстах разной конфигурации и масштаба, пронизанных связями различного характера, плотности и интенсивности, оказали синтетические броделевские концепции городских ареалов-пространств, в которых город того или иного типа реализовывал свои многообразные функции⁶⁰.

И даже в последние десятилетия, ознаменованные сдвигом интереса к изучению «внутренней» истории городского пространства и отдельных групп населения в жанре микроистории, контекстуальный подход остается незаменимым в исследованиях историков-урбанистов, реализующим его эвристический потенциал на региональном уровне.

Cambridge, 2001; *Barron C. M.* London in the Later Middle Ages: Government and People, 1200–1500. Oxford, 2004; *Inwood S.* City of Cities: The Birth of Modern London. N.Y., 2005; *Renaissance Florence* / Ed. by R. J. Crum, J. T. Paoletti. Cambridge, 2006. См. также: *Lichtenberger E.* Die Stadt. Von der Polis zur Metropolis. Darmstadt, 2002.

⁶⁰ Концепции «мира-экономики» и «мира-цивилизации» Фернана Броделя зафиксировали два способа организации пространства: социально-экономический (экономическое пространство) и культурно-цивилизационный (культурное пространство). Бродель, как известно, подчеркивал, что «центровка зон экономических и зон культурных не совпадает». См.: *Braudel F.* Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe – XVIIIe siècle. T. 1–3. P., 1979.

ГЛАВА 5

ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

5.1. Глобальная и компаративная история

Процессы глобализации, охватившие современный мир в конце XX – начале XXI века, имели разнообразные последствия, включая серьезные перемены в общественном сознании, в сфере социально-гуманитарного знания и в историографической практике. Несмотря на широко распространившуюся «интеллектуальную моду» на микроисторические сюжеты (а отчасти как своеобразная реакция на это увлечение), в последнее десятилетие наблюдается заметный рост числа ученых, которые разрабатывают новые макроисторические модели так называемой «новой межнациональной истории»¹ (*new international history*), «транснациональной истории» (*transnational history*)², мировой и глобальной истории (в самых разных вариантах, включая и по-новому понимаемую «универсальную

¹ По сути, «новая межнациональная история» является подлинно *международной историей*, так как ставит своей задачей изучение взаимодействий между *народами*, в отличие от «истории международных (а в строгом смысле – *межгосударственных*) отношений». См.: Internationale Geschichte: Themen, Ergebnisse, Aussichten / Hg. Wilfried Loth, Jürgen Osterhammel. München; Oldenburg, 2000; Iriye, Akira. Internationalizing International History // Rethinking American History in a Global Age / Ed. by Th. Bender. Berkeley, 2002. P. 47-62.

² См., например: Bender, Thomas. The Nation and Beyond. Transnational Perspectives on United States History // The Journal of American History. 1999. Vol. 86. No. 3.

историю»³), и соответственно – весьма существенное и быстрое расширение корпуса эмпирических исследований и концептуально-методологических работ, стремящихся преодолеть ограниченные горизонты историй отдельных национальных государств⁴. Отвергаемая национальная (точнее – национально-государственная) история в современной критике отождествляется с «макронарративом» и, как правило, связывается с национализмом, с решением политической задачи закрепить идею нации, поместив ее в долговременную историческую перспективу, с целенаправленной «культивацией национальной идентичности»⁵. Вместе с тем, анализ предлагаемых моде-

³ Объявив о грядущем «возвращении древней традиции “всобщей истории”», Д. Кристиан сразу же оговорился, что это будет новая форма универсальной истории – глобальная по масштабу и научная по своим методам. См.: *Christian, David. The Return of Universal History // History and Theory. 2010. Theme Issue 49. P. 6-27.*

⁴ *Global History and Migrations / Ed. by Wang Gungwa. Boulder, 1997; Food in Global History / Ed. by R. Grew. Boulder, 1999; Reynolds D. One World Divisible: a Global History. L., 2000; Cowen N. A Global History: A Short Overview. Cambridge, 2001; Making Sense of Global History / Ed. by S. Sølvi. Oslo, 2001; Globalisation in World History / Ed. by Anthony G. Hopkins. N.Y.; L., 2002; Rethinking American History in a Global Age / Ed. by P. Bender. Berkeley, 2002; Bentley J. H., Ziegler H. F. Traditions and Encounters: A Global Perspective on the Past. Boston, 2003; Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871-1914 / Hg. S. Conrad, J. Osterhammel. Göttingen, 2004; Globalisierung and Globalgeschichte / Hg. M. Grandner, D. Rothermund, W. Schwenkler. Vienna, 2005; The Global History Reader / Ed. by B. Mazlish, A. Iriye. N.Y.; L., 2005; Mazlish B. The New Global History. L.; N.Y., 2006; Globalization and Global History. Ed. by B. K. Gillis, W. R. Thompson. L., N.Y., 2006; Bentley J. H., Ziegler H. F., Streets H. E. Traditions and Encounters: A Brief Global History. N.Y., 2006; Globalgeschichte: Theorien, Ansätze, Themen / S. Conrad, A. Eckert, U. Freitag. Frankfurt, 2007; Crossley P. K. What is Global History? Cambridge, 2008. См. также: Цивилизации. Вып. 5. Проблемы глобалистики и глобальной истории. М., 2002.*

⁵ См., например: *Encyclopedia of Historians and Historical Writing / Ed. by K. Boyd. L.; Chicago, 1999. Vol. 2. P. 856.*

лей взаимодействия локального и глобального в построении идентичности свидетельствует о том, что они отнюдь не «игнорируют продолжительное влияние идеи нации»⁶.

Обилие терминов заставляет задуматься даже специалистов. В «Энциклопедии историков и историописания» универсальная история все еще рассматривается в своем старом обличье – как идея единой истории человечества в многовековой западной философской традиции, пошатнувшейся только в XX столетии. С этой точки зрения, «всемирная история» (без попытки историзировать само понятие, имеющее «шлейф» различных коннотаций) противопоставляется в позитивном плане (как простое сопоставление истории разных стран и народов) истории всеобщей, принципиально универсалистской⁷, опирающейся на ту или иную из многочисленных линейно-стадиальных теорий исторического процесса.

Между тем, можно вспомнить, что еще в середине прошлого века один из самых прозорливых историков Джеффри Барраклоу, оценивая грядущие перспективы «универсальной», «всемирной», «экуменической» истории, писал: «... новая ситуация делает насущной и практически необходимой такую универсальную историю, которая не ограничивается Европой и Западом, а обращена к человечеству, населяющему все территории и эпохи... Причины, по которым сегодня мы больше всего нуждаемся именно в универсальной истории, очевидны. Это – отражение унификации мира посредством науки и технологии, революционного развития средств массовой коммуникации, того известного факта, что мы не можем больше изолировать себя от событий в любой части земного шара...»⁸. Напротив, Марк Ферро, поставив под сомнение идею традиционной «всемирной истории»,

⁶ Local/Global Narratives / Ed. by Renate Rehtien & Karoline von Oppen. Amsterdam; N.Y., 2007. P. 2.

⁷ Encyclopedia of Historians... Vol. 2. P. 1244-1245.

⁸ Barraclough G. History in a Changing World. N.Y., 1962. P. 83-84, 194.

подчеркивал, что «подобный порядок изложения означал бы молчаливое принятие идеологизированного видения истории под знаком христианства, марксизма или же попросту приверженности идее прогресса. Равным образом такой порядок означал бы молчаливое признание европоцентризма, потому что в этом случае народы “входят” в Историю лишь тогда, когда их “открывают” европейцы. <...> История отождествляется при этом с историей Запада...»⁹. Как видим, содержание понятия «всемирная история» (как и понятие «всеобщая история») даже во второй половине XX века трактовалось неоднозначно, не говоря уже о более протяженной перспективе. Впрочем, это уже отдельная (и весьма привлекательная) тема для историков исторической мысли¹⁰.

Что касается глобальной истории, или «новой мировой истории» (*new world history*), имеющей относительно недавнее происхождение и серьезные разночтения в определениях¹¹, то она характеризуется как «подлинно аналитическая», противостоящая идеологизированным телеологическим версиям, «связная» и «целостная история», и ассоциируется с «развитием *более интернациональной* (курсив мой. – Л. Р.)

⁹ *Ferro, Марк*. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992. Р. 11-12. См. также: Woolf, Stuart. Europe and Its Historians // *Contemporary European History*. 2003. Vol. 12. N 3. P. 323-337.

¹⁰ Подробно об отечественной интеллектуальной традиции всеобщей истории см. ниже, раздел 5.1.

¹¹ Подробно о концепциях мировой истории в историографии XX века см.: *Bentley, Jerry H.* Shapes of World History in Twentieth-Century Scholarship. Washington, 1996. Обсуждению современных концепций мировой истории был посвящен специальный тематический выпуск международного журнала «История и теория»: Theme Issue 34: *World Historians and Their Critics // History and Theory*. 1995. Vol. 34. № 2. См. также: *Gran P.* Beyond Eurocentrism: A New View of Modern World History. Syracuse (N.Y.), 1996; *Ponting C.* World History: A New Perspective. L., 2000; *Manning P.* Navigating World History. Historians Create a Global Past, N.Y., 2003; *Palgrave Advances in World History / Ed. by M. Hughes-Warrington*. N.Y., 2005.

ориентации». «Более интернациональная» ориентация в данном случае приписывается «менее европоцентристской», «постколониальной» истории¹², которая характеризуется как

¹² Постколониальная критика составила концептуальную основу нового междисциплинарного направления – «постколониальных исследований», и практически задала импульс развитию «постколониальной историографии». См.: *Said, Edward*. *Orientalism: Western Conceptions of the Orient*. L., 1978 (rev. ed. – 1995; перевод на русский язык: *Сайд Э. В.* *Ориентализм. Западные концепции Востока*. СПб., 2006); *Said E. W., Terry Eagleton, and Fredric Jameson*. *Nationalism, Colonialism, and Literature*. Minneapolis, 1990; *Said E.* *Culture and Imperialism*. N.Y., 1994. См. также: *Young R.* *White Mythologies. Writing History and the West*. L.; N.Y., 1990; *Bhabha H.* *The Location of Culture*. L., 1994; *After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements* / Ed. by G. Prakash. Princeton, 1995; *Prakash G.* *Orientalism Now // History & Theory*. 1996. Vol. 34. N 3. P. 199-212; *The Post-Colonial Question: Common Skies, Divided Horizons* / Ed. by Iain Chambers and Lidia Curti. L., 1996; *Dirlik A.* *The Postcolonial Aura*. Boulder, 1997; *Moore-Guilbert B.* *Postcolonial Theory: Contexts, Practices, Politics*. L., 1998; *Key Concepts of Post-Colonial Studies* / Ed. by B. Ashcroft, G. Griffiths, H. L. Tiffin. L., 1998; *Chakrabarty D.* *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton (N.J.), 2000; *Kennedy V.* *Edward Said: A Critical Introduction*. Malden, 2000; *Mignolo, Walter D.* *Local Histories / Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking*. Princeton, 2000; *Smith L. T.* *Decolonising Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. L., 2001; *Macfie A. L.* *Orientalism*. N.Y., 2002; *Iverson D.* *Postcolonial Liberalism*. Cambridge, 2002; *Jenseits des Eurozentrismus: Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften* / Hg. S. Conrad, Shaline Randeria. Frankfurt, 2002; *Postcolonial Approaches to the European Middle Ages: Translating Cultures* / Ed. by Ananya Jahanara Kabir and Deanne Williams. Cambridge, 2005; *Dangerous Knowledge: Orientalism and Its Discontents*. N.Y., 2006; *Irwin R.* *For Lust of Knowing: The Orientalists and Their Enemies*. L., 2006; *History after the Three Worlds: Post-Eurocentric Historiographies* / Ed. by A. Dirlik, V. Bahl, P. Gran. Lanham, 2007; *McCarthy C.* *The Cambridge Introduction to Edward Said*. Cambridge, 2010. См. также: *Ионов И. Н.* *Новая глобальная история и постколониальный дискурс // История и современность*. 2009. № 2. С. 33-60; *Ионов И. Н.* *От всеобщей истории*

история «диалогичная», способная учитывать «взгляд с периферии», то есть позицию другой стороны.

Если глобальную историю предпочитают связывать с текущими процессами глобализации¹³, то «новая мировая история» темпоральных ограничений не имеет. Большинство специалистов считает главной задачей мировой истории изучение *взаимодействий между людьми*, участвующими в крупномасштабных исторических процессах. Подчеркивается также, что мировая история «избегает ловушки противопоставления собственной цивилизации всем остальным “варварам”, она ставит вопросы и задает перспективы, в которых “локальная история” может полностью раскрыться, осознав свою глобальную историчность»¹⁴.

В своих предельно сближающихся интерпретациях глобальная и мировая история ассоциируются с движением к «более взаимосвязанному миру» и к «мировой культуре, которая в идеале характеризуется активным взаимодействием между локальными и национальными культурами, непрерывным потоком культурных влияний во всех направлениях, хорошим знанием других культур и доброжелательным отношением к их отличиям». Глобальная история «предполагает изучение локальных явлений с глобальной точки зрения», «идентифицируя их общие черты», но одновременно «выделяя то, что отличает их как уникально-локальное». Одной из

к глобальной истории: роль постколониальной критики (в печати). Приношу свою благодарность автору за возможность ознакомиться с рукописью этой монографии.

¹³ Пусть даже в специфической, предложенной Р. Робертсоном модели «трех волн», следовавших одна за другой на протяжении последних пяти столетий. См.: *Robertson R. The Three Waves of Globalization: A History of Developing Global Consciousness*. L., 2003.

¹⁴ *Geyer M., Bright Ch. World History in a Global Age // American Historical Review*. 1995. Vol. 100. N 4. P. 1041. Cp.: *Chakrabarty, Dipesh. A Global and Multicultural “Discipline” of History? / History and Theory*. 2006. Vol. 45. N 1. P. 101-109.

ее центральных задач признается исследование множества разноуровневых культурных контактов как составляющих «процесса возникновения глобальной культурной сети»¹⁵.

Американский историк, директор Центра мировой истории, основатель и главный редактор "Journal of World History" Джерри Бентли, отвечая «в общем виде» на поставленный перед самим собой вопрос «Зачем изучать мировую историю?» в духе построения «всепланетарной идентичности», указывает, в частности, на то, что именно мировая история «заставляет нас [историков] напрямую обратиться к глобализации и поставить этот феномен в исторический контекст, создавая самые крупные объяснительные модели жизни человеческих существ на планете Земля. Как область исследования она наиболее непосредственно имеет дело со всем корпусом достижений человечества, мировая история необходима, поскольку она дает возможность людям понять себя и свое место в мире». Обращаясь к более специальным обоснованиям мировой истории как формы исторического знания, Дж. Бентли утверждает, что это «лучший научный подход к анализу, пониманию и объяснению мира и его развития во времени» и «наилучший способ осуществления самых фундаментальных и важнейших целей исторического исследования», ибо «невозможно понять или оценить любое историческое событие или процесс развития в изоляции», а «только в более крупных контекстах», которые дают возможность понять взаимосвязи между событиями, процессами и изменениями, которые разворачиваются в разных регистрах – локальном, региональном, национальном, трансрегиональном, континентальном, глобальном. Бентли приводит и другие аргументы в пользу изучения мировой ис-

¹⁵ *Fält, Olavi K. Global History, Cultural Encounters and Images // Between National Histories and Global History / Ed. by S. Tønnesson et al. Helsingfors, 1997. P. 59-60. См. также: Bentley J. Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times. N.Y., 1993.*

тории – морального характера, подчеркивая ее «особую практическую ценность» как «навигатора» в современном мире «культурных и социальных различий», поскольку она «помогает понять его [различие] как продукт развития в специфических исторических условиях»¹⁶.

Важно, что Дж. Бентли подчеркивает не только необходимость исторического анализа крупномасштабных процессов, но и плодотворность детального изучения социокультурных локальных контекстов в их динамике и в сложных взаимосвязях с глобальными процессами.

Интерпретацию взаимодействия между локальным и универсальным признают первостепенной задачей многие историки-«глобалисты», осознающие, что глобализация не тождественна процессу конвергенции, не говоря уже о гомогенизации, а включает различные варианты адаптации и ассимиляции к воздействиям, внешним по отношению к изучаемым локальным обществам¹⁷.

Другие историки утверждают в качестве приоритетных две модели изучения мировой истории. Это, во-первых, исследования так называемых *циркуляций* (глобальные обращения товаров, капиталов, идей, людей и способы этнической и религиозной дифференциации), подчеркивающие «глобальную взаимосвязанность» (в том

¹⁶ Bentley J. H. Why Study World History? // World History Connected. 2007. (<http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edu/5.1/bentley.html>). См. также: *The New World History // A Companion to Western Historical Thought* / Ed. by Lloyd Kramer and Sarah Maza. Oxford, 2002. P. 393-416. Бентли выделяет три «реалии глобального человеческого опыта» – рост народонаселения, технологические изменения и кросс-культурные контакты, во взаимодействии которых рождается «мощный комплекс глобально-исторической динамики». См.: Bentley J. H. *World History and Grand Narrative // Writing World History, 1800-2000* / Ed. by B. Stuchtey and E. Fuchs. Oxford: N.Y., 2003. P. 61.

¹⁷ См., например: *Global History: Interactions between the Universal and the Local* / Ed. by A. Hopkins. Basingstoke, 2006.

числе в периоды так называемой «архаической глобализации»). Центральное место в словаре этой версии мировой истории занимает широко распространившееся понятие «ссти», применяемое равным образом для характеристики самых разных процессов: например, европейской миграции, урбанизации «третьего мира» или транснациональной «диффузии идей». Во-вторых, *сравнительный подход нового типа*, который, в отличие от «старомодной» компаративной истории, не занимается противопоставлением разных цивилизационных ареалов в поисках объяснений их расходящихся траекторий развития, а проводит тщательные *case studies* и «встраивает локальные истории в глобальный контекст», раскрывая структурную логику сходных явлений, процессов и социальных конфликтов, отдаленных в пространстве и во времени (милленаристские движения, торговые диаспоры, сословно-классовая дифференциация, стратегии сопротивления, властные институты, национализм и т.д.), что также предполагает скрытую преемственность или связи с теми же глобальными циркуляциями, с силами, «пересекающими границы и океаны»¹⁸. Точно выразил эту тенденцию С. И. Маловичко: «...Нам уже становится тесно в постмодернистском, расколотом на локусы, деконструированном мире. Локусы теперь не выстраиваются в вертикальную иерархию, в едином горизонтальном пространстве они втягиваются в глобальную перспективу»¹⁹.

¹⁸ *Benton, Lauren*. How to Write the History of the World // *Historically Speaking: The Bulletin of the Historical Society*. Vol. V. N 4. March 2004. См. также: *Benton L.* Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History. 1400–1900. Cambridge, 2002; *Buschmann, Rainer F.* Oceans of World History: Delineating Aquacentric Notions in the Global Past // *History Compass*. 2004. N 2. WO 068. P. 1-10.

¹⁹ *Маловичко С. И.* Глобальная перспектива новой локальной истории // *Новая локальная история*. Вып. 3. Ставрополь, 2006. С. 177.

«Втягивание» в глобальную историческую перспективу может быть осуществлено только путем коренного пересмотра самого «вопросника», с которым историк подступает к объекту изучения и конструирует предмет своего исследования²⁰. Между тем, движение в этом направлении только начинается, и даже контуры возможного консенсуса выглядят еще довольно размытыми. Модель «интегративной истории», изучающей связи «горизонтальной преемственности» и опирающейся на описание и объяснение приблизительно совпадающих в историческом времени и взаимно соотнесенных параллелизмов в истории различных обществ и цивилизаций мира²¹, но оставляющая в тени динамическую составляющую их развития, также не решает всех проблем. Глобальная / мировая история продолжает дрейфовать между, с одной стороны, заведомо безуспешными попытками полностью «покрыть» все промежутки времени и пространства и, с другой стороны, настойчивыми поисками компаративной перспективы, выстраиваемой на новых теоретических основаниях²².

Мировая история, как и история глобальная, конечно, «больше чем сумма частных историй»²³. Очевидно и то, что

²⁰ Здесь мы оставляем в стороне нерелевантные возражения оппонентов «глобальных историков» о невозможности проведения серьезной архивной работы во всемирном масштабе.

²¹ См.: *Fletcher, Joseph F. Integrative History: Parallels and Interconnections in the Early Modern Period, 1500–1800 // Journal of Turkish Studies. 1985. Vol. 9. N 1. P. 37–58; reprinted: Fletcher J. F. Studies on Chinese and Islamic Inner Asia / Ed. by B. F. Manz. Aldershot, 1995.*

²² См., особенно: *Osterhammel J., Petersson N. P. Globalization: A Short History. Princeton, 2005.* Речь идет о понимании глобальной истории как истории «интерактивных пространств» и о значительном «удревнении» глобализационных процессов с отнесением «первого осевого времени» глобальной истории к XII–XIII вв. Ср.: *Bayly C. A. The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons. Malden, 2004.*

²³ *Encyclopedia of Historians... Vol. 2. P. 1330.*

это – отнюдь не сумма национальных историй, и многие надежды связываются именно с предполагаемой способностью глобальной и мировой истории предложить эффективную альтернативу «героическим, национальным нарративам» традиционной историографии²⁴. Не менее наивно было бы представлять мировую историю, изучающую транснациональные феномены, как некий «пазл» из историй региональных или локальных. В этой связи настойчиво подчеркивается, что мировая история направлена не на познание неких общих принципов или смысла истории, а на описание событий и сравнительный анализ процессов²⁵. И если по сложившейся в исторической социологии традиции сравнивались и подвергались типологизации, как правило, однородные процессы и явления в границах национальных государств²⁶, то сегодня все больший интерес у представителей разных наук вызывают перспективы региональной компаративистики.

Версии современной компаративной истории различаются как по уровням, так и по критериям сопоставления.

«Европа регионов» задает тон в компаративистских исследованиях различной хронологии; значительную их часть по-прежнему составляют работы, посвященные проблемам эпохи Перехода и европейской модернизации²⁷. Нетривиаль-

²⁴ См.: *Conceptualizing Global History...* P. 245.

²⁵ *Encyclopedia of Historians...* Vol. 2. P. 1330.

²⁶ О теоретических аспектах и основных методах компаративной истории см.: *Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung* / Hg. H.-G. Haupt, J. Kocka. Frankfurt a. M.; N.Y., 1996. См. также: *Лучицкая С. И. Сравнительный метод в истории: взгляд из Германии (достижения и перспективы немецкой компаративистики)* // *Сравнительная история: методы, задачи, перспективы* / Отв. ред. М. Ю. Парамонова. М., 2003. С. 302-318.

²⁷ Развернутый анализ методологических проблем, связанных с изучением пространственных аспектов модернизации и описанием ее регионально-ориентированной модели, представлен в коллективном труде: *Россия в XVII – начале XX в.: региональные аспекты модерни-*

ность такого сравнительного анализа состоит в том, что его конечная цель простирается гораздо дальше рассматриваемых регионов: сравнивая траектории и факторы регионального развития, исследователь приближается к постижению сложности и многообразия включающей их системы, а, в конечном счете, из регионального многообразия, дающего возможность скорректировать сложившиеся генерализации, и складывается новая картина целого. При этом нередко выстраивается сложная иерархия идентичностей, как, например, в быстро приобретающем широкую популярность монументальном труде Нормана Дэвиса «История Европы»²⁸ (точнее – «Европа. История»²⁹).

Одна из тенденций современной макроистории, направленных на преодоление доминирующих национально-государственных нарративов, связана с «новой историей империй», начиная с уже давнего оригинального проекта «Британской истории как целостности» Дж. Покока³⁰, через более поздние проекты так называемой «Атлантической истории»³¹, выдержанные, как правило, в броделианском стиле, и

зации / Отв. ред. И. В. Побережников. Екатеринбург, 2006. С. 17-82. См. также (включая обширную библиографию проблемы): *Побережников И. В.* Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологические проблемы модернизации. М., 2006.

²⁸ См.: *Дэвис, Норман.* История Европы. М., 2005.

²⁹ *Davies, Norman.* Europe. A History. Oxford, 1996. Ср.: *Europe since 1800: Writing National Histories* / Ed. by S. Berger, M. Donocan and K. Passmore. L., 1999; *Woolf S.* Europe and its Historians // *Contemporary European History*. 2003. Vol. 12. N 3. P. 323-337.

³⁰ *Pocock J. G. A.* The Limits and Divisions of British History: In Search of the Unknown Subject // *American History Review*. 1982. Vol. 87. N 2. P. 311-336; *Idem.* The Politics of the New British History // *Idem.* Discovery of Islands: Essays in British History. Cambridge, 2005.

³¹ Успешно осваивается связанное плотной сетью взаимодействий «межконтинентальное» пространство Британской империи. См., например: *Curtin Ph.* The Rise and Fall of the Plantation Complex: Essays in Atlantic History. N.Y., 1990; *Ganes A.* Migration and the Origins of the English Atlantic World. Cambridge (Mass.); L., 1999; *Lester A.* Imperial Networks:

заканчивая обновлением и превращением имперской историографии в *постимперскую* под непосредственным влиянием постмодернистской и постколониальной критики³².

Заметное место в «новой истории империй» занимает изучение идеологических аспектов «имперского строительства»³³. В конечном счете, на новой основе состоялось возрождение «имперской истории», которая рассматривает империи как сложные структуры в сравнительной перспективе и в ре-

Creating Identities in Nineteenth-century South Africa and Britain. L., N.Y., 2001; *The British Atlantic World, 1500–1800* / Ed. by D. Armitage and M. J. Braddick. Basingstoke; N.Y., 2002; *Boehmer E. Empire, the National and the Postcolonial, 1890–1920: Resistance in Interaction*. Oxford, 2002; *After the Imperial Turn: Thinking with and through the Nation* / Ed. by Antoinette Burton. Durham, 2003; *The British World: Diaspora, Culture and Identity* / Ed. by C. Bridge, K. Fedorovich. L., 2003; *Ferguson N. Empire: How Britain Made the Modern World*. L., 2003; *Idem. Imperial Circuits and Networks: Geographies of the British Empire* // *History Compass*. 2006. 4/1. P. 124–141; *A New Imperial History: Culture, Identity and Modernity in Britain and the Empire, 1660–1840* / Ed. by Kathleen Wilson. Cambridge, 2004; *Bailyn B. Atlantic History: Concept and Contours*. Cambridge (Mass.), 2005; *Transatlantic History* / Ed. by S. G. Reinhardt. College Station (Texas), 2006; *Empire, the Sea and Global History: Britain's Maritime world, c. 1760–1840* / Ed. by D. Cannadine. Basingstoke, 2007; *Abulafia D. The Discovery of Mankind: Atlantic Encounters in the Age of Columbus*. New Haven, 2008; etc. Ср.: *Negotiated Empires: Centers and Peripheries in the Americas, 1500–1820* / Ed. by C. Daniels, M. V. Kennedy. N.Y.; L., 2002; *Thornton J. Africa and the Africans in the Making of the Atlantic World*. N.Y., 1992; *Chaudhuri K. N. Asia before Europe: Economy and Civilization in the Indian Ocean from the Rise of Islam to 1750*. N.Y., 1990; etc.

³² См.: *The Oxford History of the British Empire*. Vol. V. *Historiography* / Ed. by Robin W. Winks. Oxford, 2001. Ср.: *Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология* / Сост. П. Верг, П. С. Кабытов, А. И. Миллер. М., 2005. См. также: *Lieven, Dominic. Empire: The Russian Empire and its Rivals*. L., 2000.

³³ *Pagden, Anthony. Lords of all the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c. 1500 – c. 1800*. L., 1995; *Armitage, David. The Ideological Origins of the British Empire*. Cambridge, 2000.

жине большой длительности. Объединяющим принципом «новой истории империй» является признание очевидного обстоятельства: крупные сдвиги постколониальной эры нельзя понять, не учитывая, до какой степени они являются наследием тех империй, которые господствовали над большей частью мира в течение трех прошедших столетий и были, по существу, транснациональными организациями, созданными для мобилизации мировых ресурсов³⁴.

С новым воплощением «наднациональной» имперской истории связывают большие надежды³⁵, хотя в настоящее время предметное поле и методы кросс-дисциплинарной истории империй остаются недостаточно определенными. Разнообразие ее тем дало Линде Колли³⁶ повод заметить: легче сказать о том, «что не является имперской историей», чем ответить на вопрос, что ею является.

Трудно с этим не согласиться. Важно, однако, что эта история касается не только прошлого, а обращена в день сегодняшний: «Мы, быть может, живем уже в постколониальное время, но все еще не в пост-имперское. Вся суть, привлекательность, значение и вызов имперской истории состоит в том, что, не будучи идентична глобальной истории, она подступает к ней предельно близко»³⁷. В задачу историка входит идентификация и исследование множества разнообразных взаимосвязей между отдельными секторами и

³⁴ *Baker A. R. H. Geography and History: Bridging the Divide. Cambridge, 2005. P. 193.* Хотя сам колониализм не был «ни монолитным, ни всемогущим». – *Cooper F., Stoler A. L. Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World. Berkeley, 1997. P. 6.* См. также: *The Decline of Empires / Ed. by Emil Brix et al. Munich, 2001.*

³⁵ *Hopkins A. G. Back to the Future: From National History to Imperial History // Past & Present. 1999. N 164. P. 198-243.*

³⁶ См., например, ее книгу: *Colley, Linda. Captives: Britain, Empire, and the World 1600–1850. L., 2002.*

³⁷ *Colley L. What's Imperial History Now? // What is History Now? / Ed. by D. Cannadine. Houndmills; Basingstoke, 2004. P. 133-134.*

различными народами внутри целостной интерактивной системы – «мира империи»³⁸.

Итак, можно уверенно констатировать, что в ходе активного осмысления последствий глобализации в современном мире сформировалась новая научная дисциплина – глобальная история, которая опирается на представление о структурной когерентности мирового исторического процесса, с максимальным учетом разнообразия его составляющих и взаимозависимости всех его локальных акторов.

Создаются новые учебные программы, возникают специальные периодические издания (в том числе электронные), постепенно формируется международное научное сообщество, в рамках которого ведутся оживленные дискуссии, стимулирующие развитие нового направления. В 2007 г. Ассоциация мировой истории провела свою (к тому времени уже шестнадцатую) ежегодную конференцию, причем под знаменательным названием «Раздвигая горизонты, сметая границы: “макро” и “микро” в мировой истории»³⁹, а в 2008 г. в Гарвардском университете «глобальные историки» впервые собрались на специальный научный форум, посвященный глобальной истории, под девизом «Global History, Globally»⁴⁰.

Несмотря на совпадение терминологии, следует помнить о том, что сегодня речь идет вовсе не о возрождении проекта глобальной истории, который был в совершенно иной социокультурной и интеллектуальной ситуации предложен Фернаном Броделем. Глобальное видение истории в

³⁸ *Morgan, Philip. D. Encounters between British and “Indigenous” Peoples, c. 1500 – c. 1800 // Empire and Others: British Encounters with Indigenous People 1600–1850. L., 1999. P. 68. См. также: Price R. Making Empire / Colonial Encounters and the Creation of Imperial Rule in Nineteenth-Century Africa. Cambridge etc., 2008.*

³⁹ См.: <http://www.thewha.org>, а также программу вышеупомянутой конференции на сайте: <http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edu>.

⁴⁰ Об указанном научном форуме по глобальной истории см.: http://www.wcfia.harvard.edu/conferences/08_global_history/overview.

интерпретации Броделя было направлено на объяснение развития общества как сложной системы в единстве, взаимосвязи и взаимодействии составляющих его групп и подсистем (экономической, социальной, политической, культурной)⁴¹, хотя, конечно, нельзя упускать из виду и другой существенный аспект его глобализирующего подхода – расширение исследуемого пространства за пределы национальных границ. Много позднее Морис Эмар, аргументировано защищая оптимистический взгляд на так называемый «кризис истории» конца XX века, констатировал: «История – это не все, но все является историей или, по крайней мере, может ею стать, лишь бы были определены объекты анализа, поставлены вопросы и идентифицированы источники, которые позволят угадать начало ответа. Но объекты исследования, как и поставленные вопросы, все дальше и дальше выходят за пространственные и временные рамки какого-либо государства или прежде считавшегося замкнутым исторического периода, требуя от нас выхода на иные смысловые уровни»⁴².

Принципиальный контекстуализм, способный обеспечить выход за пределы привычных административных и национально-государственных границ⁴³, а также исторически

⁴¹ Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 2. С. 462–463. Подробнее об этом см.: Введение. Междисциплинарный синтез в изучении модернизационных процессов. Опыт Ф. Броделя // Полидисциплинарные технологии исследования модернизационных процессов / Под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой. Томск, 2005. С. 6–19.

⁴² Эмар М. Образование и научная работа в профессии историка: современные подходы // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 19.

⁴³ Примечательно, что параллельно с «глобализацией» истории обнаруживается обострение интереса к проблемам границ (во всех аспектах) и контактных зон. См.: *European Journal of Social Theory: Theorizing Borders*. 2006. Vol. 9. N 2; Мегилл, Аллан. Границы и национальное государство: предварительные заметки // Диалог со временем: 2010. Вып. 30. С. 42–58.

сложившихся европоцентристских ограничений, за рамки «имперского» и «колониального» дискурса, выступает как насущная задача исторической науки нынешнего века и – что важно – признается таковой как в зарубежной, так и в российской историографии. Согласно позиции, ставшей сегодня практически общепринятой, глобальная и мировая история – это не коллекция национальных и региональных нарративов. Странники новых макроисторических подходов имеют разные точки зрения по многим методологическим и другим вопросам, включая периодизацию мировой истории, баланс между западными и незападными обществами в разные периоды истории, соотношение между глобальной и региональными или национальными историями, но сходятся в понимании насущной необходимости особой формы истории для исследования глобальных процессов в их исторической ретроспективе.

Становление современных версий глобальной, транснациональной, трансцивилизационной, мировой истории опирается на общие процессы в интеллектуальной сфере, связанные с постепенным утверждением «постнеклассической» научной парадигмы, и отражает развитие интеллектуальной традиции, в которой принцип целостности не исключает учета различий и многообразия. В частности, постнеклассическая ситуация в научном познании стимулировала развитие универсального, или глобального, эволюционизма, а также новой концепции универсальной истории человечества, которая в целом отражает отчетливо наметившуюся тенденцию к синтезу социально-гуманитарного и естественнонаучного знания – альтернативу мнимой универсальности постмодернизма.

Несмотря на безусловное дистанцирование от «практикующих историков», приверженных позитивистской эпистемологии XIX века, и признание относительности исторического познания, большинство историков-«глобалистов» (с их системным, по самой своей природе, проектом) занимает в широком спектре между твердым «реализмом» и крайним «конструктивизмом» позицию, более близкую к «реалистам».

Они стремятся к приращению исторического знания и «продолжают искать когнитивное зерно в куче культурно нагруженных мотивов и эмоций»⁴⁴.

«Большая история» призвана выявлять закономерности в масштабе трех уровней – человечества, планеты и вселенной⁴⁵. Так, например, по мнению А. П. Назаретяна, «Большая история» «помогает конструировать сценарии обозримого будущего и отличать реалистические прогнозы, проскты и рекомендации от утопий...»⁴⁶.

Как считают некоторые энтузиасты, новая универсальная история со временем может стать той теоретической платформой, которая объединит в себе все предыдущие исторические концепции, поскольку «предметное поле нового направления невероятно широко», и в новом направлении, олицетворяющем собой междисциплинарный синтез, «найдется место макро- и микроистории, постмодернизму и мо-

⁴⁴ См. обсуждение этих проблем в журнале: *History & Theory*. Theme Issue 34. *World Historians and Their Critics*. 1995. Vol. 34. N 2. и особенно: *Pomper Ph. World History and Its Critics // Ibid.* P. 1-7. (P. 6). См. также: *World History: Ideologies, Structures, and Identities / Ed. by Ph. Pomper et al.* Malden (Mass.), 1998. О перспективах постмодернистского проскта в мировой истории см.: *Wurgart, Lewis D. Identity in World History: A Postmodern Perspective // Ibid.* P. 67-85.

⁴⁵ См., в частности: *Christian, David. 'Maps of Time': An Introduction to 'Big History'.* Berkeley, 2004; *Idem. Science in the Mirror of 'Big History' // The Changing Image of the Sciences / Ed. By I. H. Stamhuis, T. Koetsier, C. de Pater, A. van Helden.* Lancaster, 2002; *Idem. World History in Context // Journal of World History.* 2003. Vol. 14. № 4. P. 437-458; *Кристиан Д. К обоснованию Большой (Универсальной) истории // Общественные науки и современность.* 2001. № 2; *Brown C. S. Big History: From the Big Bang to the Present.* N.Y., 2007.

⁴⁶ *Назаретян А. П. Универсальная (Большая) история: версии и подходы // Историческая психология и социология истории.* 2008. 2(2). С. 22. См. также: *Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории. Синергетика – психология -- прогнозирование.* М., 2004.

дернизму, постструктурализму и структурализму и т.д.»⁴⁷. Впрочем, этот оптимистический настрой слишком многими не разделяется.

Сколь бы важным ни было значение новой концепции универсальной истории как поля междисциплинарного синтеза (в том числе и на основе общей теории систем, идей кибернетики и синергетики)⁴⁸, эта фундаментальная теория, ориентированная на отказ от принципов «классического эволюционизма» и на решительное преодоление барьеров между гуманитарным и естественнонаучным знанием, отнюдь не исчерпывает номенклатуру версий макроисторического анализа и – более того – не занимает среди них центрального места.

Немногие из историков соглашется с М. А. Чешковым в отношении *предпочтительности* понимания глобальной истории как «охватывающей человечество в его неразрывной связи с природной средой»⁴⁹, разве что только по сравнению с

⁴⁷ Высокова В. В., Сосновский М. А. Универсальная история в современной историографии // Диалог со временем. 2007. Вып. 18. С. 186.

⁴⁸ См., например, развернутое (на восьмистах страницах) обоснование основанной на принципах эволюционной кибернетики «общей теории основных законов статики и динамики общества как социосистемы, взятых в их неразрывном единстве». История общества рассматривается как вторая фаза эволюции управляемых систем, «где первой является биоэволюция, а третьей – предвидимая постсоциальная (постчеловеческая) техноэволюция»: Жданко А. В. Эволюция управляемых систем: единая теория общества и истории. СПб., 2008. См. также концепцию социальной эволюции, изложенную в работах Л. Е. Гринина и А. В. Коротасва, в том числе: Коротасва А. В. Факторы социальной эволюции. М., 1997; *Он же*. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. М., 2003; Гринин Л. Е. Коротасва А. В. История и макроэволюция // Историческая психология и социология истории. 2008. 2(2). С. 59-86; Гринин Л. Е. Коротасва А. В. Социальная макроэволюция. Генезис и трансформации Мир-Системы. М., 2009.

⁴⁹ Чешков М. А. «Встреча» исторического знания и глобалистики // Историк в меняющемся пространстве российской культуры /

еще более дерзновенной перспективой встраивания ее в «историю Вселенной» (Big History), сторонники которой начинают историю с «Большого Взрыва»⁵⁰. При этом патриарх макроистории У. Макнил, взгляды которого за длительную профессиональную карьеру претерпели значительные изменения, поставил в повестку дня задачу исследования взаимодействий между символическими значениями культуры и природными условиями человеческого существования (на общих принципах современного неозволюционизма⁵¹ и теории нелинейной социокультурной эволюции) и провозгласил «конвергенцию истории человечества с другими науками» одним из интеллектуальных и моральных императивов XXI века⁵².

Сторонники аналогичного направления в отечественной науке, для которых главными являются «аргументы истории

Под ред. Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2006. С. 195. См. также: Чешков М. А. Глобальное видение и новая наука. М., 1998. Впрочем, к такому пониманию склоняются и другие исследователи: *Mannion A.* Global Environmental Change: A Natural and Cultural History. L., 1991; *Diamond, Jared.* Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. N.Y., 1997; *Idem.* Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. N.Y., 2004; *McNeill J. R.* Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World. N.Y., 2000; *Simmons I. G.* Global Environmental History. Chicago, 2008.

⁵⁰ *Christian D.* The Case for "Big History" // *Journal of World History*. 1991. Vol. 2. P. 223-238; *Spier F.* The Structure of Big History. From the Big Bang until Today. Amsterdam, 1996; *Смур Ф.* Структура Большой истории. От Большого взрыва до современности // *Общественные науки и современность*. 1999. № 5. С. 152-163.

⁵¹ См.: *Claessen H. J. M.* Structural Change, Evolution and Evolutionism in Cultural Anthropology. Leiden, 2000; *Альтернативные пути к цивилизации / Под ред. Н. Н. Крадина и др.* М., 2000.

⁵² *McNeill W. H.* Passing Strange: The Convergence of Evolutionary Science with Scientific History // *History & Theory*. 2001. Vol. 40. N 1. P. 1-15. (P. 15). См. также: *McNeill J. R. M., McNeill W. H.* The Human Web. A Bird's Eye View of World History. N.Y., 2003.

эволюции биосферы, факты, объясняемые законами живой и неживой природы», стремятся «сделать историю наукой (в строгом понимании естественников)», «ввести в ранг главных акторов природу», превратить историю в «социосущественную», «осветить два главных состояния во взаимоотношении человека и природы: социально-экологические кризисы и относительно социально-экологическую стабильность»; их «сверхцель – выявить систему основных ценностей цивилизаций, увидеть ее трансформацию в контексте изменяющихся взаимоотношений человека и природы»⁵³.

Социосущественная история рассматривает «человеческий социальный организм» на уровне живущих столетиями «этносов и суперэтносов», хотя ставит и вторую задачу – «оставить в ней место для “маленького человека” со всеми его слабостями, для отдельной личности», поскольку в периоды бифуркаций «дальнейшая эволюция биосферы начинает зависеть... от отдельного человека, даже от поступка»⁵⁴. Первостепенная задача такой истории – изучение процессов и «поворотных событий», достоверность ее результатов обеспечивает «массовость однотипных фактов», а «шаги эволюции» определяются отрезками, в течение которых происходят глобальные процессы в природе, смена мировоззрений и технологий.

Преобладают все же гораздо менее амбициозные варианты «глобальной», «мировой», «международной», универсальной истории (как всеобщей истории человечества), причем сами эти термины, как и аналитический багаж «новой всемирной» и «новой глобальной» истории (то противопоставляемых друг другу, то воспринимаемых в тандеме), вызы-

⁵³ *Кульпин Э. С. Является ли история наукой? // Способы постижения прошлого / Отв. ред. М. А. Кукарцева. М., 2011. С. 86; Idem. Кульпин Э. С. Социосущественная история – ответ на вызовы времени // Историческая психология и социология истории. 2008. 1(1). С. 207.*

⁵⁴ *Кульпин Э. С. Является ли история наукой? С. 87.*

вают бурные споры, которым, кажется, не будет конца⁵⁵. Как сформулировал проблему известный американский историк Брюс Мэзлиш, сыгравший видную роль в становлении «но-

⁵⁵ *Kossock M.* From Universal to Global History // *Conceptualizing Global History* / Ed. by B. Mazlish, R. Buultjens. Boulder, 1993. P. 93-112; *Haines Brown H.* The Contradiction of World History (Paper presented at New England Regional World History Association conference, April 23, 1994) // <http://www.hartford-hwp.com/archives/10/039.html>; *McNeill W. H.* The Changing Shape of World History // *History & Theory*. 1995. Vol. 34. N 2. P. 8-26; *Geyer M., Bright Ch.* World History in a Global Age // *American Historical Review*. 1995. Vol. 100. № 4. P. 1034-1060; *Bentley J. H.* Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History // *American Historical Review*. 1996. Vol. 101. № 3. P. 749-770; *Between National Histories and Global History* / Ed. by S. Tønneson et al. Helsingfors, 1997; *Mazlish B.* Comparing Global History to World History // *Journal of Interdisciplinary History*. 1998. Vol. 28. № 3. P. 385-396; *Perspectives on Global History: Concepts and Methodology (Is Universal History Possible; Cultural Encounters Between the Continents Over the Centuries)* // *Proceedings Acts. 19th International Congress of Historical Sciences. Oslo, 2000.* P. 3-52; *Across Cultural Borders. Historiography in a Global Perspective* / Ed. by E. Fuchs, B. Stuchtey. Lanham, 2002; *Writing World History 1800-2000* / Ed. by E. Fuchs, B. Stuchtey. Oxford; N.Y., 2003; *World Civilizations: The Global Experience* / Ed. by P. N. Stearns et al. 2 vol. N.Y., 2000-2003; *Traditions and Encounters. A Global Perspective on the Past* / Ed. by J. Bentley, H. F. Ziegler. Boston, 2003; *Osterhammel J., Petersson N. P.* *Geschichte der Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, Epochen.* München, 2003; *Bayly C.* *The Birth of the Modern World, 1780-1914: Global Connections and Comparisons.* Malden (Mass.); Oxford, 2004; *Palgrave Advances in World Histories* / Ed. by M. Hughes-Warrington. Basingstoke, 2005; *Pernau M.* *Global History. Wegbereiter für einen neuen Kolonialismus?* (<http://geschichte-transnational.clio-online.net/forum/>); *Hughes-Warrington M.* *World History and World Histories* // *World History Connected*. 2006. Vol. 3. № 3; *O'Brien, Patrick K.* *Historical Traditions and Modern Imperatives for the Restoration of Global History* // *Journal of Global History*. 2006. Vol. 1. № 1. P. 3-39; *Ruiz, Teofilio.* *Medieval Europe and the World: Why Medievalists Should Also Be World Historians* // *History Compass*. 2006. 4/6. P. 1073-1088; *Sachsenmaier, Dominic.* *World History as Ecumenical History?* // *Journal of World History*. 2007. Vol. 18. № 4. P. 465-490.

вой глобальной истории» в качестве академической дисциплины, *Big History*, в ее лучших воплощениях, «очень интересна и провокативна», но «слишком отрывается от той почвы, которую мы стараемся возделывать»⁵⁶.

Глобальная история, которая представляет собой попытку на новом теоретическом уровне вернуться от микроисторической оптики к масштабному, интегрирующему взгляду на историю, охватить человечество как некую структуру в историческом развитии взаимосвязей отдельных частей, может быть понята и как осмысление процесса мировой интеграции, исторического движения к более взаимосвязанному мировому порядку и объединенной мировой культуре, характеризуемой в идеале как живое взаимодействие и взаимовлияние локальных и национальных культур⁵⁷. Предмет глобальной истории – именно взаимосвязи, экономические, политические и культурные, между различными странами и цивилизациями.

Многие специалисты считают, что не следует противопоставлять друг другу синонимичные, по сути дела, термины «мировая» и «глобальная» история, и в конструировании «генеалогии» глобальной истории обращаются к имеющейся в историографии традиции и длинной череде ученых авторитетов, включая и непосредственных предшественников этого направления⁵⁸. Однако сегодня пересматриваются и такие, ка-

⁵⁶ From Psychohistory to New Global History. A Conversation with Bruce Mazlish // *Historically Speaking*. Vol. V. N 6. March 2004. См. также: Recent Themes in World History and the History of the West: Historians in Conversation / Ed. by Donald A. Yerxa. Columbia, 2009.

⁵⁷ Fält, Olavi K. Global History, Cultural Encounters and Images // *Between National Histories and Global History*. P. 59.

⁵⁸ Wolf, Eric. *Europe and the People without History*. Berkeley, 1983; Curtin Philip D. *Cross-Cultural Trade in World History*. Cambridge, 1984; Crosby A. W. *Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900–1900*. Cambridge, 1986; Parker, Geoffrey. *The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800*. Cambridge, 1988; Adas M. *Machines as the Measure of Men: Science, Technology, and Ideolo-*

залось бы, привычные понятия, как «всемирная», или «мировая» история, «европейская история», «региональная история» и, не в меньшей степени, даже «компаративная история».

С развитием «новой глобальной истории» сравнительно-исторические исследования обрели новое лицо. Питер Стирнер ратует за «союз» мировой и социальной истории в контексте сравнительной истории цивилизаций и подчеркивает особое значение последней в преподавании глобальной истории⁵⁹. Энтузиаст «новой компаративной истории» Юрген Остерхаммель представил интересный анализ «космополитической перспективы» сравнительной истории цивилизаций XVIII столетия, утраченной в профессиональной историографии XIX века – благодатной эпохи для развития и распространения европоцентристских *национально-государственных и имперских* («колониалистских», или «ориенталистских») историй⁶⁰. Активно обсуждается вопрос о соотношении глобальной истории и цивилизационного анализа, который делает упор на разнообразие и уникальность локальных цивилизаций⁶¹. При этом

gies of Western Dominance. Ithaca, 1989; Pacey A. *Technology in World Civilization: A Thousand-Year History*. Oxford, 1990; Blaut J. M. *The Colonizer's Model of the World: Geographical Diffusionism and Eurocentric History*. N.Y., 1993; Gunn, Geoffrey C. *First Globalization: The Eurasian Exchange, 1500–1800*. Lanham, 2003; etc.

⁵⁹ Stearns, Peter. *Social History and World History: Toward Greater Interaction // World History Connected*. 2007. Vol. 2. Issue 2.

⁶⁰ См.: См.: Osterhammel J. *Geschichtswissenschaft Jenseits des Nationalstaats: Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich*. Göttingen, 2001. Очень точно охарактеризовал пафос академической истории конца XIX века Франсуа Фюре: «История стала генеалогическим древом европейских наций и цивилизации, которую они породили» (Furet F. *In the Workshop of History*. Chicago; London, 1984. P. 98).

⁶¹ См., в частности: Muhlack, Ulrich. *Universal History and National History. Eighteenth- and Nineteenth-Century German Historians and the Scholarly Community // British and German Historiography, 1750–1950: Traditions, Perceptions, and Transfers / Ed. by B. Stuchtey, P. Wende*. Oxford, 2000. P. 25–48.

прежние универсальные теории исторического процесса подвергаются уничтожающей критике.

Современное понимание глобальной истории вовсе не исключает, оно – напротив – подразумевает наличие множества локальных вариантов и траекторий развития и далеко ушло от линейных и европоцентристских в своей основе обобщающих схем в духе христианского универсализма, историософских схем «всемирной истории» и классических модернизационных теорий. Однако, в этой связи, стоит вспомнить давнее утверждение Марка Блока о том, что «дух сравнительной истории... проникает в локальные исследования: без них она бессильна, но они без нее бесплодны»⁶², как и относительно недавнюю констатацию Мориса Эмара – «исторический компаративизм уже не может обойтись без предварительной проверки и уточнения исходных данных» – и уверенный вывод о роли исторического контекста в сравнительном анализе⁶³.

В связи с процессом «глокализации»⁶⁴, или «глобальной локализации» (речь идет о регионализации, которая сопровождает и – более того – является непосредственной реакцией на глобализационные процессы), чрезвычайно актуальной и критически важной задачей становится разработка проблемы диалога культур и цивилизаций в его историческом измерении и интенсификация сравнительно-исторических исследований на основе современных теоретических подходов⁶⁵.

⁶² Блок, Марк. К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей. Человек в истории – 2001. М., 2001. С. 88.

⁶³ Эмар, Морис. История и компаративизм // Новая и Новейшая история. 1999. № 5. С. 94.

⁶⁴ О понятии «глокальности» и «глокального» см.: Мазлиш Б. Глокальное и локальное: понятия и проблемы // Социс. 2006. № 5. С. 23-31; Согомонов А. Ю. Глокальность. (Очерк социологии пространственного воображения) // Глобализация и постсоветское общество / Под ред. С. Е. Кухтерина, А. Ю. Согомонова. М., 2001. С. 60-80.

⁶⁵ Проблема разработки новой компаративной методологии была поставлена на повестку дня в широко цитируемой редакционной

С учетом «культурного поворота», который пережила не только историография, но и все общественные науки, обновляются теоретические основания компаративной истории, которая во второй половине XX столетия ориентировалась почти исключительно на подходы и методы исторической социологии⁶⁶. В настоящее время в исторической социологии выделяют два конкурирующих подхода, один из которых («структурный») по-прежнему нацелен на объяснение причин и последствий социальных процессов, системные сравнения и тестирование теорий, а второй – на применение интерпретативных методов, что свидетельствует об усвоении уроков постмодернистской критики⁶⁷. Уровень абстракции, задаваемый исторической социологией, абсолютизация причинных связей, не могли устроить историков, предпочитавших больше внимания уделять множественности путей и траекторий развития, рассмотрению не общих и повторяющихся элементов, а частных и индивидуальных случаев⁶⁸. Конечно, речь не

статье «Анналов» 1988 года «История и социальные науки: поворотный момент?». См.: «Анналы» на рубеже веков. Антология / Отв. ред. А. Я. Гуревич. М., 2002. С. 12-13.

⁶⁶ См.: *Abrams Ph.* History, Sociology, Historical Sociology // *Past & Present*. 1980. N 87. P. 3-16; *Tilly Ch.* Big Structures. Large Processes, Huge Comparisons. N.Y., 1984; *Vision and Method in Historical Sociology* / Ed. by Theda Skocpol. Cambridge; 1984; *Banks J. A.* From Universal History to Historical Sociology // *British Journal of Sociology*. 1989. Vol. 40. P. 521-543; *Helms-Hayes R. C.* 'From Universal History to Historical Sociology' by J. A. Banks // *British Journal of Sociology*. 1992. Vol. 43. P. 333-344; *Smith, Dennis.* The Rise of Historical Sociology. Philadelphia, 1991; etc.

⁶⁷ *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences* / Ed. by James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer. Cambridge, 2003; *Handbook of Historical Sociology* / Ed. by Gerard Delanty and Engin F. Isin. L., 2003. Критику макро-подходов исторической социологии см.: *Goldthorpe J.* On Sociology – Numbers, Narratives and the Integration of Research and Theory. Oxford, 2000. P. 42-43.

⁶⁸ См., например: *Bergad, Laird W.* The Comparative History of Slavery in Brazil, Cuba, and the United States. Cambridge etc., 2007; Citi-

идет о сравнении в сугубо обыденном понимании. Нельзя не согласиться с тем, что «наличие сравнительного рассмотрения отдельных фактов в историческом исследовании еще не свидетельствует о “компаративности” его методологии»⁶⁹. Ключевой и ныне широко обсуждаемой проблемой как современной сравнительно-исторической социологии, так и новой «кросс-культурной компаративной истории», разрушающей стереотипы национальных версий европейской или мировой истории, остается необходимость осознанного выбора критериев, теоретических оснований для сравнения⁷⁰.

Поиск современного взгляда на бесконечное разнообразие исторического опыта актуализирует сравнительно-исторические исследования и формирует новую стратегию компаративной истории, которая связана не с деконтекстуализацией сходных явлений в рамках универсалистской, или же эволюционной (европоцентристской, по своей сути) парадигмы, а с преодолением европоцентризма, с пересмотром роли и наследия империй и отношений центра и периферии, с акцентированием – наряду с обнаруживаемыми аналогиями – кон-

zanship and Those Who Leave. The Politics of Emigration and Expatriation / Ed. by Nancy Green and François Weil. Urbana etc., 2007.

⁶⁹ Тюна В. И. Историческая реальность и проблемы современной компаративистики. М., 2002. С. 7.

⁷⁰ См., например: *Detienne, Marcel. Comparer l'incomparable*. Paris, 2000; *Stratégies de la comparaison internationale / Dir. par Michel Lallement, Jan Spurk*. Paris, 2003; *Kamen, Henry. Early Modern European Society*. L., 2000; *Berger, Stefan. Comparative History / Writing History. Theory and Practice / Ed. by S. Berger, H. Feldner, K. Passmore*. L., 2003; *Kocka, Jürgen. Comparison and Beyond // History & Theory*. 2003. Vol. 42. P. 39-44; *Winks, Robin W., Neuberger, Joan. Europe and the Making of Modernity, 1815–1914*. Oxford, 2005. Анализ междисциплинарных перспектив компаративной истории в прошлом и настоящем и ее «дрейфа» от объяснения к интерпретации см.: *Келли, Дональд. Основания для сравнения // Диалог со временем*. 2001. Вып. 7. С. 89-105. См. также: *Reynolds, Susan. Empires: A Problem of Comparative History // Historical Research*. 2006. Vol. 79. N 204. P. 151-165.

трастов и различий, с последовательным учетом разнообразия локальных контекстов и культурных традиций. Равным образом такая задача ставится в образовательной практике. Споры идут вокруг вопроса о том, как сделать традиционный курс по истории западной цивилизации в американских университетах более совместимым с учебным курсом мировой истории, в котором реализуется новый подход⁷¹.

Встраиваясь в *сетевую* структуру глобальной истории, пространственно-темпоральные перспективы региональной истории обретают новый эвристический потенциал. Знаменательно, например, возникновение термина «перекрестная история» (*histoire croisée*), призванного обозначить новую парадигму, которая в отличие от традиционной компаративной истории, работающей в режиме синхронии⁷², отдает приоритет

⁷¹ Knowing, Teaching and Learning History. National and International Perspectives / Eds. P. N. Stearns, P. Seixas, S. Winebur. N.Y., 2002; Stearns, Peter N. Western Civilization and World History. N.Y.; L., 2003; *Idem*. American Students and Global Issues // World History Connected. 2007. Vol. 4. № 2 (<http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edu/4.2.html>), а также: Popp, Susanne. Integrating World History Perspectives into a National Curriculum: A Feasible Way to Foster Global Oriented Historical Consciousness in German Classrooms? // World History Connected. 2006. Vol. 3. № 3 (<http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edu/3.3.html>); Bentley, Jerry H. Why Study World History // World History Connected. 2007. Vol. 5. № 1 (<http://worldhistoryconnected.press.uiuc.edu/5.1.html>).

⁷² По лаконичному определению Дж. Фредриксона, традиция компаративной истории состоит в «выделении решающих факторов или независимых переменных, которые объясняют национальные различия» (Fredrickson, George M. From Exceptionalism to Variability: Recent Developments in Cross-National Comparative History // Journal of American History. 1995. Vol. 82. № 2. P. 587). Можно вспомнить, как восемьдесят лет тому назад, обосновывая возможности сравнительного метода на Международном конгрессе по историческим наукам в Осло, Марк Блок говорил о том, что название «сравнительная история» закрепилось «почти исключительно за сличением явлений, существовавших по разные стороны государственной или национальной

изучению динамики межкультурных интеракций (как между разными обществами, общностями, народами, регионами, так и между интеллектуальными традициями) вне зависимости от национально-государственных границ⁷³. Параллельно и иногда альтернативно употребляются и обсуждаются другие, очень близкие по своему содержанию понятия, прежде всего так называемая «связанная история» (*connected history*)⁷⁴.

Благодаря этому ныне и компаративная история переживает «второе рождение», новый «смысловой сдвиг» (здесь, видимо, уместно напомнить давнее выражение Марка Блока), сопровождаемый переопределением исследовательских задач и базовых принципов. По словам Мориса Эмара, «в конечном счете исторический контекст все-таки одержал верх над тягой некоторых историков к абстракциям»⁷⁵. В современной историографии внимание к историческому контексту, без сомнения, одерживает верх над влиянием обобщающих теорий.

В «интерактивной компаративной истории» мы наблюдаем переход от *каузального* объяснения к *контекстуально-*

границы» (см.: Блок М. К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей. Человек в истории - 2001. М., 2001. С. 66).

⁷³ См.: Werner M., Zimmermann B. Penser l'histoire croisée: entre empirie et réflexivité // Annales (HSS). 2003. A. 58. № 1. P. 7-36; De la comparaison à l'histoire croisée / Dir. par Michael Werner et Bénédicte Zimmermann. Paris, 2004; Werner M., Zimmermann B. Beyond comparison: histoire croisée and the challenge of reflexivity // History and Theory. 2006. Vol. 45. № 1. P. 30-50; Le travail et la nation: Histoire croisée de la France et de l'Allemagne / Ed. B. Zimmermann, C. Didry, P. Wagner. Paris, 1999. Ср.: Green, Nancy. Compte rendu de Michael Werner et Bénédicte Zimmermann (dir.). De la comparaison à l'histoire croisée. 2004 // Le Mouvement Social. 2006. N 215. P. 102-104.

⁷⁴ См.: The Making of the Modern World: Connected Histories, Divergent Paths (1500 to the Present / Ed. by Robert W. Strayer. N.Y., 1989; Unravelling Ties: From Social Cohesion to New Practices of Connectedness / Ed. by Yehuda Elkana et al. Frankfurt, 2002.

⁷⁵ Эмар М. История и компаративизм // Новая и новейшая история. 1999. № 5. С. 94.

му⁷⁶. «Новая компаративная история» (в разных версиях) преодолевает границы априорно устанавливаемых национальных, региональных и локальных контекстов, сосредоточивает внимание на существующих множественных взаимосвязях, взаимодействиях и взаимовлияниях между сравниваемыми объектами и их культурно-историческими контекстами, нередко используя для концептуализации изучаемых явлений и их трансформаций понятие «культурного переноса/трансферта» (отсюда – *histoire des transferts*)⁷⁷ и выявляя его медиаторов.

Так, в совместной исследовательской программе британского, французского и ирландского Обществ по изучению XVIII века «Франция, Великобритания и Ирландия: культурные трансферы и циркуляция знаний в Век Просвещения» были поставлены задачи выявить 1) «импортеров» зарубежных идей, т.е. тех, кто действовали как «культурные посредники» (будь то политики, дипломаты, путешественники, ученые, писатели, художники или кто-либо еще, а также институты или неформальные сети); 2) трансферы «культурных продуктов» – книг, газет, произведений искусства и т.п.; 3) перенос литературных, философских, политических или эстетических моделей в процессе «культурной легитимации»; 4) «процедуры переноса» – имитация, перевод или адаптация; 5) воздействие таких культурных трансферов на конструирование национальной идентичности, образов прошлого, язык и т.д.⁷⁸

Между тем, два подхода («синхронический» и «диахронический»), сравнительная история отдельных обществ, «ис-

⁷⁶ *Cohen, Deborah. Comparative History: Buyer Beware // Bulletin of the German Historical Institute. 2001. № 29. P. 30). См. также: Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective / Ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. N. Y.; L., 2004.*

⁷⁷ *Espagne M. Les transferts culturels franco-allemands. Paris, 1999.*

⁷⁸ В рамках проекта проводятся ежегодные конференции. См. также: *Anglo-French attitudes: comparisons and transfers between English and French intellectuals since the XVIII century / Ed. by Christophe Charle, Julien Vincent and Jay Winter. Manchester, 2007.*

тория трансферов» и «перекрестная история», в иных версиях – «международная» или «транснациональная» история⁷⁹ – не только не замешают и не исключают друг друга⁸⁰, но могут с успехом применяться как взаимодополнительные.

5.2. Всеобщая история как история глобальная

Возможно ли – на новой мировоззренческой основе – возрождение идеала *всеобщей истории*, имеющего в отечественной историографии отличное от западноевропейских универсалистских моделей содержательное наполнение?

Говоря о происхождении всеобщей истории – особого типа историографии, качественно отличающегося от повествований об истории отдельных народов, мы попадаем в очень отдаленную эпоху. М. А. Барг, вслед за Р. Коллингвудом, решительно отдавал пальму первенства в создании этого нового типа историографии историкам эллинистической эпохи, прежде всего Полибию⁸¹, который обоснованно считал, что «история по частям» мало что дает для понимания целого.

⁷⁹ *Kocka J., Haupt H.-G.* Geschichte und Vergleich: Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung. Frankfurt-am-Main, 1996; *Thelen D.* The Nation and Beyond. Transnational Perspectives on United States History // *Journal of American History* (The Nation and Beyond. Transnational Perspectives on United States History. A Special Issue). 1999. Vol. 86. № 3. P. 965-975; *Miller M.* Comparative and Cross-National History: Approaches, Differences, Problems // *Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective*. P. 133-144; *Connected Worlds: History in Transnational Perspective* / Ed. by A. Curthoys, M. Lake. Canberra, 2005; *Haupt H.-G.* Historische Komparatistik in der internationalen Geschichtsschreibung // *Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen und Theorien*. Göttingen, 2006. S. 137-149.

⁸⁰ Рассуждения (хотя и несколько прямолинейные) о совместности компаративной и «перекрестной» истории см.: *Kocka J.* Comparison and Beyond // *History and Theory*. 2003. Vol. 42. № 1. P. 39-44.

⁸¹ Хотя, если следовать Дионисию Галикарнасскому, первая «всеобщая» история была создана Эфором в IV в. до н.э. и охватывала собы-

Полибий создает свою «Всеобщую историю» в эпоху объединения под римским господством прежде разрозненного эллинистического мира (когда «почти весь известный мир подпал единой власти римлян в течение неполных пятидесяти трех лет», и начиная с этого времени «история становится как бы одним целым»⁸²) и именно в связи с осмыслением этой новой реальности выдвигает в качестве первейшего требования к новому канону исторического сочинения то, что история должна носить всеобщий характер, а события излагаться как взаимосвязанные и взаимообусловленные⁸³. Однако, по мнению Ф. Арьеса, ни в эллинистическом мире, ни даже в Риме не существовало «идеи всеобщей истории, соединяющей все времена и все пространства»; тот «важнейший момент», когда «христианизировавшийся латинский мир открыл для себя, что род человеческий имеет взаимосвязанную историю – всеобщую историю», он относит к III в. н. э.⁸⁴ С победой христианства образ *всеобщей* истории получил опору в идее изначального единства рода человеческого, закрепленного самим актом творения, и в жестком каркасе священной истории. Средневековая картина истории челове-

тия с 1069/68 г. до 341/40 г. до н.э. (Барг М. А. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987. С. 68). Ср.: Коллингвуд Р. Дж. Идея истории // Он же. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 35-37.

⁸² Полибий. Всеобщая история. I, 1, 5; I, 3, 4.

⁸³ «Особенность нашей истории и достойная удивления черта нашего времени состоят в следующем: почти все события мира судьба направила насильственно в одну сторону и подчинила их одной и той же цели; согласно с этим и нам подобает представить читателям в едином обозрении те пути, которыми судьба осуществила великое дело... История по частям дает лишь очень мало для точного уразумения целого; достигнуть этого можно не иначе, как посредством сцепления и сопоставления всех частей, то сходных между собою, то различных, только тогда и возможно узреть целое, а вместе с тем воспользоваться уроками истории и насладиться ею». Полибий. Всеобщая история. I, 4, 1-11.

⁸⁴ Ariès Ph. Le temps de l'histoire. Paris: Éd. du Seuil, 1986. С. 100.

чества (между грехопадением и Страшным судом) обрела внутренний динамизм и подлинно универсальный характер⁸⁵.

Рождение идеи всеобщей истории Нового времени связано с именем Дж. Вико, с прогрессирующей секуляризацией исторического сознания и с «историографической революцией» XVIII века, вследствие которой «была впервые открыта возможность включить в поле зрения всемирной истории другие континенты и цивилизации»⁸⁶ (при всем ее неискоренимом европоцентризме), в значительной степени – на основе концепции постоянства человеческой природы как неизменной предпосылки единого исторического процесса, по самому своему определению имеющего направление и цель. В историографии романтической школы всеобщая история превращается в историю раскрытия способностей и совершенствования человечества. В классической парадигме всеобщая/всемирная история была, без сомнения, «высоким жанром», в котором на протяжении столетий корифеи историографии стремились реализовать свои самые амбициозные проекты.

В России идея всеобщей истории – довольно позднее приобретение. Само ее распространение было напрямую связано с мучительными поисками ответа на вопрос об исторических судьбах человечества как целого и России – как его части. Понятие всеобщей истории в российской интеллектуальной традиции претерпело значительные трансформации в течение последних двух столетий. Уже при своем появлении

⁸⁵ «Все люди и все народы вовлечены в осуществление божественных предначертаний, поэтому исторический процесс происходит везде, и всегда его характер один и тот же. Любая часть его – это часть одного и того же целого. Христианин не может удовлетвориться римской историей, древнесврейской историей или любой историей отдельного народа: ему нужна история мира в целом, всеобщая история, темой которой должно быть осуществление божественных предначертаний для человека». *Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. С. 49.*

⁸⁶ *Барг М. А. Эпохи и идеи... С. 330.*

этот термин имел различные значения. Главные изменения произошли в их соотношении, и динамика этих изменений совпадает с важнейшими моментами в долгом процессе российской модернизации с ее тремя фазами, хронологически маркированными первой половиной XIX века, концом XIX – началом XX века, концом 1990-х – началом 2000-х годов. Стоит сразу заметить, что в эти исторические моменты идея всеобщей истории имела особое значение как для российских интеллектуалов, для профессиональной историографии, так и для острых общественных дискуссий о прошлом и будущем России. И здесь необходимо сказать хотя бы несколько слов по поводу контекста этой идейной полемики.

Для российской общественно-политической мысли рубежа XVIII–XIX вв. было характерно понимание просвещения как могущественной силы социального преобразования, а тесные культурные и интеллектуальные связи между Россией и Западной Европой оценивались весьма высоко. Но модернизация и европеизация российских элит в последней четверти XVIII и первой трети XIX в. породили последующую негативную реакцию – враждебность как к самой модернизации, так и к западной культуре. Эта тенденция воплотилась в официальной идеологии, а затем в славянофильском интеллектуальном движении. В государственной культурной политике центральное место занимала идея национальной самобытности, была сформулирована теория «официальной народности». Принципы «православия, самодержавия и народности» широко пропандировались в учебниках, лекциях, популярных брошюрах. В этой атмосфере философское осмысление исторического пути России (с такими главными темами, как культурные и интеллектуальные связи России и «Запада» и оценка западно-европейского общественно-политического строя) заняло центральное место как в трудах и лекциях ведущих общественных и государственных деятелей, ученых и публицистов, так и в жарких дебатах в столичных литературных салонах.

Понятие всеобщей истории было центральным для так называемой западнической идеологии. В 1840-е годы многие российские ученые, студенты университетов и более широкая образованная публика проявляли огромный интерес к истории западноевропейских стран, которые уже испытали процесс модернизации и формирования современных общественных и политических институтов, процесс, который – как они считали – является универсальным для всех народов, и в который Россия в тот момент должна была вступить. Большинство западников были сторонниками конституционной монархии. Они связывали социальные реформы с заимствованием западноевропейских достижений. Веря в «уроки истории», они пытались отобрать наиболее ценные явления западного исторического опыта и применить их к российскому настоящему и будущему. Но историософские концепции большинства оригинальных мыслителей этой ориентации не укладывались в прокрустово ложе довольно схематически обозначенных общих черт западнической идеологии.

В первую очередь это относится к Тимофею Николаевичу Грановскому⁸⁷, который был лидером западнического интеллигентского движения и главным пропагандистом идеи всеобщей истории в 1840-е и до середины 1850-х годов. *Философское* понимание всеобщей истории у Грановского было отчасти связано с Гегелем, работами которого он всерьез интересовался еще в годы учебы, а позднее – в течение всей своей жизни критически переосмысливал ключевые идеи гегелевской философии истории с ее видением конечной цели развития в субъективной свободе человека как индивида и как универсального существа. Однако понимание Грановским все-

⁸⁷ Нельзя не отметить отрадное событие – недавнюю публикацию творческого и эпистолярного наследия Т. Н. Грановского в «Библиотеке отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века»: *Грановский Т. Н.* Публичные чтения. Статьи. Письма / Сост. А. А. Левандовский. М., 2010.

общей истории не совпадало с гегелевским понятием «Всеобщей Истории» (как первым типом «Рефлексивной Истории»), которая стремится обозреть всю историю какого-либо народа или даже мира и склонна к абстрактным обобщениям⁸⁸.

Это богатство содержания минувшего создавало трудности, если не в определении самого предмета всеобщей истории, то в отборе материала, подлежащего изучению, в том числе данных других наук: «Можно без преувеличения сказать, что нет науки, которая не входила бы своими результатами в состав всеобщей Истории, имеющей передать все видоизменения и влияния, каким подвергалась земная жизнь человечества»⁸⁹. Но при этом всеобщая история в концепции Грановского не превращалась в арифметическую сумму частных, локальных и национальных историй: принцип отбора материала для всеобщей истории должен был состоять в вычлениении «общего, существенного» в процессе развития человечества – развития, общего для всех народов.

Профессиональное понимание всеобщей истории у Грановского восходило к концепции Леопольда фон Ранке, который считал, что «наука всеобщей истории (здесь и далее курсив мой. – Л. Р.) отличается от специального исследования тем, что, изучая особенное, универсальная история никогда не забывает о целом, которым она занимается. Исследо-

⁸⁸ Как утверждал позднее П. Г. Виноградов, Грановский был слишком историком, «чтобы остаться вполне во власти философа, распорядившегося историческим материалом по своему произволению... Главное, и по натуре, и по подготовке Грановский не мог принести жизненность конкретных фактов в жертву отвлеченному философскому плану. Он видел прошедшее слишком ясно, чтобы не заметить, что оно гораздо богаче содержанием, чем допускала диалектическая схема Гегеля». *Виноградов П. Г.* Т. Н. Грановский (Публичная лекция, читанная 11 февраля 1893 года в пользу комитета грамотности) // Русская мысль. Год 14-й. Книга 4. 1893. С. 52.

⁸⁹ *Грановский Т. Н.* О современном состоянии и значении всеобщей истории // Сочинения. Изд. 3-е. Т. 1. С. 9.

вание особенного, даже единичного, ценно, если оно хорошо сделано. Будучи обращено к человеку, оно всегда обнаруживает нечто, что стоит знать. Оно поучительно, даже когда касается мелочей, поскольку человеческое всегда достойно познания. Но изучение особенного непременно устанавливает связь с более широким контекстом. Локальная история соотносится с историей страны; биография – с каким-то более масштабным событием в жизни государства и церкви, с какой-либо эпохой национальной или общей истории. Но все эти эпохи сами... являются частью того великого целого, которое мы называем *универсальной историей*. Чем шире горизонт исследования, тем, соответственно, выше его ценность. Конечной целью, все еще недостигнутой, остается постижение и написание истории человечества»⁹⁰. Эта цель – коллективная идентичность высшего порядка, опирающаяся на идею единой судьбы человечества и преемственности всемирно-исторического развития от эпохи к эпохе⁹¹.

⁹⁰ *Ranke L. von. The Role of the Particular and the General in the Study of Universal History (A Manuscript of the 1860s) // The Theory and Practice of History: Leopold von Ranke / Ed. by Georg G. Iggers and Konrad von Moltke. Indianapolis; N.Y., 1973. P. 58.*

⁹¹ Примечательно, что этот пассаж из неопубликованной рукописи Ранке почти в тех же выражениях повторяет Э. Мейер: «...Считать единицей историю нации и из ее судеб выводить нормы исторической эволюции – совершенно ошибочно. Никакой замкнутой в себе национальной истории вообще нет: все народы, вступившие между собою в продолжительное политическое и культурное единение, представляют для истории единство, до тех пор, пока связь их не нарушится ходом исторической эволюции, и, в конце концов, истории отдельных народов, государств, наций являются лишь частями единой, всеобщей истории; хотя их и можно рассматривать отдельно, но никогда нельзя изучать совершенно изолированно, без связи с целым. Основой и высшей целью исторического исследования и всякой, даже направленной на частности, исторической работы – может быть только *всеобщая история*» (Мейер Э. Теоретические и методологические вопросы истории. Философско-исторические исследования. Изд. 2-е, исправленное. М., 1911. С. 46).

В этом и состоит, собственно, классическое понимание сверхзадачи *всеобщей истории*, разделяемое ведущими представителями новоевропейской исторической мысли.

Грановский заложил в традицию российской профессиональной историографии четко выраженную линию истолкования специфики всемирной истории как *всеобъемлющей и взаимосвязанной*. Вслед за Ранке с его поиском «общей связи вещей», он определял ее следующим образом: «Всемирная история имеет дело с событиями *в их связи между собой* (курсив мой. – Л. Р.). Она есть эмпирическая история, занимающаяся всеми народами, населяющими землю...»⁹².

Т. Н. Грановский также утверждал, что в непрерывной преемственности всеобщей истории происходит постоянная смена ее «лидеров», то есть тех народов, которым их предшествующие достижения дали возможность ввести новый принцип в общую историческую жизнь. Сегодня мы, наверное, могли бы образно сравнить такой процесс с последовательной передачей исторической эстафеты. И, вместе с тем, в способности постичь этот новый принцип Грановский видел необходимое условие «удержания» так называемых «старых, стареющих народов» в историческом процессе. Проводя эти идеи в своих лекционных курсах, Грановский, в то же время, был далек от схематизации, присущей многим другим последователям гегелевской философии истории.

Во вводной лекции по истории историографии в сентябре 1848 г. Грановский дал пространное изложение своего понимания различия между частной (локальной или национальной) историей, с одной стороны, и универсальной, или всеобщей историей, с другой. Заметив, что концепция всеобщей истории не могла бы сложиться в отсутствие какого-либо представления о человеческой цивилизации, он обнару-

⁹² Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1961. С. 47.

жил корни этой концепции в христианстве, но связал ее реализацию с современной ему философией истории.

Грановский указывал: «Занимаясь историей народов древнего Востока, вы легко поймете, почему на Востоке не могла созреть мысль о всеобщей истории; она могла развиваться только при высшем сознании личности всего человечества (*в среде, уразумевшей свое прошедшее*) <...> Только на рубеже истории Востока является исторический памятник, в исследовании которого надобно углубиться, – это св. Библия <...> Но настоящая классическая почва истории – Европа. История есть растение, растущее не на всякой почве и не при всяких условиях. Даже греческая историография, несмотря на всю ее художественность и изящность в рассказе, не сходит со степени истории национальной <...> гордое отличие между эллином и варваром мешало развитию идеи всеобщей истории; и мог ли ее понять грек при таком отчуждении своего народа от всего человечества <...> Только с введением христианства могла возникнуть всеобщая история; первые слова христианства показали новый идеал истории. И. Хр. сказал удивленному древнему миру, что все люди суть сыны божии, что все они братья, что перед богом нет ни эллина, ни варвара! Итак, в христианстве лежит идея о всеобщей истории, тогда только она сделалась возможной; но между возможностью и осуществлением желаемой идеи проходят столетия. В наше время всякому историку понятна цель науки, всякий сознает ее идеал, но нет еще произведения, где бы эта идея осуществилась, и долго еще пройдет, пока цель, высказанная Диодором Сицилийским, – *всеобщая история должна быть рассказана как история одного человека* (курсив мой. – Л. Р.) – осуществится...»⁹³.

Для Грановского идея общечеловеческой цивилизации «вступила в область истории» в восемнадцатом столетии, но «философия 18 века была материальная, и потому ее влияние

⁹³ Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987. С. 300-302.

на историю имело вредное последствие», а две возникшие формы – история всемирная и *Kulturgeschichte* «не шли по должному направлению». При этом «всемирную историю не должно смешивать с всеобщей историей. Первая, т.е. всемирная, история требует количества фактов; чем больше фактов, чем больше народов входят в ее состав, тем цель ее лучше достигнута; вторая, т.е. всеобщая, обращает главное внимание на качество фактов, и потому она не без разбора их принимает. Конечно, это воззрение на историю всемирную имело в себе что-то гуманное; оно давало равную цену истории <мелких африканских племен> и истории римлян; но нельзя не видеть в этих понятиях об истории чего-то близорукого, обличающего совершенное непонимание истории!... Направление эмпирическое, выразившееся под формой всемирной истории, ложно в том отношении, что оно совершенно оставляет в стороне человека; оно довольствуется одними фактами и забывает развитие рода человеческого, что должно составлять сущность истории»⁹⁴.

Всеобщая история, по Грановскому, бессмыслима вне человека, «в стороне» от него и представляет собой, по сути, биографию Человечества.

Грановский весьма критично оценивал концепцию систематической всемирной истории Шлецера, который считал, что в одинаковых обстоятельствах люди всегда действуют одинаково⁹⁵. Указав на определяющее позитивное влияние

⁹⁴ Там же. С. 307-309.

⁹⁵ Развернутый анализ шлецеровских *Universalhistorie* (1772 г.) и *Weltgeschichte* (1785 г.) см.: Zbigen J. Heterogeneity, irony, ambivalence. The Idea of progress in the universal histories and the histories of mankind in the German Enlightenment / Storia della Storiografia. 1996. No. 29. P. 28-33. Возможно, что именно отход Шлецера от идеи универсальной истории в его *Weltgeschichte*, наряду с его подверженностью влиянию «материальной философии» (Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987. С. 309), вызвал скептическое отношение Грановского.

Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и немецкой рациональной философии в целом на исторические идеи его времени⁹⁶, Грановский, утверждал, что «всеобщая история должна иметь предметом развитие духа рода человеческого». Речь, таким образом, может идти о *духовной биографии Человечества*. При этом нельзя «довольствоваться одним сухим исчислением приобретений духа человеческого, не всегда вполне выражающих степень его развития». И далее: «...В область истории должны входить факты, имевшие влияние на развитие рода человеческого... В наше время важными для истории фактами называют те, которые служат выражением духовного состояния человека, или его изменения, или развития, или, наконец, его косности». «Во всеобщую историю можно внести те факты, в которых выразилось сознание, которые характеризуют духовную жизнь, духовное движение народа»⁹⁷. Итак, предмет всеобщей истории должен включать *развитие сознания, опыт духовной жизни человечества*⁹⁸.

Традиции всеобщей истории в России были продолжены самым выдающимся учеником Грановского Владимиром Ивановичем Герье и учениками последнего – такими крупнейшими учеными русской исторической школы пореформенного

⁹⁶ Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987. С. 311-312.

⁹⁷ Там же. С. 313-314. «У истории две стороны, – утверждал Грановский, – одной является нам свободное творчество духа человеческого, в другой – независимые от него данные природою условия его деятельности» (Грановский Т. Н. Сочинения. Изд. 3-е. Т. 1. С. 22).

⁹⁸ Грановский привлек внимание к тому факту, что в своем развитии в течение многих тысячелетий, «род человеческий» приобрел «массу истин» и «человек в каждом веке побеждает и разрушает какой-нибудь предрассудок». Примечательно его замечание в письме к Н. В. Станкевичу от 4 марта 1840 г. по поводу прочитанной им в тот день лекции о Григории VII: «Доволен собою – мне особенно хотелось показать ничтожество материальной силы при всей ее наглости в борьбе с идеями» (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. С. 386).

периода, как Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский, И. В. Лучицкий, П. Г. Виноградов, М. С. Корелин, С. Ф. Фортунатов и др. Историки русской исторической школы, чье формирование прошло под влиянием позитивизма, считали Россию неотъемлемой частью европейской цивилизации, а их исторические штудии стимулировались современными общественными дискуссиями вокруг перспектив российской модернизации и попыток найти решение насущных российских проблем через постижение европейского исторического опыта. Герье, как и Грановский, подчеркивал, что всеобщая история имеет для русских особое значение, поскольку представители западных стран не в состоянии отделить универсальную историю от своей национальной, в то время как для русского всеобщая история – это история человеческой цивилизации⁹⁹.

Характеризуя научный метод другого своего учителя С. М. Соловьева, Герье писал: «Историческое направление выразилось у Соловьева не в одном органическом понимании Русской истории, не в том только, что жизнь Русского народа представляется им как единый, из себя развивающийся своей внутренней жизненной силой организм; жизнь этого народа тесно связана с жизнью других европейских народов. Судьба русского народа только часть другого великого организма, также единого и живущего общею жизнью своих частей – Европы, цивилизованного человечества. Сознание этой связи никогда не покидало С. М. Соловьева в его исторических трудах. Чтоб поддерживать его в себе, он посвящал столько дорогого для него времени изучению литературы всеобщей истории; сознание этой связи побуждало его делать свои наблюдения над исторической жизнью народов. Таким способом он развил

⁹⁹ В интерпретации В. И. Герье, историческая жизнь человечества «проявляется одновременно в нескольких областях: в культуре, к которой относятся наука и искусство, в политических учреждениях и в религиозных верованиях» (*Герье В. И. Лекции по новой истории (Реформация)*, читанные в 1894-95 акад. году. М., 1894-95. С. 3).

в себе ту широту и цельность взгляда, которые довершают научный характер его истории России...»¹⁰⁰.

В. И. Герье стремился охватить «всю совокупность истории человечества, ее ход и ее цель»¹⁰¹, не упуская при этом из вида ее «самое конкретное явление» – отдельного человека¹⁰². Настойчиво подчеркивая роль в истории субъективного элемента, Герье, пожалуй, еще больше акцентировал нравственные начала и воспитательный потенциал истории, которую он приравнивал к «*всенародной школе*»¹⁰³. Он утверждал, что «...субъективный элемент будет всегда играть в ней [истории] важную роль, и при том не только тот, который вносится личностью историка, но тот, который обуславливается уровнем образования, нравственным состоянием, *складом ума целой эпохи* (курсив мой. – Л. Р.)»¹⁰⁴.

В знании всемирной истории В. И. Герье видел необходимый элемент современной культуры и повторял вслед за Якобом Буркхардтом, которого считал «самым глубоким из историков ныне уже сошедшего со сцены поколения», его «увещание» о том, что «на образованном человеке лежит специальная обязанность воссоздать в себе возможно полную картину *непрерывного* мирового развития (*der Continuität der Weltentwicklung*); – в этом будет заключаться его отличие, как сознательного существа от бессознательного варвара»¹⁰⁵.

С нескрываемым восхищением Герье цитировал оцениваемые им как «золотые» слова, «которыми Грановский фор-

¹⁰⁰ Герье В. И. Сергей Михайлович Соловьев. СПб., 1880. С. 25-26.

¹⁰¹ Герье В. И. Философия истории от Августина до Гегеля. М., 1915. С. I. Он реализовал это стремление в своих многочисленных лекционных курсах практически по всем периодам всеобщей истории.

¹⁰² Герье В. И. О. Конт и его значение в исторической науке // Вопросы философии и психологии. 1898. Кн. III (43). С. 460.

¹⁰³ Герье В. И. Философия истории от Августина до Гегеля. С. II.

¹⁰⁴ Герье В. И. Очерк развития исторической науки // Русский Вестник. 1865. № 10. С. 451.

¹⁰⁵ Там же.

мулировал свой взгляд на историю и на самого себя, как историка и профессора: «Современный нам историк еще не может отказаться от законной потребности нравственного влияния на своих читателей... Даже в настоящем, далеко не совершенном виде своем, всеобщая история, более чем всякая другая наука, развивает в нас верное чувство действительности и ту благородную терпимость, без которой нет истинной оценки людей»¹⁰⁶.

Здесь уместно вспомнить продолжение цитаты, приведенной в данном случае В. И. Герье. Так, Грановский продолжал: «Она [всеобщая история. – Л. Р.] показывает различие, существующее между вечными, безусловными началами нравственности и ограниченным пониманием этих начал в данный период времени...»¹⁰⁷.

Несмотря на прошедшие более полутора столетий, многие оригинальные положения концепции всеобщей истории Т. Н. Грановского и его последователей вызывают отнюдь не антикварный интерес, приобретая в современном интеллектуальном контексте особое звучание. При этом классики отечественной историографии всеобщей истории – историки «русской школы», ведшие свое происхождение «от Грановского», – всегда признавали самобытность России и даже подчеркивали ее значение. Разумеется, у них сохранялось позитивистское представление о возможности сознательного и целенаправленного воздействия на общество, опираясь на известные закономерности его развития. Но они также совершенно недвусмысленно выражали свое убеждение в необходимости учитывать национальные традиции и специфику внутреннего развития, культурно-историческое наследие¹⁰⁸ –

¹⁰⁶ Герье В. И. Тимофей Николаевич Грановский... С. 72–73.

¹⁰⁷ Грановский Т. Н. О современном состоянии и значении всеобщей истории // Сочинения. Изд. 3-е. Т. 1. С. 26.

¹⁰⁸ См.: Кареев Н. И. Из лекций по общей теории истории. Часть II. Историология. Теория исторического процесса. СПб., 1915. С. 266.

короче, все те характеристики, которые мы теперь назвали бы цивилизационными основаниями исторического процесса.

Будучи профессионалами высокого класса с оригинальными философскими и историческими взглядами, российские «всеобщники» отчетливо понимали, что простое наличие апробированных моделей перехода от старого режима к современности могло бы лишь облегчить и ускорить этот процесс, но сам механизм этого движения по пути, проложенному другими, может быть запущен только в аналогичной исторической ситуации, созданной социальными, экономическими и политическими условиями самого общества, его действительными потребностями.

Стоит заметить, например, что, признавая возможность заимствовать различные достижения западной цивилизации, П. Г. Виноградов исходил из обязательного учета особенностей «национального организма» России. К тому же примечательно, что в периоды реакции он выдвигал тезис о необходимости следовать по пути, проложенному западными странами, а в моменты революционных кризисов подчеркивал значение национальной исторической традиции.

В публичной лекции 1893 г., посвященной Учителю всех российских «всеобщников» – незабвенному Т. Н. Грановскому, П. Г. Виноградов отмечал, что Грановский «видел прошедшее слишком ясно, чтобы не заметить, что оно гораздо богаче содержанием, чем допускала диалектическая схема Гегеля <...> Ему свойственно было – не раздавать народам и поколениям приличные им в общем строе идеи, а прислушиваться к голосу каждого, изучением и сочувствием доходить до исконных стремлений и заветных мыслей. Потребность и надежда объединения истории осталась, но достигнуть его становилось много труднее для историка, внимательного ко всякому праву, чем для деспотического философа <...> Гуманное чувство Грановского не допускало радикального разделения человечества на привилегированные и низшие расы <...> Так выяснялась для Грановского руководящая идея его занятий – идея

всеобщей истории <...> Истинная сила Грановского заключалась в историческом синтезе, в способности сводить разрозненные и разнохарактерные факты в одно целое, указывать взаимодействие, зависимость <...> Грановский был именно создан для всеобщей истории. В его руках эта наука была не трудолюбивой компиляцией чужих мыслей, как у Вебера и Беккера, не беспощадным судоразбирательством, как у Шлосера, не искусственным выделением международных явлений, как у гениального Ранке, не обширным введением к современности, как она будет у Лависса и Рамбо. Любопытно, что именно русский историк проявил необыкновенное дарование в этой области – любопытно и естественно. Не будет парадоксом сказать, что *именно всеобщая история должна быть русской наукой* (курсив мой. – Л. Р.)¹⁰⁹. При этом главное значение всеобщей истории Виноградов видел в воспитании человека через «продумывание» и «прочувствование» последовательности развития человечества.

Н. И. Карсев в своей известной речи об историческом миросозерцании Грановского неоднократно возвращался к одной и той же мысли: «Он был первый на кафедре всеобщей истории, который отрепился от взгляда на этот предмет, как на механическое соединение частных историй отдельных стран и народов, для того, чтобы возвыситься до всемирно-исторической точки зрения, до представления истории человечества, в недрах коего совершается единый по своему существу и по своей цели процесс духовного и общественного развития. Грановский же, наконец, начинает у нас ряд ученых, которые стали самостоятельно заниматься историей европейского Запада, в чем можно сказать, выразилась впервые зрелость нашей научной мысли и наше право на уместную самостоятельность в сфере всеобщей истории... В историче-

¹⁰⁹ Виноградов П. Г. Т. Н. Грановский (Публичная лекция, читанная 11 февраля 1893 года в пользу комитета грамотности) // Русская мысль. Год 14-й. Книга 4. 1893. С. 52-58.

ском мирозерцании Грановского мы имеем... дело с тогдашним русским синтезом разных направлений исторической науки Запада»¹¹⁰. Грановский видел во всеобщей истории «взаимодействие, сближение отдельных наций, культурное объединение человечества... Разносторонность исторического интереса Грановского, понятная при широте его общего взгляда на жизнь и науку, стояла в полном соответствии с той универсальной точкой зрения, которую он вводил в историю»¹¹¹. «Широкое понимание исторической науки, которая имеет своим предметом жизнь человечества во всем ее разнообразии и многосторонности, составляло главную силу Грановского, как историка-мыслителя»¹¹².

Чтобы до конца представить всю широту понимания предмета исторической науки в традиции всеобщей истории, заложенной Грановским, необходимо не упустить из виду, что комплекс идеалов и ценностей, на базе которого выстраивалась картина всемирно-исторического развития, был насквозь гуманистичен. Российские «всеобщники» настойчиво подчеркивали не только разнообразие и многосторонность жизни человечества, разных поколений, изведавших «и радость жизни, и бремя труда, и муку смерти, и надежду бессмертия»¹¹³, но и роль личности, индивидуального начала в истории, и в качестве ее творца, и как субъекта исторического познания. Что же мог в этой парадигме взять историк «за центр, около которого должны группироваться все элементы культуры? Это нечто есть человеческая личность, ибо все в истории существует через человека, в ней и для нее»¹¹⁴.

¹¹⁰ Кареев Н. Историческое мирозерцание Грановского. Речь на торжественном акте Императорского С.-Петербургского Университета 8 февраля 1896 г. СПб., 1896. С. 2, 4.

¹¹¹ Указ. соч. С. 67-69.

¹¹² Указ. соч. С. 24.

¹¹³ Виноградов П. Г. Т. Н. Грановский... С. 56.

¹¹⁴ Кареев Н. Основные вопросы философии истории. М., 1883. Т. I. С. 285.

Весьма репрезентативным в отношении сложившейся в российской историографии XIX в. интеллектуальной традиции представляется развернутое рассуждение Н. И. Кареева о задачах, особенностях и вариантах композиции всеобщей истории в его Предисловии к первому изданию (1893 г.) «Введения в историю XIX века». Автор подчеркивает, что в данной книге ему хотелось «представить историю Западной Европы в новое время, как нечто единое, цельное и общее, не разделенное на истории отдельных народов и обособленных одна от другой эпох, *как то именно общее, что из истории многих народов делает одну историю* (курсив мой. – Л. Р.) и связывает частные эпохи в целый большой отдел всемирной истории... История подобна большой картине с множеством фигур в очень сложной комбинации. Об этой картине вы сможете дать понятие, сняв с нее, по возможности, точную, хотя и уменьшенную копию, с теми же красками, как и в оригинале; можете дать понятие также и в гравюре без красок, но с отделкой деталей, и в рисунке с менее тщательной обработкой подробностей, и в беглом эскизе; можете, наконец, дать о картине понятие, рассказав о ее содержании без пояснительного даже чертежа, который воспроизводил бы действительное размещение фигур; настоящая книжка и есть такой рассказ, передающий только общий смысл такой картины, а сама она совсем и не срисовывается. Кто хочет видеть именно ее самое, тот в этом очерке ничего не найдет, но зато, быть может, настоящая книжка окажет помощь желающему ориентироваться в сложной композиции и пестрой в окраске картине, уже ему известной по тем или иным копиям»¹¹⁵. Не случайно, что одной из лучших практических разработок «русской» идеи всеобщей истории является уникальная серия учебников для школ, написанная

¹¹⁵ Кареев Н. Философия культурной и социальной истории нового времени (1300–1800). Введение в историю XIX века. (Основные понятия, главнейшие обобщения и наиболее существенные итоги истории XIV – XVIII веков. Изд. 2-е. СПб., 1902. С. IX–XI.

Н. И. Каресвым по всем частям и периодам мировой истории. Главная черта этих учебных текстов, созданных выдающимся ученым – интегральная презентация исторического процесса, «общей истории человечества».

В советский период, в условиях абсолютного господства марксистской интерпретации истории понятие «всеобщая история» не проблематизировалось и все более и более сводилось к техническому термину. Конечно, в своих размышлениях о смысле истории, об общей истории человечества и ее проявлениях в истории разных стран и народов, ученые обращались к представлениям о «всеобщей истории», унаследованным от немецкой классической философии и национальной исторической традиции, как это сделал, например, Н. И. Конрад: «История человечества – не какой-то безликий процесс; она очень конкретна и складывается из деятельности отдельных народов, имеющих каждый свое собственное лицо. Но в то же время как часто смысл исторических событий, составляющих, казалось бы, принадлежность только истории одного народа, в полной мере открывается лишь через общую историю человечества»¹¹⁶. Однако чаще всего это понятие просто служило для обозначения «истории зарубежных стран» в противопоставлении другой дисциплине – отечественной истории. Это значение постоянно воспроизводилось в номенклатуре профессиональных специализаций историков, в заглавиях лекционных курсов, исследовательских публикаций и учебников, в названиях университетских кафедр и академических институтов¹¹⁷.

В 1990-е годы открывшиеся для российских историков широкие перспективы и возможности профессионального

¹¹⁶ Конрад Н. И. О смысле истории // Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972. С. 454.

¹¹⁷ В 1968 г. в точном соответствии с этим значением термина (хотя и по иным мотивам) Институт истории АН СССР был разделен на Институт истории СССР и Институт всеобщей истории.

приобщения к мировой историографии и теоретической мысли в сфере социогуманитарного знания совпали по времени с новым критическим поворотом в историографии, который потребовал глубокой переоценки всего интеллектуального багажа, обновления или перенастройки методологического инструментария. Этот процесс привел к отказу от создания масштабных исторических полотен, к доминированию малых форм «частных историй». Однако при этом в историографических исследованиях интерес к отечественной классике всеобщей истории неизмеримо возрос, возможно, как отражение потребности в профессиональной компенсации.

Между тем, современная идея глобальности резко раздвинула и горизонты исторического сознания. Эта идея вновь востребовала, казалось бы, давно устаревшую «всемирно-историческую точку зрения», столь характерную для западных мыслителей эпохи Просвещения и для «золотого века» российской науки всеобщей истории, представители которой видели исторический процесс как движение «в объединительном направлении», как «постепенное объединение судеб отдельных стран и народов»¹¹⁸.

Примечательно, что в современной историографии нередко генеалогия глобальной истории возводится к новоевропейским и даже к античным моделям всеобщей истории. Показательно, что возглавлявший дискуссию о перспективах глобальной истории на XIX Международном конгрессе исторических наук известный британский историк Патрик О'Брайен, утверждая в своем вступительном докладе, что в последней трети XX века глобальная, всемирная или универсальная история возродилась и даже стала модной, вновь заняв достойное место в историографии на рубеже столетий,

¹¹⁸ См.: Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории. Очерки главнейших исторических эпох. СПб., 1903. (Очерк первый: «Всемирно-историческая точка зрения. Постепенное объединение судеб отдельных стран и народов».)

обращался не к перспективам междисциплинарной кооперации, а именно к фундаментальным традициям дисциплинарной истории. В поисках глубоких «корней» глобальной истории, выстраивая ее в буквальном смысле классическую генеалогию, О'Брайен дошел до Геродота, перечислил последующих протагонистов «экуменических программ» всеобщей истории, включая Дж. Вико, Вольтера и даже Ранке, а затем сосредоточился на методологических проблемах сравнительного анализа, с которыми сталкиваются современные «глобальные историки», не оставшиеся индифферентными к постмодернистской эпистемологии, но взыскующие нового синтезирующего инструментария¹¹⁹.

В этой связи нельзя не заметить, как удивительно перекликается (а в ряде моментов просто совпадает) аргументация современных пропагандистов глобальной истории с тем, что выдающийся российский ученый Н. И. Кареев, констатировавший «постепенное объединение судеб отдельных стран и народов», более века назад описывал как «всемирно-историческую точку зрения»: «Всемирная история не есть только сумма частных историй, т.е. историй отдельных стран и народов. Смотреть на историю человечества таким образом мы имели бы право только в том случае, если бы жизнь каждой страны, каждого народа протекала совершенно обособленно, вне какой бы то ни было связи с историей других стран, других народов. Всякому известно, что в настоящее время нет ни одного почти уголка заселенной земли, который так или иначе, в той или другой мере не испытывал бы на себе влияния со стороны того, что происходит в других местах, и что сближение между наиболее отдаленными одна от другой странами, один от другого народами делается все более и более тесным... С этой точки зрения всемирная история и

¹¹⁹ Perspectives on Global History: Concepts and Methodology // 19th International Congress of Historical Sciences. Proceedings Acts: Reports, Abstracts and Round Table Introductions. Oslo, 2000. P. 3.

является перед нами как процесс постепенного установления политических, экономических и культурных взаимоотношений между населением отдельных стран, т.е. процесс постепенного объединения человечества, расширения и углубления связей, мало-помалу образующихся между разными странами и народами. В этом процессе каждая отдельная часть человечества, им захватываемая, все более и более начинает жить двойною жизнью, т.е. жизнью своею собственною, местною и особою, и жизнью общею, универсальною, состоящею, с одной стороны в том или ином участии в делах других народов, а с другой – в испытывании разнородных влияний, идущих от этих других народов. То, что касается только самого народа, есть, так сказать, его частное достоинство, и всемирная история человечества, конечно, есть прежде всего сумма таких частных историй, но она получает право на наименование всемирной истории лишь постольку, поскольку судьбы отдельных народов переплетаются между собою, один народ оказывает на другой то или иное влияние, между народами устанавливается известная историческая преемственность, и таким образом над суммою частных историй возникает общая, универсальная, всемирная»¹²⁰.

В этом длинном пассаже, пожалуй, только выделенная курсивом фраза с предлогом «над», отводящая всемирную историю на более высокий «этаж» исторического описания, несколько диссонирует с современным представлением о специфике децентрированной перспективы мировой истории.

Можно, пожалуй, согласиться с Хейденом Уайтом в том, что «постнациональная эра настоятельно требует от историков поторопиться с теорией “глобальной истории”».

Правда, Х. Уайт сразу оговорился: «Если б кто-нибудь захотел преодолеть границы национальных историографий,

¹²⁰ Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории. СПб., 1903. С. 5-7.

то он должен был бы предложить новую философию истории. И это было бы фатальным. Историки склонны думать, что философия истории – это ошибка»¹²¹.

Действительно, историки все еще отдают предпочтение понятиям «всеобщей» или «всемирной» истории. При этом вряд ли целесообразно, не вводя дополнительных пояснений, применять классическое понятие всеобщей, или универсальной истории к современному видению мировой истории, представляемой в виде многоуровневой сетевой модели как полицентричное множество различных взаимодействующих локальных и частных процессов.

Специалисты по современным версиям макроистории ставят вопрос: как можно писать сегодня транснациональную историю мира? Некоторые из них представляют мировую историю как подход, который включает в свое пространство все народы в попытке обеспечить альтернативу европоцентричным концепциям прошлого, и утверждают, что основательно перегруженная накопленными за прошедшие столетия эмпирическими фактами мировая история все еще сохраняет свое стремление к всеохватности.

В этом контексте понятие «цивилизация» трактуется как обозначение множества групп (с разными социокультурными характеристиками), сосуществующих в границах установленных договоренностей относительно легитимности правителей и условий обмена. Согласно такой интерпретации, даже открытие новых социокультурных элементов, функционирующих внутри цивилизации, и сдвига в отношениях между ними не может угрожать проекту единой мировой истории. Историков призывают изучать – на глобальном уровне – те способы,

¹²¹ Интервью с Хейденом Уайтом // Диалог со временем. Вып. 14. М., 2000. С. 345. Далеко не случайно, что понятие «глобальная история» более характерно для философов и социологов. См.: *Ионов И. Н.* Основные направления и методология глобальной истории // Новая и Новейшая история. 2003. № 1. С. 18-29.

которыми разные группы «переустроивали» эти границы, постоянно расширяя контакты с «другими».

Однако, пытаясь представить мировую историю не как конгломерат частных или локальных историй, но и не как некую абстрактную метаисторию, оторванную от конкретных обстоятельств прошлой жизни, а как реальный, целостный и содержательный процесс, постепенно захватывающий в свою орбиту и связывающий между собой все страны и народы в одну глобальную, трансцивилизационную человеческую общность, мы неизбежно оказываемся в перспективе той или иной версии всеобщей (универсальной) истории человечества¹²².

Глобальная история имеет дело с теми процессами, которые сформировали глоболизирующийся мир настоящего. Эта репрезентация истории стартует от ее конца, т. е. от ее собственной цели – полного развертывания процесса глобализации. Таким образом, данная версия глобальной истории находит свое законное место в гораздо более продолжительной традиции всеобщей, или универсальной истории.

¹²² Впрочем, как известно, фукуямовский «эксперимент» – попытка представить два новейших варианта Универсальной истории, заложив новые основания в объяснение ее общей направленности и связанности, – вызвал сокрушительную критику. См.: *Fukuyama F. The End of History and the Last Man. N. Y., 1992.*

ГЛАВА 6

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ

Проблема взаимодействия культур при одновременном сохранении их идентичности приобретает все большую актуальность в связи с расширяющимся процессом глобализации.

Уже в конце 1960-х – 1970-е гг. в мировой историографии сложилось новое направление исследования, изучающее социальную функцию представлений, их природу, происхождение и т. д., которое впоследствии стало научной дисциплиной – имагологическими исследованиями и – в их рамках – исторической имагологией (имаджинологией), опирающейся на конкретно-исторический анализ культурных стереотипов, коллективных представлений народов друг о друге, этнических и национальных стереотипов, путей их формирования, способов функционирования и процессов трансформации в контексте отношений «мы – они», «свой – чужой»¹.

За прошедшие десятилетия возникшая в социально-гуманитарном когнитивном пространстве междисциплинарная область – историческая имагология, освоив историко-антропологический, социально-психологический и культурологический подходы, накопила значительный объем эмпирических исследований и существенно расширила свое иссле-

¹ Формирование национальной идентичности того или иного народа, включая создание устойчивого образа «своего», неизбежно предполагает наличие противоположного образа «чужого», от которого и происходит своего рода «отталкивание».

довательское пространство, хотя, к сожалению и сейчас проблематика «Своего» и «Чужого», неразрывно связанная с проблемой идентичности, ограничивается, как правило, межнациональными отношениями, в то время как более широкий пласт взаимоотражений на уровне социальных групп и субкультур остается пока малоизученным.

Первым имагологическим исследованием в отечественной историографии была вышедшая в свет в 1982 г. книга Н. А. Ерофеева «Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских. 1825 – 1853 гг.», должным образом оцененная лишь спустя десятилетие². Поставив перед собой задачу проследить на конкретном историческом материале сложный процесс складывания этнических представлений, автор избрал объектом изучения «русский образ англичанина», представления русских об Англии и англичанах, сложившиеся во второй четверти XIX века у привилегированных слоев российского общества: аристократии, дворянства, буржуазии, высшего чиновничества и разночинной интеллигенции, т.е. тех, кто имел возможность письменно выразить свои мысли и представления об Англии, ее экономике, политической и общественной жизни, культуре, об облике, поведении, психологии англичан. В центре исследования были поставлены вопросы: как формируется образ «чужого», от чего зависят его изменения во времени, какую роль играет этот образ в реальной жизни? В книге – хотя и в разной степени реализации и отрефлексированности – нашли отражение несколько чрезвычайно важных для имагологической исследовательской программы методологических принципов.

Во-первых, *необходимость учета психологической составляющей процесса формирования этнических представлений как смеси правды и фантазии, трезвого наблюдения и грубых заблуждений – предубеждений* в отношении «Других» и

² Ерофеев Н. А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских. 1825–1853 гг. М., 1982.

завышенных самооценок – в контексте различных процессов, происходящих в различных сферах деятельности и внешних взаимосвязях социума в конкретные моменты его истории.

Во-вторых, *принцип отражения в образе другого народа сущностных черт собственной коллективной психологии*, проецирование базовых идей, ценностей и представлений о самих себе, объективизация собственных пороков и формирование идентичности через отрицание негативных черт, приписываемых «Другим» (иногда, напротив, через «наделение» последних утраченными «Своими» добродетелями). Именно поэтому изучение индивидуальных и коллективных представлений о других народах (оставляя в стороне вопрос об их соответствии реальности или ее искажении) открывает путь к проникновению в духовную жизнь того общества, в котором эти представления складываются и функционируют.

В-третьих, *принцип сочетания синхронического и диахронического подходов в историческом анализе коллективных представлений с императивом выявления происходящих в них изменений*. Вторая четверть XIX века (период от восстания декабристов до Крымской войны) была выбрана Н. А. Ерофеевым именно потому, что за это время отношения между Россией и Англией из довольно дружественных превратились во враждебные (формирование образа «коварного Альбиона»). И автору удалось проследить, как это сказалось на представлении об Англии и англичанах, и поставить вопрос о том, как вообще отражаются в таких представлениях отношения между государствами.

В-четвертых, *понимание необходимости дифференцированного подхода к взаимоотражениям народов в разных социальных группах* и соответствующего (по возможности) расширения источниковой базы.

На пороге третьего тысячелетия глобальный характер современной цивилизации чрезвычайно актуализировал тему межкультурного диалога. Конкретные формы различения

«своих» и «чужих», особенности взаимовосприятия культур все более активно изучаются на стыке истории, культурологии, социальной психологии, лингвистики.

И. С. Кон, рассматривая эту сложную проблему в социально-психологическом ракурсе, подчеркивал, что национальное самосознание «всегда предполагает – осознанное или неосознанное – соотнесение собственных качеств с качествами кого-то другого», «что “мы” имеет смысл только в сопоставлении с какими-то “они” и обратно»³. Оригинальность его подхода состояла в понимании *историчности* национальной психологии, в том, что те черты, которые воспринимаются как специфические особенности национального характера, определяются не природными способностями, а различием ценностных ориентаций, сформировавшихся вследствие определенных исторических условий и культурных влияний, как производные от истории и изменяющиеся вместе с нею; «затем, с известным отставанием, меняются и соответствующие стереотипы. <...> Но история каждого народа, в особенности история больших современных наций, сложна и противоречива <...> и в истории народа каждый этап исторического развития оставляет свои неизгладимые следы. Чем длиннее и сложнее путь, пройденный народом, чем больше качественно различных фаз он содержит, тем сложнее и противоречивее будет его национальный характер»⁴.

В отечественной историографии новый импульс имагологическим историческим исследованиям был задан в 1990-е годы развитием исторической антропологии и истории ментальностей с ее обобщенным коллективным образом «культурно иного». Важную роль в активизации работы в этом направлении сыграли публикации и дискуссии в альманахе «Одиссей», один из выпусков которого был специально по-

³ Кон И. С. Социологическая психология. Воронеж, 1999. С. 304-324. (С. 312).

⁴ Там же. С. 318.

священ проблеме «Образ “Другого” в культуре»⁵, а также работы Л. З. Копелева⁶, и особенно его статья «Чужие», опубликованная в упомянутом выпуске «Одиссея»⁷.

Важнейшие соображения по поводу изучения коллективных представлений, высказанные автором в этом очерке и неоднократно им акцентированные, касались именно *историчности* и *изменчивости* последних: «Мы знаем, что люди как духовные и социальные существа во многих отношениях изменяются от эпохи к эпохе и даже от поколения к поколению. Меняются их представления о большом мире и их ближайшем окружении, меняются их отношения друг с другом и общества, к которым они принадлежат (народы, классы, конфессии и т. п.); меняются их обычаи, потребности и поведение, существенные и несущественные особенности их жизни и их сознания; приходят и уходят идеи и идеалы <...> Для оценки событий и проблем каждой эпохи и каждого общества необходимы особые критерии, особые мерилы. Но <...> это не должно мешать исследованию общих коллективных представлений людей различных поколений и различных наций, представлений *либо унаследованных, либо вновь воскресших, устойчивых или изменчивых* (курсив мой – Л. Р.). Духовные, социальные и культурные особенности минувших эпох неповторимы, но они влияют на последующие эпохи»⁸. Аналогичная идея изменчивости границ между «своим» и «чужим» в процессе межкультурного общения нашла отражение в редакционной статье:

⁵ Одиссей. Человек в истории. 1993. Образ «другого» в культуре. М.: «Наука», 1994; Одиссей: Человек в истории. 1997. М., 1998.

⁶ В их числе вышедшая в Мюнхене под редакцией Л. З. Копелева многотомная серия «Западно-восточные отражения. Россия и русские глазами немцев и Германия и немцы глазами русских».

⁷ Копелев Л. З. Чужие // Одиссей. Человек в истории. 1993: Образ «Другого» в культуре. М., 1994. Статья представляет собой авторизованный и дополненный перевод его предисловия ко всему изданию «Западно-восточные отражения», опубликованного в т. 1 серии А.

⁸ Там же. С. 10-11.

«Мир “своего”, “своя” культура обретают специфику, своеобразие только в процессе осознания чужой культуры и в общении с ней. Границы между “своим” и “чужим” текучи, они изменяются как в пределах каждой эпохи, так и – тем более – в историческом процессе (курсив мой. – Л. Р.)»⁹.

На рубеже XX – XXI вв. в России появился значительный корпус работ, посвященных различным аспектам межкультурного диалога, главным образом в рамках исследования роли этнических и национальных стереотипов во взаимовосприятии отдельных народов, с естественным преобладанием российской проблематики, как в образе «Своего», так и в образе «Чужого» (и, за редким исключением, на российско-европейском материале)¹⁰, хотя в них нередко не хватает глу-

⁹ От редколлегии // Там же. С. 5.

¹⁰ Артемова Е. Ю. Культура и быт России последней трети XVIII века в записках французских путешественников. М., 1990; *Она же*. Культура России глазами посетивших ее французов. Последняя четверть XVIII века. М., 2000; Оболенская С. В. Образ немца в русской народной культуре XVIII – XIX вв. // Одиссей. Человек в истории. 1991. М., 1991; *Она же*. Германия и немцы глазами русских (XIX в.). М., 2000; Чугров С. В. Россия и Запад: метаморфозы взаимовосприятия. М., 1993; Шенетов К. П. Немцы глазами русских. М., 1995; Россия и Европа в XIX – XX вв.: проблемы взаимовосприятия народов, социумов и культур. М., 1996; Россия и внешний мир: Диалог культур. М., 1997; Образ России: Россия и русские в восприятии Запада и Востока. СПб., 1998; Шукуров Р. М. Введение, или предварительные замечания о чуждости в истории // Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья. М., 1999. С. 9-30; Чернышева О. В. Шведский характер в русском восприятии. М., 2000; Поляки и русские глазами друг друга / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 2000; Восток – Запад: проблемы взаимодействия и трансляции культур. Саратов, 2001; «Наши» и «чужие» в российском историческом сознании. Материалы научной конференции. СПб., 2001; Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 2002; Конелсвекские чтения 2002: Россия и Германия: диалог культур. Липецк, 2002; Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и фин-

бины темпоральной перспективы, отсутствует социально-групповая дифференциация тех или иных образов, не подвергается рефлексии противоречивость отдельных элементов этих образов и роль коллективных стереотипов (выступающих как своеобразные фильтры¹¹) даже в ситуациях личного наблюдения и общения, недооценивается возможность любой тенденциозной интерпретации в зависимости от позиции автора изучаемого текста и ожиданий аудитории и т. д.

В этих работах речь идет не только о сложившихся в общественном сознании традиционных представлениях, усваиваемых индивидами, принадлежащими к данной культурной среде, но и о других источниках формирования представлений о другом народе: «Образ “чужого” складывается задолго до реальной встречи с этим “чужим” в процессе соединения архетипических представлений с впечатлениями повседневной жизни <...> Затем эти впечатления, чаще всего непреодолимые, дополняются и развиваются сведениями, полученными из книг и от других людей». «Встреча с другим» и собственный

нов в России. Новгород, 2004; Россия и Британия. Вып. 4. Связи и взаимные представления. XIX–XX вв. М., 2006; *Иванова Н. Н.* Представления российского столичного дворянства первой четверти XIX в. о Франции как поле историко-культурно-географических ассоциаций // Ежегодник историко-антропологических исследований. 2003. М., 2003. С. 87-100; *Филюшкина С.* Национальный стереотип в массовом сознании и литературе (опыт исследовательского подхода) // Логос. 2005. № 4 (49). С. 141-155; *Евдокимова М. И.* Образ немецкого народа как фактор формирования национального самосознания русских студентов в первой четверти XIX в. // Ежегодник историко-антропологических исследований. 2005. М., 2006. С. 86-104; и мн. др.

¹¹ Сомнения, в частности, вызывает тезис: «Источники личного происхождения фиксируют непосредственные впечатления от общения с иной культурой». См.: *Иванова Н. Н.* «Французский национальный характер» в представлениях российского столичного дворянства первой четверти XIX в. // Ежегодник историко-антропологических исследований. 2005. М., 2006. С. 105-119.

опыт наблюдения и общения считается проверкой этих представлений, но при этом «чаще всего человек считает действительным и верным именно то, что он предполагал заранее и что нашло подтверждение при встрече с реальностью»¹². Этнический стереотип (*предрассудок*) формирует психологическую установку на эмоционально-ценностное (чаще всего – негативное) восприятие «Чужого» и задает соответствующий алгоритм отбора и интерпретации фактов взаимодействия.

Эта линейная модель оставляет нерешенным целый ряд вопросов. Например, каким образом, с учетом «непреодолимой» устойчивости архетипов сознания, с одной стороны, образ «чужого» «легко, иногда за одну только ночь, превращается в образ “врага”»¹³, а с другой – как может происходить обратный процесс, и в целом – какова логика «общественных и личностных отношений, при которых система противостояния или сотрудничества приобретает подвижность». Ведь «сама эта система отношений и связанные с ней морально-этические нормы, правила поведения резко меняют свои знаки в ходе тяжелых, опасных политических игр, постоянной и ожесточенной борьбы за власть, территорию, выгоду»¹⁴. Чтобы «установить, из каких реальных черт возник этот образ, насколько он соответствовал этим реальным чертам, до какой степени и как долго оставались релевантными возникшие представления и оценки, или же они остаются таковыми и поныне»¹⁵, необходимо реконструировать всесторонне и в мельчайших деталях историю этого образа, а точнее – историю коллективных пред-

¹² Оболенская С. В. Германия и немцы глазами русских... С. 9.

¹³ Цит. по: Драбкин Я. О Коцелеве в жизни и творчестве // Лев Коцелев и его «Вуппертальский проект» / Под ред. Я. С. Драбкина. М., 2002. С. 81.

¹⁴ Сванидзе А. А. «Свой» и «чужой» в процессе общественных игр // От Средних веков к Возрождению. СПб., 2003. С. 185.

¹⁵ Коцелев Л. Образ «чужого» в истории и современности // Лев Коцелев и его «Вуппертальский проект». С. 100.

ставлений людей различных поколений, «представлений либо унаследованных, либо вновь воскресших, устойчивых или изменчивых», на протяжении столетий, и вообще – в максимально длительной временной перспективе.

Здесь речь идет именно об *историческом* изучении образов как части культурного наследия, включая набор латентных базовых этнических стереотипов, которые никуда не исчезают, а продолжают свое долгосрочное существование подспудно в практически неизменном виде, готовые быть вновь актуализированы («воскреснуть») в моменты социокультурной конфронтации. Их живучесть усиливается тем, что люди склонны воспринимать сигналы, которые поддерживают уже наличествующий стереотип¹⁶. Однако при этом более подвижные образы могут изменяться под воздействием кумулятивного эффекта повторяющихся однонаправленных эмоционально-насыщенных драматических событий. Изменяется главным образом относительный вес отдельных образов. В центре исследования должны быть поставлены следующие вопросы: каков сам образ, как он сформировался, почему он таков, каким целям он служит, какие изменения он претерпел, и что все это говорит о его создателях¹⁷.

Но для того чтобы уловить социокультурные изменения, происходящие в режиме *longue durée*, нужно расширить хронологические рамки типового конкретно-исторического исследования и выйти за пределы привычного круга источников. В этой связи представляется целесообразным привлечь, в частности, внимание к высказанной Т. А. Шанской идее о необходимости для анализа межнациональных отно-

¹⁶ Fält O. K. The Historical Study of Mental Images as a Form of Research into Cultural Confrontation // Comparative Civilizations Review. 1995. No. 32. P. 99.

¹⁷ Fält O. K. Global History, Cultural Encounters and Images // Between National Histories and Global History / Ed. by S. Tønnesson et al. Helsingfors, 1997. P. 61-67.

шений, связей, взаимовлияний, не ограничиваясь источниками личного происхождения, рассматривать «источники и литературу по предложенной теме в их неразрывном единстве, как диалог культур, растянутый во времени»¹⁸. Сама историография темы, бытование «мифа о русско-французском культурном диалоге» в научно-историческом и общественном сознании предстает здесь как «проявление систематизированного и структурированного восприятия»¹⁹. Чаще всего, однако, предлагают простую констатацию образа, а не анализ культурных процессов, его порождающих, и в этом проявляется большая зависимость научного исторического сознания от обыденных представлений.

В своих дальнейших рассуждениях я опираюсь на результаты конкретно-исторического анализа путей формирования, способов функционирования и процессов трансформации образов-представлений «я» и «другой», «мы» и «они», «свои» и «чужие», которые были представлены в многочисленных докладах, опубликованных в сборниках материалов ежегодных конференций Российского Общества интеллектуальной истории, начиная с 2000 г., и особенно научных форумов, специально посвященных теме межкультурного взаимодействия и диалога культур в самых разных его исторических формах и методологических аспектах (2003-2006 гг.)²⁰.

¹⁸ Шанская Т. А. «Ох, уж эти французы!» Теоретические и обыденные представления о русско-французском культурном диалоге начала XIX века // *Clio Moderna. Зарубежная история и историография*. Вып. 3. Казань, 2002. С. 139.

¹⁹ Там же. С. 154-155.

²⁰ См., прежде всего: Межкультурный диалог в историческом контексте. Материалы научной конференции. М., 2003; Межкультурное взаимодействие и его интерпретации. Материалы научной конференции. М., 2004; Историческое знание: Теоретические основания и коммуникативные практики. Материалы научной конференции. М., 2006 (разделы «Образ Другого в культурных коммуникациях прошлого» и «Образ Другого в историческом познании»).

В числе них, например, такие исследования, связанные с взаимодействием и взаимовосприятием России и Германии, как работы О. В. Заиченко «Образ России в общественном мнении Германии первой половины XIX века»²¹, Л. М. Макаровой «Германия и Россия – диалог в культурном пространстве 20-х гг. XX в.»²², в которых показаны условия и механизмы формирования образов «Другого», которые, будучи усвоены, ориентируют мышление индивида и определяют его поведение в конкретно-исторической ситуации. Или же интересная работа В. С. Савчука «Историографический спор как диалог культур: проблема средневековой немецкой восточной колонизации»²³, в которой продолжавшаяся десятилетиями острая полемика – историографический «конфликт» между отечественными историками и учеными Германии XX века рассматривается как своеобразный «диалог культур».

То, что древнейшая система социальной категоризации – оппозиция «мы – они» («свои – чужие») является культурной универсалией, присуща самосознанию любого типа общности²⁴, играет решающую роль в ее консолидации, обладает мощным мобилизующим потенциалом и имеет фундаментальное значение для раскрытия специфики любой культуры, никем не оспаривается. Тем не менее, в конфигурацию и соотношение «Своего», «Иного», «Чужого» новые исследования вносят заметные нюансы и уточнения. Если «Чужой» находится как бы за внешней границей круга интересов сообщества, то «Другой» может быть фактически своим, но обладание определенными качествами или знаниями делает его культурно

²¹ Межкультурный диалог в историческом контексте... С. 47-50.

²² Там же. С. 107-110.

²³ Там же. С. 181-184.

²⁴ И сегодня «ни история, ни этнография не знают каких-либо групп или общностей людей, каких-либо “мы”, изолированных от других, и так или иначе не противопоставляющих себя другим» (Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1979. С. 111).

«Иным»²⁵, социально «Чужим», или маргиналом²⁶. И, в то же время, «Другой» по национальной принадлежности может быть «Своим» по культурно-нравственным приоритетам.

Богатый материал по формированию представлений о «другом» дают травелоги, или обширная «литература путешествий», получившая особую популярность в XVIII – XIX вв. Оригинальный поворот темы предлагает А. Э. Афанасьева, опираясь на анализ отчетов британских врачей и путешественников по Африке²⁷. Характерная черта всех этих текстов – то, что описание наблюдаемого единичного случая подается как *типичное* для данной культуры. При этом африканцы помещаются на исторической шкале в «отдаленное прошлое время». Использование терминов «примитивный», «отсталый» относит их к периоду, уже давно пройденному Западом на пути к прогрессу. Африканские общества дистанцируются во времени и через изображение туземцев как детей, не заботящихся о завтрашнем дне, что подразумевает необходимость контроля над ними.

²⁵ Интересный аспект этой темы связан с понятием «русские европейцы» (Сараева Е. И. «Русские европейцы» в контексте «западнического» учения о взаимодействии культур // Историческое знание... С. 163-166), в котором западники 1840-х гг., считая ошибочным отношение к европейцам как к «Другим», исповедующим иные ценности, выразили свою убежденность в расширении базовых основ русской культуры благодаря восприятию общезначимых ценностей европейской цивилизации.

²⁶ Тельменко Е. И. Актуализация образа Другого в культурном поле Флоренции конца XV века как один из способов формирования коллективной идентичности // Историческое знание... С. 140-143; Куприченко Л. Н. Андреа Строрци и проблема Другого во флорентийских биографиях XVI–XVII вв. // Там же. С. 143-146; Мурадов Э. А. Восьмая как «Другая» в восприятии средневекового общества // Там же. С. 149-151.

²⁷ Афанасьева А. Э. Африканцы в отчетах викторианских врачей и путешественников: «научное знание» и культурные мифы // Историческое знание... С. 172-175.

Тесное и длительное неравноправное взаимодействие изменяет характер диалога, причем ключевую роль в каждом случае играют конкретные условия – баланс между процессами адаптации к изменениям и сопротивлением, когда эти изменения несли угрозу стабильности общества. И поэтому, когда представители европейской цивилизации «попытались привить огромному массиву неевропейских народов новый образ жизни с качественно отличной от “туземных” системой норм и ценностей», результаты оказались далеко не однозначными²⁸. Ю. А. Балашова, рассматривая в контексте межкультурного диалога и трансляции культур деятельность британских миссионеров в Африке в XIX в., приходит к выводу, что в результате постоянных контактов европейцев с аборигенами «многое в культуре местных народов было сохранено, а взгляды европейцев подверглись трансформации»²⁹.

Позднее на первый план выходит проблема «соотношения элементов европейской культуры и культуры колонизируемых народов»³⁰. При этом само по себе восприятие «иногo» как непонятного и чуждого не означает установления отношений взаимной нетерпимости: достаточно вспомнить длительное функционирование мифа о «благородном дикаре»³¹. Изучая эволюцию образа аборигена в долговременной перспективе (на протяжении нескольких веков колониальной

²⁸ Никитин М. Д. Колониальные процессы в Уганде: некоторые аспекты межкультурного взаимодействия // Новая и новейшая история. Вып. 19. Саратов, 2000. С. 111-130.

²⁹ Балашова Ю. А. Британские миссионеры в Африке (XIX в.) // Новая и новейшая история. Вып. 19. Саратов, 2000. С. 96.

³⁰ Парфенов И. Д. Британская империя: взаимодействие и трансляция культур (полемика в английской историографии) // Новая и новейшая история. Вып. 18. Саратов, 1999. С. 15.

³¹ Креленко Н. С., Парфенов И. Д. Строительство Британской империи и образ представителя «чужой» культуры в английской литературе XVII – XX веков. (Источник: http://www.sgu.ru/faculties/historical/sc.publication/historynewtime/n_i_n/docs/11.pdf).

экспансии и господства), Н. С. Креленко и И. Д. Парфенов описывают ее в следующих категориях: от первоначального просветительского мифа о «добром дикаре», пребывающем в «естественном состоянии» либо на низших ступенях развития цивилизации, от «радостного узнавания себя в другом, от ликующего чувства единства, общности к трагичному осознанию непонятности и непонимания»³².

Напротив, образ кавказца в сознании россиян выглядит в интерпретации С. И. Муртузалиева внутренне противоречивым, но практически неподвижным³³. В XIX в. у россиян существовало два прямо противоположных образа кавказцев, которые во многом предопределила Кавказская война. Один образ негативный (его формированию способствовали труды целого ряда историков XIX в. и участников Кавказской войны) – «полудикие», «хищники», «воры», «разбойники», «мошенники», «варвары» и т. п. Другой, романтический образ горцев – благородные рыцари, хотя и необразованные, гостеприимны, уважают старших и т. п. Эти образы – негативные и романтические – прошли сквозь столетия и в несколько трансформированном виде дожили до наших дней³⁴.

Конечно, история любого народа – это не только история его отчуждения от других народов, но и история разнообразных контактов с ними («встречи культур»), не только застарелые предубеждения в отношении «других», но и понимание этих «других», не только столкновения, но и сотрудничество между ними. Одно из направлений современных исследований

³² О зарождении и развитии этого мифа в европейской литературе раннего Нового времени см., в частности: *Трофимова В. С.* Прозаическое наследие Афри Бен. СПб., 2006. С. 158-170.

³³ *Муртузалиев С. И.* Образ кавказца как «Другого» в историческом сознании россиян // *Историческое знание: Теоретические основания и коммуникативные практики.* С. 187-191.

³⁴ См.: *Муртузалиев С. И.* «Свой» и «Чужие» на Кавказе – история и современность // *Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории.* Вып. 6. Ставрополь, 2004. С. 278-286.

охватывает тему межкультурных контактов разной природы, уровня и интенсивности, включая проблему внешних заимствований и трансляции культурных ценностей.

Огромный, пока не раскрытый, потенциал заложен, как мне представляется, в изучении культурной истории переводов. Роль переводчиков в конструировании образов других культур не менее важна, чем роль путешественников, да и достоверность текстов тех и других равным образом требует проблематизации. Как универсалистская (т. е. нивелирующая имеющиеся культурные различия), так и партикуляристская (рассчитанная на потребителей «экзотики» и подкрепляющая давно и глубоко укорененные стереотипы инаковости) стратегии перевода проявляют свой селективно-манипулятивный характер и политико-идеологические импликации (как правило, конкурирующие) в предпочтении определенных жанров, авторов, типов текстов, отбираемых для перевода.

Оппозиция «свои – чужие» может складываться на нескольких разноплановых уровнях. В обыденной жизни она возникает на основе коммуникативных критериев, подразумевающих возможность установления общения (языка, внешности, одежды, манер поведения) и восприятия внешних форм другой культуры. Но более глубокие контакты непосредственно затрагивают присущие каждой культуре картину мира, культурные ценности, мировоззренческие установки.

Способность общества воспринимать и адаптировать к местным условиям экспортируемые нововведения, отвечающие современным потребностям, способствует его переходу к новому этапу развития. Эта проблематика (в одном из многочисленных возможных ракурсов), представлена в интересных работах А. В. Свешникова, в которых автор специально рассматривает международные научные связи как одну из форм межкультурного и даже межцивилизационного диалога³⁵.

³⁵ См., в частности: *Свешников А. В.* Европейские национальные научные традиции в восприятии русских историков-путешественников

Особое положение в конфигурации межкультурного диалога занимает иммигрант – положение, определяемое с обеих сторон в терминах негативных. Оказавшись в чужой стране и будучи вынужден существовать в пространстве двух культур одновременно, точнее – «в состоянии постоянного “пересечения границы”, непрерывно переходя из одного (своего) культурного и языкового пространства в другое (чужое) и обратно», «эмигрант существует в условиях неизбежного наложения двух бытийных и культурных пластов: объективно реального (текущего собственно эмигрантского) и субъективно-реального (прежнего, ушедшего в историческое прошлое, но сохраненного в индивидуальной памяти и в совокупной памяти сообщества)». При этом в каждом случае его собственный образ, воспринимаемый окружающими, оказывается обусловлен «традиционными представлениями наций друг о друге, идеологическими установками и политическими интересами момента, типологическими характеристиками двух взаимодействующих культур и историей культурных взаимосвязей двух стран»³⁶. Таким образом, речь идет не только о существенных характеристиках субъекта и объекта восприятия, но и об обстоятельствах взаимовосприятия и взаимодействия и об их видах и формах.

Активно разрабатывается также тема формирования конфронтационного собирательного «образа врага» и роль в этом процессе государственной политики, пропаганды, публицистики, учебной литературы³⁷. Навязывание «образа вра-

второй половины XIX века // Межкультурный диалог в историческом контексте. С. 192-196; а также в недавно вышедшей книге: *Свешников А. В.* Петербургская школа медиевистов начала XX века. Попытка антропологического анализа научного сообщества. Омск, 2010.

³⁶ *Демидова О. Р.* Эмиграция как взаимоналожение культур // Межкультурный диалог в историческом контексте. С. 136-138.

³⁷ *Еремич С. В.* Функциональные аспекты «образа врага» в работах отечественных исследователей и в курсе обществознания // Исто-

га» «сверху» (пропагандистскими структурами) облегчается наличием в глубинах обыденного сознания укорененного негативного стереотипа, возникшего на основе неадекватного восприятия внешнего мира (мисперцепции) и с готовностью всплывающего на поверхность в благоприятных для этого и намеренно усугубляемых обстоятельствах.

На разных этапах исторического развития сложившиеся в коллективном сознании того или иного народа «образы других» выполняют различные функции. Но в определенных провоцирующих условиях могут возобновляться старые антагонизмы, актуализируя полузабытые образы, извлекая из «сундуков» традиционных знаний коллективные стереотипы, уходящие корнями в далекую древность. Так, например, в исследовании И. О. Ермаченко «1904–1905 гг.: “новое нашествие монголов” (к истории русского ориентализма)» показано, как реанимации «монголов» в качестве актуального публицистического образа способствовали различные идейно-культурные факторы. С одной стороны, образы борьбы против монгольского ига были давно и прочно укоренены в арсенале топосов, пригодных для пропагандистского обеспечения любой военной кампании. С другой стороны, «монголы» потребовались для непосредственной репрезентации образа «нового, неизведанного» врага³⁸.

Е. В. Жарких рассматривает наглядный пример трансформации национального стереотипа, изучая формирование образа германского врага в глазах русских в конце XIX – начале XX вв. на фоне обострения международных отношений между Германией и Российской империей. Автор отмечает влияние стереотипа, в соответствии с которым немцы всегда ассоциировались у русских с образом рачительного хозяина,

рическое знание: Теоретические основания и коммуникативные практики. С. 198-200.

³⁸ См.: Историческое знание. Теоретические основания и коммуникативные практики. С. 178-182.

точного и расчетливого дельца, который предвидит положение дел на несколько шагов вперед. Вместе с тем старание российских промышленников и торговцев в этот период скрыть партнерские отношения само по себе свидетельствует о том, что в общественном мнении росла неприязнь к немцам, особенно к официальным лицам, как представителям конкурирующей или даже враждебной нации. Посещавшие Россию в начале XX в. немецкие промышленники также не спешили вводить в детали своих переговоров с российскими партнерами официальных представителей Германии. Под воздействием массивной пропаганды в прессе позитивный образ Германии постепенно отходит в тень. Из порядочных, предприимчивых, культурных иностранцев немцы превращаются во вражескую нацию. Однако сам факт долговременности формирования образа врага был обусловлен прочно укоренившимся стереотипом, что Германия – это дружественная страна, связанная с Россией династическими узами³⁹.

Н. И. Николаева демонстрирует, напротив, почти мгновенную смену «образа союзника» на «образ врага» и раскрывает ведущую роль стереотипа «поджигателей новой мировой войны» в манипулировании массовым сознанием и формировании фантастического имиджа Америки в первые годы «холодной войны», поскольку этот образ был наиболее понятен людям, только что пережившим тяжелую войну⁴⁰.

Сложную структуру, многослойность образов Другого, устойчивое бытование этноцентристских стереотипов, их подспудную сохранность, несмотря на изменения во взаимоотношениях стран и народов, их постоянную «мобилизаци-

³⁹ Жарких Е. В. Восприятие Германии в русском обществе на рубеже XIX – XX вв. // Межкультурный диалог в историческом контексте. С. 66-69.

⁴⁰ Николаева Н. И. Антиамериканизм в советском обществе в первые годы «холодной войны»: мифы и реальность // Межкультурный диалог в историческом контексте. С. 76-80.

онную готовность» отмечают многие исследователи. Справедливо подчеркивается, что часто даже в условиях массовой пропаганды и трансляции искусственно сконструированного ею образа врага (важно и указание на динамичность этого образа⁴¹) существуют разные каналы восприятия (личный опыт непосредственных контактов, опосредованная информация, носители исторической памяти и т.д.).

Понимание механизма превращения «образа чужого» в «образ врага» только через изучение инструментов целенаправленного воздействия на массовое сознание чревато серьезным упрощением. Этот сложный процесс должен быть рассмотрен одновременно в широком историческом контексте взаимовосприятия стран и народов и в контексте конкретной исторической ситуации.

Итак, проблема межкультурных взаимодействий как одна из актуальнейших для современного гуманитарного знания рассматривается в отечественной исторической науке в самых разных аспектах. Диалог культур имеет множество граней, и соответственно – ракурсов изучения. Это, прежде всего, диалог действующих в едином пространстве разных поколений, субкультур, социальных организмов и индивидов, и в его пространстве постоянно осуществляются «столкновения» разных традиций, мнений, ценностей⁴².

На сегодняшний день представляется особенно интересной и перспективной проблематика истории межкультурных контактов в обществах, переживающих ломку устоявшихся общественных отношений, находящихся на переходном этапе развития.

⁴¹ *Сенявский А. С., Сенявская Е. С.* Историческая имагология и проблема формирования «образа врага» (на материалах российской истории XX в.) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2006. № 2 (6). С. 62-64, 67.

⁴² Подробно об этом см.: Социокультурное пространство диалога / Отв. ред. Э. В. Сайко. М., 1999.

В лоне культурно-интеллектуальной истории зародилась и уже приобрела особый статус история межкультурных контактов и «культурных трансферов» (*histoire des transferts*)⁴³, которая, преодолевая границы априорно устанавливаемых национальных, региональных и даже локальных контекстов, сосредоточивает внимание на существующих множественных взаимосвязях, взаимообменах и взаимовлияниях и выявляет их конкретные медиаторов.

Не менее значимы и другие направления, в том числе и связанное с изучением самого исторического познания: ведь понятие «диалог культур» подразумевает не только пространственную, языковую, этническую, социальную, но и темпоральную, историческую дистанцию между коммуникантами, диалог между ними в режиме Большого времени. Размышляя над получившими широкое признание диалогическими идеями М. М. Бахтина, над уникальностью и всеобщностью его «диалогизма в контексте культуры», выдающийся российский философ В. С. Библер, в частности, писал в своей статье со знаковым названием «Диалог. Сознание. Культура» о «двух полюсах диалога»: один – «микро-диалог, пронизывающий каждый атом, каждую единицу нашего сознания, мышления, речи», который «живет и тогда, когда реального собеседника не существует». «Второй полюс – диалог в Большом времени, <...> это диалог культур, монолитных культурных блоков, постоянно способных актуализировать свой смысл и формировать свои новые смысловые пласты... этот диалог осуществляется в сознании человека»⁴⁴. Речь идет о «понимании каждой культуры (античной, средневековой, нового времени, восточной) как Собеседника, как

⁴³ *Espagne M.* Les transferts culturels franco-allemands. Paris, 1999.

⁴⁴ *Библер В. С.* Диалог. Сознание. Культура. (Идея культуры в работах М. М. Бахтина) // *Одиссей. Человек в истории.* 1989. М., 1989. С. 21-59. (С. 55-56).

одного из участников диалога»⁴⁵. Здесь следует обратить особое внимание на то, что речь идет именно о *Собеседнике*, а не о простом информаторе.

Такой диалог воспроизводится и в историческом познании как подлинном диалоге культур современности и прошлого, диалоге с Другим. При этом понимание социокультурной инаковости прошлого, по сравнению с миром настоящего, отношение к прошлому как одной культуры к другой есть неперемненное условие взаимодействия историка (и, соответственно, современной ему культуры, составной частью которой является историческая наука) с доступными остатками иной культуры – памятниками-текстами изучаемой исторической эпохи, с субъективной реальностью, заключенной в источнике. Это отношение современной исторической науки к прошлому превращает познавательный процесс из авторитарного монолога исследователя в «равноправный диалог двух культур»⁴⁶.

Вспомним слова Марка Блока: «...история – это обширный и разнообразный опыт человечества, встреча людей в веках. Неоценимы выгоды для жизни и для науки, если встреча эта будет братской»⁴⁷. Этот диалог происходит в трех плоскостях: историк и источник; историк и его предшественники; историк в интердисциплинарной среде.

Взаимодействие культур во времени («по вертикали») и в пространстве («по горизонтали») выступает ныне как приоритетный предмет исторического исследования. Это, наряду с проблемой взаимодействия различных культур (или их представителей) в историческом времени, и – не в последнюю очередь – проблема понимания и восприятия чужой культуры в контексте самого процесса познания прошлого.

⁴⁵ Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура. С. 28.

⁴⁶ Могильницкий Б. Г. Методология истории в системе университетского образования // Новая и новейшая история. 2003. № 6. С. 12.

⁴⁷ Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. С. 79.

Диалог, в который вступает историк, направлен на понимание прошлого. Что он в нем ищет? Какова роль историка в его отношениях с прошлым? Широко известна аналогия Р. Дж. Коллингвуда: историк как следователь (точнее, работа историка сравнивалась с работой констебля, расследующего убийство)⁴⁸. В несколько смягченном толковании историк – это «вопрошающий собеседник, нередко умышленно провоцирующий былое на то, чтобы оно проговорилось»⁴⁹. Удивление и непонимание историка при встрече с «иным», будучи артикулировано, становится первым шагом к пониманию⁵⁰.

Как справедливо подчеркивал А. Я. Гуревич, источник не только отвечает на заданные вопросы, но и ставит свои вопросы перед историком⁵¹, вернее – побуждает его формулировать новые вопросы, а также корректировать собственные теоретические предпосылки, методы анализа, рабочие гипотезы и концептуальный аппарат.

Все это связано с проблематизацией традиционных подходов к текстам исторических источников и с необходимостью их «раскодирования» путем комплексной реконструкции социального, политического, духовного, интеллектуального и других контекстов, в которых они возникли, существовали, прочитывались и осмыслялись⁵². По сути, такая полномасштабная реконструкция выходит далеко за рамки

⁴⁸ Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории. Автобиография*. М., 1980. С. 253-260.

⁴⁹ Эхштут С. А. Битвы за храм Мнemosины // *Диалог со временем*. 2001. Вып. 7. С. 32.

⁵⁰ Подробно об этом см.: *Вунт С. Wonder* // *American Historical Review*. 1997. Vol. 102. No. 1. P. 1-26.

⁵¹ Гуревич А. Я. «Территория историка» // *Одиссей* – 1996. М., 1996. С. 103.

⁵² Ср. с противоположным по своей деконтекстуализирующей интенции подходом: *Ankersmit F. R. Sublime Historical Experience*. Stanford, 2005 (особенно – P. 121-125). См. перевод этой книги: *Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт*. М., 2007.

источниковедческого анализа и представляет собой собственно социокультурную историю.

Новый поворот в историографии поставил перед ней задачу раскрывать своеобразие изучаемых феноменов не столько в эволюционной перспективе, сколько в их неповторимом своеобразии, исходя из того, что человек прошлого не просто кое в чем отличался от нас, но мог быть и *принципиально иным* по своему внутреннему миру. При этом напряженность диалога с прошлым, разумеется, возрастает, и «конечная цель этого диалога с историческими памятниками – не столько реконструкция реальных пертурбаций прошлого (т. е. воспроизведение того, “как это было на самом деле”), сколько наше *собственное* осмысление и этих пертурбаций, и отдельных их составных элементов, т.е. наше смыслополагание»⁵³. К. Гириц, как известно, видел смысл семиотического подхода к культуре в том, чтобы получить доступ к концептуальному миру, в котором живут изучаемые нами люди, и, в первую очередь, для того, чтобы можно было (в широком смысле слова) вести с ними диалог⁵⁴.

Рассмотрим, хотя бы бегло, некоторые основные аспекты «встречи культур» в конкретно-историческом и в историко-историографическом исследовании. Ключевые моменты в обоих интересующих нас случаях – раскрытие третьего фокуса диалога (кроме исследователя и автора текста это – его адресат с соответствующей системой идей и понятий, культурных представлений, идеалов, ценностей), который позволяет прояснить смысл содержащихся в нем посланий (поскольку предполагаемый адресат знал, что стоит «за текстом»); соотнесение текста исторического памятника или произведения с другими текстами (возможность прочитать источник через те тексты,

⁵³ Бессмертный Ю. Л. Это страшное, странное прошлое... // Диалог со временем. 2000. Вып. 3. С. 38.

⁵⁴ Гириц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // *Он же*. Интерпретация культур. М., 2004. С. 21–40.

которые были известны его автору) и выявление социокультурной среды его возникновения и бытования («память контекста»); а также его переосмысление в новом культурно-интеллектуальном контексте. Так, например, известный польский ученый Войцех Вжозек пытался понять изменчивость судеб исторической науки, ее вненаучные истоки, ограниченность ее познавательных возможностей в рамках той или иной культуры через выяснение того, каким образом изменчивость или устойчивость метафор этой культуры обуславливает ее исторические образы, характер исторического мышления и, как следствие, природу историографических образов мира⁵⁵.

Методология новой культурной истории и постановка проблемы диалога культур позволяет по-новому представить весь историографический процесс и его отдельные этапы, отказаться от его однолинейной, «прогрессистской» интерпретации и репрезентации, лучше понять его природу и те кардинальные перемены – «повороты», которыми характеризуется его современное развитие, объяснить стремительное обогащение проблематики и предметного поля, методологического оснащения, повышение научного статуса историографических штудий, разнообразие исследовательских стратегий и процедур. Сквозь призму концепции «диалога сознаний» история исторического знания представляется не последовательной чередой сменяющихся типов исторического мышления, но в более сложной перспективе культурного диалога и интеллектуального взаимодействия конкурирующих традиций, а история историографии XX века – в контексте «встречных потоков смены “методов и языка” как в самой исторической науке, так и в “смежных” с нею областях гуманитарного и социального знания»⁵⁶.

⁵⁵ Вжозек В. Историография как игра метафор: судьбы «новой исторической науки» // *Одиссей* – 1991. М., 1991. С. 61.

⁵⁶ Ястребицкая А. Л. О культур-диалогической природе историографического: взгляд из 90-х // *XX век: Методологические пробле-*

На рубеже тысячелетий гораздо более масштабные, поистине глобальные процессы потребовали решительного обновления исторической компаративистики, последовательного преодоления европоцентризма и репрезентации истории человечества как подлинно всемирной на основе принципа единства в многообразии. Будучи одним из аспектов межкультурного диалога, как в исследовательской, так и в образовательной практике, компаративный подход в его историко-антропологической версии способен сыграть существенную роль в формировании нового исторического сознания и самосознания. Для этого компаративная история должна сменить свой концептуальный аппарат, преодолеть зависимость от универсальных, внеисторических категорий и в большей степени акцентировать различия, нежели общие черты.

По мнению Дональда Келли, «практика и теория того, что называется компаративной историей, должны включать в себя находки и метаисторические послышки других гуманитарных наук, включая социологию, политологию, возможно, философию, и особенно антропологию; и в поиске надёжной почвы она должна выйти за пределы "территории историка"»⁵⁷. Таким образом, решение концептуальных проблем компаративной истории переносится в интердисциплинарное пространство взаимодействия различных профессиональных культур – социальных и гуманитарных наук⁵⁸. Интегративная функция истории в этом взаимодействии становится все более очевидной, хотя препятствий для такого междисциплинарного

мы исторического познания. Ч. I / Под ред. А. Л. Ястребицкой. М., 2001. С. 47.

⁵⁷ Келли Д. Основания для сравнения // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001. С. 105.

⁵⁸ Между тем интеллектуальный контекст этого взаимодействия и сам проект интердисциплинарной истории также претерпели существенные изменения. См.: Репина Л. И. Интердисциплинарная история вчера, сегодня, завтра // Междисциплинарные подходы к изучению прошлого / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2003. С. 5-18.

диалога более чем достаточно. И одно из них – трудности, которые создает для участников такого диалога необходимость «перевода» с языка одной науки на язык другой, каждый из которых обладает множеством специфичных коннотаций. Например, перенося акцент с результата исследований на процесс методологического синтеза, можно рассмотреть и междисциплинарность как вариант культурного диалога⁵⁹.

В начале XXI в. актуализация проблематики диалога в изучении исторического сознания, историописания и исторической памяти привела к созданию новых международных научных и издательских проектов, опирающихся на интеркультурный подход к изучению способов мемориализации социально-исторического опыта. Один из самых последних – издание многоязычного (публикуются статьи на китайском, голландском, английском, французском, немецком и японском языках, с аннотациями на английском и китайском) онлайн-журнала исследований по компаративной историографии и историческому мышлению *"Historiography: East -- West"*⁶⁰, задача которого – углубить понимание репрезентаций истории путем сравнения историографических практик и традиций по всему миру во всей их сложности и исторической укорененности. В этом же направлении ориентированы научные проекты Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН⁶¹, работа над которыми потребо-

⁵⁹ См.: *Сабурова Т. А.* Междисциплинарность как интеллектуальное пограничье // *Междисциплинарные подходы к изучению прошлого: до и после «постмодерна»*. М., 2005. С. 10-12.

⁶⁰ Журнал выпускает издательство «Брилл» (Лейден). Редакция включает ученых из Европы, Азии и США, в их числе Фрэнк Анкерсмит и Йорн Рюзен.

⁶¹ Подробнее см.: *Репина Л. П.* Историческое сознание в пространстве культуры: проблемы и перспективы исследования // *Время – История – Память: Историческое сознание в пространстве культуры*. М., 2007. С. 3-13. См. также: *Исторические мифы и этнонациональная идентичность / Диалог со временем*. Вып. 21. М., 2007; *Диалоги со*

вала решения целого ряда методологических проблем, связанных с уточнением субъекта восприятия, отбором источников, разработки критериев сравнительного анализа структуры исторических мифов, способов трансляции готовых образов и механизмов трансформации коллективных представлений.

Весьма перспективным является сравнительный анализ ряда образов других народов в одной культуре и образов одного и того же народа в разных культурах, как, например, в работе О. Ю. Казаковой о восприятиях США русскими и французами в середине XIX в., в условиях Гражданской войны 1861–1865 гг. и существенных колебаний в одном направлении общественного мнения двух стран в отношении США, что и дает основания для такого сопоставления. Нельзя не согласиться с тем, что, несмотря на трудности технического и методологического характера, сравнительный анализ национальных образов – это перспективное и плодотворное направление современной имагологии.

С другой стороны подходит к проблеме Ю. Л. Троицкий⁶², изучая исторические записки иностранцев о другой стране, письма и дневники путешественников, паломников, дипломатов. Основной единицей сравнительно-исторического описания в них является историческая параллель (сравнение событий, биографий, исторических процессов). Автор справедливо подчеркивает эвристический потенциал исторических параллелей, а также роль метафор как эффективного способа «схватывания общего и похожего при явном различии сравниваемых явлений». Текст иностранца о другой стране выступает

временем: память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008; Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2010.

⁶² Троицкий Ю. Л. Компаративная оптика иностранца: нарратив пересекающей границу // Межкультурный диалог в историческом контексте. С. 84–86.

в качестве развернутой метафоры, ибо это перевод одной культуры на язык другой при отсутствии общепринятого мета-языка. Здесь соединяются два направления исследований диалога культур, о которых говорилось выше: межкультурной коммуникации и исторического познания, и открывается возможность полной реализации их эвристического потенциала.

История «представляет прошлое как зеркало, в котором мы можем видеть характерные черты нашего мира и нас самих в их темпоральном измерении». История, действительно, самая важная стратегия утверждения идентичности, «средство самоосознания, выражения, артикуляции и даже формирования» групповой идентичности в противопоставлении Другим, за пределами данной группы⁶³. И здесь неизбежно выходит на первый план этноцентризм как широко распространенная культурная стратегия коллективной идентичности.

В связи с этим представляется чрезвычайно актуальным направление, разрабатываемое в рамках Регионального научно-образовательного центра «Новая локальная история» Ставропольского госуниверситета. Речь идет о проекте «История пограничных областей Северного Кавказа»⁶⁴. В одной из программных статей С. И. Маловичко обозначил в качестве весьма значимого предмета исследования – «поле взаимоотношений “Своего” с “Чужим” – их прошлое, репрезентируемое в историческом знании. <...> Историческое знание любой на-

⁶³ *Rüsen J. Comparing Cultures in Intercultural Communication // Across Cultural Borders: Historiography in Global Perspective / Ed. by E. Fuchs and B. Stuchtey. Lanham; Oxford, 2002. P. 339.*

⁶⁴ Среди проблем, обсуждавшихся на Международном научном семинаре Ставропольского отделения РОИИ «“Свое” и “чужое” в исследовательском поле “истории пограничных областей”» (2004 г.): «“Свое” и “Чужое” в различных видах дискурса», «“Свое” и “Чужое” в диалоге отдельных цивилизаций, культур, государств», «“Свое” и “Чужое” в истории пограничных областей». Ср.: *Пограничные культуры между Востоком и Западом. Россия и Испания. СПб., 2001.*

циональной и/или локальной культуры изначально в той или иной степени *конфликтно* по отношению к “Чужим” и/или к соседним культурам; содержит многочисленные следы противостояний с “Чужими” историями <...> Многие части исторического знания, признанные “Своей” культурой, не могут не противоречить историям “Чужих” культур, равно как и собственной истории, но созданной “Чужой” культурой. Только в рамках представления о *коллективной*, общечеловеческой истории, где “Чужой” будет переведен в образ “Другого” в синхронии, и напротив “Свой” показан как “Другой” в диахронии, возможно превращение конфликта в *диалог*⁶⁵. В данном контексте особо показателен подход к «чужому» прошлому, когда «историческое мышление, усвоившее европейскую модернистскую модель истории, заставляло представителей Империи концентрироваться на иных метафорах – *развития и прогресса*, отрицавших *инаковость* исторического пути “Чужого”», представлявших «Чужого» как пришельца из прошлого, которое для «Своих» уже давно миновало⁶⁶. В модернистском историческом дискурсе метафоры *развития, прогресса, просвещения, цивилизованности*, с одной стороны, и метафоры *примитивности, отсталости, дикости, варварства*, с другой, легко складываются в парные оппозиции, утверждая превосходство «своих» и неизменную ущербность «других».

⁶⁵ Маловичко С. И. Современная историография на «переходе» от европейских универсалий модерна к культурному разнообразию эпохи пост-постмодерна // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 6. Ставрополь, 2004. С. 15.

⁶⁶ Маловичко С. И. Общественное историческое мышление и репрезентации прошлого/настоящего в периодике // Периодическая печать как источник интеллектуальной истории. Пятигорск – Ставрополь – Москва, 2006; Маловичко С. И., Шумакова Е. В. Евроцентристское историческое время для «Другого»: Психологический дефицит отечественной универсальной и провинциальной историографии // Пространство и время в восприятии человека: историко-психологический аспект. Ч. 2. СПб., 2003. С. 27.

В ракурсе изучения проблем межкультурного диалога особое место занимает история знаковых для этой темы концептов, а также их современная интерпретация и деконструкция. Сегодня в междисциплинарном пространстве гуманитарного знания концепты «национальный характер», «национальный дух» или «национальное чувство», рассматриваются как социокультурные конструкты, имеющие вполне определенные пространственно-временные координаты и политико-идеологические импликации (включая актуальный в современном мире этнонационализм). Эти конструкты и их содержательно-функциональная историческая динамика располагают значительным когнитивным потенциалом не только для анализа особенностей дискурса «стихийного» этноцентризма и «наивной» компаративистики в имагологических исследованиях, но и в наиболее актуальных на сегодняшний день перспективах исторического изучения проблематики национализма и нацистроительства, а также исторической памяти и коллективных (в том числе этнической и национальной) идентичностей. Не случайно понятие «национальный характер», фиксирующее эмпирически наблюдаемые различия, оценивается как более поддающийся операциональному определению синоним научного термина «психический облик» или «психический склад» нации⁶⁷.

В большинстве определений понятия «национальный характер» в отечественной науке обычно акцентируется его позитивно-содержательная основа: говорится о «совокупности определенных психологических черт, характерных для всех или большинства людей данной нации»; о «совокупности наиболее устойчивых, характерных для данной национальной общности особенностей восприятия окружающего мира и форм реакции на него»; о «совокупности наиболее устойчивых психологических качеств, сформированных у представителей нации в определенных природных, исторических, экономиче-

⁶⁷ Андреева Г. М. Социальная психология. М., 1997. С. 165.

ских и социально-культурных условиях ее развития»; о «совокупности внешних проявлений национального менталитета, наблюдаемых свойств представителей соответствующей общности, как правило, в сравнении и по контрасту с другими национальными общностями»; о «совокупности устойчивых психических особенностей и культурных атрибутов нации, которые зависят от всеобщей жизнедеятельности и условий жизни и проявляются в поступках», о совокупности «однотипных для людей одной и той же культуры реакций на привычные ситуации в форме чувств и состояний» и т.п. Все эти не отличающиеся точностью, новизной и разнообразием этнопсихологические дефиниции восходят к фроммовскому определению термина «социальный характер» как «совокупности черт характера, которая присутствует у большинства членов данной социальной группы и возникла в результате общих для них переживаний и общего образа жизни»⁶⁸.

Не затрагивая здесь вопроса о возможности монополии какой-либо нации на ту или иную качественную характеристику (или даже на некоторую их констелляцию), а также о соотношении национального характера и характера отдельных индивидов, принадлежащих к данной группе, можно констатировать, что в научной литературе, как и в обыденном сознании, нации (как коллективной личности) приписывается набор устойчивых качеств-атрибутов. При этом эмоциональный, поведенческий, ценностный и когнитивный уровни национальных характерологий, как правило, «микшируются»⁶⁹. Блестящие образцы «донаучных» национальных характерологий созданы в классической художественной и историче-

⁶⁸ Фромм Э. Бегство от свободы М., 1987. С. 230.

⁶⁹ Еще в конце 1960-х И. С. Кон подчеркивал, что термин «национальный характер», впервые появившийся на уровне обыденного сознания в литературе о путешествиях, «не аналитический, а описательный», призванный «выразить специфику образа жизни того или иного народа» (т.е. предполагающий *сравнение* и фиксацию *различий*).

ской литературе. Безусловно, эссенциалистские представления о «постоянном» и «вечном» характере социальных идентичностей, в том числе о неизменном «национальном характере», несостоятельны. Введение этого понятия в концептуальный аппарат науки подразумевает критический анализ представлений обыденного («вненаучного») сознания в их общекультурном и социально-историческом контекстах. И в этом интеллектуальном контексте речь следует вести об *историчности* как национальных (этнопсихологических) стереотипов (т.е. об *исторической* имагологии), так и об исторической динамике самого концепта «национальный характер».

В мировой историографии репрезентации того или иного национального характера (как с позиций «Другого» в записках дипломатов, путешественников, туристов, журналистов, «гастарбайтеров» разных эпох и др. иностранцев, так и в моделях «самоописания») рассматриваются как неотъемлемая составляющая проблематики национальной идентичности⁷⁰. Так, например, когда в этом плане были подвергнуты детальному анализу идеи убежденных сторонников и радикальных критиков Британской империи в период ее наивысшей экспансии, то было установлено, что и те, и другие использовали язык «национального характера» для оправдания имперских устремлений. Одни утверждали, что национальный характер является решающим фактором превращения Британии в имперскую державу, и что ответственность за управление империей укрепляет нацию, другие считали имперское господство деструктивным для национального характера⁷¹.

⁷⁰ См., например: *Delanty G. Inventing Europe: Idea, Identity, Reality. N.Y., 1995; Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004; и мн. др.*

⁷¹ *Langford, Paul. Englishness Identified: Manners and Character, 1650–1850. Oxford, 2000; Mandler, Peter. The English National Character: the History of an Idea from Edmund Burke to Tony Blair. New Haven, 2006.*

В эпоху нарастающей глобализации, кардинально изменившей условия межкультурного взаимодействия, проблема понимания и восприятия – диалога культур приобретает особую актуальность: сама историческая действительность требует преодоления европоцентризма, понимания и освещения истории как истории всемирной, а не преимущественно европоцентристской. Нельзя не согласиться с А. П. Горбуновым в том, что «действительно конструктивное преодоление противостояния, противоборства “Своего” и “Чужого” невозможно как отрицание одной из позиций, как ее отбрасывание»⁷². Оно осуществимо только как *возвышение над двумя позициями и их интеграция с позиции общего третьего*. В этом случае первоначальные “Свое” и “Чужое” охватываются более общей позицией, объединяющей, соединяющей их и становящейся новым, более объемным “Своим”: «каждая из противоборствующих сторон, получающих описание в исторических текстах, должна стать для исследователя “своей”. Для историка-профессионала не должно быть “чужих”»⁷³. Автор считает, что такой прорыв к интегративной позиции на уровне научного сознания возможен, а результаты его окажут решающее влияние на общественное сознание в целом.

Аналогичная проблематика имеет в истории исторической мысли давние традиции. Как известно, в западноевропейской историографии второй половины XVIII – начала XIX века слово «цивилизация», по преимуществу, очерчивало границу между «своим» и «чужим», противопоставляя цивилизованных европейцев «отсталым дикарям». Напротив, в российской историографии всеобщей истории, рождавшейся в атмосфере жарких общественных дискуссий 1830-х годов

⁷² Горбунов А. П. Противостояние «своего» и «чужого» в историческом дискурсе и условия его конструктивного преодоления // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 6. С. 46.

⁷³ Там же. С. 48.

доминировала качественно иная, по своему гуманистическому заряду, концепция⁷⁴. Напомним, что основатель данной традиции Т. Н. Грановский, в частности, утверждал: «Содержание Всеобщей истории составляет земная жизнь человечества...»⁷⁵. Его понимание истории было абсолютно лишено националистических и расистских предрассудков. В противовес гегелевскому противопоставлению «исторических» и «неисторических» народов, Т. Н. Грановский подчеркивал, что история любого народа (включая не-европейские народы) заслуживает изучения. Каждый народ «самобытен и входит в историю как новое творение»⁷⁶. Развивая эту идею, он писал: «Тот не историк, кто неспособен перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему и узнать брата в отдаленном от нас веками иноплеменнике»⁷⁷.

В сегодняшней ситуации, одновременно с заметным снижением общественного статуса исторической науки, ответственность современного профессионального сообщества историков чрезвычайно возрастает и все глубже осознается⁷⁸. Впрочем, параллельность этих процессов, возможно, связана как раз с серьезным отставанием в решении важнейших этических проблем и одной из центральных задач современной исторической науки – раскрыть поистине глобальный характер всемирной истории как всеобщей истории человечества. Эта задача невероятно трудна. Размышляя о ней в середине 1990-х

⁷⁴ Подробно об этом см. выше, гл. 5.

⁷⁵ Грановский Т. Н. Учебник всеобщей истории. Введение // Грановский Т. Н. Сочинения. Изд. 3-е. Т. 2. М., 1892. С. 452.

⁷⁶ Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1961. С. 47.

⁷⁷ Грановский Т. Н. Сочинения. 4-е изд. М., 1900. С. 29. Иную трактовку всечеловеческого единства см.: Розенток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека. М., 2002.

⁷⁸ Показательно, что тема моральной ответственности историка стояла в центре обсуждения на всех форумах Международного Конгресса исторических наук конца XX – начала XXI века.

годов и предупреждая о том, что «подлинные трудности» состоят не в постмодернистском вызове как таковом, а «скрываются в необходимости преодолеть изначальный заряд европоцентризма в истории», Морис Эмар не испытывал большого оптимизма: «Сможем ли мы выйти за рамки нашей культуры, чтобы воспринять, понять и, насколько это возможно, освоить мировоззрения других народов, которые вовлечены в колоссальную работу по написанию своей собственной истории, будучи не в состоянии довольствоваться тем местом, которое было им уготовано в нашей истории? Мало кто из нас готов сделать усилие и приобрести необходимые знания, чтобы встретиться лицом к лицу этот вызов. Ведь речь идет не о воссоздании некоего “всемирного исторического порядка”, который обеспечил бы сохранение системы былого превосходства. Вопрос стоит о создании совершенно нового мира во множественном числе, мира, в котором историк, используя отпущенные ему средства, сделает возможным диалог людей с разнообразными культурами – как в прошлом, так и в настоящем»⁷⁹.

Но с другой стороны, на пути межкультурного диалога все более явственными становятся новые препятствия – этноцентристские версии интерпретации прошлого противоположной направленности, которые первоначально выступали как необходимые коррективы европоцентристскому нарративу. К сожалению, готовых рецептов конструирования «сбалансированного нарратива» пока не существует, и даже успешные попытки добавить «взгляд с другой стороны», услышать *другие* «исторические голоса»⁸⁰ не решают эту сложную методологическую проблему. Реляционный и контекстуальный подходы к изучению процессов межкультурной коммуникации оказываются эффективными только при соблюдении

⁷⁹ Эмар М. Образование и научная работа в профессии историка: современные подходы // *Исторические записки*. 1 (119). М., 1995. С. 22.

⁸⁰ См.: Northrup D. African Encounters // *Historically Speaking*. 2002. Vol. IV. No. 1.

принципа взаимной дополнителности в рамках общей интегративной теоретической модели.

Подводя итоги, представляется целесообразным напомнить, что историческое содержание бинарных оппозиций «я – другой», «мы – они», «свой – чужой», связанных с процессами конструирования индивидуальной и коллективной идентичности, имеет фундаментальное значение для раскрытия специфики формирующей их культуры и ее самосознания. Однако, формирование данных понятий – это динамичный социальный процесс, обусловленный не только их взаимным соотношением, но характером самой эпохи, а точнее – конкретной исторической ситуацией и вектором ее развития. Есть время складывания стереотипов, их укоренения в культуре, и время их разрушения и формирования новых стереотипов взаимного восприятия.

И второе – то, что, наверное, больше относится к области профессиональной этики. Позволю себе напомнить мудрое предостережение и своего рода наказ Л. З. Копелева: «Образы чужого как представления о другом народе, укоренившиеся в сознании, подсознании и ставшие предубеждением, последовательно трансформируются и перерастают в образы врага, в предрассудки, от которых человечество страдает с самого начала своего существования. И все еще не может исцелиться. Но не должны приходить в уныние те, кто борется против этого наследственного недуга, вооружаясь историческими знаниями, руководствуясь совестью и опытом»⁸¹.

⁸¹ Копелев Л. З. Чужие. С. 12.

ГЛАВА 7

«ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»: БИОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Историческая биография, подразумевающая описание жизни выдающейся исторической личности, является неотъемлемой составляющей европейской историографии со времен Плутарха. Ей по праву принадлежит статус самого популярного жанра исторических сочинений, хотя на протяжении многих веков положение исторической биографии в семье «старших» и «младших» историографических жанров менялось.

Несмотря на суровую критику, которая нередко звучала в адрес историко-биографического жанра с разных сторон (особенно в XX столетии), он неизменно пользовался успехом как среди историков-профессионалов, которым предоставлял максимальную возможность для самовыражения (хотя бы в выборе героя), так и у широкой читающей публики, движимой не только обывательским любопытством, но и неистребимым стремлением к самопознанию. Привлекательность этого жанра, как подчеркивают психологи, опирается «на наш устойчивый интерес к жизни других людей, в которых мы можем найти отражения нас самих, предостережения об опасностях и просто удовлетворение нашего любопытства относительно опыта других людей...»¹. Историческая биография, несомненно, во все времена была важным средством для понимания тех сил, которые движут действиями людей.

¹ *Shore M.F.* Biography in the 1980s. A Psychoanalytic Perspective // *Journal of Interdisciplinary History*. 1981. V. XII. № 1. P. 113.

Биографии известных людей прошлых эпох – идеализирующие или «раздевающие», в форме морального наставления или каталога подвигов, адвокатской речи или обвинительного приговора, наградного листа или заключения психиатра, – всегда служат своеобразным зеркалом (вопрос о степени его «кривизны» без устали дебатруется), глядя в которое, читатель может многое узнать и о себе. Эмоционально-психологический аспект в изучении исторической биографии, безусловно, заслуживает первоочередного внимания. Здесь же мы сосредоточимся в основном на ее когнитивном аспекте.

Профессиональный историк, следуя научным стандартам, рассматривает и пытается понять своего героя (или, допустим, антигероя) в контексте той эпохи, в которой данный исторический персонаж жил, но недаром главной среди обсуждаемых методологических проблем биографии как жанра исторического исследования была и остается проблема взаимодействия этих двух субъектов: с одной стороны, «герой биографии, вписанный в свое время и неразрывно связанный с ним, с другой – автор, биограф, испытывающий столь же глубокую и разностороннюю зависимость от своей эпохи, своего времени. Это диалектическое противоречие и определяет особенности жанра биографии. В биографии, как ни в каком ином жанре, автор выражает самого себя через того героя, которому посвящено его исследование, а через себя — и особенности, и требования, и сущность своего времени»².

Историческая биография не ограничивается повествованием о жизненном пути исторического персонажа, а представляет собой историческое исследование: «это сама история, показанная через историческую личность». Но исторической биографией в полном смысле слова принято считать лишь «такое жизнеописание, где в центре внимания находится развитие

² Павлова Т. А. Психологическое и социальное в исторической биографии // Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации. М., 1995. С. 86.

неповторимой человеческой личности, раскрытие ее внутреннего мира, — разумеется, в тесной связи с эпохой и делом, которому эта личность себя посвятила»³. В связи с этим нередко ставится под вопрос жанровая определенность «социально-исторических биографий», авторов которых историческая личность интересует не сама по себе, а в зависимости от ее общественного положения и роли в исторических событиях.

Историческая биография получила широкое распространение в традиционной политической истории, значительная часть которой состояла из жизнеописаний государственных деятелей, хотя со временем в них все больше внимания стало уделяться частной и внутренней жизни героев, а не только их карьере. И все же, в прошлом столетии под «биографией в полном смысле слова», в соответствии с исторически сложившимся канонem, понималось исследование и описание жизни выдающейся личности, политических и государственных деятелей, представителей науки, культуры, искусства, но не просто действующих лиц истории, а ее героев, «вечных спутников человечества», которые, «...некогда появившись, проходят затем через века, через тысячелетия, через всю доступную нашему умственному взору смену эпох и поколений...»⁴.

Однако в последней четверти XX в. пространство применения биографического метода существенно расширилось и изменило свою конфигурацию: наряду с размахом коллективных биографий возросло число индивидуальных жизнеописаний людей, которых никак не назовешь выдающимися историческими деятелями. В большой мере это объясняется общим изменением отношения к человеческой индивидуальности и тенденцией к персонализации предмета истории. Биографический элемент в истории обрел новое качество: не забывая о «внешней», «публичной», «профессиональной», или «карьерной», биографии, историки стали все больше внимания уде-

³ Там же. С. 87.

⁴ Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1973. С. 3.

лять изучению частной, приватной, интимной, эмоционально-чувственной, внутренней жизни – «истории души» своего героя. При этом также обнаружилось, что биографии, казалось бы, ничем не примечательных «простых», «рядовых» людей могут пролить свет на многие неизученные аспекты прошлого.

Современная историческая биография не ограничивается повествованием о жизненном пути исторического персонажа, а представляет собой историческое *исследование*: это история, показанная через личность. Новая биографическая история, поставив во главу угла анализ деятельности индивида, индивидуального сознания и самосознания, личного интереса и целеполагания, помогает, в конечном счете, ответить на вопрос, каким образом и в какой степени унаследованные культурные традиции, обычаи, представления определяли поведение людей в специфических исторических обстоятельствах (а тем самым ход событий и их последствия), и какую роль играли в этих границах индивидуальный выбор и инициатива⁵.

В результате закономерного поворота интереса историков от «человека типичного» к конкретному индивиду историческая биография вернула себе авторитет и в среде тех профессиональных историков, которые прежде отводили ей лишь маргинальную роль (как в так называемой социально-научной историографии, так и в историко-антропологических

⁵ Формулируя главные задачи и принципы такого рода исследований, Ю. Л. Бессмертный писал: «...на первом плане нашего поиска — конкретный человек, его индивидуальное поведение, его собственный *выбор*. Мы исследуем эти сюжеты отнюдь не только потому, что хотим знать, насколько *типичны* (или *нетипичны*) поступки этого человека, но ради понимания его как такового, ибо он интересует нас сам по себе. Пусть этот человек окажется из ряда вон выходящим. И в этом случае мы признаем его заслуживающим внимания. Ведь самая уникальность раскроет нечто от уникальности его времени». См.: *Бессмертный Ю. Л. Метод // Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени //* Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 2000. С. 23.

исследованиях, ориентированных на изучение «простого», «рядового», «среднего человека»). Этот познавательный поворот повлек за собой серьезные последствия теоретико-методологического плана: в контексте современных микро-исторических подходов веками устоявшаяся форма историко-биографических исследований наполнилась новым содержанием, предметное поле этих исследований существенно расширилось, а «номенклатура» неизмеримо выросла за счет жизнеописаний людей, которые выступали как «реальные агенты», «акторы» (т. е. *действующие лица* истории) отнюдь не на главных ролях, и, таким образом, не могут быть формально причислены к выдающимся историческим деятелям.

В начале третьего тысячелетия, когда проблемы самосознания личности и индивидуального выбора вновь прочно заняли место в фокусе социально-гуманитарного знания, вопрос о том, зачем нужна так называемая биографическая или персональная история и в чем состоит ее эвристическая ценность, похоже, уже не ставится. Анализ индивидуального сознания и индивидуальной деятельности стал важнейшей составляющей многочисленных микроисторических исследований, максимально приближенных и непосредственно обращенных к человеку, к его *персональной истории*.

Биографический элемент в истории не только повысил свой статус, но и обрел новое качество: не забывая о «внешней», «публичной», «профессиональной», или «карьерной», биографии, историки стали все больше внимания уделять изучению частной, приватной, интимной, эмоционально-чувственной, внутренней жизни — «истории души» своего героя. С этим связан и возросший интерес к жанру собственно духовной биографии, в фокусе которой — духовное развитие личности, религиозные искания героя⁶.

⁶ В современной отечественной исторической науке см., в частности, такие интересные образцы духовной биографии как: Павлова Т. А. Опыт духовной биографии: Джон Вулман // Диалог со временем:

Речь идет о концентрации внимания на частном, индивидуальном, уникальном в конкретных человеческих судьбах и, одновременно, — об изначально заданной принципиальной установке на выявление специфики и вариативности разнородного социального пространства, полного спектра и пределов тех возможностей, которыми располагает индивид в рамках данного культурно-исторического контекста.

В исследованиях подобного рода привлекает исключительно взвешенное сочетание двух познавательных стратегий. С одной стороны, они сосредоточивают внимание на так называемом культурном принуждении, а также на тех понятиях, с помощью которых люди постигают окружающий мир. С другой стороны, в них достаточно последовательно выявляется активная роль действующих лиц истории и тот — специфичный для каждого социума — способ, которым исторический индивид, в заданных и не полностью контролируемых им обстоятельствах, «творит историю», даже если результаты этой деятельности не всегда и не во всем соответствуют его намерениям. В формулировке социального теоретика Энтони Гидденса, действия индивида, «локализованные в одном пространственно-временном контексте, способствуют тому, что постепенно (в ситуациях, удаленных в пространстве и времени) непредвиденные (с точки зрения включенных в изначальную деятельность акторов) последствия становятся упорядоченными и стандартными... Непреднамеренные последствия возникают постоянно, являясь своеобразным “побочным продуктом” традиционного поведения, рефлексивно поддерживаемого субъектами деятельности»⁷.

альманах интеллектуальной истории. Вып. 5. М., 2001. С. 279-296; Парсамов В. С. Декабрист М. С. Лунин и католицизм // Там же. С. 297-316; Грушко К. П. Ното Quakerus: мировоззрение Стивена Греллета // Там же. С. 317-339.

⁷ Гидденс, Энтони. Устроение общества: очерк теории структуры. 2 изд. М., 2005. Р. 55.

В наиболее интересных работах, выполненных в русле персональной или «новой биографической» истории, яркие достоинства исторической биографии, позволившие ей в течение многих столетий оставаться популярнейшим жанром историописания, оказываются вполне релевантными задачам современной историографии, которая, с учетом уроков «лингвистического поворота» и его критического осмысления, стремится отойти от крайностей сциентизма и добиться воссоединения истории и литературы на новом уровне понимания специфики исторического знания.

Разумеется, основное внимание уделяется анализу персональных текстов или источников личного происхождения, в которых оказывается запечатленным индивидуальный опыт, его эмоциональное переживание и тот или иной уровень осмысления. Но «новая биографическая история», или «персональная история в широком смысле слова», использует в качестве источников самые разные материалы, содержащие как прямые высказывания личного характера (письма, дневники, мемуары, автобиографии), так и косвенные свидетельства, фиксирующие взгляд со стороны, или так называемую объективную информацию.

Конечно, на биографические работы, посвященные древности и средневековью, за исключением тех, которые касаются немногих представителей элиты, отсутствие документов личного характера накладывает существенные ограничения. Физическая нехватка подобных текстов создает для исследователей не менее солидные препятствия, чем те, которые связаны с трудностями герменевтического понимания. Часто такой исторический персонаж, лишенный своего голоса (и визуального образа) выступает как силуэт на фоне эпохи, больше проявляя ее характер, чем свой собственный.

Поэтому столь понятен и правомерен особый интерес историков к более разнообразным материалам личных архивов и многочисленным литературным памятникам Возрождения и Просвещения, хотя и тут ученые вынуждены главным образом

обращаться к немногочисленным представителям культурной элиты. Тем не менее, и при реконструкции биографий такого рода многое неизбежно ускользает от исследователя: ведь личная жизнь и внутренний мир человека прошлого, тем более отдаленного — не открытая книга, и здесь многое ускользает от исследователя: «Жизнь каждой личности состоит из бесконечного множества моментов, состояний ума, мыслей и фантазий, исчезающих в беспросветном и бездонном колодеце времени. Мы можем лишь попытаться раскрыть — через сохранившиеся письма, сочинения, документы и воспоминания — некоторые фрагменты жизни той личности, которую мы хотим спасти от забвения. К несчастью, неизбежно, то, что получается в результате, имеет несовершенный сюжет с неустановленным ритмом развития. Но даже короткое мгновение жизни, вырванное из пасти времени, бесценно»⁸.

Однако самоценность такого «вырванного» свидетельства не отменяет его «сюжетной» ограниченности, вытекающей из невозможности включить фрагмент в последовательную темпоральную траекторию развития личности и, таким образом, задействовать категорию «индивидуального прошлого», которая играет интегрирующую роль, фиксируя все непосредственно пережитое индивидом и так или иначе отложившееся в его сознании к данному моменту, а значит его собственное «Я». Ведь каждый человек отличается не только от другого — он меняется и с каждым новым днем своей жизни отличается от прежнего себя.

Такие «ненадежные», «субъективные» источники, как дневники, письма, мемуары, автобиографические материалы, продукты творческой деятельности индивида, в которых запечатлен его эмоционально-психический и интеллектуальный мир, его самосознание и индивидуальный жизненный опыт, вышли на первый план не вопреки, а именно благодаря своей

⁸ *Viroli, Maurizio. Niccolo's Smile: A Biography of Machiavelli. N. Y., 2000. P. 87.*

субъективности. Как тут не вспомнить слова Н. Я. Грота: «...относительно многих исторических личностей можно сказать, что живым памятником их психической жизни являются произведения их мысли и слова, особенно художественные и философские»⁹. Собственно, понимание неразрывности связи между жизнью и творчеством личности, между фактами психологической и интеллектуальной биографии является краеугольным камнем биографического подхода в современной интеллектуальной истории.

Вместе с тем, — и это не менее важно — в так называемых эго-документах (источниках личного происхождения) личность предстает перед нами не изолированной, а взаимодействующей с другими личностями, со своей социальной средой, с окружающим миром в самых разных его проявлениях, с культурными и интеллектуальными традициями. И без анализа этого взаимодействия невозможна никакая «персональная история», главным предметом исследования которой является «история одной жизни» не только во всей ее уникальности, но и в достижимой полноте. Изъятие неотъемлемой социокультурной составляющей из истории индивида неизбежно нанесло бы непоправимый ущерб пониманию последнего. Впрочем, эта методологическая проблема относится в историографии к числу вечных. О ней размышляли, хотя и по-разному, практически все теоретически мыслящие историки.

Указывая на неискоренимое противоречие между «индивидуалистической» и «коллективистской» историографией, Бенедетто Кроче подчеркивал, что «индивид и идея, взятые в отдельности, есть две разнозначные абстракции и как таковые не пригодны для того, чтобы составить предмет истории, а подлинная история — это история индивидуального в его всеобщности и всеобщего в его индивидуальности. Вопрос не в том, чтобы забыть о Перикле ради политики, о Платоне —

⁹ Грот Н. Я. *Жизненные задачи психологии* // Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. 4. С. 184.

ради философии или о Софокле – ради трагедии, а в том, чтобы осмыслить и представить политику, философию и трагедию через Перикла, Платона и Софокла, а последних, напротив, как воплощение политики, философии и трагедии в определенный исторический момент <...> Если существование Перикла, Софокла и Платона нам безразлично, разве не станет нам от этого безразличным и существование Идеи? А кто выбрасывает из истории индивида, пусть хорошенько приглядится – он непременно заметит, что либо, вопреки своим намерениям, никого не выбросил, либо вместе с индивидом выбросил и саму историю»¹⁰.

Выдающийся русский историк Л. П. Карсавин, рассуждая о типах исторического исследования, писал в своей «Философии истории»: «Есть две “преимущественно” или “собственно” исторических области: область развития отдельной личности и область развития человечества... Автобиография является одним из наиболее ярких примеров и наиболее удачных применений исторического метода... Равным образом, к историческим исследованиям надо отнести и биографию, как историю индивидуальной души. Третий вид истории души дается нам художественной литературой... Историческое познание своей или чужой личности в ее развитии и достоверно, и ценно, как в автобиографии и биографии, так и в художественном опознании ее через символическое построение и в обычном жизненном понимании. Однако надо считаться с тем, что нет личности, качествующей только собою, отъединенной от других таких же, как она, личностей, от высших индивидуальностей: общества, культуры, человечества... *История индивидуальности неуловимо и неизбежно переходит в историю вообще* (курсив мой. – Л. Р.)»¹¹.

Между тем, именно разногласия по вопросу об отношении персональной истории к «истории вообще» легли в осно-

¹⁰ Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998. С. 65.

¹¹ Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 82–86.

ву формирования в отечественной историографии двух версий («социальной» и «экзистенциальной»), или платформ персональной истории, ориентирующихся на принципиально различные исследовательские стратегии. В рамках первого направления реконструкция личной жизни исторических индивидов рассматривается одновременно и как главная цель исследования, и как необходимая предпосылка познания включавшего их исторического социума (т.е. не только как личностная история, а шире – как история через личность).

Нельзя не признать, что, несмотря на все свои естественные ограничения и на наличие серьезных эпистемологических трудностей, обновленный и обогащенный принципами микроистории биографический метод может быть очень продуктивным. Одно из преимуществ такого «персонального» подхода состоит именно в том, что он «работает» на экспериментальной площадке, максимально приспособленной для практического решения тех сложных теоретических проблем, которые ставит перед исследователем современная историографическая ситуация. Постоянно возникающая у исследователя необходимость ответить на ключевые вопросы: чем обуславливался, ограничивался, направлялся выбор решений, каковы были его внутренние мотивы и обоснования, как соотносились массовые стереотипы и реальные действия индивида, как воспринималось расхождение между ними, насколько сильны и устойчивы были внешние факторы и внутренние импульсы – настоятельно «выталкивает» историка из уютного гнездышка микроанализа в то исследовательское пространство, где царит макроистория.

Вторая версия персональной истории¹², подчеркивая «автономию и самооценку исторической личности», ставит

¹² Идеино-теоретические основания ее «экзистенциального» варианта изложены Д. М. Володихиным во вступительной статье к сборнику: *Персональная история* // Под ред. Д. М. Володихина. М., 1999. См. также: *Володихин Д. М.* Две версии микроисторической платфор-

в центр внимания изучение ее психологических характеристик и сознательно ограничивается «несоциальными» видами биографизма. В этой перспективе «...годится биография индивидуума любого калибра <...>, лишь бы источники давали возможность по-настоящему глубоко заглянуть в его внутренний мир <...> Но если для разработки выбрана личность масштаба Наполеона, то это, скорее всего, должен быть Наполеон без Ваграма, Аустерлица и Ватерлоо»¹³.

Между двумя платформами персональной истории, при определенном сходстве (помимо базового объекта и жанровой близости, это – отсутствие установки на исчерпывающее объяснение, признание уникальности человеческой личности и неповторимости индивидуального опыта, понимание невозможности до конца раскрыть «тайну индивида» и т.п.), существуют различия принципиального характера. Они относятся к целевым установкам исследования и предполагаемому уровню обобщения его результатов (хотя следует заметить, что и в «социальной персональной истории» речь идет не об экстраполяции выявленных биографических характеристик личности на микрогруппу или социум, а о раскрытии всего разнообразия возможностей их взаимодействия). Различие в целевых установках состоит в том, что если первый подход исходит из равной значимости и взаимосвязанности социокультурного и личностно-психологического аспектов в анализе прошлого, то второй намеренно подчеркивает автономию последнего: ментальная оснастка и социальный фон получают только незначительный статус «антуража», «поправки», а события понимаются лишь в качестве «фактологического каркаса».

Остается, однако, непонятным, как может быть «построена» история индивида без кульминационных моментов его жизни, структурирующих весь его личный опыт. В иде-

мы в отечественной историографии // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 8. М., 2002. С. 445-447.

¹³ Персональная история. М., 1999. С. 5-6.

альном варианте мысль исследователя начинает свое движение от единичного и уникального факта, от индивида. Но индивид – это не *tabula rasa*, он имеет не только настоящее и будущее, но и свое собственное прошлое. Более того, он, по существу, сформирован этим прошлым: как своим индивидуальным опытом, так и опытом коллективным, социально-исторической памятью, запечатленной в культуре. И здесь нельзя не отметить то особое значение, которое придается в «новой биографической истории» выявлению автобиографической составляющей разного рода эго-документов, анализу именно *персональной* «истории жизни» – автобиографических повествований в самом широком смысле этого слова¹⁴.

Если же взять яркий пример, неосторожно приведенный Д. М. Володихиным, то будет правоммерным поставить вопрос таким образом: как может быть понят Наполеон без его переживания, восприятия и осмысления «Ваграма, Аустерлица и Ватерлоо», без тех исторических событий, которые были также и событиями его жизненного пути, стали важными вехами в его памяти – и опыт которых пронизывал все его *межличностные* коммуникации. Разве динамика внутреннего мира индивида никак не соотносится – причем самым последовательным образом – с его жизненными обстоятельствами, с перипетиями личной судьбы, с его собственной деятельностью, наконец, с существенными изменениями во включающей его конфигурации социальных взаимосвязей? Элиминировать эти и многие другие факторы становления и развития личности – значит до предела сужать диапазон возможностей исследователя, который и так чрезвычайно ограничен теми следами прошлого, которые он пытается «расшифровать»,

¹⁴ Об этом подробно см.: Безрогов В. Г. Историческое осмысление персонального опыта в автобиографии // *Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи Возрождения (Исследования и тексты)*. Сборник научных трудов памяти К. Д. Авдеевой. Иваново, 2000. С. 130-174.

особенно в отнюдь не изобильных персональных текстах более или менее отдаленных эпох.

Впрочем, несмотря на указанное здесь противоречие, экзистенциальный подход к персональной истории заслуживает самого пристального внимания: его оценка роли воспоминаний в обретении смысла жизни, в выборе жизненной стратегии и в активизации личностного потенциала, а также решающий акцент на психологии личности способны эффективно дополнить социокультурный, в своей основе, анализ, свойственный «новой биографической истории» как одному из направлений микроисторических штудий, подразумевающих возможность комбинации различных перспектив видения прошлого.

При всех своих естественных ограничениях и, несмотря на наличие серьезных эпистемологических трудностей, обновленный и обогащенный принципами микроистории биографический метод может быть очень продуктивным. Одно из преимуществ такого «персонального» подхода состоит именно в том, что он «работает» на экспериментальной площадке, максимально приспособленной для практического решения сложных теоретических проблем, которые ставит перед исследователем современная историографическая ситуация, и ответа на ключевые вопросы: чем обуславливался, ограничивался, направлялся выбор решений, каковы были его внутренние мотивы и обоснования, как соотносились массовые стереотипы и реальные действия индивида, как воспринималось расхождение между ними, насколько сильны и устойчивы были внешние факторы и внутренние импульсы.

В связи со сказанным уместно вспомнить исключительно точное определение объекта и предмета биографии, данное в свое время Э. Ю. Соловьевым: «Непосредственным объектом биографии является жизнь отдельного человека от момента рождения до момента смерти. Однако предметом, на который направлено основное исследовательское усилие биографа, каждый раз оказывается *социальная и культурная*

ситуация. Только по отношению к последней описываемая жизнь приобретает значение истории, особой смысловременной целостности, к которой применимы понятия уникальности, событийности, развития, самоосуществления»¹⁵.

Более того, для создания развернутой биографии личности необходимо знание эмоционально-психологического, социального и интеллектуального опыта индивида, т.е. предшествовавшей истории его жизни, его прошлого, из которого складывается состояние, обуславливающее его мысли и действия в текущий момент времени, на данной стадии его жизненного цикла, в определенной конфигурации межличностного взаимодействия. Основная идея состоит в погружении как в жизнь героя, так и в конкретную ситуацию. Историк должен найти ответ на вопрос: «Если бы я был этой другой личностью с соответствующим индивидуальным жизненным опытом и культурной памятью, взглядами и убеждениями, представлениями и ценностями, желаниями и слабостями, как бы мог я себя чувствовать, рассуждать и действовать при таких же обстоятельствах, в том же пространстве времени и места?».

Итак, основным исследовательским объектом персональной, или биографической, истории являются персональные тексты, а предметом исследования – «история одной жизни» во всей ее уникальности и полноте. Несмотря на определенный методологический эклектизм, ориентацию на принципиально различные исследовательские стратегии (от моделей рационального выбора до теорий культурной и гендерной идентичности или до психоистории), общая установка этого направления состоит в том, что реконструкция личной жизни и неповторимых судеб отдельных исторических индивидов, изучение формирования и развития их внутреннего мира рассматриваются *одновременно* – и как главная цель исследования, и как одно из эффективных средств познания того

¹⁵ Соловьев Э. Ю. Биографический анализ... Статья 2-я. С. 138.

исторического социума, в котором они жили и творили, радовались и страдали, мыслили и действовали¹⁶. В фокусе биографического исследования оказывается внутренний мир человека, его эмоциональная жизнь, искания ума и духа, отношения с родными и близкими в семье и за ее пределами. При этом индивид выступает и как субъект деятельности, и как объект контроля со стороны семейно-родственной группы, круга близких, формальных и неформальных сообществ, социальных институтов и властных структур разного уровня. В центр внимания многих исследователей, как правило, попадает нестандартное, отклоняющееся поведение, выходящее за пределы освященных традицией норм и социально признанных альтернативных моделей, действия, предполагающие волевое усилие субъекта в ситуации осознанного выбора.

Вполне естественно, что непосредственным объектом любой биографии является жизнь отдельного человека от момента рождения до смерти. Однако разные типы биографического анализа отличаются своими исследовательскими задачами. Несмотря на привлекательность такой исторической биографии, которая «представляет собой сочетание психологического проникновения автора в мир героя с социальным анализом действительности, окружающей этого героя»¹⁷, методологические предпочтения исследователя обычно более дифференцированы. Если мыслить дихотомически, то предметом, на который направлено основное исследовательское усилие биографа, может быть либо реконструкция психологического мира, его динамики, уникального экзистенциального опыта индивида («экзистенциальный биографизм»), ли-

¹⁶ О становлении и развитии этого направления в западной историографии в 1990-е годы, о его методологических стратегиях, достижениях и нерешенных проблемах см.: *Ретина Л. П.* «Персональная история»: биография как средство исторического познания // *Казус. Индивидуальное и уникальное в истории.* 1999. М., 1999. С. 76-100.

¹⁷ *Павлова Т. А.* Указ. соч. С. 88.

бо социальная и культурная ситуация, по отношению к которой описываемая жизнь приобретает значение истории («новая биографическая история»). Но для исследователя, ориентированного на мультиперспективный подход, в открытом для экспериментов пространстве между этими двумя «полюсами» обнаруживается немало интересного.

Особое положение занимает биографический подход в интеллектуальной истории, возрождение которой на рубеже 1980-х и 1990-х годов оказалось связано с лингвистическим поворотом, но облик этого постоянно набирающего силу междисциплинарного направления¹⁸ определяется также всем предшествующим историографическим опытом – как «обезлюдевшей» истории идей, так и социальной истории интеллектуалов, которая поставила во главу угла изучение самого мыслящего человека и его межличностных связей.

Однако вопрос о роли «человеческого измерения» в интеллектуальной истории и в 1980-е годы оставался дискуссионным. В этом смысле показательна оживленная и весьма содержательная полемика по поводу места биографического анализа в изучении истории экономической мысли, а в действительности – значительно шире, в истории мысли и интеллектуальной истории в целом.

Речь идет о споре между двумя выдающимися учеными – Джорджем Стиглером (лауреат Нобелевской премии 1982 г. за новаторские исследования функционирования рынков) и историком экономической мысли Уильямом Жаффе¹⁹, которые исходили в оценке возможностей использования биографической информации в истории экономической науки из противоположных установок. И если Стиглер отрицал познавательную

¹⁸ Об этапах развития и современном состоянии интеллектуальной истории см. ниже, в главе 8.

¹⁹ *Нейман А. М.* Биография в истории экономической мысли и опыт интеллектуальной биографии Дж. М. Кейнса // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 8. М., 2002. С. 11-31.

ценность биографических сведений (за рамками понимания процесса «трансмиссии» или «диффузии» идей, а также и взаимоотношений внутри научного сообщества), то Жаффе, напротив, считал, что без этих сведений, раскрывающих «личную ментальную историю» создателя идеи или концепции, невозможно составить полноценное представление о генезисе теоретической работы ученого, «идеологическом субстрате» его мышления, социальном и интеллектуальном контексте его творчества, значении его трудов для развития науки и принятия его теории научным сообществом²⁰.

Интересно, что другой известный ученый Дональд Уокер даже разработал типологию биографического жанра в историко-экономических исследованиях, опять же – вполне применимую к интеллектуальной истории вообще и – *mutatis mutandis* – к «новой биографической истории» в целом.

В предложенную Д. Уокером типологию входят: 1) *биография личности* (сведения о времени и месте рождения, образовании, семейных корнях и влияниях, чертах характера и личной жизни ученого); 2) *профессиональная биография* (о позициях ученого в академической системе, его профессиональной деятельности и отношениях внутри научного сообщества); 3) *библиографическая биография* (анализ трудов автора, истории их создания, источниковой базы, техники и методологии исследования, понятийного аппарата и междисциплинарных связей); 4) *ситуационная биография*, или *биография среды* (события и условия социально-экономической и политической

²⁰ Сходные посылки заложены в осуществляемом Международным обществом интеллектуальной истории (под руководством Ульриха Шнайдера) грандиозном проекте *Международного словаря интеллектуальных историков*. Подробнее об этом проекте см.: Шнайдер У. Словарь интеллектуальной истории: презентация проекта // Диалог со временем. 2005. Вып. 14. С. 52-65. О необходимости реконструкции различных контекстов, социальных условий и механизмов, под воздействием которых формируется та или иная научная концепция, см.: Latour B. *La science en action*. P., 1989.

жизни общества и эпохи, в которых жил и работал ученый)²¹. Таким образом, вся совокупность фактов личностного, профессионального, ситуационного и библиографического характера образует то, что можно назвать научной биографией.

Примечательно, что аналогичная дискуссия имела место и среди философов²², большинство из которых всегда считали, что биографические детали о жизни философов, важные для социальной истории интеллектуалов, не имеют никакого значения для изучения истории философской мысли как таковой. Однако многочисленные биографии философов, написанные в конце XX века, похоже, доказывают обратное. В этой связи можно вспомнить хотя бы интереснейшие книги Рея Монка о Людвиге Витгенштейне²³, Гэри Кука о Джордже Герберте Миде²⁴, Стивена Надлера о Спинозе²⁵ и многие другие.

Специалисты видят в этой тенденции прямой результат концептуальных сдвигов в философии и в интеллектуальной жизни в целом и утверждают, что такие работы способствуют лучшему пониманию *идей* философов, а не только рассказы-

²¹ См.: *Heiman A. M.* Биографии в истории экономической мысли... С. 13-14. Среди недавних исследований, связанных с историей экономической мысли, отметим: *Skousen M.* The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx and John Maynard Keynes. London, 2007.

²² Впрочем, Э. Ю. Соловьев еще в самом начале 1980-х гг. по этому поводу писал: «История философии – это не только обобщающая картина многовекторного развития человеческой мысли. Это еще история отдельных философских течений, школ и проблем. Это, наконец, и история самих выдающихся мыслителей, драматичных творческих судеб, скрытых за великими концепциями и идеями. Самостоятельной и незаменимой формой научного исследования, с помощью которой постигается эта история, является биографический анализ». *Соловьев Э. Ю.* Биографический анализ... Статья первая // Вопросы философии. 1981. № 7. С. 115.

²³ *Monk R.* Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius. N.Y., 1990.

²⁴ *Cook G.A.* George Herbert Mead: The Making of a Social Pragmatist. Chicago, 1993.

²⁵ *Nadler S.* Spinoza: A Life. Cambridge, 1999.

вают об их индивидуальных судьбах. Центральным в полемике оказывается вопрос об *отношении между идеями и жизнью*, «между тем, как мы думаем, и тем, как мы живем»²⁶.

В свое время поразительно точно выразился о связи идей и личностей Карл Ясперс: «...Мысль целиком жива для нас только вместе с человеком, который ее мыслил. В философской мысли мы ощущаем личное существо, для которого она имела значение. Поэтому в историческом созерцании мы ищем философов, а не только свободно парящие мысли»²⁷. И далее: «История философии – это проявление людей, живущих мысля. Что такое человек и каким образом он существует, неотделимо от того, как он понимает мир, себя самое, бытие. Философские мысли получают свое значение благодаря отношению к действительности мыслящего, благодаря ее проясняющей, формирующей, сообщающей уверенность и веру и удостоверяющей их силе»²⁸.

Понимание неразрывности связи между жизнью и творчеством личности, между фактами психологической и интеллектуальной биографии является краеугольным камнем биографического подхода в интеллектуальной истории.

Хотя биографический жанр, несомненно, поощряет последовательно-линейное истолкование событий, следует помнить, что связь какой-то одной социокультурной ситуации с другой имеет более сложный характер и сопряжена, как правило, с действием весьма многообразных факторов. По словам известного историка философии Т. Мура, выдающиеся философы – не просто «гиганты, стоящие на плечах друг друга». Каждый из них существует в определенных идейных и социальных контекстах, и все они, так или иначе, «реагируют на фигуры, которые выпали из нашего поля зрения (курсив мой –

²⁶ Postel D. The Life and the Mind. (<http://chronicle.com>).

²⁷ Ясперс, Карл. Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000. С. 159.

²⁸ Там же. С. 184.

Л.Р.)», но которые, однако, помогли сформировать целостное интеллектуальное пространство философской мысли²⁹.

Без биографического измерения интеллектуальной жизни понимание самих идей оказывается неполным. И, добавим, это понимание оказывается неполным – даже, более того, существенно искаженным – и без так называемых фигур «второго плана», тех, кто делает свое дело, пребывая «в тени гениев»: без них невозможно – ни в статике, ни в исторической динамике – представить себе само пространство интеллектуальной жизни, пронизанное множеством связей и опосредований.

Репертуар биографических исследований в интеллектуальной истории весьма широк и разнообразен. Они достаточно далеко продвинулись в методологическом плане, оперируя концептуальными разработками микроистории, дискурсивного анализа и персональной («новой биографической») истории. В целом, можно говорить о «биографическом повороте» в интеллектуальной и культурной истории, который, несомненно, способствует приращению нового знания³⁰.

Более того, состояние интенсивной рефлексии в атмосфере *fin de siècle* породило оригинальный жанр историописания, который можно обозначить как автобиоисториографический. Самым весомым вкладом в его разработку стали пространственные автобиографические эссе крупнейших французских историков XX века, представленные составителем сборника Пьером Нора как «Очерки по эго-истории»³¹. Принципиально важно, что Нора посчитал необходимым подчеркнуть: «Это не деланно литературная автобиография, не излишне ин-

²⁹ The Chronicle of Higher Education: 6/7/2002. (<http://chronicle.com>).

³⁰ Ряд примеров из обширного комплекса интеллектуальных биографий, вышедших в свет в начале нового столетия, приведен ниже, в главе «Интеллектуальная история на рубеже веков».

³¹ *Essais d'ego-histoire* (Maurice Agulhon, Pierre Chaunu, Georges Duby, Raoul Girardet, Jacques Le Goff, Michelle Perrot, René Rémond) / Réunis et présentés par Pierre Nora. P., 1987.

тимные откровения, не абстрактный символ веры, не попытка кустарного психоанализа. Задача состоит в том, чтобы прояснить свою собственную историю, как пишут историю других, попытаться применить к самим себе – каждый в своей манере и с помощью своих излюбленных методов – тот бесстрастный, всеобъемлющий, объясняющий подход, какой столь часто мы обращаем на других. Выявить историю в самом себе связь между той историей, которую сотворил он, и той историей, которая сотворила его»³². Столь же недвусмысленно выразился Ж. Дюби: «Здесь – и это главное – я не рассказываю о всей моей жизни. Было заранее условлено, что в этой "эго-истории" будет выставлена напоказ только часть моего "Я". Если угодно, это *ego-laborator*, или лучше *ego-faber*»³³.

Видный британский историк Макс Белофф менее экстравагантно, но, как мне представляется, более точно обозначил этот новый жанр в подзаголовке своей интереснейшей книги – «очерки интеллектуальной автобиографии»³⁴.

В том же модусе написана статья «Лоренс Стоун – как он видится себе самому», которая была опубликована в качестве эпилога к сборнику в честь юбилея ученого, крупного специалиста по истории Англии раннего Нового времени. С присущей ему тонкой самоиронией Л. Стоун очерчивает свою профессиональную «одиссею», представляя на суд читателей нечто вроде интеллектуальной исповеди. Это в высшей степени авторитетное и яркое свидетельство направляющего влияния проблем и конфликтов современности на исследовательский поиск историка заслуживает того, чтобы воспроизвести здесь хотя бы один его наиболее красноречивый фрагмент: «Пусть это не было для меня очевидно в то время, но по размышлению становится все более понятным, что предмет моего

³² Ibid. P. 7.

³³ Ibid. P. 109.

³⁴ *Beloff, Max. An Historian in the Twentieth Century: Chapters in Intellectual Autobiography*. New Haven; L., 1992.

исследовательского интереса в историческом прошлом изменялся в ответ на текущие события и существующие приоритеты. Моя первая статья, о жизни моряков в елизаветинском флоте, была написана в 1942 г. на борту эсминца в Южной Атлантике. Мое следующее “предприятие” – книга об одном бесчестном международном финансисте, написанная в атмосфере социалистической эйфории начала деятельности первого лейбористского правительства в послевоенной Британии. Третье исследование, об аристократии конца XVI – начала XVII в., осуществлено в то время, когда этот класс переживал глубокий финансовый кризис... Работу об университетах я начал в 1960-е годы, в период самой обширной экспансии и величайшего оптимизма в отношении высшего образования. В то время я особенно увлекся выяснением причин подобного образовательного бума между 1560 и 1680 гг. Я не утратил своего интереса – но уже с пессимистическим настроем – и после студенческих волнений, когда период бурного развития внезапно завершился. С этого времени мое внимание было сосредоточено на причинах резкого упадка школ латинской грамматики, университетов и юридических корпораций между 1680 и 1770 гг. Моя книга о семье, сексуальности и браке была задумана и написана в 1970-е, в условиях обостренной озабоченности этими проблемами, вызванной стремительным ростом числа разводов, резким падением фертильности в браке, необычайно неразборчивостью в сексуальных отношениях, серьезными изменениями в ролевых функциях полов под воздействием движения за женскую эмансипацию... Книга “Открытая элита” была написана, когда общественный интерес к краху крупных землевладельческих родов и к той роли, которую они сыграли как в подъеме, так и в падении британского величия достиг своего крещендо <...> Представляется, что именно текущие события, хоть я каждый раз и не осознавал этого, побуждали меня погружаться в прошлое, чтобы выяснить встречались ли прежде похожие явления и проблемы и, если да, то как

с ними справлялись. Становится ли от этого лучше или хуже для изучения истории? Я не знаю. В такой склонности к презентизму, пусть произвольному, есть серьезная опасность: прошлое рассматривается через призму будущего, а не с его собственной точки зрения. Существует явный риск телеологического искажения, если в умах историков станет преобладать вопрос о том, каким образом мы попали оттуда сюда. Но, с другой стороны, именно это объяснение настоящего является главным оправданием интереса к истории...»³⁵.

Признавая ценность этого и аналогичных авторских «показаний», нельзя, однако, не прислушаться к скептическим замечаниям Ж. Дюби, которыми он заключает свою «автобиографию»: «Я не удовлетворен тем, что здесь написал. В самом деле, я не уверен, что историк может лучше, чем кто-либо другой, трактовать воспоминания, которые касаются его самого. Я склонен думать, что историк способен на это меньше, а не больше остальных. Ибо если история других получается у него, на мой взгляд, тем лучше, чем он более пристрастен, то история самого себя, напротив, требует строжайшей объективности. Тут ему нужно всеми силами стараться выправлять то, что самолюбие непреодолимо деформирует...»³⁶.

Важно, что свои профессиональные автобиографии ведущие историки, прожившие долгую жизнь в науке XX века и испытавшие немало поворотов на своем жизненном и творческом пути, методологически осознанно вписывают в динамичный социокультурный контекст, в котором аккумулируют

³⁵ Stone L. Epilogue. Lawrence Stone – as seen by himself // *The First Modern Society: Essays in English History in Honour of Lawrence Stone* / Ed. by A. L. Beier et al. Cambridge etc., 1989. P. 594-595. В отличие от Стоуна, Рене Ремон делает акцент на оборотной стороне осознанного презентизма, добавляя к поискам истоков «настоящего в прошлом» интерес к выявлению «присутствия прошлого в настоящем». *Rémond R. Le contemporain du contemporain // Essais d'ego-histoire... P. 305.*

³⁶ *Duby G. Le plaisir de l'historien // Essais d'ego-histoire... P. 137-138.*

ются все вызовы времени и ответы на них. Здесь происходит совмещение традиций социально-интеллектуальной и личностной истории в особом предметном поле, для характеристики которого как нельзя более подойдет понятие *история историографии в человеческом измерении*.

Биография может по праву называться исторической, только будучи помещена в исторический контекст, взятый во всех его пересекающихся аспектах, и поэтому обстоятельный анализ интеллектуального контекста является всего лишь необходимым, но отнюдь не достаточным для создания полноценной интеллектуальной биографии. Такая биография требует более глубокого погружения в социокультурную среду и выяснения динамики изменений на всех ее тесно взаимосвязанных уровнях и направлениях, поскольку формирование в обществе новых ценностных ориентиров и нравственных идеалов не только отражается на исходных предпосылках и постановке проблем, но во многом определяет и результаты когнитивной и рефлексивной деятельности.

Действительно, «история индивидуальности *неуловимо и неизбежно переходит в историю вообще* (курсив мой – Л. Р.)»³⁷. Можно, конечно, продолжать спорить по вопросу об отношении персональной истории к *истории вообще*. Однако такое сопоставление вовсе не кажется парадоксальным, причем не только в свете нынешних острых дискуссий о месте и задачах интеллектуальной истории в эпоху глобализации³⁸, но также при общей постановке и конкретных решениях проблемы влияния разнообразных вненаучных факторов на процессы мышления, в частности, на исследовательский процесс³⁹, и

³⁷ Карсавин Л. П. *Философия истории*. С. 86.

³⁸ См. публикации в альманахе «Диалог со временем» под специальной рубрикой «Интеллектуальная история в глобальный век» (Вып. 14. М., 2005).

³⁹ См., например, новаторские исследования «историографического быта» представителями Омской школы истории отечественной

шире – в разработке принципов соотнесения творческого потенциала личности с социокультурными условиями, которые определяют саму возможность, ресурсы и полноту реализации этого потенциала. Знание контекста позволяет понять действующие силы, управлявшие индивидом в конкретной ситуации и формировавшие его поведение, однако на пути осознания и репрезентации взаимосвязанности условий, поступков, идей, интеллектуальных задач и способов их разрешения исследователя-биографа ждут немалые трудности⁴⁰.

К этому надо добавить новые проблемы, связанные с выходом из границ пантеона «канонических фигур», с наметившимся вниманием к авторам «второго и третьего плана», к распространению и бытованию идей, а не только к их рождению, к практической стороне интеллектуальной деятельности и повседневной жизни конкретных интеллектуальных сообществ, что требует особой осторожности в социальных характеристиках.

Карл Мангейм справедливо подчеркивал: «Личность формируется главным образом благодаря современным интеллектуальным веяниям и течениям, свойственным специфиче-

историографии, и в том числе: *Свешников А. В., Корзун В. П., Мамонтова М. А.* «Жизни наши... протекли... врозь» (к истории личных взаимоотношений И. М. Гревса и С. Ф. Платонова) // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 12. М., 2004. С. 313-332; *Крих С. Б.* М. И. Ростовцев и М. Финли: два типа ученого // Мир историка: историографический сборник / Под ред. Г. К. Садретдинова, В. П. Корзун. Вып. 2. Омск, 2006; и многие другие научные публикации последнего десятилетия.

⁴⁰ В связи с этим не могу не упомянуть книгу о Франсуа Пулен де ла Барре, в которой С. Стуурман блестяще реализует охарактеризованную выше исследовательскую установку на последовательное вписывание интеллектуальной траектории мыслителя в многообразные макроисторические контексты разной временной протяженности – социальные, политические, духовные. *Stuurman, Siep.* Francois Poulain de la Barre and the Invention of Modern Equality. Cambridge (Mass.), 2004.

ской социальной группе, к которой она принадлежит. Иными словами, она никоим образом не подвержена влиянию духа времени в целом, ее привлекают только те течения и тенденции времени, которые в качестве живой традиции сохраняются в ее специфической социальной среде. Но даже и эти частные традиции, а не другие, укореняются и утверждаются во внутреннем мире в конечном счете благодаря тому, что дают наиболее адекватное выражение характерным “возможностям” его жизненной ситуации»⁴¹.

Однако социальное неразрывно переплетается с темпоральным: социальное измерение биологического времени человеческой жизни (время биографии) не совпадает со временем истории, ритмы которого по-разному накладываются на отдельные стадии его жизненного цикла⁴². Их сложное переплетение охватывается категорией *индивидуального прошлого*, или *индивидуального опыта* – всего непосредственно пережитого индивидом и отложившегося в его сознании.

Наиболее оптимистические оценки перспектив интеллектуальной биографии связываются с синтезом биографического, текстуального и социокультурного анализа, что соответствует максимально расширительному пониманию задач современной интеллектуальной истории.

Знание контекста позволяет понять силы, управлявшие индивидом в конкретной ситуации и формировавшие его поведение, однако на пути осознания и репрезентации взаимосвязанности условий, поступков, идей, интеллектуальных задач и способов их разрешения исследователя-биографа ждут немалые трудности. Разумеется, этот трехуровневый комплекс «индивидуальное – социальное – всеобщее» требует адекватной интерпретации как в биографиях выдающихся исторических деятелей, так и в жизненных историях тех, кто

⁴¹ Мангейм К. Проблема поколений // Мангейм К. Очерки социологии знания. М., 2000. С. 51.

⁴² Подробнее см.: *Le Goff J.* Saint Louis. P., 1995. P. 23-24.

играл в драме истории отнюдь не главную роль. Но именно в последних он проявляется, пожалуй, наиболее рельефно.

Сегодня, когда начатый еще в 2003 г. исследовательский и издательский проект «Человек второго плана в истории»⁴³ существенно продвинул исследования проблематики «персональной истории» в российской историографии, стала вполне очевидной плодотворность исходной установки на изучение уникального человеческого содержания истории и «неоднозначных взаимодействий человека и социума... как раз в жизни и судьбе так называемого человека второго плана»⁴⁴. Нельзя не согласиться с тем, что «человек второго плана» занял в фокусе современного гуманитарного познания «стратегически важный “плацдарм” между “безмолвствующим (и безмянным) большинством”, “типичным человеком” и “актерами”, “творцами истории”»⁴⁵. В первом же выпуске сборника «Человек второго плана в истории» была обозначена его концептуальная база (как по принципу «от противного»⁴⁶, так и в конструктивном плане).

⁴³ См.: Человек второго плана в истории / Отв. ред Н. А. Мининков. Вып. 1-7. Ростов-на-Дону, 2004–2011. Исследовательский проект «Человек второго плана в истории» осуществляется на основании методологических разработок и на научно-организационной базе Ростовского регионального отделения Общества интеллектуальной истории с привлечением широкого круга исследователей из многих университетов и академических институтов России.

⁴⁴ От редакции // Человек второго плана в истории. Вып. 1. Ростов-на-Дону, 2004. С. 3.

⁴⁵ Мининков Н. А., Корневский А. В., Иванеско А. Е. Человек второго плана в контексте современной историографии // Человек второго плана в истории. Вып. 2. С. 6.

⁴⁶ Отрадно, что, в целом поддерживая тезис насчет «обезлюдшей истории» в советской историографии, Н. А. Мининков, тем не менее, вовсе не абсолютизировал его, указав и на противоположную тенденцию – вплоть до создания ярчайших образцов в историко-биографическом жанре, таких как «Наполеон» Е. Тарле и А. Манфреда и др. См.: Мининков Н. А. Человек второго ряда как исследовательская

Определяя типологические признаки «человека второго ряда», Н. А. Мининков очень точно отделяет его как от главных действующих лиц истории, так и от ее «статистов», подчеркивая, что «роль его в том деле, с которым он связан, весьма значительна», и в этом смысле «такой персонаж далеко не является второстепенным или случайным лицом»⁴⁷. Это положение имеет ключевое значение для идентификации исследовательского пространства нового направления биографической истории, хотя не совсем корректно была поставлена проблема источниковой базы.

Здесь, видимо, надо делать акцент не на неполноту источниковой базы (количественную характеристику), а на ее *качественную специфику*. Речь ведь идет не просто о том, что обычно исследователю не хватает источников для создания полной биографии человека второго плана (в том числе по значимым периодам жизни и особенно относительно людей далекого прошлого) и биография воссоздается в виде фрагментов. Дело в ограниченности *видового спектра* имеющегося комплекса источников, что определяет наличие или отсутствие важнейшей информации относительно эмоциональной и когнитивно-рефлексивной составляющих деятельности индивида, а также доступность или недоступность для исследователя необходимых сведений о мотивации принимаемых им решений в ситуациях личностного и исторического выбора.

Также весьма важным представляется наблюдение о том, что «изучение второго ряда сближается в определенной степени с процессом исторического познания методами художественного творчества», и о значении в связи с этим ак-

проблема // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 5-6. В этой связи можно также вспомнить замечательные биографии Оливера Кромвеля и Джерарда Уинстенли, созданные Т. А. Павловой (в серии «Жизнь замечательных людей» и «Пламенные революционеры»), не говоря уже о шедеврах Натана Эйдельмана.

⁴⁷ Там же. С. 7.

сиологического подхода, который соотносит дела героя «с определенной системой ценностей»⁴⁸. Это очень верно – и такое соотношение является одним из методов создания полноценной биографии из известных фрагментов жизни индивида. Но здесь также важно историческое воображение и интуиция, которые сближают историка и романиста, не отменяя различия в главном – в четком осознании границ домысливаемого, его гипотетического характера, а также в требовании достаточно сложных критических процедур. Так, согласно концепции Джованни Леви, благодаря контекстуальному подходу к исторической биографии, который использует общий культурно-исторический контекст для реконструкции (по имеющимся параллелям) утраченных фрагментов биографии своего героя, большей частью удастся не растворить в нем индивидуальные черты, «сохранить равновесие между специфичностью каждой судьбы и совокупностью общественных условий»⁴⁹. И хотя этот метод в основном применяется в историко-антропологических исследованиях⁵⁰, в которых воссоздание так называемых *биографий простых людей* занимает некоторое промежуточное положение между целью и средством, его аналог может помочь «возместить» утраченные фрагменты и в биографии человека «второго» плана.

«Человек второго плана» – это, разумеется, метафора (причем, кинематографическая): по существу, речь идет

⁴⁸ Там же. С. 10-11.

⁴⁹ *Levi G. Les usages de la biographie // Annales E.S.C. 1989. A. 44. № 6. P. 1325-1336.*

⁵⁰ Достаточно напомнить ставшие уже классическими книги Натали Змон Дэвис о Мартене Герре (*Davis N. Z. The Return of Martin Guerre. Harmondsworth, 1985*), Даниэля Роша – о стекольнике Менестра (*Roche D. Journal de ma vie. Jacques-Louis Menestra, companion vitrier au 18e siècle. Paris, 1982*), Алапа Макфарлейна – о священнике Ральфе Джосселине (*Macfarlane A. The Family Life of Ralph Josselin, a Seventeenth-Century Clergyman. An Essay in Historical Anthropology. Cambridge, 1970*) и многие другие.

практически о любом индивиде, не зафиксированном на историческом экране «самым крупным планом». Историк целенаправленно переносит в фокус своего исследовательского интереса человека, который находится за пределами круга первых лиц исторической драмы, вне закрепившейся в общественном и профессиональном сознании и хорошо известной номенклатуры великих исторических личностей, играющих главные роли и заполняющих собой «сценическое пространство» так называемой Большой истории. Но это, конечно, научная метафора⁵¹, она имеет значимый эвристический потенциал, который не случайно оказался востребованным.

Чаще всего дефиниции строятся «от противного»: люди второго ряда – это те, которые не вписываются в понятие «людей первого ряда»; они «далеко не всегда являются самыми заметными фигурами общественной жизни, далеко не всегда они занимают первые места среди политической элиты, пользуются признанием и авторитетом в обществе», человек второго плана «не относится к числу людей, с чьим именем связаны глобальные изменения» в жизни общества и государства, но, тем не менее является «немаловажной фигурой», «оказывая незримое, но, в то же время, значительное влияние на общественно-политическую жизнь страны»⁵².

В этой связи интересна дефиниция «человека второго плана» как «личности незаурядной, но не претендующей на движущую роль в истории, не обгоняющей время, но, тем не

⁵¹ О роли метафор в историческом познании см., в частности, широко известные работы Войцеха Вжозека: *Вжозек В. Историография как игра метафор: судьбы “новой исторической науки”* // Одиссей. Человек в истории. 1991. С. 60-74; *Он же. Метафора как эпистемологическая категория (соображения по поводу дефиниции)* // Одиссей. Человек в истории. 1994. С. 257-264.

⁵² *Крот М. Н. Князь В. П. Мещерский – консервативный политик и общественный деятель* // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 89-90, 99.

менее, как никто другой отражающей в делах и мыслях основные коллизии своей эпохи (курсив мой – Л. Р.)»⁵³.

Именно такой смысл, независимо от формы его выражения, обнаруживается в концептуальной базе целого ряда историко-биографических исследований подобного рода. Вот, например, красноречивое заключение (звучащее как эпитафия) к одному из них: «Таким был Франческо Соранцо, венецианский патриций, служивший своему государству на дипломатическом поприще. Можно сказать, что Франческо Соранцо – это обыкновенный *нобилъ*, шагающий, как и все представители патрицианского сословия, по служебной лестнице, добросовестно и профессионально выполняющий свой гражданский долг, вносящий посильную лепту в дело процветания Светлейшей, что он своего рода маленькая частица огромного механизма венецианского государства. А можно сказать, что Франческо Соранцо – это *обыкновенный* *нобилъ*, который своей обыкновенностью, типичностью как раз и представляет необычайный интерес как человек XVI века»⁵⁴.

Типологические признаки «человека второго плана» нередко формулируются ситуационно, или же в зависимости от контекста, в который биограф изначально помещает своего героя и в котором он его впоследствии рассматривает: этот контекст может быть общественно-политическим, интеллектуальным, повседневным и т.д. Недостаток внимания к этой проблеме может привести к неоправданной экстраполяции ча-

⁵³ Корневский А. В. Неукротимый ересиарх (штрихи к портрету Н. С. Ильина // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 80.

⁵⁴ Третьякова М. В. Франческо Соранцо – венецианский патриций XVI века // Человек XVI столетия. М., 2000. С. 45. Близка по смыслу и даже по словесной форме характеристика Томаса Бодлея (1544-1613), основателя знаменитой Бодлеянской библиотеки в Оксфорде: он «воплощал в себе тип блестящего елизаветинца». См.: Дмитриева О. В. «Полезный член государства»: Томас Бодлей на государственной службе и вне ее // Человек XVII столетия. М., 2005. В 2-х частях. Часть 1. С. 88.

стного признака на всю совокупность. Ситуационным является, например, такое обобщение: «Люди второго плана не стремятся к лидерству, однако на их плечах стоят “исторические личности” и великие исторические свершения»⁵⁵. Превращение выбранного персонажа в политического лидера и, соответственно, переход его на «первый план», как правило, подразумевает наличие такого стремления, а вот обратный результат может определяться вовсе не отсутствием стремления к лидерству, а сугубо внешними обстоятельствами, включая как сложившиеся устойчивые структуры и основные условия деятельности, так и фактор случайности.

Что же касается выбора того или иного контекста для интерпретации биографии «человека второго плана» (между прочим, этот выбор исследователя вовсе не должен непременно совпадать с основной или же наиболее успешной сферой деятельности его персонажа), то в соответствии с ним нередко строятся одномерные образы «человека политического», «человека рационального» и т.п., при этом все, или почти все, «непрофильные» измерения остаются в тени.

Биографии историков занимают достойное место в зарубежной и в отечественной историографии: в последнее десятилетие появилось немало книг, не говоря уже о многочисленных очерках⁵⁶. Они могут иметь как функциональное (в контексте историко-биографического анализа), так и самостоятельное значение. Но в любом случае разграничение «первого» и «второго плана» (если эта задача вообще ставит-

⁵⁵ Шандулин Е. В. П. А. Гейден. Штрихи к политическому портрету // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 89.

⁵⁶ Из этого корпуса биографических исследований, который стал уже на сегодняшний день довольно представительным, упомянем первый в российской историографии коллективный труд, специально посвященный биографиям крупных историков XX столетия: Диалог со временем: историки в меняющемся мире / Под ред. Л. П. Репиной. М., 1996. См. также: Каганович Б. С. Русские медиевисты первой половины XX века. СПб., 2007.

ся) создает биографам немалые трудности и оказывается достаточно противоречивым. С одной стороны, в качестве «историка второго плана» берется Герман Аубин, который «не принадлежит к числу самых знаменитых историков Германии XX века»⁵⁷, а с другой, в том же качестве выступает один из «отцов-основателей» и несомненных лидеров «русской исторической школы» М. М. Ковалевский⁵⁸. Как представляется, эта противоречивость лишь отчасти может быть объяснена подвижностью «шкалы величин» в контекстах различных национальных научных школ⁵⁹.

Об одном из крупнейших представителей эрудитской историографии Франции XVI века Этьенс Пакье И. Я. Эльфонд писала: «...Он как бы был затенен своими блистательными и более энергичными современниками, хотя и являлся признанным историком-эрудитом... Современники высоко ценили Пакье как эрудированнейшего гуманиста: он был *одним из* (курсив мой – Л. Р.) ведущих специалистов в сфере права, крупнейшим историком, писателем и поэтом и одним из наиболее пылких защитников французского языка, ...его личность привлекала вниманиe современников, а творчество было широко известно»⁶⁰. Ключевые слова здесь, конечно, «один из...»: именно эта фраза, несмотря на эпитеты в превосходной степени, имеющиеся в данной характеристике, отводит героя биографического повествования на второй план.

⁵⁷ Савчук В. С. Герман Аубин и его место в исторической науке Германии XX века // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 133.

⁵⁸ Апрыценко В. Ю. «Надо любить Бога, свободу, равенство... и прогресс»: к портрету М. М. Ковалевского // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 99-120.

⁵⁹ Яковкина Е. В. Флориан Знанский (1882-1958): от студента Варшавского университета до президента Американского социологического общества // Человек второго плана в истории. Вып. 3. С. 153.

⁶⁰ Эльфонд И. Я. Кабинетный ученый и бури гражданских войн // Человек XVI столетия. М., 2000. С. 72-73.

Как справедливо отметил А. В. Кореневский, «опознание исторического персонажа как “человека второго плана” зависит от выбора угла зрения и того социокультурного контекста, в соотношении с которым осмысливается историческая роль данной конкретной личности»⁶¹. Важно подчеркнуть, что этот выбор угла зрения не должен оставаться, если можно так выразиться, одноразовым и неизменным. Фигура исторического персонажа станет рельефной и даже объемной, только будучи рассмотрена “крупным планом” в различных проекциях и множественных перспективах, в представлениях и оценках как единомышленников, так и противников, в ряду его современников и в сменяющих друг друга пространствах социальной и интеллектуальной жизни разных эпох, включая, разумеется, актуальную культурно-историческую ситуацию самого исследователя. Результаты такой намеренно экспериментальной «смены рамки» не замедлят сказаться.

Особый интерес вызывает попытка в более общем виде определить место «историка второго плана» в структуре профессионального сообщества, опираясь не на его творческие достижения, «объективная оценка которых, как правило, осуществляется в ходе дальнейшего развития научного знания», а посредством комплексного анализа «социокультурной ситуации, в рамках которой осуществлялась его практическая деятельность»⁶². С этим можно, в принципе, согласиться, но лишь в том случае, если исследователя интересует только синхрония, так называемый *план современности*.

А что происходит, если обратиться к анализу с точки зрения диахронии, последовательной смены ситуаций в исто-

⁶¹ Кореневский А. В. Три Тойнби // Человек второго плана в истории. Вып. 4. С. 84.

⁶² Трати Н. А. “Историк второго плана” в структуре персональной историографической иерархии (на примере развития дореволюционной исторической науки) // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 14-15.

рическом времени, то есть в контексте *истории* историографии? Здесь на первый план выходит проблема исторической перспективы и специфики восприятия предшественников (и в целом прошлого науки) из той точки на шкале времен, которая принимается за *настоящее*. Для истории науки этот аспект имеет самостоятельное значение. Изучая какой-либо конкретный период в истории науки, нам важно знать не только то, *что* было «там и тогда», но и то, как *именно в то время* рассматриваемая отрасль знания выстраивала свою генеалогию, как *именно тогда* оценивалось то, что было сделано предшественниками, и как виделась их персональная иерархия в *динамическом* плане. Что же касается социальной истории науки, то она, безусловно, предполагает характеристику «участия отдельного исследователя в научном дискурсе, выяснение реального соотношения избранной им проблематики и магистрального направления в рамках современной ему системы историописания, а также определение уровня общественного восприятия его творческих достижений»⁶³.

В очерке В. С. Савчука о Рудольфе Кечке проблема сопряжения двух перспектив, казалось бы, снимается самой спецификой конкретного биографического материала: «Громкой славой его имя не было окружено ни при жизни историка, ни после его кончины, так что он всегда оставался ученым “второго плана”»⁶⁴. Но умело выстроенная автором траектория творческой жизни своего персонажа – на самых разных ее отрезках – действительно возвращает читателя к необходимости последовательного сопоставления результатов деятельности ученого в разных интеллектуальных контекстах, включая предшествующее этой деятельности состояние науки, *современность* – с позиции героя биографии, актуаль-

⁶³ Там же. С. 15.

⁶⁴ Савчук В. С. Немецкий историк Рудольф Кечке: долгий путь к признанию // Человек второго плана в истории. Вып. 2. Ростов-на-Дону, 2005. С. 297-321. (С. 298).

ность – с точки зрения самого биографа, а также видение им перспектив дальнейшего развития науки.

Оказавшийся столь перспективным проект постоянно развивается. От конференции к конференции (а они проводятся ежегодно и привлекают все новых исследователей), от сборника к сборнику, расширяется и становится все более разнообразной его проблематика, о чем свидетельствуют как постоянные, так и новые рубрики одноименного периодического издания. В этом смысле знаменательно появление таких тематических блоков, как «Теоретические аспекты персональной истории», «Историки об историках», «Политика: между рампой и кулисами», «“Обреченные” на упоминание», «Чужие роли», «Человек-казус». В то же время содержательно обогащаются и вызывают неизменный интерес рубрики, уже ставшие традиционными: «Почему не первый?», «Из “вторых” – в “первые”», «В тени великих», «“Серые кардиналы”, реальные и мнимые», «Женские судьбы в “мужской” истории», «Герои местного значения», «Историописатели второго плана»⁶⁵.

Размышляя над своими оригинальными материалами и «героями» второго и третьего ряда, авторы ставят отнюдь не третьеразрядные историко-теоретические вопросы и находят на них нетривиальные ответы. Познавательный потенциал проекта далеко не исчерпан. Он, к тому же, поддерживается устойчивой ориентацией на личностное восприятие «новой истории XXI века», обращенной к широкой публике и обладающей мощным социальным зарядом. И в сложившейся социально-исторической и историографической ситуации даже герои «первого плана», возвращаясь на авансцену, меняют свой «профиль»: историки все больше видят в них, в их об-

⁶⁵ См. также своеобразную антологию из статей, подготовленных в рамках рассматриваемого проекта, которая вышла в недавно начатой серии в издательстве «Алетейя»: В тени великих: образы и судьбы. Сборник научных статей. Серия «Человек второго плана в истории» / Отв. ред. Л. П. Репина. СПб., 2010.

разах и исторических репутациях воплощение культурных кодов, идеальных поведенческих моделей и даже «места памяти»⁶⁶. Историческая биография в ее современных формах, пожалуй, как никакой другой жанр, эффективно реализует свой потенциал «истории для всех», «народной истории», «истории для общества», или «публичной истории», как ее чаще всего называют в зарубежной историографии.

Возвращаясь к более общим проблемам «новой биографической истории», было бы целесообразно для оптимального использования ее возможностей сосредоточить внимание именно на интерпретации поступков, всех форм деятельности человека. Центральное место следовало бы, на мой взгляд, отвести ситуациям выбора, принятия решений, в которых наиболее ярко проявляется как свобода и креативность индивида, так и давление материальных условий, общественных норм, правил и стереотипов, рутинных поведенческих моделей, шаблонов мышления, груз предрассудков, известных прецедентов, накопленного жизненного опыта и сети межличностных связей, растроченных сил, несбывшихся желаний и надежд. Интерпретация подобных ситуаций выбора требует сложной цепочки рассуждений, учитывающих и внешние ограничения, и рациональную стратегию индивида, и его эмоциональную составляющую, и другие – более скрытые, не эксплицированные и не до конца осознанные цели.

⁶⁶ См.: *Heroic Reputations and Exemplary Lives* / Ed. by G. Cubitt and A. Warren. Manchester, 2000; *Worden B. Roundhead Reputations: The English Civil Wars and the Passions of Posterity*. L.; N.Y., 2001; *Lambert A. Nelson: Britannia's God of War*. L., 2004; *Jones, Max. What Should Historians Do With Heroes? Reflections on Nineteenth- and Twentieth-Century Britain* // *History Compass*. 2007. Vol. 5. N 2. P. 439-454; etc.

ГЛАВА 8

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Представить в одной фразе основную тенденцию развития историографии XX столетия в области исследований истории мысли и духовной культуры человечества можно, наверное, следующим образом – это движение от истории идей к интеллектуальной истории. Однако это движение вовсе не было прямолинейным и последовательным.

Среди выделившихся еще в конце XIX века историографических направлений история идей занимала достойное, хотя и не центральное место. Сфера ее интересов наряду с идеями и понятиями самого общего плана включала специальное изучение истории политической, экономической, социальной, исторической, научной, философской и религиозной мысли. И все же даже в США, где эта область истории получила в первой половине XX столетия наибольшее развитие, выдвинув самый амбициозный проект и предпочитая именоваться «интеллектуальной историей», главным исследовательским полем большинства ее специалистов оставалась история политической мысли, развивавшаяся в русле той традиции, которая утвердилась в Западной Европе еще в XIX веке и рассматривала историю идей как неотъемлемую часть всецело доминировавшей политической истории.

В связи с этим уверенное выдвижение интеллектуальной истории на авансцену историографии в последнее десятилетие прошлого века может показаться неожиданным. Между тем, интеллектуальная история стала набирать силу гораздо раньше, в процессе той глубокой внутренней транс-

формации, которую переживала вся историческая наука в последней четверти XX столетия, когда эпистемологическая революция, в которую историография оказалась вовлечена позднее других социально-гуманитарных наук, заставила все ее субдисциплины пересмотреть свои методологические и содержательно-предметные основания. В 1990-е годы вопрос о предмете интеллектуальной истории решался уже в совершенно новом интердисциплинарном контексте.

Несколько слов о самом названии этой области современной исторической науки – о понятии «интеллектуальная история». По существу, смена предпочтений в самоидентификации с «истории идей» на «интеллектуальную историю» маркировала существенные изменения в предмете и методе, хотя одновременно она сигнализировала о заявке на новый статус в системе исторических субдисциплин. Как и в случае с другими областями исторического знания (например, такими, как «экономическая история» или «политическая история»), термин «интеллектуальная история», разумеется, указывает не на особое *качество* того, что выходит из-под пера ученого, который ею занимается (или считает, что занимается), а на то, что фокус исследования направлен на конкретный аспект или сферу человеческой деятельности.

В изучении прошлого нет и в принципе не может быть непроницаемых водоразделов. Названия и самоназвания всех разнообразных ветвей историографии – необходимая условность, удобная маркировка, часто – способ профессионального самоутверждения, но отнюдь не естественное размежевание неких сущностей. Историк, безусловно, не может без ущерба для профессиональной деятельности замкнуться в своей специализации, но все же конвенциональное разделение труда в историографии существует, хотя «согласованные» границы весьма подвижны и, более того, на каждом этапе ее развития результаты этого процесса пересматриваются и переоцениваются.

Чтобы понять всю глубину изменений, произошедших в исследовательском пространстве интеллектуальной истории в XX столетии, следует обратиться к истории предмета.

Долгое время два понятия – «интеллектуальная история» и «история идей» - фактически означали одно и то же и связывались главным образом с историей философии. По существу же, весь предшествующий период термин «интеллектуальная история» часто употреблялся всего лишь как удобное общее обозначение ряда разных, хотя и имеющих некоторое отношение друг к другу специальных дисциплин.

Американский философ и историк А.О. Лавджой, автор знаменитой книги «Великая цепь бытия», которая стала классикой интеллектуальной истории, отдавал приоритет термину «история идей», что отражало специфику его оригинального подхода, состоявшего в изолировании и изучении странствующих во времени универсальных «идей-блоков», которые последовательно использовались как составные части, модули или монтажные узлы в сложных конструкциях самых разных учений и теорий. «История идей - писал Лавджой - имеет по большей части дело с тем же материалом, что и другие ветви истории мысли <...>, но она препарировывает его особым образом...»¹. Аналогию этой процедуры Лавджой видел в аналитической химии - проникновение внутрь структуры и вычленение из нее составных элементов. В такой методологии истории идей крупные идейные комплексы и философские системы превращались из главного объекта внимания историка всего лишь в исходный материал для выделения тех идейных единиц, которые и были его главным предметом. Конечная цель исследования состояла в том, чтобы создать максимально полную биографию изучаемой идеи, описать ее манифестации на всех стадиях исторического развития и в

¹ *Lovejoy A. O. The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea. Cambridge (Mass.), 1936. Introduction. P. 3.*

разных сферах интеллектуальной жизни, будь то философия, наука, литература, искусство, религия или политика.

Артур Лавджой дал весьма интересную типологию факторов, действующих в различных областях интеллектуальной жизни, среди которых необходимо отметить, во-первых, «скрытые или неявно выраженные допущения, более или менее бессознательные ментальные привычки», убеждения, которые «скорее молчаливо подразумеваются, чем формально выражаются или отстаиваются», «такие способы мышления, которые кажутся настолько естественными и неизменными, что они не подвергаются критическому рассмотрению», и, во-вторых, - сложившийся именно вследствие влияния этих «мыслительных привычек» некий «логический лейтмотив», привычный ход рассуждений, характерные логические приемы и методологические допущения, которые доминируют в мышлении конкретного индивида, философской школы, целого поколения или эпохи.²

Реализация динамического потенциала истории идей предполагала решение весьма сложных задач: «понимание того, как возникают и распространяются *новые* убеждения и интеллектуальные формы, освещение психологической природы процессов, воздействующих на изменения в популярности и влиятельности тех или иных идей, выяснение - по возможности - того, как концепции, которые доминировали или преобладали в одном поколении, теряют свою власть над умами людей и уступают место другим»³. Одной из составляющих работы историка идей он считал «философскую семантику» - изучение ключевых слов и выражений, характерных для какого-либо исторического периода или идейного течения, с тем чтобы «прояснить их двусмысленности, выявить различные смысловые оттенки и исследовать, каким образом возникаю-

² Lovejoy A. O. The Great Chain of Being... P. 7-11.

³ Ibid. P. 14.

щие из этих двусмысленностей неясные ассоциации влияют на развитие доктрин или ускоряют процесс превращения одного образа мыслей в другой, возможно в противоположный».

В программу истории идей Лавджоя был включен еще один очень важный пункт - изучение проявлений определенных идей не только в учениях или оригинальных суждениях глубоких мыслителей или выдающихся писателей, но и в коллективной мысли больших групп людей, а также исследование воздействия разных факторов на убеждения, верования, предрассудки, склонности, стремления целого поколения или многих поколений. Короче, речь идет об «идеях, которые получили широкое распространение и стали частью мыслительного инвентаря многих людей»⁴. Именно поэтому Лавджой включал в историю идей и существовавшую в автономном дисциплинарном пространстве историю литературы, распространяя сферу ее компетенции на изучение идей и чувств, двигавших людьми прошлых эпох, а также процессов формирования общественного мнения⁵. Отсюда - внимание к писателям второго и третьего плана, произведения которых не представляют ценности с точки зрения современных эстетических и интеллектуальных стандартов, но могут быть так же важны, а с указанной точки зрения - *даже еще более важны*, чем шедевры признанных сегодня великими авторов. К тому же, понять историческое место великих писателей невозможно без знакомства с их интеллектуальным окружением и общими моральными и эстетическими ценностями эпохи, а сам характер этого окружения должен быть установлен в результате исторического исследования природы и взаимосвязей тех идей, которые тогда преобладали в обществе в целом.

⁴ Ibid. P. 20.

⁵ Подробнее см.: *Ретина Л. П.* «Второе рождение» и новый образ интеллектуальной истории // *Историческая наука на рубеже веков* / Отв. ред. А. А. Фурсенко. М.: «Наука», 2001. С. 178-180.

Вообще, в заявленной А. Лавджоем программе, которая была гораздо более сложной, чем ее часто представляют, уже имелись необходимые предпосылки для всеобъемлющего преобразования интеллектуальной истории. Однако, во многом предвосхитив те повороты в интеллектуальной истории, которые стали особенно заметными в последнее десятилетие XX века, эта программа и осталась не востребовавшей, а точнее – вообще незамеченной. Она не была реализована ни самим автором, ни его учениками и последователями. Более того, именно работы последних, в том числе многочисленные публикации в основанном самим А. Лавджоем журнале *“Journal of the History of Ideas”*, послужили основанием к тому, что под «историей идей» стали все чаще понимать изучение идей как неких автономных абстракций, имеющих внутреннюю логику развития, безотносительно к другим видам человеческой активности (как, впрочем, и к тому, что называют «социальным контекстом»⁶), а иногда и к их носителям и творцам. Хотя в целом историографическая традиция, ориентированная на создание биографий великих мыслителей и писателей прошлого, разумеется, не прерывалась, все же цель исследования в истории идей состояла в том, чтобы представить максимально полную *биографию самой изучаемой идеи*, описать ее манифестации на всех стадиях исторического развития и в разных сферах интеллектуальной жизни.

Такой подход доминировал несколько десятилетий. В историографической ситуации 1960-х – 1970-х годов интеллектуальная история пребывала в незавидном состоянии, находясь на обочине мировой историографии, в своеобразной внутридисциплинарной изоляции (что было особенно заметно на фоне ее традиционного, весьма солидного набора меж-

⁶ По существу, эта версия истории идей обнаруживает преемственность с хорошо известными в историографии немецкими традициями *Geistesgeschichte* и *Ideengeschichte*.

дисциплинарных связей), несмотря на то, что в это время ее предметный диапазон существенно расширился за счет изучения эволюции различных областей знания⁷. Интеллектуальную историю обоснованно критиковали за «интернализм» и «интеллектуализм», за сосредоточенность на теориях и доктринах и игнорирование социального контекста идей и социальных функций науки, за «буржуазную элитарность» и «пуризм», за исключительный интерес к великим мыслителям и каноническим традициям и отсутствие внимания к местным традициям и народной культуре.

Тем не менее, уже в последующее десятилетие начало позитивно сказываться влияние философии науки и социологии знания, а также взлет и экспансия новой социальной истории, что привело к становлению «истории интеллектуалов» и «социальной истории идей», в которых акцентировалась роль социального контекста. Во Франции «история интеллектуалов» получает институциональное оформление в середине 80-х гг., в созданной по инициативе Ж.-Ф. Сиринелли междисциплинарной Группе по изучению истории интеллектуалов (1985)⁸. Члены этой группы резко критиковали историю идей за игнорирование социальных условий их бытования, а в своем самоопределении предпочитали дистанцироваться как от интеллектуальной, так и от культурной истории. Однако несколько позднее, при реализации проекта «сравнительной истории интеллектуалов»⁹, сторонники этого направления сосредоточились на концепциях «политической культуры» и «публичной сферы», на изучении роли интеллектуалов в кон-

⁷ См.: *Gilbert F. Intellectual History: Its Aims and Methods* // *Dac-dalus*. 1971. Vol. 100. № 1. P. 80-97.

⁸ В группе Ж.-Ф. Сиринелли активно сотрудничали историки, политологи, социологи, литературоведы.

⁹ *Histoire comparée des intellectuels* / Dir. par M.-C. Granjon, N. Racine et M. Trebitsch. Paris, 1997.

струировании национальной идентичности и проблеме символической самореализации интеллектуала в политическом поле (в качестве всегда «Другого» по отношению к государству, власти и любой ортодоксии)¹⁰.

Под влиянием доминировавшей в 1980-е годы истории ментальностей «социальная история идей» в разных ее формах вновь стала восприниматься как более предпочтительный термин, подразумевающий радикальное расширение предметного поля интеллектуальной истории за пределы не только «великих идей», но и тех, которые разделялись и артикулировались большими группами просто образованных людей. Таким образом, ее предмет распространялся на весь комплекс идей, которые были в ходу в конкретный период или в конкретном обществе - от популярных до эрудитских.

В условиях укрепления междисциплинарных связей ведущие аналитики, констатируя полную деградацию традиционной истории идей, тем не менее, решительно отвечали «нет» на два самых острых вопроса, касающихся интеллектуальной истории: о возможности ее «автономии» и о вероятности ее «преждевременной смерти». Что было полностью отвергнуто, так это претензии интеллектуальной истории на самостоятельное постижение «духа эпохи»¹¹.

Однако подлинное возрождение интеллектуальной истории оказалось, лишь на первый взгляд парадоксальным образом, напрямую связано с тем самым «лингвистическим поворотом», который на рубеже 1980-х –1990-х годов вызвал наиболее острый кризис в историческом сообществе, чреватый потерей профессионального статуса. Примечательно, что са-

¹⁰ *Trebitsch M.* Le Groupe de Recherche sur l'Histoire des Intellectuels // *Intellectual News*. 1997. № 2. P. 55-59.

¹¹ *Bowsma W. J.* From History of Ideas to History of Meaning // *Journal of Interdisciplinary History*. 1981. Vol. XII. № 2. P. 279-291; *Colton J.* The Case for Defence // *Ibid.* P. 293-298.

мые острые научные дебаты по поводу «постмодернистского вызова» имели прямой выход на обсуждение насущных проблем интеллектуальной истории¹², пусть даже речь шла о становлении «другого рода интеллектуальной истории», «истории, занимающейся изучением не мертвых авторов, а живых книг, не погружением писателей прошлого в их исторические контексты, а прочтением старых произведений в новых и неожиданных контекстах...»¹³.

Размышляя в этом же направлении, Мартин Томпсон писал в статье «Теория рецепции и интерпретация исторического смысла»: «Разные читатели в одно и то же время, один и тот же читатель в разное время, разные читатели в разное время поймут первоначальный текст по-разному». Это означает, что «смысл текста создается непосредственно в ходе чтения... Он меняется в зависимости от конкретных обстоятельств, в которых он читается»¹⁴. В целом, акцент на прочтение, восприятие текстов, оказался весьма продуктивным, существенно расширив поле исследования.

Отвечая в своей статье в популярном сборнике «Что такое история сегодня?» на вопрос о том, что именно составляет исследовательское пространство современной интеллектуальной истории, выдающийся британский специалист в этой области Квентин Скиннер произвел такую интересную «инвентаризацию»: «Изучение великих религиозных и философских систем; изучение представлений и верований простых людей о небесах и земле, прошлом и будущем, метафизике и науке; исследование позиций наших предков в отношении

¹² *Toews J.* Intellectual History after the Linguistic Turn // *American Historical Review*. 1987. Vol. 92. № 4. P. 879-907.

¹³ *Harlan D.* Intellectual History and the Return of Literature // *American Historical Review*. 1989. Vol. 94. № 3. P. 581-609. (P. 609).

¹⁴ См.: *Tompson M.* Reception Theory and the Interpretation of Historical Meaning *History and Theory*. 1993. Vol. 32. № 3. P. 248-272.

молодости и возраста, войны и мира, любви и ненависти; раскрытие их предрассудков относительно того, что следует есть, как надо одеваться, кем надо восхищаться; анализ их предположений о здоровье и болезни, добре и зле, морали и политике, рождении и смерти - все эти и огромное множество подобных тем входят в просторную орбиту интеллектуальной истории, поскольку все они - отдельные особые случаи общего предмета, которым прежде всего занимаются интеллектуальные историки: изучение прошлых мыслей»¹⁵.

Сегодня можно говорить о новом состоянии интеллектуальной истории, для которого характерно максимальное расширение исследовательского пространства, интенсификация междисциплинарного взаимодействия, предельный методологический плюрализм и принципиальная толерантность в отношении конкурирующих научных парадигм. В ней преобладает стремление объединить усилия специалистов, чьи профессиональные интересы связаны с исследованием *всех видов творческой деятельности человека, включая ее условия, формы и результаты*, - в долгосрочной исторической перспективе. В современной интеллектуальной истории есть место и для тех, кто именно таким образом определяет свое проблемное поле, и для «новых интеллектуальных историков», обозначающих этим термином свой особый подход к прошлому, важнейшей установкой которого является тезис о родовой общности литературы и истории как письма, несмотря на жанровые различия и особые правила дискурса, определяемые двумя разными профессиями¹⁶. Различные ме-

¹⁵ *What is History Today?* / Ed. by J. Gardiner. Atlantic Highlands (N.J.), 1988. P. 109.

¹⁶ Столь же расширительной трактовки понятия «интеллектуальная история» придерживаются авторы и редакторы альманаха «Диалог со временем», издаваемого созданным в 1998 г. Центром интеллектуальной истории Института всеобщей истории Российской академии

тодологические перспективы рассматриваются не как альтернативные, а как взаимодополняющие.

Более того, нежелание ограничивать спектр возможных методологических перспектив является вполне осознанной и зрелой позицией. В частности, один из ведущих специалистов, британский историк С. Коллини, возражая против того, что интеллектуальная история должна придерживаться какого-то одного метода или теории и иметь единый концептуальный аппарат, писал: «Мангеймовская “социология знания”, лавджоевская “история идей”, анналистская “история ментальностей”, “археология знания” Фуко - каждая из них предлагает свой собственный специальный словарь и собственную теорию как единственно возможный способ понимания мыслей прошлого и каждая из них оказывается недостаточной»¹⁷. Вывод очевиден – вместо абсолютизации какой-либо из научных парадигм (и соответствующего категориального аппарата) следует стремиться к интегративной исследовательской программе, которая должна быть ориентирована на оптимальное использование эвристического потенциала каждой из них, адекватной познанию той или иной стороны изучаемого явления интеллектуальной сферы.

Поскольку нет никакой универсальной теории, то поиск новых подходов и приемов исследования не прекращается, что, в свою очередь, влечет за собой постановку новых вопросов о границах и возможностях исторического познания. Современная интеллектуальная история, как и историческая нау-

наук, - См. Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 1-37. М., 1999-2011. См. также: Ретина Л. П. Интеллектуальная история в современной России: институциональные структуры и исследовательские поля // Пути России. Современное интеллектуальное пространство. М., 2009. С. 81-93.

¹⁷ What is History Today? / Ed. by J. Gardiner. Atlantic Highlands (N.J.), 1988. P. 109.

ка в целом, все более тяготеет к методологическому плюрализму. Поскольку имеются несколько конкурирующих вариантов методологического инструментария, перед историком встает проблема выбора методологии. И этот выбор теперь зависит не столько от школы, к которой принадлежит тот или иной исследователь, сколько от предмета исследования, что порождает расхождения в категориальном аппарате отдельных исследований даже в рамках одного направления.

В большой мере такая «всеядность» связана с междисциплинарным статусом интеллектуальной истории и с существующими расхождениями внутри связанных с ней дисциплин. Современная интеллектуальная история включила в себя весьма разнородные составляющие, которые до сих пор сохраняют свои «родовые» субдисциплинарные черты: речь идет не только о традиционной философски ориентированной истории идей и идейных систем, об истории естествознания и техники, об истории общественной, политической, философской, исторической мысли, которые по большей части сводились к их «внутренней истории», отвлекаясь от изучения общеисторического контекста, но также и о той социально-интеллектуальной истории 1970-х – 1980-х гг., которая акцентировала социологический и организационный аспект познавательной деятельности. Для реализации этой программы необходимо решить трудную задачу - преодолеть разнонаправленность субдисциплинарных векторов и выбрать новую перспективу, способную их переориентировать и упорядочить, но не игнорировать.

Необходимо учитывать и то, что методологический плюрализм интеллектуальной истории предопределен недостаточным уровнем (а в некоторых случаях – полным отсутствием) внутренней координации между ее длительное время автономно развивавшимися и довольно прочно институализированными разнородными составляющими: традиционной, философски ориентированной историей идей и идейных сис-

тем, историей естествознания и техники, историей общественной, политической, философской, исторической мысли, а также социально-интеллектуальной историей, направленной на анализ социологического и организационного аспектов познавательной деятельности. Не говоря уже о так называемой «новой интеллектуальной истории», которая концентрирует внимание на феномене самого исторического текста (исторического нарратива), а также на проблеме репрезентации авторского текста и восприятия его читателем.

Не менее сложные, по-настоящему напряженные взаимоотношения складываются между сторонниками «всеобъемлющей» интеллектуальной истории и представителями традиционных историографий, специализирующихся по отдельным академическим дисциплинам, поскольку подходы современной интеллектуальной истории направлены против сложившихся в них конвенциональных форм представления прошлого: расширяя перспективы исторической реконструкции прошлого науки, они разрушают – в идеальной перспективе – «суверенные» дисциплинарные границы.

Если «ренессанс» интеллектуальной истории в 1990-е годы оказался связан с переосмыслением самого предмета исследования на эпистемологических и методологических принципах современного социокультурного подхода, усвоившего уроки постмодернистского вызова и предложившего ему альтернативу, то в гораздо более долговременной перспективе одной из наиболее общих исходных предпосылок современной интеллектуальной истории является осознание неразрывной связи между историей самих идей и идейных комплексов, с одной стороны, и историей условий и форм интеллектуальной деятельности, с другой. Последнюю мысль в более общей форме предельно четко выразил П. Уинч, подчеркнув, что отношение между идеей и контекстом является *внутренним отношением*. Исходя из того, что социальные отношения существ-

вуют только в идеях и через идеи, т.е. социальные отношения принадлежат к той же логической категории, что и отношения между идеями, Уинч также специально указал на то, что «интеллектуальные и социальные предметы и события» существуют как таковые «только путем отсылки к критериям, *управляющим такой системой идей* (курсив мой. – Л. Р.) или способом жизни»¹⁸. Вспомним также, что еще в 1969 г. в своей программной статье о задачах интеллектуальной истории Х. Уайт подчеркивал, что последняя нуждается в «опоре на социальную реальность, которой ей так долго недоставало»¹⁹.

В настоящее время принципиальным в процессе обновления интеллектуальной истории становится учет взаимодействия между движением идей и теми социальными, политическими, религиозными, общекультурными контекстами, в которых идеи возникают, распространяются и трансформируются. В такой перспективе актуальным становится амбициозный проект «новой культурно-интеллектуальной истории», направленный на исследование всех интеллектуальных процессов прошлого в их конкретно-историческом социокультурном контексте. «Новая культурно-интеллектуальная история» видит свою основную задачу в исследовании интеллектуальной деятельности и процессов в сфере гуманитарного, социального и естественно-научного знания в широкой историко-культурной перспективе, и шире – рассмотрение всех интеллектуальных процессов прошлого в их конкретно-историческом социокультурном контексте.

Классическая история идей долгое время занималась высокой культурой, «великими текстами», а история ментальностей – преимущественно реконструкцией архаических стереотипов народной культуры (зачастую редуцируя к ним

¹⁸ Уинч П. Идея социальной науки. М., 1996. С. 81-82.

¹⁹ White H. The Tasks of Intellectual History // The Monist. 1969. Vol. 53. № 4. P. 606-630. (P. 626).

содержание любого индивидуального текста), в то время как в реальной жизни оба эти уровня культуры непрерывно взаимодействуют, питая друг друга (с чем, кстати, напрямую связана проблема изменений в культуре, культурных инноваций). В связи с этим возникает и весьма непростая проблема интерпретации взаимодействия различных уровней культуры, включая изучение основных свойств того «эфира культуры», «которым дышат все члены общества, ту невидимую всеобъемлющую среду, в которую они все погружены»²⁰. Именно в этом варианте новая культурная и новая интеллектуальная история как бы сливаются воедино²¹.

«Новая культурно-интеллектуальная история» заменяет сложившуюся в историографии 1970-х – 1980-х годов бинарную модель культурных форм более сложной и подвижной моделью, отвергает вводящие в заблуждение дихотомии «идеи» и «чувства», «рационального» и «религиозного», «аналитического» и «символического», «интеллектуальной элиты» и «профанной массы», а с ними – жесткое противопоставление народной и ученой культуры, производства и потребления, создания и присвоения культурных смыслов и ценностей, подчеркивая активный и продуктивный характер последнего.

Таким образом, с точки зрения нового подхода, человеческая субъективность выступает в ее истинной целостности, неразрывно соединяющей категории сознания и категории мышления²². «Новая культурная история» фокусирует внима-

²⁰ Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 11. См. также: Chartier R. Text, Printing, Readings // The New Cultural History. P. 154-175.

²¹ См.: Chartier R. Text, Printing, Readings // The New Cultural History. P. 154-175. См. также об этом выше, гл. 2.

²² Именно в этом варианте культурная и интеллектуальная история – под объединяющим влиянием культурной антропологии, «шишвинистического поворота» и теоретического литературоведения – как бы сливаются воедино. См.: Chartier R. Intellectual or Sociocultural History? The

ние на мифах, символах и языках, в которых люди осмысливают свою жизнь или отдельные ее аспекты. Интеллектуальная история накладывает на эту основу творческое мышление интеллектуалов, «вышивая» по канве динамический рисунок.

Интегральная установка реализуется в существующих концепциях современной интеллектуальной истории в разной степени. Свое максималистское выражение она нашла в определении известного американского историка, главного редактора авторитетного и широко известного специализированного журнала по истории идей (*"Journal of the History of Ideas"*) Дональда Келли: «Интеллектуальная история - это скорее не раздел истории, а способ (или способы) целостного рассмотрения прошлого человечества <...>, задача интеллектуального историка - изучить все области человеческого прошлого, в которых сохранились его поддающиеся расшифровке следы (как правило, письменные и изобразительные), и придать им современный смысл средствами языка. Интеллектуальные историки всегда могут обращаться к таким дисциплинам, как экономика, социология, политология, антропология, философия, и особенно - с учетом герменевтики и целей своего предприятия - гуманитарных дисциплин, начиная с литературы и критики, но одновременно они не должны забывать о своей задаче и об ограничениях, налагаемых их культурным кругозором и дисциплинарными нормами»²³.

Но такая широкая, можно сказать – всеобъемлющая, интерпретация, безусловно, случай экстремальный. Все, что включает в себя формула Дональда Келли, это часть истории культуры в широком смысле слова, которая создается комбинацией всех культурных форм, а не каждой из них в отдель-

French Trajectories // Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives / Ed. by D. LaCapra, S. L. Kaplan. Ithaca, 1982. P. 34.

²³ Kelley D. R. Prolegomena to the Study of Intellectual History // Intellectual News. 1996. № 1. P. 13-14.

сти, что, однако, не лишает нас права (и желания) ставить вопросы и о роли отдельных форм. Более умеренная версия опирается на конкретизацию предмета и исследовательских задач интеллектуальной истории, подчеркивая, что последняя все же сохраняет свою специфику в том, что касается ее ориентации на изучение человеческого интеллекта и интеллектуальной деятельности, а также в особом внимании к выдающимся умам прошлого и текстам «высокой культуры».

Видный французский историк Ж.-Ф. Сиринелли, размышляя в своем интервью над проблемой выяснения семантической разницы между понятиями «культурная» и «интеллектуальная» история, заметил: «В строгом смысле слова, в широком плане, понятие “культурная история” поглощает понятие истории интеллектуальной. Ведь последняя понимается как производство систем структурированных мыслей, поэтому, когда речь заходит о коллективном в историческом процессе или о более глобальной интеллектуальной конфигурации, сложившейся в обществе на данный момент, она охватывается культурной историей. Хотя сегодня некоторые историки стремятся придать интеллектуальной истории автономный статус в рамках исторической дисциплины. В принципе, это нельзя не приветствовать, но в то же время хочется надеяться на то, что при этом не будет оспариваться прочность связей между интеллектуальной и культурной историей. К тому же, следует напомнить, что двадцать лет тому назад именно интеллектуальная история служила матрицей истории культурной. Поэтому, в свою очередь, это обстоятельство подчеркивает неразрывную обратную связь культурной истории и интеллектуальной²⁴».

²⁴ Канинская Г. Н. Историк об историческом знании и о себе. Интервью с директором Центра истории Института политических наук Парижа профессором Ж.-Ф. Сиринелли // Диалог со временем. 2010. Вып. 30. С. 279.

Нельзя не согласиться с констатацией нынешнего состояния симбиоза культурной и интеллектуальной истории, как и их генетических связей. Именно в этом видятся и наиболее благоприятные перспективы развития этих направлений. Однако в современной историографии имеются и другие концепции интеллектуальной истории. Так, у сторонников «новой интеллектуальной истории»²⁵ название «интеллектуальная история», которое первоначально определялось в основном именем проблемного поля, выбранного историками для изучения, приобрело новое значение: оно стало означать общий подход к истории как истории понимания прошлого. Базовой характеристикой нового подхода является признание активной роли языка, текста и нарративных структур в конструировании исторической реальности, и соответственно - предпочтение, отдаваемое анализу дискурсивной практики. Перед исследователем ставится задача выявить структуру исторического нарратива, жанровые свойства, типы и особенности исторического дискурса.

Наиболее перспективной все же представляется теоретическая модель «новой культурно-интеллектуальной истории» с некоторым уточнением, касающимся преимущественного интереса собственно интеллектуальной истории к *историческим категориям мышления, интеллектуальной деятельности и продуктам человеческого интеллекта*, а также к *историческому развитию интеллектуальной сферы* (включая ее художественные, гуманитарно-социальные, на-

²⁵ Подробно об этом направлении см.: *Зверева Г. И.* Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // *Одиссей. Человек в истории.* 1996. М., 1996. С. 11-24; *Она же.* Обращаясь к себе: самопознание профессиональной историографии в конце XX века // *Диалог со временем.* 1999. Вып. 1. С. 250-265; *Она же.* Понятие новизны в «новой интеллектуальной истории» // *Диалог со временем.* 2001. Вып. 4. С. 45-54.

туралистические, философские компоненты) в рамках общекультурной парадигмы.

В такой интерпретации исследовательское поле современной интеллектуальной истории может быть представлено в виде трехуровневой структуры, которая должна включать: 1) анализ разнообразного мыслительного инструментария, конкретных способов концептуализации окружающей природы и социума (то есть субъективности «интеллектуалов» разных уровней); 2) изучение всех форм, средств и установившихся институтов интеллектуального общения; 3) выявление их все усложняющихся взаимоотношений с социальным контекстом и «внешним» миром культуры.

Эти три уровня могли бы соответствовать тем основным направлениям обновленной методологии истории, которые выделил выдающийся французский ученый Жак Ле Гофф как общее наследие истории, развивающейся в русле «Анналов», и прежней истории идей: а) история интеллектуальной жизни, которая представляет собой «изучение социальных навыков мышления» (вспомним Артура Лавджоя!); б) история ментальностей, т.е. история коллективных автоматизмов в ментальной сфере; в) история ценностных ориентаций. В этой связи чрезвычайно значимым представляется утверждение Ле Гоффа о том, что «понятие ценностных ориентаций... позволяет учитывать при изучении истории динамику, изменение; оно восстанавливает феномен человеческих желаний и устремлений, оно восстанавливает этику...»²⁶.

Проблемно-ориентированная интеллектуальная история стремится преодолеть оппозицию между «внешним» и «внутренним», между содержанием текстов и их контекстами. Так, в истории наук заметна тенденция сосредоточить внимание скорее не на готовом знании, а на деятельности по его производ-

²⁶ Ле Гофф Ж. С небес на землю // Одиссей. Человек в истории. 1991. М., 1991. С. 26.

ству, не на доктринах и теориях, а на изучении реально стоявших перед учеными проблем (включая весь спектр конвенций, практик и стратегий, вовлеченных в их постановку и решение), раскрыть диапазон рассматриваемых вопросов, восстановить общий интеллектуальный контекст, организационные структуры и структуры знания, отраженные в энциклопедиях и учебных программах²⁷. В этой модели интеллектуальная история представляется как *непрерывный процесс смены парадигм творческой деятельности в единстве ее условий, образцов постановки и решения задач, полученных результатов, а также способов трансляции и бытования продуктов этой деятельности в различных воспринимающих средах*. Несмотря на то, что многие дисциплины, которые участвуют в междисциплинарном диалоге на исследовательском поле интеллектуальной истории, конечно же, сохраняют собственные традиции и автономию, тем не менее, участвуя в общем деле для решения единой задачи, они приобретают новые перспективы.

Изменения произошли и в более традиционных областях исследований. Огромную роль в деле возрождения и преобразования интеллектуальной истории в 1980-90-е годы сыграло литературоведение, и история литературы «завоевала» в ней особые, можно сказать, привилегированные позиции. Значительное место в современной интеллектуальной истории, как и в ее предшествовавших инкарнациях в историографической традиции XIX в., занимают история философии, а также история политической мысли. Они выступают как в жанре биографий выдающихся мыслителей (биографический подход играет важную роль в самых разных областях интеллектуальной истории), так и в противоположной перспективе - в рамках историко-антропологических исследований, которые иногда называют «интеллектуальной историей»

²⁷ *Jardine N. The Scenes of Inquiry: on the Reality of Questions in the Sciences. Cambridge, 1991.*

снизу". Последние изучают не одни лишь "сияющие вершины", а весь разноуровневый интеллектуальный ландшафт того или иного исторического периода. Особое внимание отводится, с одной стороны, выяснению того, что из более ранних идейных комплексов воспринималось и удерживалось (пусть, как правило, избирательно и непоследовательно) не претендующим на оригинальность массовым сознанием. А с другой стороны, исследуются пути и способы распространения новых идей, в частности через популярную литературу, прежде всего в переломные периоды. Например, ряд фундаментальных работ по истории революций посвящены изучению их интеллектуальных и культурных истоков на базе анализа сотен памфлетов и дешевых изданий для народа, вполне в духе вольтеровского высказывания о том, что «никогда двадцать огромных томов не сделают революции, ее сделают маленькие карманные книжки в двадцать су». Тот же подход применяется и в исследованиях по истории литературы и искусства предреволюционных и революционных эпох. В этой связи нельзя не упомянуть видного американского историка Роберта Дарнтон и его оригинальную концепцию «интеллектуальной истории снизу», или «интеллектуальной истории неинтеллектуалов». Уже с самого начала своих исследований общественного мнения накануне Французской революции, а это было в период практически всеобщего (в западной историографии) увлечения социальной историей и «историей снизу», Дарнтон поставил перед собой цель показать таким же образом и «историю идей снизу», отойти от великих и общепризнанных имен гениальных мыслителей эпохи Просвещения и открыть *terra incognita* ее литературного андеграунда. Он же был одним из первопроходцев в интеллектуальной истории книги и издательского дела²⁸.

²⁸ Подробнее об этом см.: Рубинштейн Е. Б. Роберт Дарнтон: «интеллектуальная история снизу» // Диалог со временем. 1999. Вып. 1.

Между двумя отмеченными перспективами остается место и для изучения «безлюдной» истории идей: например, идеи свободы, равенства, справедливости, прогресса, тирании и других ключевых понятий. Традиционная история идей (у нас, в России – история мысли), которая хоть и растеряла кредит доверия в современном историческом сообществе, все же продолжает существовать, но уже в новом качестве и с новыми партнерами. Применяется и бывший популярным в 1980-е годы метод, ограничивающий изучение складывания той или иной интеллектуальной традиции анализом содержания наиболее влиятельных текстов, хотя эти направления подвергаются критике со всех сторон.

На примере так называемой «религиозной истории», или «истории религиозности», которая в настоящее время выступает как одна из ветвей культурно-интеллектуальной истории, хорошо видно, как решается проблема раздела «сфер влияния» со смежными дисциплинами во всех направлениях интеллектуальной истории. «История религиозности» – это, разумеется, не история церкви как института, с одной стороны, и не история официальной церковной доктрины – с другой, и даже не история ересей и религиозных сект как некая оппозиция последней, а история религиозного сознания и мышления – история разделяемых духовенством и мирянами религиозных традиций, верований и идеалов, задающих интерпретационные модели и выступающих как один из решающих факторов ориентации личностной и групповой интеллектуальной или квази-интеллектуальной деятельности. Впрочем, новые тенденции пронизывают все участки исследовательского пространства интеллектуальной истории.

Неотъемлемая территория современной интеллектуальной истории – история знания, история науки и так называемая дисциплинарная история. В отличие от традиционной

истории науки, которая была историей открытий, воплощающих прогрессивное движение человечества к познанию истины, сегодня она отказывается от интерпретации знаний прошлого исключительно с точки зрения современной научной ортодоксии. Существуют разные подходы к истории науки, но ведущая тенденция состоит в смене *интерналистского* (или сконцентрированного на самой науке) подхода более широким контекстуальным подходом, который соотносит науку с современным ей обществом.

В этой связи актуализируется история интеллектуальных сообществ (включая создание и развитие научных сообществ), которая определяется современной историографией как важная часть широко понимаемой интеллектуальной истории, которая изучает не только результаты интеллектуальной деятельности, но и ее условия. В сложном комплексе условий интеллектуальной деятельности структура и функционирование профессиональных научных ассоциаций занимают отнюдь не последнее место. Проблема формирования и развития научных сообществ (как в историческом прошлом, так и в современном мире) рассматривается, как правило, в институциональной, дисциплинарной и национальной перспективах. Эти ракурсы анализа имеют прочные традиции, а их предпочтение в изучении ассоциаций ученых вплоть до конца XX века вполне правомерно, поскольку отражает как социальные приоритеты, так и сложившуюся профессиональную идентификацию.

Главный объект внимания – не научный результат, а деятельность индивида или коллектива по его производству, что не исключает анализ науки как развивающейся социокультурной традиции. Новая историография науки рассматривает эту область знания (наравне с другими) как одну из форм общественной деятельности и часть культуры, которая не может исследоваться в изоляции от социального, политического и других аспектов интеллектуальной истории. Таким

образом, произошла легитимизация не только *социальной*, но и *культурной истории науки*, важнейшей предпосылкой которой является признание культурно-исторической детерминированности представления о «науке» и «псевдо-науке», о том, чем отличается знание «естественное», или «научное», от «социального» и «культурного».

Хотя история естествознания и техники, оставаясь чрезмерно специализированной, сохраняет инерцию «автономного плавания», она (по крайней мере, в одном из своих направлений), наряду с историей социального и гуманитарного знания, составляет важную часть интеллектуальной истории. Именно интеллектуальная история ориентирована на реконструкцию исторического прошлого каждой из областей и форм знания (включая знания до-научные и паранаучные, религиозные, эстетические) как части целостной интеллектуальной системы, переживающей со временем неизбежную трансформацию. Она также призвана выявлять исторические изменения фундаментальных принципов, категорий, методов и содержания познания, изучать процессы становления и развития научной картины мира, стиля мышления, средств и форм научного исследования - в общем контексте духовной культуры, социально-организационных и информационно-идеологических условий конкретной эпохи.

Сегодня специалисты не разделяют ни презентистской позиции в целом, ни упрощенного представления о возможности сконструировать интеллектуальную историю, как складывают из отдельных фрагментов мозаику, - из истории науки, истории политической мысли, истории философии, истории литературы и т.д., что означало бы проецирование в прошлое структуры современного интеллектуального пространства. Напротив, все больше внимания уделяется как раз тем образованиям в интеллектуальной жизни прошлого, которые впоследствии не оформились институционально, не превратились в

профессиональные виды деятельности или в современные академические дисциплины.

Если история естествознания и техники, как и история литературы и всех видов искусств, обычно выделяются в специальные дисциплины, то история социального и гуманитарного знания составляет важную часть, а по сути – центральное ядро интеллектуальной истории. Приоритетное место в современной интеллектуальной истории занимает анализ истории исторического познания, сознания и мышления. Это связано с тем, что под влиянием идей «лингвистического поворота» и конкретных исследований сторонников «новой исторической критики» радикальным образом преобразилась история историографии, неизмеримо расширив свою проблематику и отведя центральное место изучению дискурсивной практики историка. Взяв на вооружение некоторые принципы и методы литературной критики, она имеет тенденцию к превращению в ее двойника – историческую критику, а интегрируя новые и традиционные методы анализа, получает шанс обрести масштабную и полноценную методологическую базу и стать по-настоящему самостоятельной и самооценной исторической дисциплиной. Как бы то ни было, новые пути открываются там, и только там, где ответом на постмодернистский вызов является не огульное отрицание-отторжение, а углубление рефлексии над основами собственной интеллектуальной и дисциплинарной программы, стратегия обновления и преобразования.

Все более заметное место в современной интеллектуальной истории занимает интенсивный микроанализ, будь то анализ конкретного текста или ситуации, отдельной творческой личности или межличностных отношений в интеллектуальной среде. Персонализированный, или биографический, подход является традиционно приоритетным в истории мысли и науки, не говоря уже об истории художественного твор-

чества, поскольку не подлежит сомнению выдающаяся роль личностного начала в этих областях человеческой активности. Речь идет, таким образом, о совмещении традиций социально-интеллектуальной и персональной истории в попытках найти «мостик», соединяющий «историю личности» с Большой Историей в особом предметном поле, которое можно условно определить как «историю историографии в человеческом измерении».

Итак, ныншняя историографическая ситуация не просто возродила интеллектуальную историю: она качественно изменила свою проблематику, причем ее отличия от других областей историографии лежат не в исключительном обладании особым корпусом исторических свидетельств или набором методов, а в том аспекте прошлого, который она ставит своей целью осветить. Если формулировать в самом общем виде, то с точки зрения внутривидового разделения труда роль интеллектуальной истории состоит в приоритетном изучении когнитивного и рефлексивного аспектов прошлого человеческого опыта.

Предмет интеллектуальной истории в современном ее понимании включает в себя не только историю достижений человеческого интеллекта, то есть результатов интеллектуальной, творческой деятельности, но и историю самой этой деятельности в ее процессуальной незавершенности, и культурную среду, задающую ей свои условия и предпосылки, и биографии самих творцов, и их межличностные связи, и историю распространения и восприятия новых идей и знаний.

Одной из наиболее общих исходных предпосылок современной интеллектуальной истории стало именно осознание неразрывной связи между историей самих идей и идейных комплексов, с одной стороны, и историей условий и форм интеллектуальной деятельности. Нельзя, однако, не отметить, что проблема отношения между «внутренним» и «внешним», меж-

ду идей (содержанием, текстом) и контекстом принадлежит, видимо, к категории вечных, по крайней мере это верно для интеллектуальной истории. Эта проблема была центральной в теоретических дискуссиях специалистов по интеллектуальной истории еще со времен А. Лавджоя, который, ратуя за содержательную историю идей и изучение их влияния на различные аспекты жизни, не мог не рассматривать их появление, изменение и распространение в соответствующем «внешнем» контексте, и Р. Дж. Коллингвуда, который считал, что сама идея рождается как ответ мыслителя на контекст настоящего, как результат интериоризации «внешнего» социального контекста²⁹. Делая акцент на аналитическом подходе к истории идей как истории мысли, Р. Дж. Коллингвуд писал: «...Простая инвентаризация интеллектуальных богатств, которыми мы располагаем сегодня, не может объяснить, по какому праву мы пользуемся ими. Это можно сделать только одним способом – анализируя, а не просто описывая их и показывая, как они были созданы в ходе исторического развития мысли»³⁰. И, более того, по сути дела, изучаемый способ мышления и историческая ситуация, к которой он принадлежит, образуют в этом аспекте исследования одно нераздельное целое³¹.

Тем не менее, сколько-нибудь надежный способ реализации такого тщательно сбалансированного подхода не был тогда найден, и весь долгий путь развития истории творческой мысли и форм интеллектуальной деятельности как отрасли

²⁹ Подробнее об этой десятилетиями обсуждаемой проблеме см.: Чен Синь. Интеллектуальная история в контексте глобализации // Диалог со временем. 2005. Вып. 14. С. 11-12.

³⁰ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 219.

³¹ См. поддержку основной идеи Коллингвуда, направленную против традиций эмпирической эпистемологии, и конструктивную критику в его адрес за недостаточное внимание к этому вопросу: Уинч П. Идея социальной науки. М., 1996.

исторического знания можно описать траекторией челночного движения от одного из полюсов вечной дихотомии «внутреннего» и «внешнего» – к другому ее полюсу: то содержание идей вовсе абстрагировалось от реального контекста их порождения и бытования (у так называемых «последователей» Артура Лавджоя), то происходила явная редукция «внутреннего» аспекта изучения идей к «внешнему» социальному контексту, как это ярко проявилось во французской «истории интеллектуалов» и в «социальной истории идей», или же, как это было сформулировано Р. Бартом: «интеллектуальная история – это не история произведений, и не история авторов, а изучение среды, в которой вызревают идеи и действуют интеллектуалы, – совокупность мыслительных привычек»³².

Описанное движение имеет свою аналогию в нынешней историографической ситуации: речь идет о смещении ведущего вектора анализа от содержания, идей и концепций изучаемых текстов (произведений) к исторической социологии знания в ее различных версиях³³ и далее – к так называемой «проблемно-ориентированной» интеллектуальной истории.

Именно о таком сдвиге на примере собственной интеллектуальной биографии точно и эмоционально высказался вы-

³² Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика М., 1994. С. 216.

³³ Это относится и к методу социологии интеллектуальных сетей видного американского социолога Рэндалла Коллинза, который представляет творчество мыслителя как определенный результат его прошлых сетевых взаимодействий (прямых и опосредованных). Коллинз исследует вертикальные («учитель-ученик») и горизонтальные (внутри соперничающих между собой кружков единомышленников) личные связи между интеллектуалами, а также структурные факторы внешнего социального окружения. См.: Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. Хотя следует заметить, что в 1990-е годы в связи с «лингвистическим» и «культурологическим» поворотами социологическая версия интеллектуальной истории отошла на второй план.

дающийся американский историк Роберт Дарнтон в одном из интервью: «Начав с интереса к философии и традиционной истории идей, я постепенно отклонился в своих исследованиях в другую сторону, поскольку меня увлекло распространение идей в низах общества. Мне захотелось создать «социальную историю идей» (выражение Альфонса Дюпрона), написать историю мысли «снизу», как это было принято называть в 1960-х годах. Меня мало волнует передача философских систем от одного мыслителя к другому. Мне интереснее разбираться в том, как понимают мир простые люди, какие они приносят в него чувства, откуда черпают информацию и как воплощают ее в стратегию выживания при создавшихся обстоятельствах. Для меня простые люди умны, хотя они не интеллектуалы. И я подумал: почему бы не создать интеллектуальную историю неинтеллектуалов... или, если угодно, историю мировоззрений, историю ментальностей, которая бы сосредоточила свое внимание не столько на определяющей роли общественного устройства, сколько на том, как люди постигают смысл окружающей действительности (курсив мой – Л.Р.)?»³⁴.

В этой последней фразе была, по существу, выражена все более набирающая силу и, несомненно, позитивная тенденция к решению сложной методологической задачи на основе «проблемной» или «проблемно-ориентированной» интеллектуальной истории, которая стремится преодолеть оппозицию между «внешней» и «внутренней» историей идей и текстов, между их содержанием и контекстом, избегая при этом опасности редукционизма. Аллан Мегилл справедливо подчеркивает: «История идей (включая интеллектуальную историю, в том случае, если она не упрощает интеллектуальный объект, с которым имеет дело) старается поместить идеи в тот или иной исторический контекст и интерпретировать их в свете этой контек-

³⁴ Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М., 2002. С. 348.

стуализации, не сводя идеи к этифеноменам чего-либо более значимого (курсив мой – Л.Р.)»³⁵. Таким образом, в современной историографической ситуации, когда вопрос о том, как соединить внешний и внутренний аспекты исследования, приобрел особую остроту, наиболее перспективные предложения³⁶ для его решения оказались направлены на изучение *проблем*, с которыми сталкивался и которые ставил перед собой мыслитель или ученый прошлого, осмысляя реальность своего настоящего и отвечая на вопросы и вызовы времени.

Исходя из понимания неразрывности культурно-интеллектуальной истории, признанный теоретик и «патриарх» истории идей Дональд Келли пишет, обращаясь к той же проблеме «содержания» и «контекста»: «Интеллектуальная история есть внутренняя сторона (the inside) культурной истории, а культурная история – внешняя сторона (the outside) интеллектуальной истории»³⁷. При этом “the inside” отсылает как к индивидуальной психологии и ментальностям, так и к внутренней логике теорий и дискуссий, к рассмотрению собственно идей, выраженных в словах и текстах. “The outside” отсылает как к коллективному поведению, унаследованным и воспринятым практикам, культурному окружению, так и к тем обстоятельствам и условиям, в которых вырабатываются теории и ведутся дискуссии. Стараясь идти в узком «фарватере» между Сциллой экстернализма, как доминирующей модели в историографии науки, и Харибдой традиционного (и, как ранее многим казалось, непреодолимого) интернализма истории идей, Д. Келли рассматривает всю *историю ис-*

³⁵ Мегилл А. Глобализация и история идей // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 14. М., 2005. С. 16.

³⁶ См., в частности: Jardine N. Intellectual History and Philosophy of Science // Intellectual News. 1996. № 1. P. 33-34.

³⁷ Kelley D. Intellectual History and Cultural History: the inside and the outside // History of the Human Sciences. 2002. Vol. 15. P. 1.

тории идей от Античности до Современности как историю взаимодействия многочисленных ветвей знания и академических дисциплин, пересекающихся в ее предметном поле³⁸.

Судя по тематике многочисленных дискуссионных выступлений на научных форумах и в периодических изданиях последних лет, все более актуальным в современной историографической ситуации становится определение и переопределение расширяющегося исследовательского пространства интеллектуальной истории и, соответственно, самоопределение тех, кто ею профессионально занимается.

Яркую и точную метафору изменчивого пространства интеллектуальной истории предложил в свое время российский ученый С. А. Экштут: «Интеллектуальная история есть не только непрерывный процесс творческой деятельности, но и совокупность ее результатов, локализованных в пространстве и времени... Образно интеллектуальная история легко представима в виде некоторого пространства, границы которого непрерывно меняются во времени: они постоянно пульсируют, расширяясь и сжимаясь»³⁹.

Сегодня нередко интеллектуальную историю называют либо «контекстуализированной», либо «контекстуально ориентированной», или даже «экстерналистской», специально маркируя таким образом ее отличие от более традиционной (чтобы не сказать – устаревшей) «внутренней», «интерналистской» истории идей.

Известный британский историк Роджер Смит относит к основным причинам, которые привели к контекстуализации в истории знания, следующие: требование объяснять значение высказываний намерениями говорящих, а также их практиче-

³⁸ Kelley D. *The Descent of Ideas: The History of Intellectual History*. Aldershot, 2002.

³⁹ Экштут С.А. Пространство интеллектуальной истории // *Диалог со временем*. 2001. Вып. 4. С. 20.

ским использованием; желание подогнать исследование в области истории социально-гуманитарного знания под обычные стандарты академической истории; стремление выявить ценностный и политический контекст утверждений о знании; намерение показать, как знание конструируется в чисто социальных категориях; предположение о том, что утверждение о знании чего-либо – это лишь часть дискурса⁴⁰.

В сущности, все перечисленные обстоятельства сыграли свою роль, как в истории науки, так и в интеллектуальной истории в целом. Новый прагматический подход к изучению интеллектуальных процессов, не ограниченный только идеями (учениями, теориями и т.п.), а «погружающий» последние в исторический контекст их возникновения, бытования и восприятия, демонстрирующий осознание взаимосвязанности идей, проблем и способов их разрешения, предстает как результат весьма длительной дискуссии о соотношении между «внутренним» и «внешним» аспектами истории идей⁴¹, т.е. между содержанием мышления, воплощенным в тексте, и социальным контекстом творчества.

А между тем, контексты интеллектуальной истории разнообразны и очень подвижны (как, впрочем, и само это понятие и его неоднозначные интерпретации). Контексты варьируются между полюсами личностного и глобального, а порой их проблематизация направлена на сближение и взаимодействие.

Биографический анализ занимает достойное место в интеллектуальной истории. Вспомним знаменитую дискуссию о роли биографического анализа в истории экономиче-

⁴⁰ См.: *Смит Р.* История и история наук о человеке: чей голос? // Коллаж . 3. Социально-философский и философско-антропологический альманах. М., 2000. С. 6-26 (С. 9-10).

⁴¹ Подробнее о дискуссиях вокруг этой проблемы и способах ее решения см.: *Kelley, Donald.* What is Happening to the History of Ideas? // *Journal of the History of Ideas.* Vol. 51. № 1. P. 12-13.

ской мысли – спор между Дж. Стиглером и У. Жаффе, которые исходили в оценке возможностей использования биографической информации в истории экономической науки из противоположных установок)⁴². На самом деле дискуссия серьезно затрагивала гораздо более широкую проблематику – истории мысли в целом. Аналогичная полемика имела место и в отношении биографий философов. Инициировавший это обсуждение Т. Мур подчеркнул необходимость контекстуального подхода, совпадающего по своим принципам и интенциям с позицией У. Жаффе, который считал невозможным раскрыть генезис теоретической работы ученого без обстоятельного анализа социального и интеллектуального контекста его творчества⁴³. Нельзя также не признать, что «личностная» составляющая интеллектуальной биографии не только позволяет проникнуть в «лабораторию мысли», но и выполняет определенную воспитательную функцию⁴⁴.

Впрочем, таким типом научной биографии, как анализ «лаборатории мысли», репертуар известных и становящихся все более распространенными биографических исследований в интеллектуальной истории не исчерпывается. Они не только весьма разнообразны, но и достаточно далеко продвинулись в методологическом плане, оперируя концептуальными разработками микроистории, дискурсивного анализа и персональ-

⁴² Проблема использования биографического подхода в истории науки (и в интеллектуальной истории в целом) была проанализирована выше, в главе 7, в связи с общими проблемами современного состояния и перспектив развития «персональной», или «новой биографической истории».

⁴³ См.: *The Chronicle of Higher Education*: 6/7/2002. Источник – <http://chronicle.com>.

⁴⁴ См. об этом: *Нейман А. М.* Биографии в истории экономической мысли и опыт интеллектуальной биографии Дж. М. Кейнса // *История через личность: историческая биография сегодня* / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2005. С. 333-334.

ной истории. Приведу здесь только один пример – книгу Ч. Сенгупта об Отто Вайнингере, в которой автор, детально анализируя тексты и выделяя в них различные дискурсы, параллельно выясняет биографический, культурный, научный и идеологический контексты, породившие эти тексты, а также влияние последних в свое время и в последующие периоды. Примечательно, что исследователь всегда видит за текстом биографию личности, интеллектуальную традицию и эпоху⁴⁵.

Похоже, что подобный синтез биографического, текстуального и социокультурного анализа уже составляет характерную черту современной интеллектуальной биографии, и именно с ним связываются наиболее оптимистические оценки ее перспектив, особенно те, которые исходят из максимально расширительного понимания задач современной интеллектуальной истории⁴⁶. Так, американский историк Джозеф Ливайн

⁴⁵ *Sengupta, Chandak. Otto Weininger. Sex, Science and Self in Imperial Vienna. Chicago; L., 2000.* Нельзя также не заметить, что значительная часть работ, анализирующих наследие мыслителей прошлого, стилистику научного и художественного творчества Нового и Новейшего времени, вводит в контекст интеллектуальной истории гендерную проблематику. См.: *Margadant J. B. Madame le Professeur: Women Educators in the Third Republic. Princeton, 1987; Schiebinger L. The Mind Has No Sex: Women in the Origins of Modern Science. Cambridge (Mass.), 1989; Eadem. Nature's Body: Gender in the Making of Modern Science. Boston, 1993; Hill B. The Republican Virago: The Life and Times of Catherine Macaulay. Oxford, 1992; Moi T. Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman. Oxford, 1994; Dyhouse C. No Distinction of Sex: Women in British Universities, 1870–1939. L., 1995; Berg M. A Woman in History: Eileen Power, 1889–1940. Cambridge, 1996; Weaver S. A Marriage in History: The Lives and Work of Barbara and J. L. Hammond. Stanford, 1997; Smith B. G. The Gender of History: Men, Women, and Historical Practice. Cambridge (Mass.); L., 1998; Women in Science: A Social and Cultural history. L., 2007; Salter E. Six Renaissance Men and Women: Innovation, biography and cultural creativity in Tudor England, 1450–1560. Aldershot, 2007; etc.*

⁴⁶ См., например: *Johnson, Barry V. Pitirim A. Sorokin. An Intellectual Biography. Lawrence, 1995; Aguirre Rojas, Carlos Antonio. Fernand*

даже назвал эту процедуру «обычной» и подчеркнул: «прежде чем определить место, например, Томаса Мора в интеллектуальной истории, нужно сначала обратиться к тому, чем он занимался, когда создавал «Утопию», а это невозможно сделать, опираясь только на его текст, или даже в контексте предшествующих сочинений, касавшихся, как кажется, того же предмета... Я показал, как это могло бы быть сделано... при помощи обращения к обстоятельствам жизни Мора и политической ситуации на момент написания текста – то есть того, что я назвал “обычной историей” (курсив мой – Л. Р.)»⁴⁷.

В условиях глобализации и очевидного расхождения между экономико-технологическими процессами и идеями, которые движут людьми, остро ощущается необходимость существенно и в кратчайшие сроки переосмыслить теоретические, критические, методологические и аксиологические основания интеллектуальной истории. Именно в этом направлении развиваются современные дискуссии о месте и задачах интеллектуальной истории в эпоху глобализации⁴⁸.

Braudel у las ciencias humanas. Montesinos; Barclone, 1996; Berg M. A Woman in History: Eileen Power, 1889-1940. Cambridge, 1996; Ignatieff M. Isaiah Berlin: A Life. L., 1998; Stafford, Andy. Roland Barthes, Phenomenon and Myth: An Intellectual Biography. Edinburgh, 1998; Viroli, Maurizio. Niccolo's Smile: A Biography of Machiavelli. N. Y., 2000. P. 87; Miller P. Peirese's Europe: Learning and Virtue in the Seventeenth Century. New Haven; L., 2000; Gerhardt, Uta. Talcott Parsons. An Intellectual Biography. N.Y., 2002; Capaldi N. John Stuart Mill: A Biography. Cambridge, 2004; Schneider, Ulrich Johannes. Michel Foucault. Frankfurt a. M., 2004; Tanguay, Daniel. Leo Strauss: une biographie intellectuelle. Paris, 2005; Caldwell, Bruce. Hayek's Challenge: An Intellectual Biography of F.A. Hayek. Chicago, 2005; Brown, David S. Richard Hofstadter: An Intellectual Biography. Chicago, 2006; как и многие другие работы последнего десятилетия.

⁴⁷ Ливайн, Джозеф. Интеллектуальная история как история // Диалог со временем. 2005. Вып. 14. С. 38.

⁴⁸ Некоторые материалы дискуссии, состоявшейся на ежегодной конференции Международного общества интеллектуальной истории в

В некоторых высказываниях можно уловить и наметившуюся тенденцию к предельной экспансии пространства интеллектуальной истории⁴⁹, к совмещению ее предметного поля с «историей вообще»: «Структура интеллектуальной истории определяется соотношением контекста, идеи и истории. По сути, все исторические дисциплины – экономическая история, историческая демография, социальная история, культурная история, история окружающей среды и др., – могут быть включены в рамки интеллектуальной истории, не говоря уже об истории философии, литературы, науки, социологии и т.п. Но для того, чтобы сделать это, мы должны понять соотношение между идеей и каждой из исторических дисциплин. Легко заметить, что историки неизменно сводят исторические события или феномены, которые они интерпретируют, к норме, сформированной на основе определенной идеи, так что они могут затем понять их, истолковать и описать как процесс исторического развития, социальных изменений, культурных инноваций и т.п. И поскольку историки имеют различные представления об истории и исторической репрезентации, они порождают “объективные истории”, различающиеся по форме и содержанию, но основывающиеся на одном и том же материале. Но осознали ли мы, что лишь поместив эти дисциплины в рамки интеллектуальной истории, где контекст, идея и история соотношены друг с другом, мы сможем понять междисциплинарную и межкультурную коммуникацию и обратиться к проблемам, порожденным нынешним контекстом глобализации, так как в противном случае исторические дисциплины утратят свое значение из-за неспособности справиться с этими

2004 г., опубликованы в журнале «Диалог со временем» под специальной рубрикой «Интеллектуальная история в глобальный век» (Вып. 14, 2005).

⁴⁹ Подобное явление в историографии не является чем-то необычным. Можно вспомнить наиболее яркий в этом отношении пример «новой социальной истории». Подробно об этом см.: *Ретина Л. П.* «Новая историческая наука» и социальная история. М., 2009 (1 изд. – М., 1998).

проблемами?»⁵⁰. И более того, речь идет о дальнейшей глобальной экспансии интеллектуальной истории: «...Сфера деятельности интеллектуальной истории должна расширяться во времени и пространстве; она должна стремиться обнаружить общие интересы человечества и опереться на них при конструировании глобальной идентичности»⁵¹.

Что же это значит – писать интеллектуальную историю в глобальном контексте? Такой посыл вновь возвращает нас к вечному вопросу о соотношении между «внутренним» и «внешним» аспектами интеллектуальной истории, между «текстом» и «контекстом».

Если до 1960-х годов основное внимание исследователи уделяли пресловутой «внутренней стороне», а после – социальному контексту, вследствие чего интеллектуальная история отступила перед социальной историей интеллектуалов, «выплеснувшей с водой» высказанные ими идеи, то потребовалась мощная «встряска» лингвистического поворота второй половины 1980-х – начала 1990-х годов, пробудившего интерес историков к теориям языка, речи и построению текста, чтобы затем, в ходе преодоления крайностей «постмодернистского вызова» вновь привлечь внимание к внелингвистическим, социальным характеристикам дискурса, связанным с событийным контекстом, в котором создается и распространяется текст, а также с индивидуальными целями, интересами, мировоззренческими ориентациями его творца и коммуникативной ситуацией «читателя».

Стало понятно, что интерпретируя тексты, совершенно недостаточно восстановить их «лингвистический» контекст, а непременно требуется выявить *все* обстоятельства их создания, включая динамическую составляющую рассматриваемой ис-

⁵⁰ Чен Синь. Интеллектуальная история в контексте глобализации // *Диалог со временем*. Вып. 14. 2005. С. 32.

⁵¹ Там же. С. 36.

торической ситуации и перипетии интеллектуальной биографии автора. Однако это невозможно сделать в пределах анализируемого текста и даже «полного собрания сочинений» автора (как предшествующих произведений, так и последующих). Для того чтобы понять авторское высказывание, необходимо «увидеть» весь процесс его порождения, в котором «вызов» встающих перед мыслителем проблем соединяется с реальными социально-политическими и жизненными обстоятельствами, с его интересами, намерениями и целями, с располагаемыми культурно-интеллектуальными ресурсами, с событийным рядом его действий по производству текста и пр.

Таким образом, проблемно-ориентированная интеллектуальная история отказалась от исконной дихотомии «внутреннего» и «внешнего», содержания и конкретных условий интеллектуальной деятельности. Например, в истории наук внимание исследователя сосредоточивается скорее не на собственно теориях как таковых, а на изучении реально стоявших перед учеными проблем (включая весь спектр конвенций, практик и стратегий, вовлеченных в их постановку и решение), ставится задача раскрыть диапазон рассматриваемых ими вопросов, восстановить более общий интеллектуальный контекст, организационные структуры и структуры знания, отраженные в энциклопедиях и учебных программах⁵².

Фокусировка на постоянно возникающих перед человеческим разумом и разрешаемых им проблемах, а не на учениях и теориях, позволила включить идеи и тексты в их исторический контекст, совместить их с целью понять высказывание или текст как событие, результаты которого определяются как мыслительным процессом, так и внешними обстоятельствами. Подчеркнем: речь идет о порождении идеи, помогающей решить проблему, как о *реакции мыслителя на вызов контекста*.

⁵² См.: *Jardine N. The Scenes of Inquiry: on the Reality of Questions in the Sciences*. Cambridge, 1991.

Именно такой подход, интегрирующий содержание и контекст, позволяет, по удачному выражению Дж. Ливайна, «представлять мысль в динамике – как ответ на конкретные проблемы и меняющиеся ситуации». Впрочем, «помещение мысли в контекст времени и установление связей с тем, что было до нее, и что пришло после» является главной задачей не только интеллектуальной истории, но и «истории вообще»⁵³.

Смещение внимания исследователей от изучения преемственности в развитии идей к познанию каждой из них в контексте собственного времени, места и окружения знаменует переход от абсолютизации объекта своего изучения к его последовательной к релятивизации. «Внутреннее содержание» (идея, учение, теория, текст) выступает одновременно как результат интериоризации мыслящим субъектом внешнего социально-культурного контекста и как возможная предпосылка трансформации последнего. При этом ориентация на социокультурный контекст вовсе не означает редукцию к нему того, что составляет содержательную, «внутреннюю» сторону объекта интеллектуальной истории. Как выразился по поводу «идей, несводимых к чему-то еще», А. Мегилл, «идеи имеют последствия (курсив мой. – Л. Р.), и именно по этой причине они заслуживают критического и исторического изучения»⁵⁴.

Первейшая задача исследования, выполненного в одной из ведущих парадигм интеллектуальной истории – понять исторический текст (будь то письменный текст, созданный средствами языка, феноменологический текст как социальная репрезентация или же текст, порожденный поведением субъекта), т.е. *понять выраженную в тексте идею*. Но это, в свою очередь, означает – выявить во всех его конкретных де-

⁵³ Ливайн Дж. Интеллектуальная история как история // Диалог со временем. Вып. 14. 2005. С. 51.

⁵⁴ Мегилл А. Глобализация и история идей // Диалог со временем. Вып. 14. 2005. С. 20.

талях тот «контекст, в котором эта идея возникла, ограничения, которые эта идея как форма накладывает на исторический текст, и вызванное этими ограничениями воздействие “объективной истории” на состояние воспринимающего субъекта»⁵⁵.

Интеллектуальная история включила в свое исследовательское пространство изучение не только обстоятельств самого рождения идей, но и их последующего распространения (как в синхронном, так и в диахронном измерении), охватив, таким образом, наряду с каноническими фигурами великих ученых и мыслителей, авторов второго и третьего плана, и еще более скромных медиаторов⁵⁶. При этом траектория творческой жизни ученого или мыслителя – на разных ее отрезках – возвращает исследователя к необходимости последовательного сопоставления результатов их деятельности в разных интеллектуальных контекстах, включая предшествующее этой деятельности состояние науки, *современность* – с позиции героя биографии, *актуальность* – с точки зрения самого биографа, а также видение им *перспектив* дальнейшего развития науки.

В контексте же изучения интеллектуальных традиций на первый план выходит проблема глубины исторической ретроспективы (как она видится из той точки на темпоральной шкале, которая принимается за настоящее), определения границ находящегося в процессе становления направления/области знаний/дисциплины и специфики восприятия предшественников или же целенаправленного поиска «отцов-основателей», «благородных предков» (с солидным «символическим капиталом»), который завершается построением желаемой интеллектуальной генеалогии. Изучая какой-либо период в истории науки (как и при осмыслении ее настоящего), важно знать не

⁵⁵ Чен Синь. Интеллектуальная история... С. 32.

⁵⁶ В частности, эта проблема стала одной из центральных в уже упоминавшейся сложной сетевой модели изучения интеллектуальных изменений. См.: Коллинз Р. Социология философий...

только ее текущее состояние, но и как в то время оценивалось то, что было сделано предшественниками, как было ими конфигурировано искомое исследовательское пространство и как виделась их персональная иерархия в динамическом плане⁵⁷.

Переосмысление теоретических, критических и аксиологических оснований интеллектуальной истории приводит к существенному расширению ее проблемного поля, развитию исследовательского вопросника:

- *как и почему* те или иные идеи или теории возникали,
- *как и почему* менялся их смысл,
- *как, кем и в какой форме* они распространялись,
- *какое воздействие* они оказывали в черед сменяющихся друг друга конкретно-исторических контекстов,
- *почему* одни идеи распространялись быстрее, чем другие,
- *как и почему* некоторые становились «вечными», в то время как другие были обречены на скорое забвение,
- *почему* одни тексты становились каноническими, а другие маргинализировались,
- *как* устанавливались и менялись взаимосвязи между издавна существующими и вновь возникающими идеями, концепциями, теориями, учениями, культурными традициями, системами знания, ценностей, смыслов.

Этот постоянно расширяющийся круг вопросов стягивает в неразрывный узел «внешние» и «внутренние» аспекты интеллектуальной истории. Современная интеллектуальная история основывается на понимании социального контекста интеллектуальной деятельности как культурно-исторической ситуации, задающей не только условия, но вызовы и проблемы, которые требуют своего разрешения. Формирование в обществе новых ценностных ориентиров не только отражает-

⁵⁷ Подробнее об этом см.: *Репина Л. П.* От личного до глобального: Еще раз о пространстве интеллектуальной истории // *Диалог со временем*. Вып. 14. 2005. С. 5-10.

ся на исходных предпосылках мыслителя и постановке им проблем, но во многом определяет результаты познавательной и творческой деятельности, которая, в свою очередь, преобразует собственные контексты. Так изучение интеллектуальной культуры преодолевает дисциплинарные границы и превращается в особый способ понимания прошлого.

Место интеллектуальной истории в профессионально-историческом образовании, несомненно, будет расти. В начале третьего тысячелетия нет нужды доказывать роль интеллектуального труда в развитии человеческой цивилизации. Столь же аксиоматичным представляется и значение изучения истории исторического, гуманитарного, социального знания для формирования всесторонне подготовленного историка-профессионала, что становится еще более актуальным, поскольку именно в данной сфере исторической науки происходит наиболее интенсивный пересмотр ее основополагающих принципов и разрабатываются новые подходы.

ГЛАВА 9

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ ИСТОРИОГРАФИИ

Введение в активный научный оборот понятия «интеллектуальная культура» было связано с той трансформацией, которую пережили история идей и интеллектуальная история в последней трети XX века.

В этом плане интересно, например, проследить эволюцию, которую претерпел первый проект по истории интеллектуальной культуры, разрабатывавшийся в Университете Калгари (Канада) во второй половине 1990-х годов.

Первоначальный замысел состоял в создании научного форума, способного объединить ученых, заинтересованных в междисциплинарном изучении сферы высшего образования (прежде всего – истории канадских колледжей и университетов). Через несколько лет внимание инициаторов проекта сосредоточилось на выявлении роли профессуры в университетских сообществах и в жизни общества в целом: в чем выражались их действия в качестве исследователей, преподавателей, распространителей знаний, государственных служащих и т.д., как согласовывались эти «часто конфликтующие между собой идентичности» и «этнос интеллектуализма», а также каковы были разнообразные социально-исторические контексты их деятельности? В результате предполагаемый формат журнала по истории высшего образования оказался совершенно неадекватным разросшемуся проекту.

Стартовым для нового шага в расширении проблематики стал концептуальный вопрос – о содержании понятий «ин-

теллектуал» и «интеллектуальное»: разве интеллектуалы не могут выступать одновременно как наемные работники, общественные деятели, предприниматели, политики и бюрократы, как «индивиды с определенной этничностью, образом жизни, философией, профессиональным занятием?.. Ясно, что интеллектуализм выходит за пределы академических границ». Так проект, который сначала ограничивал свою задачу исследованием проблем высшего образования, превратился в гораздо более масштабное предприятие – создание форума для научной работы по изучению «культуры интеллектуалов и интеллектуализма в обществе», а в конечном счете – по *истории интеллектуальной культуры*.

Как заявили, объясняя свою новую программу, редакторы международного междисциплинарного электронного журнала «История интеллектуальной культуры» в его первом выпуске (2001 г.), они «хотели бы сделать упор на изучение истории идей в связи с их материальным и нематериальным окружением, с теми матрицами, в которых идеи, мысли, споры, языки и нарративы формировались, распространялись и обсуждались», исходя из того, что «все идеи в высшей степени подвижны, изменчивы и контекстуальны, что идеи вовсе не трансцендентальны, а являются творением личности, места, времени, действия, гендера, этничности, опыта, обстоятельства, перспективы, дисциплины, мотиваций, предрасположенности и идентичности...»¹.

Опираясь на тезис о существовании множества контекстов интеллектуализма, инициаторы проекта поставили во главу угла ключевой вопрос: «каковы были социально-исторические силы, которые приводили в движение интеллектуальную мысль?...»². В результате был обозначен чрезвычай-

¹ Stortz P. J., Panayotidis E. L. Editors' Introduction // *History of Intellectual Culture*. 2001. No. 1 (<http://www.ucalgary.ca/hic>).

² Ibidem.

чайно широкий круг тем, нашедших место в исследовательском поле истории интеллектуальной культуры. Список, отражающий потенциальный диапазон современных направлений изучения интеллектуальной культуры, включает следующие темы и аспекты исследования (список, разумеется, отнюдь не закрыт):

- социальные, философские, научные, политические и экономические идеи, идеологии и дискурсы в их исторических контекстах;
- история культур, сообществ и социальных движений, опирающихся на разделяемые их участниками идеи;
- история образования, включающая анализ обучения, исследования профессорской и административной деятельности, размещение ресурсов, политическую и интеллектуальную среду, дисциплинарную структуру и т.д.;
- роль идей и дискурсов в историческом конструировании государства, сообщества, нации, гендера, этничности, религии и т.д.;
- идеологические контексты в истории науки и средств коммуникаций;
- биографии интеллектуалов;
- история женщин и интеллектуальная культура; и т.д.

Интеллектуальная культура – понятие весьма сложное по своему внутреннему содержанию. При наличии определенного общего фонда, интеллектуальная культура каждой эпохи многослойна: это и так называемая элитарная, и профессиональная культура, и идеи, разлитые в обществе (на разных его уровнях). Интеллектуальная культура состоит из привычных способов мышления, языков и средств коммуникации, которые включают элитарные и «народные» типы дискурса, манеру думать, читать, писать и говорить.

Характерные черты интеллектуальной культуры определяются материальными и социальными условиями и

«внешними» интеллектуальными влияниями. Интеллектуальная культура – это не абстрактные идеи, а совокупный ментальный и вербальный фонд того общества, которое использует их, пуская в обращение среди современников посредством устной речи, письма и других средств коммуникации. Важно еще раз подчеркнуть: интеллектуальная культура – это не только тексты, она имеет коммуникативную природу, и одним из самых, на наш взгляд, перспективных направлений является анализ процесса обмена элементов интеллектуальной культуры, ее «социального обращения»³.

Привлекая знания и достижения современного психоанализа, семиологии, литературной критики, историки пытаются понять правила построения и прочтения исторических текстов. Внимание уделяют изучению самого процесса интеллектуальной деятельности, описывают то, чем занимались интеллектуалы в тот или иной исторический период, как взаимодействовали с остальным обществом. Подробно исследуются и результаты мыслительной деятельности ученых (их сочинения, включая научные труды, и все другие продуцированные ими в процессе интеллектуальной деятельности тексты анализируются как исторические источники с учетом видовой и жанровой специфики), и рефлексия над этими результатами, и способы репрезентации нового знания, и история интеллектуальной жизни отдельных групп (интеллектуальных сообществ), коммуникативных практик, а также история идей в локальных социальных контекстах и конкретных познавательных ситуациях. В исторических реконструкциях интеллектуальной культуры скрещиваются перспективы

³ Термин «социальная циркуляция (обращение)» в применении к содержанию понятия «историческая культура» ввел Д. Вульф. См.: *Woolf D. The Social Circulation of the Past: English Historical Culture 1500–1730. Oxford, 2003. P. 9–10.* См. также: *Woolf D. Reading History in Early Modern England. Cambridge, 2000.*

«истории вообще», истории ментальностей и исторической антропологии, исторической когнитивистики, социальной истории и социологии науки, «автономных» дисциплинарных историй, исторической биографики.

Таким образом, изучение истории интеллектуальной культуры включает как анализ текстов, разнообразного мыслительного инструментария, навыков мышления, способов концептуализации окружающего мира природы и социума (т.е. субъективности «интеллектуалов» разных уровней), так и исследование всех форм, средств, институтов (формальных и неформальных) интеллектуального общения в их целостном социально-культурном контексте, в их все усложняющихся взаимоотношениях с «внешним» миром культуры.

Речь идет об определенной общекультурной «почве» или «общекультурном фонде»⁴: базовых идеях, представлениях, ценностях, стереотипах, символах, мифах, различных элементах «ментальной программы» в режиме длительной временной протяженности, с учетом процесса и эффекта кросс-культурных и кросс-темпоральных взаимодействий, наиболее ярко проявляющихся как раз в интертекстуальной реальности интеллектуального пространства в форме продолжающейся (непрерывно или с существенными временными разрывами) серии коммуникаций между автором и последующими поколениями читателей и интерпретаторов⁵.

⁴ Ср. с концепцией «общего религиозного фонда» Л. П. Карсавина: *Карсавин Л. П.* Основы средневековой религиозности в XII – XIII ввках, преимущественно в Италии. Пг., 1915; *Он же.* Культура средних веков. Пг., 1918; и др. См. также: *Ястребицкая А. Л.* Историк культуры Лев Платонович Карсавин: у истоков исторической антропологии в России // *Диалог со временем: историки в меняющемся мире* / Под ред. Л. П. Решинной. М., 1996. С. 35-68.

⁵ В этом смысле можно говорить и о той консолидирующей роли, которую играет интеллектуальная история для конституирования неформального «воображаемого сообщества» интеллектуалов.

9.1. Интеллектуальная культура как маркер исторической эпохи

Интеллектуальная культура формируется и развивается в определенных координатах пространства и времени. В каждую историческую эпоху с изменением условий существования по-своему раскрываются природа и возможности человека⁶, отношения людей с окружающим миром, социальные взаимодействия, ценностные ориентации, познавательные приоритеты, доминирующие идеи, ведущие тенденции в развитии культуры. Системный анализ интеллектуальной культуры эпохи невозможен без исследования более широкого контекста интеллектуальной деятельности⁷.

Разумеется, деление всемирной истории на эпохи и периоды тесно связано с историей событийной. Вместе с тем, в понятии «историческая эпоха» неизбежно подразумевается определенное качественное своеобразие. Утверждение в историографии этого понятия связывается с формированием исторического сознания, с дифференциацией прошлого, настоящего и будущего «как качественно различных и в то же время обладающих свойством преемственности периодов»: «Огромное значение для укоренения этих темпоральных представлений имели три “открытия”, совершенные в эпоху Возрожде-

⁶ Критику конструкта «человек такой-то эпохи» см. в статье О. Е. Кошелевой. См.: *Кошелева О. Е.* Понятие «человек эпохи Просвещения» как историографический конструкт // *Историк в меняющемся пространстве российской культуры* / Гл. ред. Н. Н. Алеврас. Челябинск, 2006. С. 88-95. Впрочем, акцент на «возможностях» снимает излишнюю жесткость этого конструкта.

⁷ См.: *Christie N. J.* From Intellectual to Cultural History: The Comparative Catalyst // *Intellectual History: New Perspectives* / Ed. by D. R. Woolf. Lewiston; Lampeter, 1989; *Brett A.* What is Intellectual History Now? // *What is History Now?* / Ed. by D. Cannadine. Chippenham; Eastbourne, 2002. P. 113-131. Ср.: *Dosse F.* La marche des idées. Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle. P., 2003; etc.

ния: открытие собственного прошлого в виде наследия античности, открытие Нового Света и населяющих его народов и открытие научного знания»⁸. Новое время историки начинают с эпохи Ренессанса. Ренессанс (Возрождение) XIV–XVI вв. рассматривается как эпоха интеллектуального и художественного расцвета (иногда – как возрождение свободной интеллектуальной культуры в Европе).

Как писал В. Муратов: «Вера в безграничные владения человеческой мысли, в ее верховные права составляет существеннейшую черту в *духовном образе* (курсив мой – Л. Р.) Кватроченто. Проявляя ее, Возрождение провело тем самым резкую пограничную линию, отделяющую его от средневековья. Оно так дорожило ею, что охотно пожертвовало ради нее глубиной былого мистического опыта, красотой прежних чувств, не знавших над собой воли разума»⁹. Выстраивая Проторенессанс, Возрождение в его собственном смысле и Постренессанс в единый культурный процесс, охватывающий четыре столетия и включающий конец Средневековья и начало Нового времени, Б. Г. Кузнецов подчеркивал, что «Возрождение, уже по своему названию, – эпоха перемен, эпоха концентрированного преобразования культуры, эпоха, ставшая субстратом, конденсированным выражением и символом самой сущности истории – необратимого бега времени»¹⁰. И далее: «Эпоха Возрождения отличалась высоким уровнем самопознания. Она знала о своем значении, о своей связи с прошлым, о своей неповторимости и о своем воздействии на будущее... “Возрождение” означало и осознанное возвращение к духу античной

⁸ Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. М., 1997. С. 197. Термин «Возрождение» появился в XV веке, но стал регулярно использоваться в литературе Просвещения.

⁹ Муратов В. Образы Италии. Т. 1. М., 1917. С. 157.

¹⁰ Кузнецов Б. Г. Идеи и образы Возрождения (Наука XIV – XVI вв. в свете современной науки). М., 1979. С. 17.

культуры и столь же осознанное начало нового, уходящего от античных и средневековых традиций периода, и специфическую индивидуальность такого начала, его единственность в мировой истории»¹¹. Эта уникальность исторической эпохи оказывается прочно зафиксирована в специфике ее интеллектуальной культуры: «ум человека Возрождения, сопрягая в своем сознании субъекта средневекового мышления и сознания с субъектом мышления и сознания античного, сумел повернуть историческую судьбу, *оказался свободным по отношению к обеим этим культурам* (курсив мой. – Л. Р.)¹²».

В XVII веке Европа пережила революционные процессы: социальную трансформацию и научную революцию – переход к рациональному объяснению мира и человека. «Долгому XVIII веку»¹³, Веку Просвещения отводится решающая роль в повороте западной культуры к рационализму и свободомыслию. Именно с идейным течением, основанном на убеждении во всемогущем Разуме и задавшим ключевые характеристики особой интеллектуальной культуры Просвещения, связывается образ всей эпохи, ее особый стиль. Понятие «стиля эпохи», играющее важную роль в истории искусства, вполне адекватно «работает» в более широком пространстве интеллектуальной истории – в виде понятия «стиль мышления исторической эпохи». В истории теоретического мышления выделяются четыре основных, последовательно сменявших друг друга периода, соответствующих главным этапам развития европейского общества: античный, средневековый, «классический» (стиль мышления Нового времени) и современный¹⁴. Как образно

¹¹ Там же. С. 18-19.

¹² Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура... С. 54.

¹³ О его границах см., напр.: *Israel J. Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670–1752*. Oxford, 2006.

¹⁴ «Как и всякая история, история мышления слагается из ряда качественно различных этапов. Каждому из них присущ свой стиль,

выразился А. А. Ивин, «стиль мышления исторической эпохи – это как бы ветер, господствующий в эту эпоху и непреодолимо гнущий все в одну сторону»¹⁵. И все же, хотя нет сомнений в существовании общего стиля, общего культурного фонда, общего языка эпохи, невозможно отождествлять, например, все идеи Века Возрождения с идеями гуманистов, или Века Просвещения с собственно просветительскими идеями – в это время существовали различные, не только гуманистические или просветительские идеи. Тем более важно понять реальное взаимодействие элементов интеллектуальной культуры (субкультур) в сложном по своему социальному и образовательному составу обществе, выявить те модели, по которым в данном социуме осуществлялись кросс-культурная интеллектуальная коммуникация и восприятие новых идей.

Современная интеллектуальная история описывает различные процессы *движения* идей, и не только в фигуральном, но и в самом буквальном смысле. Важное направление изучения интеллектуальной культуры – анализ видов, типов и способов интеллектуальной коммуникации, конкретных механизмов распространения идей (как в социокультурном пространстве, так и во времени), процессов обращения идей в виде знаний, мнений, различного рода информации в многослойном пространстве культуры. Интеллектуальная коммуникация с помощью корпуса циркулирующих внутри нее текстов, имеющих форму переписки, книг и статей, публичных выступлений или частных разговоров, не только передает

или способ, теоретизирования, переход от этапа к этапу представляет собой революцию в способе теоретического освоения действительности» (Ивин А. А. Интеллектуальный консенсус исторической эпохи // *Познание в социальном контексте*. М., 1994. С. 134). См. в этой связи также: Ивин А. А. *Стили теоретического мышления и методология науки* // *Философские основания науки*. М., 1982.

¹⁵ Там же. С. 138.

информацию, но и поддерживает некое интеллектуальное сообщество, формируя общепринятый для данного сообщества язык, тип поведения, систему ценностей, организуя сетевую структуру. Известны такие исторические воплощения интеллектуальной коммуникации, как реальные научные школы и кружки ученых, а также виртуальные междисциплинарные сообщества, например, кружки гуманистов в эпоху Возрождения, или *Invisible College* («невидимый колледж») – неформальная группа ученых, образовавшая позже Лондонское Королевское общество (термин введен Робертом Бойлем), или, например, знаменитая *La République des Lettres*¹⁶ эпохи Просвещения, или же, например, современные сетевые Интернет-сообщества. В настоящее время понятием «невидимый колледж» часто обозначаются неформальные интернациональные трансдисциплинарные научные сообщества.

Нельзя понять интеллектуальную культуру любой исторической эпохи во всей ее полноте без раскрытия многих последствий транс-темпоральной коммуникации (в том числе опосредованной – через перевод или комментариев) – актуализации и рецепции «старых» текстов в новых социокультурных условиях, усвоение идей, опирающихся на опыт прошлого, и их отражение (переосмысление в новом контексте) в идеях и представлениях настоящего. Центральная задача современной интеллектуальной истории состоит в том, чтобы понять, «как возникают и распространяются *новые* интеллектуальные формы <...>, как концепции, которые доминировали или преобладали в одном поколении, теряют свою власть над умами людей и уступают место другим»¹⁷.

¹⁶ См.: Трофимова В. С. «Республика Учености»: идея, идеал и виртуальное сообщество европейских интеллектуалов XV–XVIII вв. // Диалог со временем. Вып. 20. 2007. С. 90-99.

¹⁷ Lovejoy A. O. *The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea*. Cambridge (Mass.), 1936. P.20.

Концепции интеллектуалов обычно рассматриваются в трех разных контекстах: как на них повлияли идеи предшественников; какое влияние они сами оказали на взгляды окружающих; какова роль их идейного наследия для потомков (в разных масштабах – от национального до общечеловеческого). Еще один важный контекст – как именно их представления отражают развитие культуры своей эпохи, как они смогли понять и выразить основной смысл и направление ее развития. Идеи передовых мыслителей одного века со временем становятся расхожими представлениями многих людей. Как подчеркивал М. А. Барг, «ключевые элементы ментальной программы» «с помощью доступных данной эпохе средств распространения информации внедряются в массовое сознание и превращаются в повседневные представления»¹⁸.

В каждую эпоху в различных сферах интеллектуальной жизни (таких как философия, наука, религия, политика, литература, искусство и в других областях культуры) действуют «более или менее бессознательные ментальные привычки», «способы мышления, которые кажутся настолько естественными и неизменными, что не подвергаются критическому рассмотрению»¹⁹. Вследствие их влияния складывается некий привычный ход рассуждений и определенный набор идей, который присутствует не только в учениях или оригинальных суждениях глубоких мыслителей или выдающихся писателей, но становится частью мыслительного инвентаря многих людей, доминирует в интеллектуальной жизни целого поколения, ряда поколений или даже исторической эпохи.

Для историка особый интерес представляет изучение ключевых понятий, концептов, логических приемов, методологических принципов, характерных для данной эпохи, составляющих ее «интеллектуальный климат», живую ткань ее

¹⁸ Барг М. А. Эпохи и идеи. М., 1987. С. 15.

¹⁹ Lovejoy A. O. The Great Chain of Being... P. 7-11, 19.

интеллектуальной культуры, а маркирование эпохи при помощи ключевого понятия, выражающего уникальность ее интеллектуальной культуры, отражает это стремление «измерять время мерой духовной» (Р. Эмерсон). Вопрос о преемственности и инновациях в этой сфере затрагивает самую сердцевину проблематики истории интеллектуальной культуры – изучение интеллектуальных традиций и «школ мысли»²⁰.

Традиции в широком смысле слова определяются как социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в течение длительного времени²¹. Оставляя в стороне давно обсуждаемую оппозицию «традиции и новации» в организации общественной жизни, которая рассматривается главным образом в контексте исследования модернизационных процессов, обратимся к комплексу проблем, связанных с феноменом исторической преемственности в идейно-духовной сфере, в интеллектуальной культуре.

Традиция, согласно Г. Зиммелю, это явление, «посредством которого содержание мышления, деятельности, созидания, а также чувствования становится самостоятельным по отношению к своему первоначальному носителю и может передаваться им дальше как материальный предмет. Это освобождение духовного продукта от его создателя... есть подлинное условие роста культуры»²².

²⁰ «В науках о духе вопреки всему их методологизму присутствует действенный момент традиции, составляющий их подлинное существо и характерную особенность». *Гадамер Х.-Г. Истина и метод.* М., 1968. С. 336.

²¹ См., например: *Культурология. XX век: Словарь.* СПб., 1997. С. 408; *Каиров В. М. Традиции и исторический процесс.* М., 1994. Попытку развернутого теоретического осмысления самого понятия традиции см. в книге: *Захарченко М. В. Традиция в истории: опыт типологической интерпретации.* СПб., 2002.

²² *Зиммель Г. Избранное.* Т. 1. *Философия культуры.* М., 1996. С. 535.

Изучение интеллектуальных традиций – одна из основных задач интеллектуальной истории. Интеллектуальная традиция выступает одновременно как необходимое условие интеллектуальной деятельности и как ее производное, а также как форма и способ сохранения интеллектуального наследия. Разумеется, рецепция и усвоение интеллектуальной традиции в новых исторических условиях сопровождается отбором тех или иных элементов наследия, развитием и переинтерпретациями самой традиции, динамикой ее «культурного дрейфа». Интеллектуальная традиция рассматривается, таким образом, не только как преемственность идей и способов мышления, непрерывность исторического наследования в интеллектуальной сфере, но и как процесс воссоздания, активного восприятия, селекции, переформатирования, творческого преобразования, преодоления или возрождения. В отношении научной традиции М. Полани сформулировал эту мысль следующим образом: «В истории науки (да в истории любой человеческой деятельности) в конце концов тот, кто пишет эту историю, должен одобрять или пересматривать все предшествующие оценки полученных результатов; а вместе с тем он должен откликаться и на современные темы, о которых раньше не думали. Традиции передаются из прошлого, но они суть наши собственные истолкования прошлого, к которым мы пришли в контексте непосредственно наших проблем»²³.

В понимании теоретических оснований и аналитических процедур исследования интеллектуальной традиции на рубеже XX и XXI вв. произошли существенные изменения, связанные с обновлением всего арсенала интеллектуальной истории и укреплением позиций сторонников контекстуального подхода. Последний, в свою очередь, опирается на платформу «новой культурно-интеллектуальной истории», рассматривая культуру

²³ *Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии.* М., 1985. С. 230.

в духе Клиффорда Гирца – не как фактор или причину, обуславливающую события, процессы или институты, а как контекст, в котором они могут быть адекватно описаны²⁴.

В этом исследовательском поле изучение интеллектуальной традиции приобретает комплексный характер, отнюдь не ограничиваясь обзором основополагающих (преимущественно философских) идей, образующих ее транслируемое сквозь века (или даже тысячелетия) «ядро», как это обычно представляется в многочисленных учебных курсах, например, по истории западной интеллектуальной традиции от Античности до Нового времени²⁵. В настоящее время изучение интеллектуальных традиций (в том числе научных) далеко выходит за рамки истории идей, теорий, концепций, систематически обращаясь к анализу конкретных средств и способов их формулирования в соответствующих текстах, и к судьбам их творцов, и к более широким социокультурным контекстам, в которых эти идеи функционировали, воспроизводились, интерпретировались и модифицировались.

При этом неизменным остается интерес исследователей к предпосылкам, которые лежали в основе конкретных этапов развития интеллектуальной культуры и задавали импульс

²⁴ См.: Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. N.Y., 1973. Рус. пер.: Гирц К. *Интерпретация культур*. М., 2004.

²⁵ Подобная модель воспроизводится также в обязательных для католических университетов курсах по истории христианской, католической, францисканской, бенедиктинской и др. интеллектуальных традиций (начиная с Отцов церкви и до сегодняшнего дня – как непрерывный диалог «веры» и «разума»). См.: Holschneider D., Morey A. *Reclaiming the Catholic intellectual tradition // Current Issues in Catholic Higher Education*, 1996. Vol. 16. N 2. P. 123-133; *Examining the Catholic intellectual tradition / Eds. A. Cernera, O. Morgan*. Fairfield, 2000; Osborne K. B. *The Franciscan Intellectual Tradition: Tracing its origins and identifying its central components*. St. Bonaventure (N.Y.), 2003; etc. О христианской духовной традиции см. также: Захарченко М. В. *Христианство: духовная традиция в истории и культуре*. СПб., 2001.

для изменений и инноваций. Именно в связи с таким радикальным сдвигом исследовательской перспективы особенно важно избежать ловушки «культурного редукционизма», или «автономного» объяснения культуры». Очень точно сформулировал эту задачу А. Мегилл: «История идей (включая интеллектуальную историю, в том случае, если она не упрощает интеллектуальный объект, с которым имеет дело) старается поместить идеи в тот или иной исторический контекст и интерпретировать их в свете этой контекстуализации, не сводя идеи к эпифеноменам чего-либо более значимого»²⁶.

Культура признается «автономной» только в том «статистическом смысле», что культура того или иного индивида не связана однозначно с его социальным положением. Однако культура «не автономна от общества, поскольку мы никогда не узнаем ничего, стоящего за термином “культура”, кроме как описывая вещи, которые происходят в социальном взаимодействии. Сказать, что культура автономна, что культура объясняет саму себя, и неточно, и избыточно: неточно, если культура определена как нечто исключяющее социальное, поскольку такая культура никогда не существовала; избыточно, если она определена широко, поскольку в таком случае понятие культуры совпадает по объему с понятием социального, что делает культурные объяснения социологическими»²⁷.

Отказавшись от дуализма «индивида» и «общества», «идей» и «социального фона», «культурного» и «социального», пытаясь интерпретировать индивидуальный опыт и смысловую деятельность в системе межличностных и межгрупповых отношений, современная историография нашла опору в «диалогической парадигме»: с одной стороны, прочтение каждого текста включает его «погружение» в контексты дис-

²⁶ Мегилл А. Глобализация и история идей / Диалог со временем. 2005. Вып. 14. С. 16.

²⁷ Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 53-54.

курсивной и социальной практики, которые определяют его горизонты, а с другой стороны, в каждом тексте раскрываются различные аспекты этих контекстов и обнаруживаются присущие им противоречия и конфликты.

Однако антиредукционистский пафос современной интеллектуальной истории не исключает, а, напротив, предполагает интерес исследователя как к общесоциальным условиям возникновения, бытования, сохранения и трансляции интеллектуальной традиции, так и к тем социальным институтам, которые эти функции в обществе выполняют.

Речь идет об интеллектуалах и интеллектуальных сообществах, которые – независимо от их конкретной формы или типа – выступают в качестве создателей, хранителей, интерпретаторов и трансляторов той или иной интеллектуальной традиции, формирование и функционирование которых составляли и, в определенной мере, продолжают до настоящего времени составлять главный предмет историко-социологического анализа и так называемой «истории интеллектуалов»²⁸. Если в 1980-е годы «история интеллектуалов», по существу, вписывалась в «социальную историю элит» и опиралась на метод «социальной биографии», то «культурный поворот» в историографии конца XX века создал мощный импульс для дрейфа от «истории интеллектуалов» к социокультурной истории интеллектуальных сообществ.

Существуют различные определения понятия «интеллектуальное сообщество», подчеркивающие, как правило, одну из сторон этого явления – коммуникативную, институ-

²⁸ См.: *Charle C. Naissance des "intellectuels" (1880–1900)*. Paris, 1990; *Idem. Les intellectuels en Europe au XIX siècle: Essai d'histoire comparée*. P., 1996; *Histoire comparée des intellectuels / Dir. par M.-C. Granjon, N. Racine et M. Trebitsch*. P., 1997; *Trebitsch M. Le Groupe de Recherche sur l'Histoire des Intellectuels // Intellectual News*. 1997. № 2. P. 55-59. См. также: *Шарль К. Интеллектуалы во Франции*. М., 2005. С. 13-18. Об «истории интеллектуалов» см. выше, гл. 8.

циональную либо содержательно-деятельностную. Тем не менее, в некоторых определениях они частично соединяются. Если исходить из того, что данное понятие имеет не только нормативное, но и качественное содержание, то интеллектуальное сообщество может определяться «как общность людей, использующих интеллект как ресурс для производства новых смыслов. Его члены в идеале ориентированы на креативность – способность создавать новые социально значимые формы – и открыты для взаимодействия с внешним миром»²⁹.

В связи с исследованием бытования, соперничества и взаимодействия интеллектуальных традиций в синхронном и диахронном контекстах (в долговременной исторической перспективе) формальные и неформальные интеллектуальные сообщества разных типов оказались в центре внимания социологии социальных сетей Рэндалла Коллинза, предпринявшего сравнительный анализ основных тенденций интеллектуального развития³⁰. Созданная Р. Коллинзом (на основе биографических данных) сетевая схема, распространяющаяся «вертикально» (от одного поколения к другому) и «горизонтально» – среди современников, являющихся коллегами, союзниками или соперниками, описывает процессы общения между людьми, которые «транслируют прежний культурный капитал и превращают его в новую культуру». Р. Коллинз прослеживает цепочки учителей и учеников и рассматривает «способы, с помощью которых современники, молодые мыслители,

²⁹ Семенов И. С. Интеллектуальные сообщества: диалектика консолидации // Политические и интеллектуальные сообщества в сравнительной перспективе. М., 2007. С. 16.

³⁰ Р. Коллинз исходит из того, что «непосредственное социальное влияние на конструирование идей оказывает сетевая структура отношений между интеллектуалами». См.: Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 32. Полноценная контекстуализация истории идей при игнорировании этой сетевой структуры попросту невозможна.

входящие в интеллектуальное поле в одном и том же поколении, вырабатывают противостоящие друг другу позиции»³¹. В дополнение к изучению содержания идей и «внутренней» истории сети автор исследует «внешние» социальные условия, которые включают всю систему социальных институтов, обеспечивающих и регулирующих интеллектуальную деятельность, воспроизводство и конкуренцию интеллектуальных традиций, «ту материальную организацию, которая позволяет людям посвятить себя культурному производству: церкви, системы образования, аристократическое покровительство, государственную поддержку, коммерческие рынки издания книг и журналов или другого рода организации, дающие средства к существованию авторов и несущие материальные издержки культурного производства»³².

В современной историографии изучение интеллектуальных традиций неразрывно связано с историей формальных и неформальных интеллектуальных сообществ (самых разных масштабов и конфигураций), исследование осуществляется как на макро-, так и на микроуровне, и опирается на междисциплинарный синтез истории идей, социальных и культурных систем, историко-социологического, историко-антропологического и социокультурного подходов³³.

³¹ Там же. С. 34. Метод Коллинза учитывает не только прямые, но также опосредованные контакты, «накапливающиеся на протяжении нескольких звеньев и вертикальных, и горизонтальных цепочек», поскольку «такие опосредованные связи показывают, каким образом более крупный процесс культурного творчества пронизывает структуру интеллектуального сообщества».

³² Там же. С. 35.

³³ См., например: *Rahman F.* Islam and Modernity. Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago; London, 1982; *Parman, Susan.* Dream and Culture: An Anthropological Study of the Western Intellectual Tradition. N.Y.; Westport (Conn.); London, 1990; *Colish, Marcia L.* Medieval Foundations of the Western Intellectual Tradition, 400–1400. New Haven,

Важный ракурс анализа традиций мышления и интеллектуальной деятельности направлен на ключевой момент самоидентификации и так называемую *функцию взаимопризнания*, когда «...каждый признает в качестве ученых нескольких других людей, которыми он в свою очередь признается ученым, и из этих отношений слагаются связи, транслирующие (уже из вторых рук) это взаимопризнание по всему сообществу. Так каждый его член оказывается прямо или косвенно признанным всеми. Эта система простирается и в прошлое. Ее члены признают одних и тех же лиц в качестве своих учителей, на верности им основывают общую традицию и каждый развивает в ее пределах свою собственную линию...»³⁴.

Как правило, подчеркивается нормативная и репродуктивная функции, инертная связующая и принуждающая сила традиции, а также роль интеллектуальных сообществ и образовательных институтов в ее реализации. Рассуждая о специфике Платоновской Академии, Э. Кассирер писал: «Здесь не было корпорации ученых или клириков, которые имели бы официальные обязанности и были связаны необходимостью следовать определенной традиции. Академия была кругом друзей, которые свободно обсуждали свои философские проблемы... Но даже эти люди все еще были связаны тяжелыми цепями старой и почтенной традиции. Несмотря на все усилия, они не могли вырваться из этой традиции – они не могли противоречить великим авторитетам Аристотеля или Аверроэса»³⁵. А исследуя историю идей Ренессанса через одну из наиболее представительных фигур его интеллектуальной панорамы – Пико делла Мирандола, Кассирер утверждал: «Ка-

1997; *Finding Europe: Discourses on Margins, Communities, Images* / Eds. A. Molho et al. N.Y., 2007; etc.

³⁴ *Полани М.* Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. С. 234-235.

³⁵ *Кассирер Э.* Место Фичино в интеллектуальной истории // *Кассирер Э.* Избранное: Индивид и космос. М.; СПб., 2000. С. 212.

жется, что во многом он провозглашает и являет собой новый тип мысли, но с другой стороны мы видим его все еще совершенно связанным и даже ограниченным многовековой традицией, воспринятой из самых разнообразных источников. Рамки этой традиции Пико никогда не пытался разорвать... Это оказалось бы в остром противоречии с идеей истины, пропитывающей и направляющей его философию». Для Пико истина «передается из рук в руки через века, но она не произведена на свет ни одним из этих веков или эпох, ибо она, как нечто вечное, вне времени и вне становления»³⁶. Повидимому, здесь просто нет места изменениям.

Между тем, многовековая традиция, «воспринятая из разнообразных источников», будучи живой, содержит следы множества опосредований, интеллектуальных коммуникаций и взаимодействий, идейных споров и конфликтов, порождающих ростки нового в старых культурных напластованиях. Новое возникает и разворачивается в рамках сложившихся и конкурирующих традиций, креативный потенциал которых не стоит игнорировать. «Разум “изощенного” интеллектуала – наследника исторически сложной сети противостояний и изменений уровней абстракции – интериоризирует невидимое сообщество разнообразных точек зрения, объединенных взглядом на них с еще более охватывающей позиции»³⁷.

Восприятие исторического наследия (к примеру, восприятие разрушенной Античной цивилизации в Средние века и ее последующее возрождение³⁸) включает не только копи-

³⁶ Кассирер Э. Джованни Пико делла Мирандола. К исследованию истории идей Ренессанса // Там же. С. 227.

³⁷ Коллинз Р. Социология философий... С. 1025.

³⁸ Характеризуя отношение в Европе Нового времени к античной культуре, О. Шпенглер предпочитал говорить не о продолжении традиции, а о «поклонении» ей: «Во всей истории не найти второго примера такого страстного культа, который воздавался бы одной культуре памятью другой». Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. Т. 1. С. 161.

рование/воспроизведение, но цепь «пересозданий», несущих в себе импульсы обновления. Немаловажную роль в этом процессе играет изменение условий интеллектуальной жизни (особенно в ситуациях радикальных социальных и культурных трансформаций) и создание новых институтов (например, таких как монастыри, средневековые школы и университеты). Вспомним, что именно монастыри стали центрами культурной жизни раннего Средневековья, а в средневековых университетах, начиная с XII в., осуществлялось взаимодействие христианской, античной, арабо-мусульманской и иудейской интеллектуальных традиций. Впрочем, ни одна из этих традиций не было монолитной, в каждой из них – в той или иной мере – присутствовали разнородные элементы.

Исследуя интеллектуальные истоки Реформации в русле проблемы континуитета и дисконтинуитета между двумя эпохами в истории мысли, Алистер МакГрат поставил четыре ключевых вопроса: Существовали ли в Средние века «предтечи Реформации», или ее «предвестники»? Какова связь между Реформацией и Ренессансом: была ли Реформация просто одним из аспектов Ренессанса, или же она обладает спецификой в плане своего предмета, содержания, предположений, источников или методов? Какова связь между Реформацией и позднесредневековыми школами мысли? И «как получилось, что движение, изначально враждебное к средневековой схоластике, так скоро пришло к разработке своей собственной схоластики?»³⁹. Как мне представляется, эти вопросы, будучи сформулированы в более общем виде, задают некий формат для анализа культурных трансформаций.

Ответы на такого рода вопросы требуют весьма тонкого анализа массивного комплекса текстов (как канонических памятников традиции, так и «второстепенных», но состав-

³⁹ *McGrath, Alister E. Intellectual Origins of the European Reformation. Oxford, 1987 (2nd ed. – 1992). Introduction. P. 1.*

ляющих часть «общего дискурсивного поля»⁴⁰) и документов (тех, что освещают социально-политические, организационно-институциональные и материальные условия и конкретные жизненные ситуации интеллектуальной деятельности) и, сколь бы неоднозначны они ни были, способны продемонстрировать сложные перипетии трансляции знаний, идей и ценностей, способов сохранения духовного опыта предшествующих поколений и механизмов культурного обновления.

9.2. Проблемное поле и когнитивный потенциал современного историографического исследования

Неотъемлемой составляющей интеллектуальной культуры эпохи являются исторические знания и представления, зафиксированные в соответствующих данной эпохе формах историописания и представляющие собой предмет историографического исследования.

Изучение истории историографии как академической дисциплины находится на подъеме, однако на этом пути имеются серьезные трудности, прежде всего в определении предмета истории исторической науки. Практически все академические дисциплины легко идентифицируются, поскольку именуются по своему предмету исследования: например, социология – как система знаний об обществе, психология – о психике и т.д. В некоторых определениях присутствует отношение к предмету: например, философия – «любовь к мудрости», филология – «любовь к слову». Во всех этих случаях, такие выражения как «история социологии» или «история философии» имеют прямой смысл, заключающийся в так или иначе представляемом «прошлом» соответствующей системы знаний (как правило, истории ее открытий и учений), и поэтому в специальных разъяснениях не нуждаются.

⁴⁰ *Gouwens K. Perceiving the Past: Renaissance Humanism after the "Cognitive Turn" // American Historical Review. 1998. Vol. 103. No. 1. P. 82.*

Напротив, в поисках дефиниции изучения истории как дисциплины мы попадаем в своеобразный семантический капкан, поскольку обнаруживаем, что история, в отличие от всех других академических дисциплин, не имеет отдельно идентифицируемого референта. Можно определить предмет таких изысканий как «историю истории», или – если использовать более привычное выражение – как «историю историографии». Между тем термин «историография» многозначен и в самом общем своем значении указывает на вербальную форму *историописания*, изложения материала в форме исторического нарратива. В результате оказывается, что понятие «история историографии» не делает различия между корпусом работ, выполненных в соответствии с установленным кодексом исследовательских правил, и другими типами исторических сочинений. И если по отношению к историческим произведениям отдаленных эпох – Античности, Средневековья, Возрождения и Просвещения – этот термин вполне уместен, то для более позднего периода становления истории как науки (говорить о начале профессионализации исторического знания можно только с 1820-х годов), когда историописание было подчинено строгой системе процедур, направленных на изучение прошлого, поставлено под контроль правил профессиональной исследовательской практики и специальных исторических методов, для периода, характеризующегося все возрастающей профессионализацией историков предпочтительнее все же, изучая развитие и состояние исторической науки, пользоваться понятием дисциплинарной истории⁴¹, которая ориентируется на анализ сложившейся в этой области знаний дисциплинарной практики: концептуальных разра-

⁴¹ См. глубокий анализ проблемы «дисциплинарной истории» в статье: *Попова Т. Н.* Историография в контексте дисциплинарной истории // *Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы* / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2011. С. 474-490.

боток, исследовательских стратегий, познавательных процедур, организационных схем, и конечно, научных результатов.

Конвенционально сложившееся, имеющее прочную традицию и довольно популярное в настоящее время определение истории как *науки о прошлом* уже является частью и следствием превращения истории в академическую дисциплину. Следует заметить, что именно недостаточность определения истории как *исследования прошлого* вызвала хорошо известные, регулярно возобновлявшиеся внутридисциплинарные споры о том, что должно быть в фокусе исторического исследования – государство или общество, воплощения духа или институты культуры.

Конечно, речь должна идти не об изолированном процессе профессионализации истории, но также о контроле со стороны общества и о взаимоотношениях с историографической практикой вне профессии. Кроме того, приходится иметь в виду, что процесс сциентизации и академической институционализации имел свою цену – задачи поддержания дисциплинарной идентичности требовали зарезервировать за историей, как за всякой уважающей себя наукой, четко обозначенное место во все более усложняющейся системе знаний. Совершенно ясно, что историю исторической дисциплины следует рассматривать в контексте динамично развивающейся системы гуманитарных наук. Короче, история исторической науки должна быть описана в трех измерениях, или тремя моделями.

Во-первых, это модель упорядочения и непрерывной коррекции исторической памяти, оказывающей дисциплинирующее воздействие на подвижную и преходящую культурную память общества или какой-либо референтной группы. Не менее важное место отводится модели дисциплинарности, в фокусе которой оказывается самоидентификация истории как науки, а предметом обсуждения становятся те когнитивные и институциональные стратегии (противостояния или

приспособления), которые применяются ею в ответ на вызовы со стороны сменяющих друг друга концепций *научного* знания и так называемых «образцовых наук», которые формируют в тот или иной период познавательный идеал. Наконец, речь может идти о модели междисциплинарности, в которой «история» как тип когнитивной исследовательской деятельности включается в процесс демаркации и реконфигурации дисциплинарных территорий. Все эти три модели не сменяют друг друга, а сосуществуют и постоянно взаимодействуют, возможно, лишь меняя свои роли с первой на вторую или третью, и наоборот. Процессы демаркации дисциплинарных территорий и процессы междисциплинарного взаимодействия – это, по сути, две стороны одной медали.

Сегодня в результате методологической и эпистемологической революций второй половины XX века все чаще *история исторической науки* и в целом *история историографии*, а точнее – *история исторического знания*, с ее гораздо более объемным предметным пространством и неизмеримо более глубокой и длительной темпоральной перспективой, рассматривается как неотъемлемая составляющая интеллектуальной истории. В области истории исторического знания, как и в других исторических субдисциплинах, произошло основательное переопределение предмета, проблематики и концептуального аппарата исследований.

Поскольку современная интеллектуальная история ориентирована на реконструкцию исторического прошлого каждой из областей и форм знания (включая знания донаучные и пара-научные) как части целостной интеллектуальной системы, переживающей со временем неизбежную трансформацию, постольку и в истории историографии на первый план выступает задача выявления исторических изменений фундаментальных принципов, категорий, методов и содержания познания, изучения процессов становления и развития исто-

рического сознания и исторической культуры, стиля исторического мышления и историописания, средств и форм научного исследования – в общем контексте духовной культуры, социально-политических, организационных и информационно-идеологических условий конкретной эпохи.

Долгое время история историографии сводилась, главным образом, либо к истории исторической мысли в самом общем виде, либо к истории изучения отдельных тем и проблем. Безусловно, оба эти ракурса исследования имеют самостоятельное значение, а каждый из них – свою достаточно обширную сферу применения. Так называемая проблемно-тематическая историография носит преимущественно инструментальный характер, она реализуется в рамках того или иного конкретного исторического исследования и служит решению поставленных в нем проблем, сопоставляя различные концепции (обычно с учетом воздействия мировоззрения историка на его работу), определяя границы их применения, выявляя еще неизученные или нерешенные вопросы, и, таким образом, задавая необходимые ориентиры дальнейшему развитию научно-исторических исследований.

Однако, что весьма важно отметить, оба указанных подхода обнаруживают упрощенное представление об историографическом процессе как линейном поступательном развитии, при котором каждая последующая стадия неизбежно располагается на более высокой ступени, чем ей предшествующая. Тем самым утрачивается понимание специфики историографической динамики (последняя не укладывается в «прокрустово ложе» концепции прогресса и дихотомии категорий преемственности и разрывов в исторической традиции), не учитывается неоднозначная роль культурных и междисциплинарных взаимодействий в изменениях конфигурации исследовательского пространства исторической науки, а также природы самого исторического знания.

Между тем, в последней трети XX века представление о том, что история историографии научно описывает путь последовательного продвижения человечества к некоему абсолютно истинному знанию о своем прошлом, подверглось радикальному пересмотру. Именно в это время происходит становление и расширение «сферы влияния» социокультурного подхода, который проложил себе путь и в ареал историко-историографических исследований, выведя их, по существу, на более высокую орбиту. В современной историографии место этой области исторического знания, которую иногда называют «интеллектуальной историей истории» (*intellectual history of history*), все больше ассоциируется с некой пограничной линией между историей науки и анализом коллективных представлений, отраженных в разнородных текстах – сохранившихся фрагментах гипертекста утраченной реальности. Цель такого анализа – осмысление исторического прошлого в культурном контексте настоящего, установление взаимосвязи между текстами и миром человеческого опыта.

История во всех формах ее репрезентации (в виде мифологического, религиозного, художественно-эстетического, научно-рационального знания) и их многообразных актуальных (нередко чрезвычайно причудливых) сочетаний рассматривается как атрибут любой культуры, как важнейший способ самосознания и самопознания общества, определяющего через осмысление прошлого свою идентичность. В этом контексте, будучи призвана соответствовать потребностям современного общества и отвечать на всё новые и всё более трудные вопросы, которые формулирует и проецирует на *прошлое* действительность *настоящего*, история неизбежно оказывается обреченной на постоянное переписывание и вовлекается в процесс непрерывной трансформации эмпирической базы и предметного поля, смены ракурсов и методов изучения, ключевых понятий и оценочных критериев.

В своем обновлении современная история исторического знания, как и история социогуманитарного знания в целом, идет (как обычно, со значительным опозданием) по стопам истории естествознания, которая отказалась от «презентизма» и «интернализма», представлявших историю науки как непрерывную череду открытий, воплощающих прогрессивное движение человечества к познанию истины, и от интерпретации знаний прошлого исключительно с точки зрения современной научной ортодоксии. Новая историография науки рассматривает ее (и другие области знания) как одну из форм общественной деятельности и часть культуры, которая не может исследоваться в изоляции от социального, политического и других аспектов интеллектуальной истории.

Произошла легитимация не только «социальной», но и «культурной истории науки», важнейшей предпосылкой которой является признание культурно-исторической детерминированности представления о «науке» и «псевдо-науке», о том, чем отличается знание «естественнонаучное» от «социального» и «культурного». Соответственно, исходной предпосылкой современной истории историографии, как и истории науки, и интеллектуальной истории в целом, является осознание неразрывной связи между историей самих идей и концепций, с одной стороны, и историей условий и форм интеллектуальной деятельности – с другой, что позволяет избежать искажений, проистекающих от ретроспективной оптики, «идола истоков» и опасностей модернизации, столь часто подстерегающих нас при описании долговременной *пред-* истории любых явлений прошлого и настоящего.

Итак, современная историографическая ситуация создала огромное новое исследовательское поле для интеллектуальной истории в направлении, связанном с историей исторической культуры, которая включает в себя весь комплекс представлений о прошлом и способы его репрезентации. По-

стмодернистская программа, в значительной степени обоснованно, сосредоточила внимание на изменчивости представлений о прошлом, на роли исторической концепции, которая интерпретирует исторические тексты, исходя из современных предпосылок, и действует как силовое поле, организующее хаотический фрагментарный материал.

Представив реальность прошлого как конструкт, создаваемый текстом историка⁴², эта программа пошла по пути релятивизации истории значительно дальше того, что подразумевал тезис об обусловленности постоянного поиска «новых путей» в историографии столь же постоянным изменением тех вопросов, которые мы задаем прошлому из настоящего. Но именно в результате «преодоления крайностей» появилось новое отношение к историческим текстам. Сторонники «средней линии», или так называемой «третьей платформы», стали подчеркивать, что хотя отсутствие прямого контакта с прошлой реальностью лишает нас возможности познать какой-то ситуативный опыт прошлого в отдельности, его можно понять в более широком контексте, в комплексной картине исторического опыта, включающей самые разные его интерпретации, поскольку в субъективности источников, которые мы изучаем, отражены взгляды, предпочтения, система ценностей людей – авторов этих свидетельств и исторических памятников.

Представляет огромный интерес, как люди воспринимали и оценивали события (не только их личной или групповой жизни, но и Большой истории), современниками или участниками которых они были, каким образом хранили информацию об этих событиях. Главное здесь – не сознательные искажения (хотя и о них нельзя забывать), а система восприятия людьми того, что они наблюдают. Реальность преломляется их сознанием, и ее искаженный, односторонний или просто расплывча-

⁴² *Ankersmit F. R. The Reality Effect in the Writing of History. The Dynamics of Historiographical Topology. Amsterdam, 1989.*

тый образ запечатлевается в их памяти как истинный рассказ о происшествии. И все же, с учетом механизма переработки первичной информации в сознании свидетеля, это не может быть непреодолимым препятствием для работы историка.

Субъективность, через которую проходит и которой отягощается соответствующая информация, отражает культурно-историческую специфику своего времени; представления, в большей или меньшей степени характерные для некоей социальной группы или для общества в целом. Таким образом, текст, который «искажает информацию о действительности», не перестает быть историческим источником, даже когда проблема интерпретации источников осознается как проблема интерпретации интерпретаций. И это в полной мере относится к собственно историческим сочинениям, которые анализирует историограф, реконструирующий и интерпретирующий воззрения своих предшественников.

Огромный интерес в этом плане представляет относительно новый жанр интеллектуальных автобиографий (можно сказать, интеллектуальных «исповедей»), к которому, отнюдь не случайно, обратился целый ряд крупных историков второй половины XX века⁴³. Вписывая свою персональную интеллектуальную историю в динамично развертывающийся и полный драматических событий и катастроф социально-исторический контекст XX столетия, ведущие современные историки создают бесценный материал для изучения истории историографии этой эпохи⁴⁴. Столь же ценными для историко-историографических исследований являются интенсивно публикуемые в современной научной периодике многочис-

⁴³ См., например: *Beloff M. An Historian in the Twentieth Century: Chapters in Intellectual Autobiography*. New Haven; L., 1992; *Essais d'ego-histoire (Maurice Agulhon, Pierre Chaunu, Georges Duby, Raoul Girardet, Jacques Le Goff, Michelle Perrot, Rene Remond)* / Re-unis et presentes par Pierre Nora. Paris, 1987.

⁴⁴ Подробно об этом см. выше, гл. 7.

ленные и весьма информативные интервью мэтров исторической науки разных стран и научных школ⁴⁵.

Переосмысление предмета исследования интеллектуальной истории и *истории* историографии как ее части (как интеллектуальной формы, в которой общество осознает самое себя) опирается на эпистемологические и методологические принципы современного социокультурного подхода. Целостный подход к изучению сложного историографического явления должен быть направлен на последовательный и систематический анализ конкретных форм существования истории как области гуманитарного (и шире – социально-гуманитарного) знания, как определенной интеллектуальной системы, которая, сохраняя свое специфическое качество, тем не менее, переживает со временем неизбежную трансформацию. Ярким примером являются, в частности, метаморфозы, которые претерпело содержание понятия междисциплинарности, составлявшей (наряду с проблематизацией истории, признанием активной роли историка в диалоге с источником и отказом от монофакторного анализа) одну из опорных установок французской школы «Анналов» и «новой исторической науки» в целом⁴⁶. Кстати, именно развитие междисциплинарного взаимодействия привело в середине XX столетия к введению в историко-

⁴⁵ Из накопившегося огромного фонда интервью выдающихся историков нашего времени позволю себе отметить лишь несколько: Интервью с Рейнхардом Козеллеком / А. Б. Соколов // *Диалог со временем*. 2005. Вып. 15. С. 326-340; Интервью с Хейденом Уайтом / А. Б. Соколов // *Диалог со временем*. 2005. Вып. 14. С. 335-346; Интервью с Г.-У. Велсром о «билефельдской школе» и ее представителях / А. А. Турыгин // *Диалог со временем*. 2008. Вып. 24. С. 290-303; Фрагменты нематериального наследия Джованни Леви / Norberto Zuniga Mendoza // *Диалог со временем*. 2009. Вып. 27. С. 385-391; *Канинская Г. Н.* Историк об историческом знании и о себе. Интервью с директором Центра истории Института политических наук Парижа профессором Ж.-Ф. Сиринелли // *Диалог со временем*. 2010. Вып. 30. С. 291-304.

⁴⁶ Подробно об этом см. выше, гл. 1.

историографические исследования науковедческого аспекта и понятийного аппарата социологии науки.

Поскольку интеллектуальная история стремится преодолеть оппозицию между содержанием идей и контекстом, в истории исторической науки стала заметна тенденция сосредоточить внимание скорее не на теориях и концепциях, а на изучении актуальных проблем, возникающих перед социумом, способами их осмысления и предлагаемых стратегий решения. При этом неизбежно возникает необходимость восстановить более общий интеллектуальный контекст эпохи, изучить инфраструктуру производства и распространения исторического знания⁴⁷, организационные структуры (институты) исторического образования и исторической науки, «архитектуру» ее коммуникативного пространства и формы межличностных коммуникаций, не забывая, разумеется, о самих идеях и текстах (как исторических исследований, так и популярных, справочных и учебных изданий), а также о материальной форме бытования и способах трансляции выраженных в этих текстах идей – о книгах и о читателях, которые их воспринимали, интерпретировали, обсуждали, отвергали или «присваивали».

В историю историографии все активнее вводится практика историко-антропологических исследований, анализи-

⁴⁷ Приведу только два интереснейших примера такого рода исследований. Один из них обнаруживается в книге, посвященной истории китайской историографии, авторы которой, существенно расширив традиционные рамки историографического анализа, обратились к изучению «политики и форм производства истории», включая публикацию канонических текстов, сохранение архивных материалов, создание образовательных программ и т.п. См.: *The Politics of Historical Production in Late Qing and Republican China* / Ed. by Tze-ki Hon and Robert Culp. Leiden, 2007. Второй – в книге о долговременном развитии многообразных институтов сотворения, сохранения и транмиссии знания – от античных библиотек до Интернета: *McNeely I., Wolverson L. Reinventing Knowledge. From Alexandria to Internet*. N.Y., 2008.

рующих профессиональную субкультуру, так называемый «историографический быт»⁴⁸, или «историографическую повседневность, внутренний мир историка, способы его существования в профессиональной и общеинтеллектуальной среде, межличностные связи, коммуникативные практики»⁴⁹, а также пути и способы распространения новых идей, в частности через публицистику, популярную и художественную литературу, драматическое и изобразительное искусство.

Под влиянием «лингвистического поворота»⁵⁰ и в результате конструктивной реакции на него история историографии расширила свою проблематику и отвела центральное место изучению дискурсивной практики историка⁵¹, не огра-

⁴⁸ Определение и детальный анализ понятия, а также опыт его применения см.: *Алеврас Н. Н.* Что такое «историографический быт»? Из опыта разработки и внедрения историографической дефиниции // *Историческая наука сегодня...* С. 516-534.

⁴⁹ Ведущую роль в этом направлении в отечественной историографии играет школа, созданная В. П. Корзун в Омском государственном университете. В издаваемом этим коллективом ежегоднике «Мир историка» публикуются труды ученых, объединяющих свои усилия в развитии подобного рода исследований, из разных университетов и научных центров страны. Определяющей интенцией является стремление «вернуть» в историю исторической науки «человека» – ученого, творца, мыслителя, показать историю науки как процесс, как деятельность «живых людей»: См.: *Мир историка*. Вып. 1-7. Омск, 2005-2011.

⁵⁰ Начало ему положила известная монография Х. Уайта: *Uyit X.* *Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века*. Екатеринбург, 2002. См. критику этой концепции Г. Иггерсом и ответ Х. Уайта: *Иггерс, Георг.* История между наукой и литературой: размышления по поводу историографического подхода Хейдена Уайта // *Одиссей* -- 2001. М., 2001. С. 140-154. *Uyit X.* Ответ Иггерсу // Там же. С. 155-161.

⁵¹ «Пионером» такого рода исследований в отношении историографии XX века выступил Филипп Каррард, предпринявший фронтальный анализ исторического дискурса школы «Анналов»: *Carrard, Philippe.* *Poetics of the New History: French Discourse from Braudel to Chartier*. Baltimore; L., 1992.

ничивая, однако, свою исследовательскую задачу текстологическим анализом и опираясь на разнообразные подходы к интерпретации текста, в том числе на герменевтический, который направлен на постижение смысла текста как сообщения, адресованного потенциальному читателю, и структурно-семиотический, нацеленный на его «раскодирование».

Трудности подобной операции, составляющей неотъемлемую и важнейшую часть исследовательской процедуры, очень точно описал А. Я. Гуревич: «Перед нами тексты, но расшифровать их в высшей степени нелегко, их смысл, их значение сплошь и рядом ускользают от нас, ускользают прежде всего, если мы пытаемся исходить только из той позиции, которую наша мысль, мы сами занимаем в погоде времени. Для того чтобы расшифровать эти тексты, по-видимому, нужны колоссальные усилия. Нередко эти попытки приводят к новым лжетолкованиям. Но историк по своей профессии, по своему призванию не может отказаться от подобных попыток, он предпринимал, предпринимает и всегда будет предпринимать эти усилия»⁵².

Большое практическое значение имеет история исторических представлений. В ее предметном поле в полной мере раскрываются многообещающие перспективы «новой культурно-интеллектуальной истории», в рамках которой история историографии получила шанс повысить свой статус и стать по-настоящему самостоятельной и самоценной исторической дисциплиной. Сегодня, стремясь обозначить новое качество в самом имени, ее предпочитают иногда называть клиографией, или – в сочетании с изучением методологических и эпистемологических проблем исторической науки – клиологией.

История историографии как часть интеллектуальной истории – это и не *дисциплинарная* история исторической науки,

⁵² Гуревич А. Я. «Территория историка» // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 81-109. (С. 108).

и не философская история исторической мысли, и тем более не вспомогательная проблемно-тематическая историография, а прежде всего история исторической культуры, исторического познания, сознания и мышления, история исторических представлений и концепций, образов прошлого и «идей истории», задающих интерпретационные модели и выступающих как мощный фактор личностной и групповой идентичности, общественно-политических размежеваний и идеологической борьбы. Речь идет об изучении проблем памяти (способов производства, хранения, передачи исторической информации и манипулирования ею), т.е. памяти социума и отдельных его групп о своем прошлом, в том числе ключевого и малоисследованного вопроса о соотношении индивидуального и коллективного исторического сознания и их роли в формировании персональной, групповой, национальной идентичности⁵³, а также воздействия на этот процесс исторической науки и публицистики, о научном анализе качественных сдвигов, произошедших в понимании задач истории как академической дисциплины⁵⁴, в историографической практике и в исторической новеллистике на рубежах XVIII/XIX, XIX/XX и XX/XXI веков.

Исследовательское поле историко-историографического исследования практически заново переопределяется и сама дисциплина приобретает новый облик. Только сейчас историки историографии решительно встают на тот путь, который был обозначен М. А. Баргом в его новаторской книге «Эпохи и идеи», где он писал о двух способах изучения истории историографии и исторической науки. Во-первых, ее можно изучать (как это и стало привычным) с внешней стороны – как эмпирически зримую цепь сменявших друг друга историографических школ и направлений. Во-вторых, ту же историю можно изучать с ее «невидимой», внутренней стороны – «как

⁵³ Подробно об этом см. ниже, гл. 10 и 11.

⁵⁴ См., например: Dewald, Jonathan. *Lost Worlds: The Emergence of French Social History, 1815–1970*. University Park (PA), 2006.

процесс, обусловленный системными связями историографии с данным типом культуры, определяемым ее мировоззренческой сутью, которую в наиболее доступной историографии форме выражает именно историческое сознание»⁵⁵.

Второй подход отличается как от историографической критики, так и от науковедческого анализа, и нацеливает исследователя на изучение историографии как одной из базовых составляющих исторической культуры, а истории историографии – в более широком «внешнем» исследовательском пространстве культурно-интеллектуальной истории. И в этой познавательной ситуации «история наследует проблему, встающую вне ее и связанную с феноменами памяти и забывания», проблему репрезентации, или точнее – *репрезентирования* прошлого (если мы хотим подчеркнуть активный и незаконченный характер этого действия)⁵⁶. Причем речь в данном случае идет не о частной, индивидуальной репрезентации, а о репрезентации объективированной, о репрезентации прошлого именно как об исследовательском объекте истории историописания, с неотъемлемой от нее дискурсивно-риторической составляющей, которая налагает серьезные ограничения на стратегию, предполагающую возможность отличить правдивое повествование от вымысла, т.е. на тот «критический реализм», «в рамках которого многие историки действуют, не вполне это сознавая»⁵⁷.

Как подчеркивает Поль Рикер, особенную ценность для ответа на вопрос, касающийся степени правдоподобия исторического текста, представляют случаи «переписывания истории», «именно в переписывании истории проявляется страсть историка, его желание приблизиться еще больше к тому странному оригиналу, каким является событие во всех его ви-

⁵⁵ Барз М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. С. 6.

⁵⁶ Рикер П. Историописание и репрезентация прошлого. С. 23, 29.

⁵⁷ Там же. С. 36.

дах и формах». При этом, несмотря на целую цепь опосредованных («прояснение концептов и аргументов, определение спорных положений, отбрасывание готовых решений) «память остается матрицей для истории даже когда история превращает ее в один из своих объектов»⁵⁸, будь то в рамках истории памяти, истории историографии или же в контексте истории исторической культуры, включающей анализ содержания, формальных разграничений и взаимодействия между различными типами исторической памяти (приватной и публичной, популярной и элитарной, профессиональной и любительской, локальной и национальной и т. д.), а также их познавательной, этической, эмоциональной и эстетической составляющих.

Историография, как и историческая память, изменяется со временем, в связи с нуждами и потребностями общества. В основе профессиональной исторической культуры обнаруживается особый тип коллективной памяти, с характерными ценностями (прежде всего требованием достоверности) и средствами коммуникации (как внутри своего «мнемонического сообщества», так и с другими группами и с обществом в целом), которые также подвержены изменениям.

Важным направлением исследовательского поиска становится изучение динамики состояний исторического сознания на обоих его уровнях: и на профессионально-элитарном, и на обыденно-массовом. Первые шаги были сделаны в изучении средневековой историографии⁵⁹. В этой области имеют место несколько способов концептуализации, представления и обсуждения результатов исследований. Иногда произведения средневековых летописцев приводятся в качестве примера текстов, которые характеризуются минимальной сложно-

⁵⁸ Там же. С. 41.

⁵⁹ Средневековая историография, как и средневековая литература в целом, привлекает особое внимание американских историков постмодернистской ориентации и их оппонентов с обеих сторон Атлантики.

стью и воздействуют на читателя наиболее прямыми и стереотипными способами, а затем в результате анализа этих хроник или анналов с точки зрения их нарративных структур делается вывод о том, что если даже подобного рода тексты не могут рассматриваться как простые свидетельства, то тогда это тем более справедливо в отношении любого другого исторического сочинения. Второй способ строится на признании художественной, т.е. литературной, а не собственно исторической ценности средневековой историографии. Предполагается, что понимания истории как нарратива (в духе Хейдена Уайта) достаточно, и нет необходимости выяснять, как функционируют отдельные произведения средневековых историков в современных им и в более поздних контекстах.

Однако наиболее эффективный подход, приоритетно освоенный канадскими и американскими историками, оказался связан с изучением средневековых авторов как индивидов, а не только как представителей каких-то тенденций, с изучением и оценкой той селекции событий прошлого, которую они осуществляли в соответствии со своими ценностями и представлениями. Сторонники этого подхода представляют средневековую историографию как результат серии индивидуальных выборов, обусловленных конкретными социально-политическими обстоятельствами⁶⁰. Так, например, Габриель Спигел, анализируя французские хроники XIII века, обращает особое внимание на момент «инскрипции» (фиксации значе-

⁶⁰ *Spiegel G.* Romancing the Past: The Rise of Vernacular Prose Historiography in Thirteenth-Century France. Berkeley etc., 1993; *Geary P.* Phantoms of Remembrance: Memory and Oblivion at the End of the First Millenium. Princeton, 1994; *Lifshitz F.* The Norman Conquest of Pious Neustria. Toronto, 1995; *Wolf K. B.* Making History: The Normans and Their Historians in Eleventh-Century Italy. Philadelphia, 1995; etc. Этот подход был впервые реализован в книге: *Partner, Nancy.* Serious Entertainments: The Writing of History in Twelfth-Century England. Chicago, 1977. См. также: *Writing Medieval History / Ed. by N. Partner.* L., 2005.

ния), который, в отличие от простой записи (регистрации), представляет собой «момент выбора, решения и действия, который создает социальную реальность текста, реальность, которая существует и “внутри” и “вне” отдельного элемента, инкорпорированного в произведение посредством включений, исключений, исправлений и т.д. Литературный текст формируется из множества невысказанных желаний, убеждений, интересов, которые накладывают отпечаток на все произведение, но возникают под давлением обстоятельств как интертекстуального, так и социального происхождения»⁶¹.

В подобном исследовании оказываются взаимосвязанными (хотя они могут выступать и как самостоятельные) три линии анализа: 1) анализ самого данного исторического текста, 2) анализ содержащейся в нем концепции (как ее доминантной идеи, так и имеющих противоречий), 3) анализ исторического опыта, к которому эта концепция может быть обращена.

Вопрос о роли исторического сознания в формировании персональной и групповой идентичности определяет направление исследовательского поиска известного канадского историка Марка Филлипса⁶². Он, в частности, провел анализ качественного сдвига, который произошел в понимании задач истории и в историографической практике на рубеже XVIII и

⁶¹ Spiegel G. *Romancing the Past...* P. 10. См. также: Spiegel G. *The Past as Text. The Theory and Practice of Medieval Historiography*. Baltimore, 1997. Аналогичный синтетический подход применяется и к изучению историографии раннего Нового времени. См., например: Grafton, Anthony. *What was History? The Art of History in Early Modern Europe*. Cambridge, 2007. См. также: Struener N. *The History of Rhetoric and the Rhetoric of History*. Farnham, 2009.

⁶² См., прежде всего: Phillips, Mark Salber. *Society and Sentiment: the Genres of Historical Writing in Britain 1740–1820*. Princeton, 2000; *Idem*. *Relocating Inwardness: Historical Distance and the Transition from Enlightenment to Romantic Historiography* // *The Modern Historiography Reader: Western Sources* / Ed. by A. Budd. Abingdon, 2009. P. 106–117.

XIX вв. и выразился в смещении целевых установок от описания прошлого к его «воскрешению в памяти»⁶³. Наблюдения Филлипса прекрасно накладываются на соответствующий историко-литературный материал, в частности, на огромный корпус текстов первого и второго ряда, причисляемых к исторической новеллистике, которая пользуется неизменной популярностью у массового читателя. Траекторией движения историографии в обозначенном поле, намагниченном полюсами научной аргументации и литературной репрезентации, может быть записана одна из версий ее непростой истории.

Переосмысление процессов исторического познания и передачи исторического знания в духе культурной парадигмы еще далеко от завершения и сулит немало неожиданных следствий. Центральное место в изучении представлений о прошлом людей разных культур и эпох (в том числе в аспекте «массового потребления» исторического наследия⁶⁴) должна занять концепция базового уровня исторического сознания, формирующегося в процессе социализации индивида, как в первичных общностях, так и национальными системами школьного образования⁶⁵. Ведь в отличие от литературных рассказов о жизни людей в прошлом, на которых стоит «клеймо вымышленности», рассказы на уроках истории как будто бы несут на себе бремя подлинности: информация, которую ребенка приучают упорядочивать, записывать, адекватно воспроизводить на уроках истории, предположительно «заверена ответственными лицами» и печатью – «все это, действительно, так и происходило». На основе закладываемых в сознание ин-

⁶³ 18-th International Congress of Historical Sciences. 27 August – September 1995. Proceedings. Montreal, 1995. P. 177-179.

⁶⁴ Анализ этой проблемы см.: *Groot, J. de. Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture*. N.Y., 2009.

⁶⁵ *Ферро М.* Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992. Подробнее об этом см. ниже, гл. 11.

формационных блоков впоследствии создаются социально-дифференцированные и политизированные интерпретации⁶⁶.

Наряду с отмеченными направлениями исследований в области истории исторической культуры представляется весьма перспективным новый взгляд на историю исторической науки. Под влиянием «лингвистического поворота» и конкретных работ большой группы «новых интеллектуальных историков» история историографии неизмеримо расширила свою проблематику и отвела центральное место изучению дискурсивной практики историка. Но это лишь один из векторов изменений, которые имеют комплексный характер, и вписываются в «критический поворот», некогда объявленный редакцией «Анналов». Промежуточные итоги этого «поворота» сформулировал Морис Эмар: «Прежняя наука постепенно уступает место иной истории, истории, критичной по отношению к самой себе, истории задающей себя как вопросом о конструировании своего предмета, так и вопросам о своих концепциях, о своих методах, которые она применяет и которые ей необходимо осмыслить в исторических категориях, а не соотнося их с другими дисциплинами, в которых история могла бы заимствовать более строгие, чем ее собственные, методы, и этим довольствоваться»⁶⁷.

Важное место в обновленной истории историографии занимает интенсивный микроанализ, будь то анализ конкретного текста или ситуации, отдельной творческой личности или межличностных отношений в интеллектуальной среде. Персонализированный, или биографический, подход является традиционно приоритетным в истории мысли и науки, не го-

⁶⁶ Претензия на правдивость и достоверность сообщает историческому нарративу особую функцию в формировании исторического сознания детей и взрослых. *Steedman C. La theorie qui n'en est pas une, or why Clio doesn't care // History and Theory. Beiheft 31. 1992. P. 36-37.*

⁶⁷ *Эмар М. «Анналы» – XXI век // Одиссей. Человек в истории. 2005. М., 2005. С. 135.*

вора уже об истории художественного творчества, с учетом роли личностного начала в этих областях человеческой активности. Речь идет, таким образом, о совмещении традиций социально-интеллектуальной и персональной истории в особом предметном поле, которое можно условно определить как *историю историографии в человеческом измерении*.

Во всяком обществе и при любом политическом устройстве существует глубокая, тесная и неискоренимая зависимость историков от современной эпохи. Однако историк погружен не только в современную общекультурную среду, но и в более узкую профессиональную культуру, которая имеет собственные традиции, несмотря на регулярно повторяющиеся в историографии самоназвания направлений, в конструировании которых главным является слово «новая»⁶⁸. Именно в связи с этим постоянно возникает необходимость всестороннего анализа и четкого определения того комплекса установок, который, собственно, и создает *новое качество*. И это, безусловно, касается не только задач и методов исторического познания, но и самого способа *историописания*.

Те вопросы, которые каждое поколение историков ставит перед прошлым, неизбежно отражают интересы, пробле-

⁶⁸ Понятие новизны активно применяется в обозначении историографических направлений на протяжении всего XX века. Как, правило, речь идет о самоназваниях. В первой четверти XX века в США историки, выступавшие с критикой идиографизма, создали школу «новой истории» (“new history”). Середина XX века отмечена борьбой «школы Анналов» против традиционной историографии за междисциплинарную методологию *nouvelle histoire*, и это движение в 1970–1980-е годы приобрело практически универсальный характер в западной исторической науке. В последней трети XX столетия «новые истории» появлялись в отдельных сегментах дисциплинарного предметного поля каждую пятилетку. См. также: *Савицкий Е. Е.* «Откуда ждать нового?» О понятиях новизны в историографии // *Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной научной конференции.* М., 2008. С. 241–243.

мы и тревоги этого поколения. Под воздействием внешних импульсов и в результате осмысления событий и проблем своего времени историкам неизбежно приходится пересматривать взрастившую их историографическую традицию, опыт и знания, накопленные предшественниками, менять перспективу своего видения прошлого, искать новые пути и методы его познания. Вот почему так необходимо рассматривать изменения в проблематике исторических исследований, развитие и смену научных концепций, подходов, интерпретаций в контексте личных судеб и общественных процессов, сквозь призму индивидуального и профессионального восприятия как социально-политических и идеологических коллизий, так и интеллектуальных вызовов эпохи. В связи с этим особое значение приобретает вопрос о соотношении в историографии (и в социально-гуманитарном знании в целом) научной объективности и идеологических пристрастий.

Политическая ориентация, социальная позиция, иерархия ценностей так или иначе находят выражение в интеллектуальном творчестве обществоведа, гуманитария, историка. И это необходимо изучать. Однако существует своеобразный корпоративный «кодекс чести», а также отчетливо выраженные и воспроизводимые в процессе профессиональной подготовки дисциплинарные нормы и критерии достоверности, которые позволяют выявить фальсификацию, используя критический аппарат традиционной и современной историографии против нового «мифостроительства». Изучение корпоративно-профессиональных норм – это еще одна важная задача современной истории истории.

Настало также время для формирования нового направления исторической критики, все дальше уходящего от описания и инвентаризации исторических концепций, направлений и школ к анализу, главным предметом которого становятся не только *результаты* профессиональной деятельности и *мето-*

ды исторического познания, но *профессиональная культура в целом*, отражающая качественные перемены в исследовательском сознании, в творческой и коммуникативной практике (формах общения) историков и в самом способе *историописания*. В поле зрения новой исторической критики включаются не только результаты профессиональной деятельности историка, но вся его творческая лаборатория, исследовательская психология и практика, и в целом – культура творчества историка.

Новые направления современной историографии, усвоившие уроки «постмодернистского вызова» доказывают свою состоятельность, дав нам реальную возможность глубже понять те процессы, которые определяли развитие самого исторического знания и исторической науки в тот или иной период ее истории, выявить их новые измерения в более широких интеллектуальных и культурных контекстах.

Рассматривая историю историографии (исторического знания) как интеллектуальную историю, можно говорить о трех различных уровнях ее изучения, которые в той или иной мере соответствуют таким основным направлениям обновленной методологии интеллектуальной истории, как история интеллектуальной жизни, история ментальностей и история ценностных ориентаций. Вместе с тем, разрабатывая подобный полномасштабный историко-историографический проект в рамках современной интеллектуальной истории, необходимо учитывать взаимосвязанность всех его составляющих, в том числе и относительно традиционных, сформированных в предметных полях дисциплинарной истории, проблемно-тематической историографии и истории исторической мысли.

ГЛАВА 10

ОТ ТЕОРИЙ ПАМЯТИ К ПРАКТИКЕ ИСТОРИОПИСАНИЯ

Постоянный поиск «новых путей» в историографии обусловлен столь же постоянным изменением тех вопросов, которые мы задаем прошлому из нашего настоящего. Рубеж веков и тысячелетий характеризуется особенно активным обращением историков к проблемам памяти. Но озабоченность этими проблемами имеет свою историю.

10.1. Теории памяти и историческое познание

В плоскости теории исторического познания рассматривал проблему памяти выдающийся британский историк, археолог и философ Р. Дж. Коллингвуд в своей «Идее истории». Утверждая несостоятельность теорий, основывающих историю на памяти, он настойчиво подчеркивал независимость истории от памяти. В этом историку помогает воображение: «...Прошлое не может стать объектом чьей бы то ни было перцепции, так как оно уже не существует в настоящем, но с помощью исторического воображения оно становится объектом нашей мысли»¹. «Безусловно, сознание, которое не могло бы помнить, не обладало бы и историческим знанием. Но память как таковая – всего лишь мысль, протскающая в настоящем, объектом которой является прошлый опыт как таковой, чем бы он ни был. Историческое знание – это тот особый случай памяти, когда объектом мысли настоящего является мысль

¹ Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография.* М., 1980. С. 231.

прошлого, а пропасть между настоящим и прошедшим заполняется не только способностью мысли настоящего думать о прошлом, но и способностью мысли прошлого возрождаться в настоящем². В последней фразе Коллингвуд в концентрированной форме выразил собственную концепцию истории, однако все это его рассуждение имеет более широкий смысл.

Заметим, что определение *памяти* как «мысли, протекающей в настоящем» относится и к историческому *знанию*, как «особому случаю памяти», разница, по Коллингвуду, заключается в *объекте и предмете*: в историческом знании это – не просто мысль как некая форма опыта, а рефлексия, точнее – рефлексивная, целенаправленная деятельность, мысль и действие слитые воедино³. Но откуда же происходит способность мысли прошлого «возрождаться в настоящем» и как она «воспроизводится в настоящем»?

Речь у Коллингвуда идет об идее «живого прошлого»: «то прошлое, которое изучает историк, является не мертвым прошлым, а прошлым в некотором смысле все еще живущим в настоящем», «все еще живы способы мышления того времени»⁴, а остатки прошлого «становятся свидетельствами лишь постольку, поскольку историк может воспринять их как выражение какой-то цели, понять, для чего они были предназначены». «Исторически вы мыслите тогда <...> когда говорите о чем-нибудь: “Мне ясно, что думал человек, сделавший это (написавший, использовавший, сконструировавший и т.д.)”⁵.

Различие же между мыслью прошлого и мыслью, воспроизводимой историком, заложено в контексте. История

² Там же. С. 280.

³ Там же. С. 294-297.

⁴ При этом «жизнь прошлого не обязательно должна быть непрерывной. Следы прошлого могут умирать, а затем воскресать из мертвых, как древние языки Месопотамии и Египта». Коллингвуд Р. Дж. Автобиография // *Он же. Идея истории. Автобиография*. С. 378.

⁵ Там же. С. 385.

была и остается «дисциплиной контекста». Только знание контекста позволяет находить в свидетельствах прошлого ответы на вопросы, предъявленные этому прошлому историком. При отсутствии прямого контакта с прошлой реальностью, мы лишены возможности познать какой-то ситуативный опыт прошлого в отдельности, но его можно понять в более широком контексте, в комплексной картине исторического опыта, включающей самые разные его интерпретации.

В субъективности источников, которые мы изучаем, отражены взгляды и предпочтения, система ценностей людей – авторов этих свидетельств или исторических памятников. Соответственно, субъективность, через которую проходит и которой отягощается соответствующая информация, отражая представления (в том числе представления о прошлом, составляющие содержание исторической памяти), в большей или меньшей степени характерные для некой социальной группы или для общества в целом, проявляет культурно-историческую специфику своего времени.

Таким образом, текст, который «искажает информацию о действительности», не перестает быть историческим источником, даже когда проблема интерпретации источников осознается как проблема интерпретации интерпретаций.

В зарубежной историографии (прежде всего во французской и немецкой) в конце XX века сложились представительные школы исследователей исторической (культурной) памяти, и число публикаций, посвященных этим проблемам, неуклонно растет⁶. Несмотря на заметные концептуальные и

⁶ Это относится не только к конкретно-историческим исследованиям, но и к теоретическим разработкам, а также к программным и к дискуссионным выступлениям. См.: *Les Lieux de Mémoire* / P. Nora (dir.). Т. 1–7. P., 1984–1992; *Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung* / Hg. v. A. Assmann, D. Harth. Frankfurt a. M., 1991; *Assman J. Das kulturelle Gedächtnis*. München, 1992; *Эксле О. Г. Куль-*

терминологические различия, они имеют важную общую характеристику – главным предметом истории становится не событие прошлого, а *память* о нем, тот *образ*, который запечатлелся у переживших его участников и современников, транслировался непосредственным потомкам, реставрировался или реконструировался в последующих поколениях, подвергался «проверке» и «фильтрации» с помощью методов исторической критики. Речь идет о памяти, подлинность которой «заверена», о памяти, «преобразованной в историю»⁷.

Историческая память чаще всего понимается как одно из измерений индивидуальной и коллективной/социальной памяти – как память об историческом прошлом или, вернее, как символическая репрезентация исторического прошлого. Историческая память – не только один из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, но и важнейшая составляющая самоидентификации индивида, социальной группы и общества в целом, ибо оживление разделяемых образов исторического прошлого является таким типом памяти, который имеет особенное значение для конституирования социальных групп в настоящем. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях. Собственно, и историческое знание, и социальная память выполняют ориентирующую функцию (в том числе и в морально-этическом плане), и при этом одной из функций исторического знания является организация социальной памяти, социального сознания и социальных

турная память под воздействием историзма // *Одиссей. Человек в истории*. 2001. М., 2001. С. 176–198; и др.

⁷ Концепцию «памяти-истории» комментирует, в частности, Франсуа Артог в статье «Время и история» // *Анналы на рубеже веков: антология*. М., 2002. С. 147–168 (С. 157–159).

практик. Историческая память рассматривается как сложный социокультурный феномен, связанный с осмыслением исторических событий и исторического опыта (реального и/или воображаемого), и одновременно – как продукт манипуляций массовым сознанием в политических целях. Историческая память социально дифференцирована и изменчива. Эта постоянно обновляемая структура – идеальная реальность, которая является столь же подлинной и значимой, как реальность событийная.

Историки обратились к изучению механизмов формирования и функционирования исторической памяти, опираясь на теоретические положения, концептуальный аппарат и методологический инструментарий исследований социальной и культурной памяти, разработанные в смежных дисциплинах и широко представленные в социально-гуманитарной (социологической, психологической, философской, лингвистической) научной литературе в течение всего XX столетия.

Исходным пунктом стали труды Мориса Хальбвакса⁸, работавшего в традиции Э. Дюркгейма и делавшего упор на *коллективное сознание*. В его концепции память индивида существует постольку, поскольку этот индивид является уникальным продуктом специфического пересечения групп, то есть его память, по сути, структурируется групповыми идентичностями. Подчеркивая социальную природу памяти, обусловленность того, что запоминается и забывается, «социальными рамками» настоящего, М. Хальбвакс ввел понятие «коллективной памяти» как социального конструкта: именно коллективы и группы, в его концепции, задавая и воспроизводя образцы толкования событий, выполняют функцию поддержания конституирующей их коллективной памяти.

Уже в конце XX века немецким египтологом Яном Ассманом была разработана теория культурной памяти и сфор-

⁸ Halbwachs M. La mémoire collective. Paris, 1950; *Idem*. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris, 1952.

мулированы задачи ее изучения в рамках того научного направления, которое он обозначил как «история памяти»⁹. Ян Ассманн проводит принципиальное различие между коммуникативной и культурной памятью. Коммуникативная память мало формализована, она представляет собой устную традицию, возникающую в контексте межличностных взаимодействий в повседневной жизни. Это – «живая память» индивидов (непосредственных участников и очевидцев) и групп о непосредственно пережитом или возникающая в процессе межпоколенческого общения в повседневной жизни. Она существует на протяжении жизни трех-четырех поколений.

Культурная память понимается как особая символическая форма передачи и актуализации культурных смыслов, выходящая за рамки опыта отдельных людей или групп, сохраняемая традицией, формализованная и ритуализованная, она выражается в мемориальных знаках разного рода – в памятных местах, датах, церемониях, в письменных, изобразительных и монументальных памятниках. Передаваясь многократно из поколения в поколение в режиме большой длительности, культурная память удерживает лишь наиболее значимое прошлое – мифическую историю, которая, по Ассманну, имеет ориентирующую, нормативную и конституирующую функции¹⁰.

Понятие «историческая память», как и концепт «коллективная память», не только у разных авторов, но и у одного и того же автора в разновременных публикациях, а иногда даже в одной и той же работе, может употребляться в значении «общий опыт, пережитый людьми совместно» (речь может идти и о памяти поколений), и более широко – как групповая память. «Историческая память» понимается как коллективная

⁹ *Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in den frühen Hochkulturen. München, 1992.*

¹⁰ *Ibid. S. 21. О теории культурной памяти Я. Ассманна см. также: Эжеле О. Г. Культурная память под воздействием историзма. С. 179-180.*

память (в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание *группы*) или как социальная память (в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание *общества*), или в целом – как совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об общем прошлом.

Высокая востребованность понятия «историческая память» во многом объясняется как его собственной «нестрогостью» и наличием множества дефиниций, так и текучестью явления, концептуализированного в исходном понятии «память». Вся терминология памяти характеризуется многозначностью. Память может включать все что угодно – от какого-нибудь спонтанного ощущения до формализованной публичной церемонии. Историки, вслед за антропологами, давно употребляют понятие коллективной памяти, обозначая им комплекс разделяемых данным сообществом мифов, традиций, верований, представлений о прошлом. Однако, многие авторы, особенно в последнее время, предпочитают все же различать память коллективную (групповую), память социальную, память коммуникативную (живую) и память культурную. Не менее важно различие между памятью репродуктивной и памятью реконструктивной, а также памятью-действием, памятью-репрезентацией и памятью, рассматриваемой как совокупность идей и образов.

Память бесконечна, все сознание опосредовано ею, даже сиюминутное ощущение настоящего получает осмысление посредством памяти. Исходя из памяти и заложенных в ней схем, человек ориентируется, сталкиваясь с новыми явлениями, которые ему предстоит осознать. То, что происходит «здесь и сейчас», интерпретируется на основе ранее накопленных знаний и, таким образом, само настоящее, в котором мы живем, выстроено из прошлых событий.

В нормальных обстоятельствах наша память хорошо нам служит, прежде всего потому, что репрезентирует про-

шлое и настоящее как связанные друг с другом. Мы доверяем своей памяти, так как она постоянно проверяется повседневной жизнью, хотя та же проверка нередко обнаруживает несообразности. Однако, когда это случается, мы обычно не испытываем трудностей в том, чтобы найти причину. Конечно, память максимально надежна в континууме настоящего, где она постоянно воспроизводится и проверяется. Но новый опыт или новые идеи могут ей противоречить и поставить под сомнение доверие к знанию о прошлом (как и о настоящем), заключенному в памяти и построенному на идеях и воспоминаниях, существующих в настоящий момент.

Память всегда обусловлена заинтересованностью. Люди помнят то, что им нужно помнить, но нередко забывают даже события из собственной жизни, если не придают им значения. Изменения интереса и восприятия по отношению к историческому прошлому связаны с явлениями социальными. Меняющийся интерес к прошлому является частью коллективного, общественного сознания, а перемены в социальных условиях порождают изменение этого сознания. Различия между видами описания прошлого, сделанного разными людьми, можно соотнести с различными видами общества, к которому эти люди принадлежат. Но связь между обществом и историей не так проста: можно идентифицировать целый ряд значительных промежуточных звеньев между социальной практикой и описаниями прошлого. Первое – это язык, который формирует и сохраняет наши концепции. Когда же мы стремимся передать наши воспоминания, первостепенное значение приобретают существующие формы или жанры повествования.

Осознание прошлого у индивида или социальной группы может складываться на основе устной традиции, которую не следует путать с устной историей – с исторической дисциплиной, порожденной методикой изучения устных воспоминаний современной эпохи. Устную традицию можно определить как объем знаний, которые передавались из уст в уста на

протяжении нескольких поколений, являясь коллективным достоянием членов данного общества.

Устная традиция является живой там, где грамотность не пришла еще на смену традиционной устной культуре. Именно из устных воспоминаний и устной традиции черпали большинство сведений те, кто сейчас считается первыми историками – Геродот и Фукидид. Средневековые летописцы и историки также в большой степени зависели от устных свидетельств, но уже с эпохи Возрождения стало быстро возрастать значение письменных источников. В XIX веке, с возникновением академической исторической науки в ее современном виде, использование устных источников было практически прекращено¹¹. В обществе всеобщей грамотности устная традиция утрачивается в течение жизни двух-трех поколений. В настоящее время устная традиция используется историками не в качестве носителя исторической информации, а как средство для раскрытия культурного контекста, в котором формируются образы прошлого в традиционных обществах.

Историческая память находит свое выражение в различных формах. Компаративный анализ традиционного историописания позволяет говорить о наличии двух моделей репрезентации исторического прошлого: это – *эпос* (первоначально звуковой способ передачи исторической памяти) и *хроника* (изначально письменный способ ее фиксации) с присущими им контрастными характеристиками:

а) в *эпосе*, функция которого состоит в прославлении или коммеморации героя, абсолютные даты отсутствуют, а в *хронике*, функция которой заключается в описании или регистрации события, они имеют первостепенное значение;

б) в *эпосе*, который рассчитан на эмоциональное восприятие слушателями и перформативен (особо значима его

¹¹ В обществе всеобщей грамотности устная традиция утрачивается в течение жизни двух-трех поколений.

форма) по самой своей сути, важную роль в представлении сообщения в каждом случае играет исполнитель и ситуация, в которой происходит исполнение; в *хронике* же тот, кто передает сообщение, невидим, а передача письменного сообщения носит информативный характер (важно само содержание послания) и рассчитана на понимание, которое зависит от позиции читателя и его интеллекта.

Многие исследования антропологов, изучавших устные предания, в которых хранилась память народа о жизни и деяниях предшествующих поколений, показали, что устное изложение прошедших событий нельзя отделить от взаимоотношений между рассказчиком и аудиторией, в которой оно имело место. Однако не только устные, но и письменные сообщения-интерпретации фактов прошлого не существуют как самостоятельные объекты, но являются продуктом дискурса. Как бы ни была скромна цель рассказчика, эти сообщения являются целенаправленными вербальными действиями, и, в свою очередь, интерпретируются слушателем или читателем как таковые с учетом жанра этого дискурса, который обеспечивает аудитории соответствующий «горизонт ожидания»¹².

Индивид имеет не только настоящее и будущее, но и прошлое, более того – он сформирован этим прошлым: как своим индивидуальным опытом, так и коллективной, социально-исторической памятью, запечатленной в культурной матрице. Этот образ, разумеется, должен быть динамически развернут. Индивидуальный опыт непрерывно прирастает, с каждым новым днем, новым контактом, новым поступком, и «шлсйф»

¹² С большинством затронутых в этих общих положениях тем можно подробнее познакомиться в обширном Введении в книге известного антрополога Элизабет Тонкин: *Tonkin E. Narrating Our Past. The Social Construction of Oral History. Cambridge, 1992. P. 1-17.* Рус. пер.: *Тонкин Э. Социальная конструкция устной истории // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М., 1999. С. 159-184.*

созидающей нас памяти становится все длиннее. «Матрица» не застыла, она «живет» и изменяется во времени, и, если говорить о сознании и мышлении, то в них эта темпоральность не ограничивается биологической жизнью индивида, а выходит за пределы дат его рождения и смерти – она открыта в пространство социального. Эта открытость и дает возможность говорить об историчности индивидуального сознания¹³.

Особого внимания требует проблема соотношения индивидуальной (персональной) и коллективной или социальной памяти. Конечно, самым важным для исследования индивидуальной памяти типом персональных текстов являются автобиографии. Здесь только не стоит ставить знак тождества между понятиями «автобиографическая память» и «индивидуальная память». Несовпадение их содержания обстоятельно продемонстрировано в ценном исследовании российского психолога В. Нурковой с «говорящим» названием «Свершенное продолжается»¹⁴. В этой же книге всесторонне рассмотрены психологические аспекты автобиографической памяти, доскональное знание которых насущно необходимо историку, работающему со столь специфическими источниками.

¹³ М. Хайдеггер так развивает эту мысль: «Люди - волей-неволей - вглядываются в прошлое, или точнее, в некий образ прошлого. Возможно того и не осознавая, они делают это постоянно... Наше существование имеет темпоральный характер: мы не можем осмыслить его, если будем пытаться думать о нем как об обособленном от времени. Поскольку наше существование темпорально, оно имеет собственную историю. Отнюдь не тривиальная или незначительная, эта история образует то, что мы есть. *Мы являемся тем, что мы есть в настоящий момент, в силу того, что мы постоянно стремимся к индивидуальному будущему и приходим из индивидуального прошлого; сама наша идентичность возникает из историчности* (курсив мой – Л. Р.) <...> Те, кто не может вспомнить прошлое, приговорены к тому, чтобы сперва его выдумать».

¹⁴ Нуркова В. Свершенное продолжается. Психология автобиографической памяти личности. М., 2000.

Выделим некоторые ключевые характеристики автобиографической памяти, которые могут быть соотнесены с принципами ее исследования. Во-первых, справедливо подчеркивается, что автобиографическая память, содержанием которой являются важные и яркие события индивидуальной биографии, а также представления о себе в разные периоды жизни, «собирает» из несвязных обрывков (курсив мой – Л. Р.) каждодневных впечатлений уникальную, укорененную в самоощущенности человеческую личность¹⁵. Во-вторых, «случайно или намеренно изменив свою историю, автобиографию, мы уже не можем оставаться прежними. Мы чувствуем, как меняется ход наших мыслей, наше восприятие окружающего мира».

Чем это может быть полезно историку? Увы, нам не часто доводится иметь дело с последовательным рядом автобиографических текстов одного и того же индивида. Однако этот угол зрения может высветить некоторые «автобиографические штрихи» в источниках другого рода. По крайней мере, целенаправленный поиск в этом направлении не лишен перспектив. Не менее важно то, что в любом обществе или социальной группе существуют писанные или неписанные, но от этого не менее влиятельные, каноны, которые определяют, что и как человеку, принадлежащему к данному социуму, к данной культуре, следует рассказывать о своем прошлом и как он должен понимать свою судьбу. Это обстоятельство ни в коем случае нельзя забывать при анализе автобиографических памятников, и оно, несомненно, служит основанием для скептического отношения к вопросу об их достоверности. Но, с другой стороны, так называемые «модельные автобиографии» могут иметь особую ценность для историка: ведь сам факт «модельности» делает их репрезентативными. Автобиограф выстраивает историю своей жизни в определенной последовательности. Он

¹⁵ Подобную же *собирательную* роль по отношению к хаосу фрагментов повседневности прошлого играет историография.

пишет ее, как это обычно делают историки, – ретроспективно, из настоящего времени, мысленно отвечая на вопрос «как я стал тем, что я есть». Категория «индивидуального прошлого» (опыта пережитого, отложившегося в сознании) играет интегративную роль, компенсируя последствия аналитических процедур, разлагающих человеческую деятельность, а, следовательно, и личность, на отдельные составляющие.

Каждое состояние настоящего есть следствие множества прошлых событий и состояний, разных по продолжительности и образующих разнородный сплав, уникальный для каждого индивида. Но это не только лично им пережитое: так называемый индивидуальный жизненный опыт включает разные компоненты. Показать на конкретном материале как, прирастая «новым прошлым», меняется вся структура индивидуального опыта, сознания и способа жизни исторического индивида, – огромная и редчайшая удача для историка, реализация которой неизбежно требует исследования темпорального измерения личности. Благодаря наличию уникального по охвату и разнообразию комплекса исторических памятников, ближе всех к решению этой проблемы сумел подойти Жак Ле Гофф в грандиозной монографии о Людовике Святом¹⁶. Сам объект исследования определяется в ней как «глобализирующий», концентрирующий вокруг себя всю совокупность сфер, включаемых в поле исторического знания.

Созданная Ле Гоффом биография Людовика Святого оказывается необычайно *протяженной*: она выходит далеко за пределы, поставленные рождением и смертью его героя, включая, с одной стороны, унаследованную им память предшествовавшего поколения, зафиксировавшую опыт прошлого, а с другой – историю создания образа Святого Людовика в памяти переживших его современников и последующих поколе-

¹⁶ *Le Goff J. Saint Louis. P., 1995.*

ний. Так история одной жизни перерастает в настоящую биографическую историю, в историю, показанную через личность.

Некоторые исследователи исходят из того, что «индивидуальная память нерепрезентативна». Однако эта оценка имеет свои границы достоверности, так как не учитывает сложного состава памяти индивида, которая включает персональный, социокультурный и исторический планы. Наряду с собственным жизненным опытом, она подразумевает приобщение к опыту социальному, превращение чужого опыта в собственный, причастность к весьма отдаленным событиям.

Огромное значение имеют «устные семейные хроники», рассказы (как правило, неоднократно воспроизводимые) старших о семейном прошлом («до того, как ты родился»), которые в той же мере, что и непосредственно переживаемые события, формируют индивидуальную память, дополняя ее так называемыми *воспоминаниями второго порядка*. Подобные домашние хроники обычно рассматривают как необходимую основу групповой семейной идентичности, но на персональном уровне эти эпизодически или регулярно актуализируемые семейные воспоминания вербально переживаются, присваиваются и «входят» неотчуждаемым компонентом в индивидуальное сознание. Аналогичным образом строится и идентичность семьи – до рождения настоящего поколения и после его ухода.

Натали Земон Дэвис воссоздала этот процесс на материале истории Франции раннего Нового времени¹⁷. Источниковую базу составил представительный корпус семейных мемуаров, которые писались не столько для себя или близких сверстников, сколько для потомков. Это, безусловно, важнейший источник, позволяющий понять истинный смысл семейной идентичности и семейной истории. В этих мемуарах фик-

¹⁷ Дэвис, Натали Земон. Духи предков, родственники и потомки: некоторые черты семейной жизни во Франции начала Нового времени // Альманах "THESIS", 1994. Вып. 6. С. 201–241.

сировались не только события, пережитые самими их авторами, но и воспоминания старших, передававшиеся из поколения в поколение в устной форме. Обычно они охватывали не более двух или трех поколений предков мемуариста. Рассказы отцов и матерей соединялись в единое целое вопросами детей и дополнялись подслушанными разговорами («Что делал мой дедушка в Риме для кардинала де Бурбон?», «За кого вышла замуж моя покойная тетя Габриелла?», «Отец моего отца жил до 126 лет, и, перед тем, как он умер, я сам с ним разговаривал...», «Я слушал, как Жан де Лан в 85 лет рассказывал, что его отец в 1331 г., когда он был в этом же возрасте, сказал...»). Запись беженца-гугенота в XVI в. показывает, какой важной частью семейной жизни были эти разговоры: «Ужасные гражданские войны вынудили бесчисленное количество семей, бросив все, покинуть королевство... Многие умерли, не оставив воспоминаний родным о своей родине. Дети не узнают, кем были их родители или предки... Книги и бумаги моего покойного отца потеряны, и я должен восстановить то, что я слышал от него, моей покойной матери и других моих родственников, рассказывавших о происхождении наших предков». В итальянских городах семейные истории и домашние воспоминания оформляются в новый литературный жанр уже в XIV в., но в остальных странах Западной Европы в малограмотных семьях, особенно среди крестьян, такие истории на протяжении раннего Нового времени передавались устно, возможно, вместе с сундуком нотариальных контрактов и других документов. Однако в XVI-XVII вв. множество таких рукописных мемуаров уже хранилось в семьях представителей средних и высших слоев общества.

Домашние мемуары имели различные формы (дневника, записей отдельных событий или последовательного изложения семейной истории) и содержали разный объем информации о жизни мемуариста и его времени (мужья рассказывали больше о себе, чем о женах; жены же обычно повествовали, по мень-

шей мере, столько же о мужьях и детях, сколько о себе). Некоторые воспоминания создавались на протяжении ряда поколений - чаще всего сыновьями или наследниками по мужской линии, но иногда женами, вдовами, дочерьми и даже невестками, если мужская линия семьи прерывалась. Другие - писались на протяжении жизни одного автора и просто сохранялись в семейном архиве для последующих поколений.

Отвечая на вопрос о достоверности этих мемуаров, Натали Дэвис обращает внимание читателей на то, что их недостатком является не столько содержащийся в них вымысел (что подчеркивает большинство исследователей), сколько неумышленные или сознательные умолчания. Люди, обладавшие чувством семейной солидарности, сами выбирали, что забыть, а что рассказать детям так, чтобы не повредить репутации семьи и ее интересам. Однако все стремились оставить детям какой-то рассказ о судьбе семьи, о жизненном пути и достоинствах родителей, воспитании и браках детей, разорениях и утратах, передавая таким образом значительное число эпизодов семейной истории от одного поколения семьи к другому.

Проблема перехода от индивидуальной памяти к коллективной связана и с другой серьезной проблемой, которая не ограничивается рамками изучения механизмов трансляции семейного опыта. Это - проблема перехода от биологического ритма человеческой жизни к ритму жизни социальной. Существование и неразрывная последовательность смены поколений является неотъемлемой частью социальных связей. Существует и такое понятие, как память поколений.

В современном обществознании понятие «поколение» обычно опирается на общность социальных переживаний и деятельности этой группы людей. Длительность поколения в этом культурно-историческом смысле зависит от скорости обновления общества: чем быстрее перемены, тем «короче» становятся поколения, тем явственнее выступают и осознаются поколенные различия.

Карл Мангейм, который первым заговорил о поколении в социологии, рассматривал смену поколений как основанный на ритме человеческой жизни универсальный процесс, в результате которого в историческом процессе появляются новые и постепенно исчезают старые действующие лица, причем члены любого поколения могут участвовать только в ограниченном временном отрезке исторического процесса. Наряду с необходимостью решения постоянно стоящей перед обществом задачи передавать накопленное культурное наследие, он отмечал и неразрывно связанную с ней проблему перемен¹⁸.

Ключевое значение для жизнеспособности общества имеет открытость молодого поколения новому опыту, который противоречит старым стереотипам и привычным ценностям. При этом многое зависит от характера перемен: при резких качественных скачках межпоколенческие различия становятся более явственными и субъективно ощущаются гораздо болезненнее. В результате смены поколений изменяется содержание коллективной памяти. Принципиальное значение имеет сопоставление воспоминаний «первого поколения», пережившего события в сознательном возрасте и «второго поколения» («отцов» и «детей» в буквальном или фигуральном смысле), т. е. памяти смежных поколений, по-разному воспринимающих и оценивающих одни и те же события. Если для «второго поколения» эти события – еще «живое прошлое», то для представителей «третьего поколения» они превращаются в достаточно абстрактные образы: это уже не часть собственной биографии, а часть истории.

С окончательным уходом из жизни «первого поколения», то есть всех тех, для кого события являлись фактом собственной биографии, субстанция коллективной памяти исчезает и замещается довольно приблизительными коллективными представлениями. Критически важно в работе с источниками

¹⁸ См. Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.

личного происхождения четко представлять себе поколенную идентичность автора. Ведь, при всей его условности, выражение «память поколения» имеет содержательную сторону, отражающую некую общность культурно-исторического опыта.

В последние десятилетия XX века во многом был пересмотрен взгляд на отношение индивидуального опыта к коллективной памяти. Наиболее глубокая рефлексия по этим вопросам содержится в получившей широкую известность книге Джеймса Фентресса и Криса Уикхэма «Социальная память»¹⁹. Авторы поставили перед собой задачу разработать такую концепцию памяти, которая, отдавая должное коллективной стороне сознательной жизни индивида, в то же время не изображала бы его как автомат, пассивно подчиняющийся коллективной воле, а оставляла бы для него пространство выбора. Именно поэтому они предпочли говорить не о социальном сознании, а о социальной памяти.

Индивидуальная память превращается в коллективную и в социальную в процессе коммуникации, рассказа о пережитом. Воспоминания, которые один индивид разделяет с другими, становятся для них релевантными. Социальные группы конструируют свои образы мира, устанавливая некие согласованные версии прошлого, и эти версии устанавливаются посредством коммуникации. Ведь память может быть коллективной или социальной, только если ее можно передать, а для этого она должна быть артикулирована, что возможно посредством речи, ритуалов, изображений и т.д.

Передача памяти о прошлом – это процесс отбора фактов, их упорядочивания, а затем переупорядочивания. Факты обычно быстро утрачиваются на ранних стадиях социальной памяти: во-первых, чтобы их запомнить и передать, они должны быть трансформированы в образы и, во-вторых, – организованы в рассказы – нарративы разных жанров, кото-

¹⁹ Fentress J., Wickham C. Social Memory. Oxford, 1992.

рые существуют как типовые модели, с помощью которых переживаются и интерпретируются все события. Однако образы можно передать, только если они конвенциональны и упрощены; конвенциональны, потому что образ должен иметь смысл для всей группы, а упрощены, потому что для того, чтобы иметь общий смысл и возможность передачи, сложность образа должна быть сведена к возможному минимуму. Укладка запомнившихся фактов в эти шаблоны может с самого начала сопровождаться радикальной перестройкой памяти. К этому моменту часть фактов уже оказывается утраченной не просто в результате быстрого исчезновения фактического компонента памяти, но также из-за того, что факты, не гармонирующие с интересами и психологическими установками «информаторов», фильтруются при передаче.

Концептуализация, которая происходит, когда память трансформируется в предназначенный для ее передачи рассказ – это самостоятельный процесс. Дальше весь процесс изменения замедляется, возникает некоторая стабилизированная версия – «история».

Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» дал, в частности, исключительно точное описание психологического процесса трансформации индивидуальной памяти о событии в его стереотипную версию – в эпизоде, когда юный Николай Ростов рассказывает о том, как и где он получил рану. «Он рассказал им свое Шенграбенское дело совершенно так, как обыкновенно рассказывают про сражения участвовавшие в них, то есть так, как им хотелось бы, чтоб оно было, так, как они слышали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было (курсив здесь и далее мой – Л. Р.). Ростов был правдивый молодой человек, он ни за что умышленно не сказал бы неправды. Он начал рассказывать с намерением рассказать все, как оно точно было, но незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в неправду. Ежели бы

он рассказал правду этим слушателям, которые, как и он сам, слышали уже множество раз рассказы об атаках и составили себе определенное понятие о том, что такое была атака, и ожидали точно такого же рассказа, – или бы они не поверили ему, или что еще хуже, подумали бы, что Ростов сам виноват в том, что с ним не случилось того, что случается обыкновенно с рассказчиками кавалерийских атак» (Т. I. Ч. III. Гл. VII).

Индивидуальные воспоминания включают личные переживания, многие из которых очень трудно артикулировать, и потому образы индивидуальной памяти всегда гораздо богаче, чем более схематичные коллективные образы. Образ события, занесенный в социальную память, – это некая условная схема, общая идея, понятие, которое взаимодействует с другими аналогичными понятиями. По существу, прошлое сохраняется ценной его изъятием из контекста, или деконтекстуализации. Подавление социальной памяти с тем, чтобы придать ей новое значение, само по себе является социальным процессом. Более того, историю этого процесса иногда можно приоткрыть. Дело в том, что социальная память оказывается подверженной закону спроса и предложения: чтобы сохраниться за пределами сиюминутного настоящего и, особенно, чтобы выжить в процессе передачи и обмена, память о событии должна быть востребована. Здесь вступают в силу социальные, культурные, идеологические или исторические факторы.

Системы социальной или коллективной памяти различаются не только своей интерпретацией данных исторических событий, но и тем, какие именно события (а также какой тип событий) они рассматривают как исторически значимые. То, что люди помнят о прошлом – а также то, что они о нем забывают – является одним из ключевых элементов их неосознанной идеологии. Как правило, средневековая литература, в том числе историческая, рассматривается сквозь призму осознанных взглядов авторов этих сочинений на то,

что есть история, через их литературный жанр, представления о причинности, отношение к эсхатологии и т.д. В связи с анализом процессов исторической памяти следует обратить внимание на то, что отражает эти неосознанные предпочтения и интерес к событиям определенного плана.

10.2. Память и историописание

Как хранились и передавались устной традицией легенды о деяниях предков, которые затем, спустя несколько поколений находили отражение в исторических сочинениях? *Что и как* рассказывалось о событии, как от эпохи к эпохе менялись акценты в повествованиях, какие новые смыслы вписывались в готовый сюжет?

Концепции средневековых историков были не менее глубоко укоренены в их настоящем, чем их собратьев по перу в любую другую эпоху. Средневековые хронисты особенно интересовались происхождением мира, народа, какого-нибудь знатного рода или церковного института и стремились проследить развитие своего предмета в непрерывном процессе от начала – предпочтительно отдаленного или даже мифического – до текущего времени. Однако их «чувство прошлого» было строго ориентировано на настоящее: историография во все времена выполняла практические функции, она не только описывала, но и использовала прошлое в насущных (главным образом политических) целях. Повествуя о достославных деяниях королей, епископов, пап или святых, она использовала прошлое как аргумент для решения текущих проблем – например, доказательства статуса или подтверждения притязаний. Тем не менее, манипуляция историческими аргументами производилась в полном соответствии с искренней внутренней убежденностью хрониста в правоте защищаемого им дела.

Не менее важный момент состоит в том, что различие между персональной и социальной памятью, на самом деле,

относительно. Даже индивидуальные воспоминания представляют собой смесь персонального и социального. Сама по себе память субъективна, но одновременно она структурирована языком, образованием, коллективно разделяемыми идеями и опытом, что делает индивидуальную память также социальной. Воспоминания социальны и в том, что они касаются социальных взаимоотношений и ситуаций, пережитых индивидом совместно с другими людьми. Эти воспоминания, в состав которых входят одновременно и персональная идентичность, и ткань окружающего общества, являются, по существу, средством воспроизводства социальных связей. В свете всего вышесказанного становится очевидным, что любая попытка использовать воспоминания как исторический источник с самого начала должна учитывать и субъективную (индивидуальную), и социальную природу памяти.

Социальная память является избирательной, а часто еще и искаженной или неточной. Тем не менее, важно осознать, что она необязательно всегда такова. Она действительно может быть очень точной, когда люди считают социально значимым день ото дня вспоминать и пересказывать событие так, как оно было первоначально пережито. Таким образом, бесплодные споры о том, достоверна она или нет, будут продолжаться вечно, если рассматривать память как некую ментальную способность, которая может быть описана в изоляции от социального контекста. То, что искажает социальную память, представляет собой не какой-то дефект в процессе воспоминания, но скорее серию внешних ограничений, обычно накладываемых обществом и достойных стать предметом специального рассмотрения.

Однако передача «правдивой» информации – это всего лишь одна из многих социальных функций, которые память может выполнять в разных обстоятельствах. Для того чтобы понять, каково значение прошлого для людей, относительно неважно то, насколько достоверную информацию о нем они

имеют, переживали ли они его непосредственно, или о нем им только рассказывали (речь может идти и о «компенсации» пробелов в индивидуальной памяти, как это, например, имеет место во многих «детских воспоминаниях», сконструированных регулярными семейными пересказами), или же они просто прочитали об этом в книге.

На социальное значение, внутреннюю структуру и способ передачи памяти мало воздействует ее соответствие реальности. Как правило, мы предполагаем, что наша память реальна, то есть сохраняемые образы событий нашего прошлого как-то относятся или даже непосредственно восходят к реальному событию. Это предположение может быть в основном верным в отношении персональной памяти, ведь здесь мы обычно, хотя и не всегда, имеем средства проверить отдельное воспоминание в контексте других воспоминаний, что, как правило, позволяет нам вернуться к обстоятельствам, с которыми связано это воспоминание. Но в социальной памяти образы часто относятся к обстоятельствам, которым мы сами не были свидетелями и, таким образом, у нас нет средств, вернувшись к ним, включить эти образы в контекст других воспоминаний.

Поскольку образы социальной памяти часто лишены контекста, то нет способа узнать, имеют ли они отношение к чему-то реальному или чему-то воображаемому. Конечно, подавляющее большинство членов любой социальной группы обычно считают, что если их традиция сохраняет память об определенном событии, то это событие непременно должно было произойти. Иными словами, члены группы просто предполагают, что их традиции имеют отношение к чему-то реальному, но не имеют способа узнать, что это именно так.

Иногда есть возможность проверить притязания коллективной памяти на истинность имеющимися документальными источниками (чем и занимаются, как правило, историки), хотя это удается далеко не всегда. Однако, и в том, и в

другом случае, вопрос о том, считать ли нам, «проверяющим», эту память исторически достоверной, оказывается менее важным, чем вопрос о том, считали ли они (носители памяти) эту память верной. Историки обычно определяют нерсалистичное отображение прошлого как «миф», но нельзя упускать из виду, что иногда мифические структуры в закодированной форме регистрируют реальные события или кардинальные перемены в жизни общности²⁰.

Перед историком памяти стоит непростая задача изучить, как создаются традиции, а также объяснить, почему определенные традиции соответствовали памяти определенных групп, с учетом общекультурного и интеллектуального контекста конкретной эпохи, всего комплекса факторов, воздействовавших на интерпретацию и трансформацию образов «ключевых» исторических событий. Но социальная память не только обеспечивает набор категорий, посредством которых члены данной группы или социума неосознанно ориентируются в своем окружении; она является также источником знания, дающим материал для сознательной рефлексии и интерпретации транслируемых образов прошлого, представлений и ценностей. Нельзя также забывать о живучести не до конца отрефлектированных ментальных стереотипов у самих историков и о социально-политических стимулах их деятельности в области «нового мифостроительства», с одной стороны, и о процессах интеллектуализации обыденного исторического сознания, сколь бы неоднозначны и противоречивы они ни были, – с другой. Деконструкция морально устаревших исторических мифов влечет за собой создание новых версий, идущих им на смену. И этот процесс неизбежен, поскольку концепции прошлого прочно укоренены в настоящем.

²⁰ Не следует в этом отношении игнорировать даже народные сказки, которые также являются напоминанием о прошлом, хотя расказчики часто и не претендуют на то, чтобы им верили.

Можно вспомнить, например, о том, что средневековые хронисты обладали отчетливо выраженным ощущением прошлого (они особенно интересовались происхождением мира, народа, какого-нибудь знатного рода или церковного института и стремились проследить развитие своего предмета в непрерывном процессе от начала – предпочтительно отдаленного или даже мифического – до текущего времени. Однако их *чувство прошлого* было строго ориентировано на настоящее: историография выполняла практические функции, она не только описывала, но и использовала прошлое в насущных (главным образом политических) целях. Повествуя о достославных деяниях королей, епископов, пап или святых, она использовала прошлое как аргумент для решения текущих проблем, доказывающий легитимность чьего-то статуса или подтверждающий чьи-то притязания. Тем не менее, как использование исторических аргументов, так и злоупотребление ими осуществлялось в полном соответствии с глубокой и искренней внутренней убежденностью хрониста в правоте защищаемого им дела.

Здесь мы вплотную подходим к проблеме соотношения истории и памяти, которая уже длительное время вызывает оживленные дискуссии как в среде специалистов, так и в более широкой аудитории. П. Нора говорил о том, что как форма воспоминания о прошлом история в виде упорядоченного исторического знания приходит на смену памяти, или же, иными словами, «история убивает память» либо «память убивает историю»²¹. Между тем, здесь нет такого «убийственного» выбора, еще точнее – между историей и памятью нет даже никакого разрыва. Ведь и высокопрофессиональные историки, претендующие на строгую научность и объективность либо на роль «жреца в храме Мнемозины», хранящего «эталон историче-

²¹ *Nora P.* Entre Mémoire et Histoire. La problématique des lieux / Les lieux de mémoire. T. 1. Paris, 1984. P. XV–XLII ; *Idem.* Between History and Memory: Les Lieux de Mémoire // Representations. Vol. 26. № 1. P. 7-25.

ской памяти»²², сопричастны «повседневному знанию», они, каждый на свой лад, вовлечены в современную им культуру, а кроме них есть еще и другие «производители» исторического знания – писатели, деятели искусства, служители культа и др.

История историографии демонстрирует двойственную роль историков в формировании, трансляции и трансформации коллективной памяти о прошлом, которое постоянно «интерпретируется, переосмысливается, усваивается, отторгается, отдалается, приближается, боготворится, предстает в черном свете, овеществляется, приходит в движение <...>, представляется в настоящем – часто против нашей воли»²³.

Испанский историк Игнасио Олабарри, настаивает на том, что историк не может выполнять мифическую функцию памяти, отказавшись от контроля над результатами своей профессиональной деятельности: «Перед историком стоит задача не изобретать традиции, а, скорее, изучать, как и почему они создаются. Наша задача сформулировать некую историческую антропологию нашего собственного племени. Однако одно дело, когда антропологи просто симпатизируют племенному сообществу, которое они изучают, и совсем другое – когда они становятся его шаманами»²⁴. На самом же деле все мы в каком-то смысле шаманы своего племени. Пытаясь развенчать социальную память, отделив факты от мифа, мы просто вместо одной получаем другую историю, стремящуюся, в конце концов, стать новым мифом. Это, разумеется, не значит, что следует принимать память пассивно и некритично. Мы можем

²² Экутут С. А. Битвы за храм Мнемозины // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001. С. 27–48.

²³ Рюзен Й. Может ли вчера стать лучше? О метаморфозах прошлого в истории // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 10. М., 2003. С. 48.

²⁴ Olabarri I. History and Science. Memory and Myth: towards new relations between historical science and literature // 18th International Congress of Historical Sciences. Proceedings. Montreal, 1995. P. 178.

вступить с ней в критический диалог, проверяя ее аргументы и притязания на соответствие фактам. Но было бы ошибкой представлять, что в результате этого расследования, выудив из исторической памяти «достоверные» факты, проверив ее аргументы и реконструировав закодированный в ней опыт – то есть, превратив ее в *историю*, – мы покончим с памятью.

Важнейшее различие между историей и памятью состоит в том, что историк может обнаружить то, чего нет в памяти, то, что касалось «незапамятных времен», или просто забылось. Это – одна из главных функций исторического исследования. «Историк может вновь открыть то, что было полностью забыто, забыто в том смысле, что никаких свидетельств о нем не дошло до нас от очевидцев. Он даже может открыть что-то, о чем до него никто не знал. Это он делает, частично обрабатывая свидетельства, содержащиеся в его источниках, частично используя так называемые неписьменные источники...»²⁵.

Наиболее развернутый анализ роли исторической памяти в историческом познании, с опорой на подход, условно мною обозначаемый как социально-сциентистский, принадлежит известному британскому историку Джону Тошу, который ставит в центр внимания ключевые вопросы: каковы различные измерения социальной памяти и в чем отличие деятельности историков от других размышлений о прошлом? Исходная посылка Дж. Тоша состоит в том, что мало просто обращаться к прошлому; необходима убежденность в важности достоверного представления о нем²⁶. Речь идет именно о когнитивной установке, о стремлении к познанию прошлого, но вовсе не о ретроградном позитивизме.

²⁵ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. С. 227.

²⁶ См. Tosh J. The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History. Third edition. London-New York, 2000. Рус. пер.: Тош, Джон. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. Глава 1. Историческое сознание. С. 11-32.

История как наука стремится поддерживать максимально широкое определение памяти. В то время как социальная память продолжает создавать интерпретации, удовлетворяющие политические и социальные потребности, в исторической науке господствует подход, состоящий в том, что прошлое ценно само по себе, и ученому следует, насколько возможно, быть выше соображений политической целесообразности.

Только в XIX веке историзм – историческое сознание в строгом смысле слова, сделалось определяющей чертой профессиональных историков, воплощенной в их научной практике, став общепринятым *правильным* методом изучения прошлого. Историческое сознание, как его понимают сторонники историзма, основывается на трех принципах.

Первый и наиболее фундаментальный из них – это признание различий между современной эпохой и всеми предыдущими. Важнейшее кредо историка: «*прошлое – это другая страна*»²⁷: в любом научном исследовании на первый план выступают отличия исторического прошлого от настоящего. Вторым компонентом исторического сознания в этой научной парадигме является *контекст*. Предмет исследования нельзя вырывать из окружающей среды – таков основополагающий принцип профессиональной работы историка, отличающий его от любителя. Третий фундаментальный аспект исторического сознания – *понимание истории как процесса*. Все виды человеческой деятельности требуют исторической перспективы, раскрывающей динамику перемен во времени.

Результатом программы историзма стало углубление различий между профессиональным и популярным взглядом на прошлое, существующих и по сей день. Профессиональные

²⁷ Интересно, что именно такое красноречивое название выбрал для своей фундаментальной книги американский историк Дэвид Лоуэнthal. См.: *Lowenthal D. Past is a Foreign Country*. Cambridge, 1985. Рус. пер.: *Лоуэнthal Д. Прошлое – чужая страна*. СПб., 2004.

историки настаивают на необходимости длительного погружения в первоисточники и намеренного отказа от сегодняшних представлений. С другой стороны, популярное историческое знание характеризуется крайне избирательным интересом к дошедшим до нас элементам прошлого, отфильтровано сегодняшними представлениями и лишь попутно – стремлением понять прошлое *изнутри*.

Дж. Тош выделяет три характерные черты социальной памяти, обладающие серьезным искажающим эффектом. Это, во-первых, *обращение к традициям*, когда то, что делалось в прошлом, считается авторитетным руководством к действиям в настоящем. Следование по пути, намеченному предками, играет позитивную роль в обществах, не переживающих период перемен, в которых прошлое почти не отличается от настоящего. Но в любом обществе, отличающемся динамичными социокультурными изменениями, некритическое отношение к традициям становится контрпродуктивным, так как, замалчивая любые явления прошлого, противоречащие искомому образу, игнорируя перемены, оно ведет к продлению существования отживших форм. *Традиционализм* Дж. Тош считает грубейшим искажением исторического сознания, поскольку он исключает понятие развития во времени. Обращения к «основам», существующим «с незапамятных времен», порождают ощущение неизменной идентичности, неподвластной историческим обстоятельствам, и национальной исключительности.

Другие формы искажения носят более тонкий характер. Одна из них – *ностальгия*. Ностальгия также устремлена назад, но, не отрицая факта исторических перемен, толкует их в одном направлении – к худшему, сожалея об уходящем образе жизни. С особой силой она проявляется в качестве реакции на чувство недавней утраты, и потому характерна для обществ, переживающих быстрые перемены. В ностальгическом ключе прошлое не просто консервируется, но и разыгрывается вновь,

актуализируя понятие *наследия*. Ностальгия превращает прошлое в символическое убежище, отсекая все его негативные черты: такое прошлое играет роль аллегии («золотой век»). Ностальгия представляет прошлое как альтернативу настоящему, а не как прелюдию к нему. Другой полюс шкалы искажений истории Дж. Тош отводит *вере в прогресс*. Он подчеркивает, что, если ностальгия отражает пессимистический взгляд на мир, то вера в прогресс оптимистична: она подразумевает не только позитивный характер перемен в прошлом, но и продолжение процесса совершенствования в будущем, а перемены во времени всегда наделяются положительным знаком и моральным содержанием. Концепция прогресса отличается европоцентризмом: она была основополагающим мифом Запада, источником чувства превосходства в его отношениях с остальным миром, а сегодня тоска по утраченному «золотому веку» в какой-то одной области часто уравновешивается сознательным очернением «мрачного прошлого» в другой.

Приверженность идее прогресса или традиции, ностальгические настроения являются базовыми составляющими социальной памяти. Каждая из них по-своему откликается на глубокую психологическую потребность в защищенности – они, казалось бы, обещают либо перемены к лучшему, либо отсутствие перемен, либо душевно более близкое прошлое в качестве убежища. Таким образом, социальные потребности настоящего формируют искаженный образ прошлого.

Проводя столь четкие разграничения, Дж. Тош все же оговаривается, что историю и социальную память не всегда можно полностью отделить друг от друга, поскольку историки выполняют некоторые задачи социальной памяти. К тому же социальная память сама по себе является важной темой социальной истории. Служит ли социальная память тоталитарному режиму или интересам различных групп демократического общества, ее ценность и перспективы выживания

полностью зависят от ее функциональной эффективности: содержание этой памяти меняется в соответствии с контекстом и приоритетами. Историческая наука, конечно, тоже не обладает иммунитетом от соображений практической полезности, но в чем большинство историков действительно обычно расходятся с хранителями социальной памяти, так это в приверженности принципам историзма: историческое сознание должно превалировать над социальной потребностью.

Что касается культурно-антропологического подхода, то он, в отличие от социально-сциентистского, выводит историографическое исследование за рамки привычных представлений об историчности, как об отношении к прошлому, формируемому лишь профессионально историками. При этом историчность понимается как антропологическая универсалия, регулирующая ментальные операции, связанные с ориентацией исторических субъектов различного уровня (индивидов, социальных групп, общества) и опирающаяся на историческую память. Наиболее серьезные теоретические разработки с применением культурно-антропологического подхода были сделаны известным немецким историком Йорном Рюзеном, который рассматривает процесс изменения коллективного самосознания как результат «кризиса исторической памяти»²⁸.

С. А. Экштут рассматривает проблему темпорального измерения памяти в связи с процессом создания и утверждения первой исторической версии прошедших событий, с переходом от памяти к истории, а точнее – с их «соперничеством» в общественном сознании: «В наше время резко сократился *временной лаг* между моментом совершения какого-либо события и началом его изучения учеными, он вполне сопоставим с периодом активной жизнедеятельности одного человеческого поколения. Историк знакомится с рассекреченными документами, в которых идет речь о событиях новейшей истории и их,

²⁸ Подробно о концепции Й. Рюзена см. ниже, гл. 11.

скрытых от взглядов современников, механизмах, что побуждает его решать непростые этические проблемы: еще живы непосредственные свидетели недавнего прошлого, болезненно переживающие сам факт происходящей на их глазах переоценки былых абсолютных ценностей. Смерть еще не собрала свою жатву, а специалист по новейшей истории уже начинает и завершает свой труд – и ему предстоит не только встреча с читателями, но и общение с ветеранами...»²⁹.

Историческая память мобилизуется и актуализируется в сложные периоды жизни нации, общества или социальной группы, когда перед ними встают новые трудные задачи или создается реальная угроза самому их существованию. Такие ситуации неоднократно возникали в истории каждой страны, этнической или социальной группы. И хотя эта проблематика стала выходить на авансцену исторических исследований лишь в последнее десятилетие, здесь, как и в каждой области знаний в ней были свои пионеры-первопроходцы. В 1944 г. вышла в свет небольшая по объему, но замечательная по содержанию книга выдающегося британского историка и философа Герберта Баттерфилда «Англичанин и его история». Вот лишь некоторые высказанные в ней мысли, над которыми стоит задуматься: «Во время кризиса 1940 года наши лидеры постоянно напоминали нам о тех ресурсах прошлого, которые могут быть привлечены, чтобы сплотить нацию в военное время. Всегда, даже погружаясь в море перемен и нововведений, Англия не прерывала связи со своими традициями и перебрасывала мостки к предшествовавшим поколениям, как в морском конвое, где хорошо бы не отрываться от идущих впереди кораблей. Может показаться странным, что хотя прошлое уже завершено, оно одновременно присутствует здесь с нами – что-то от него еще остается, живое и очень важное для нас. Но прошлое, действительно, как прокрученная часть киноплёнки,

²⁹ Эжитут С.А. Битвы за храм Мнемозины. С. 33.

свернулось кольцом внутри настоящего. Оно составляет часть самой структуры современного мира. У одних народов было изломанное и трагическое прошлое. Другие нации молоды или лишь недавно поднялись на поверхность истории. Некоторые изувечены страшным разрывом между прошлым и настоящим, разрывом, который, хотя и случился давно, они не смогли залечить и преодолеть. Нам в Англии повезло, и мы должны помнить нашу счастливую судьбу, потому что мы действительно черпаем силу из непрерывной преемственности нашей истории. Мы были благоразумны, ибо были внимательны ко всему, что связывает прошлое и настоящее воедино, и когда случались великие переломы – например, во время Реформации или Гражданских войн – последующее поколение делало все возможное, чтобы устранить дыры и прорехи, сделанные ими в ткани нашей истории. Англичане, жившие сразу же после этого, как бы возвращались с иголкой назад и тысячами мелких стежков вновь пришивали настоящее к прошлому. Вот почему мы стали страной традиций, и живая преемственность постоянно сохраняется в нашей истории»³⁰.

Несколько в ином направлении, но столь же последовательно эту мысль развивает С. А. Экштут: «У истории есть свои точки разрыва, точки забвения, точки вытеснения исторической памяти. На её страницах наряду с неизученным и таинственным так много невысказанного и недоговоренного. Белые пятна чередуются с фигурами умолчания. Те и другие свидетельствуют о разрыве памяти. И далеко не всегда профессиональный историк способен сшить этот разрыв. Более того, иногда именно он – сознательно или бессознательно прибегая ко лжи и извращая исторические события, – усиливает этот разрыв и способствует окончательному вытеснению из мира нежелательных остатков недавнего прошлого»³¹.

³⁰ *Butterfield H.* Englishman and his history. L., 1944. P. 5.

³¹ *Экштут С. А.* Битвы за храм Мнемозины. С. 34.

Крупные социальные сдвиги, политические катаклизмы дают мощный импульс к изменениям в восприятии образов и оценке значимости исторических лиц и исторических событий (включая целенаправленную интеллектуальную деятельность): идет процесс трансформации коллективной памяти, который захватывает не только «живую» социальную память, память о пережитом современников и участников событий, но и глубинные пласты культурной памяти общества, сохраняемой традицией и обращенной к отдаленному прошлому. И, естественно, профессиональная историография, выполняя свою социальную функцию, не остается в стороне от этого процесса, создавая новые интерпретации – потспециальные элементы будущей национальной мифологии³².

Политическое манипулирование исторической памятью является мощным средством управления сознанием человека и общества. Злоупотребления историей не ограничиваются авторитарными и деспотическими режимами. Они происходят и в обществах, которые не практикуют крутых репрессий в отношении инакомыслия в сфере знания о прошлом и вообще допускают широкую свободу мнений, но располагают особой системой регламентации, включающей скрытые механизмы ограничений и поощрений вполне определенных концепций. Однако конструированием приемлемых версий исторической памяти заняты не только официальные власти, но также оппозиционные силы и различные общественные движения. Борьба за политическое лидерство нередко проявляется как соперничество различных версий исторической памяти и разных символов ее величия, или как спор по поводу того, какими эпизодами истории нация должна гордиться, а каких стыдиться, но не замалчивать и не забывать.

Такой подход к мобилизации исторической памяти в современном общественном сознании характерен, в частно-

³² Подробнее об этом см. ниже, гл. 11.

сти, для некоторых интеллектуалов левого толка. Нельзя не признать, что «национальная гордость для страны – то же самое, что для индивида чувство собственного достоинства: необходимое условие самосовершенствования», но «слишком развитая национальная гордость может стать причиной воинственности и империализма»³³. Как утверждает Ричард Рорти, «тем, кто надеется убедить нацию напярчь силы, необходимо напомнить своей стране не только то, чем она может гордиться, но и то, чего ей следует стыдиться. Их истории об эпизодах и фигурах национального прошлого, которым должна быть верна страна, должны быть вдохновляющими. Нации рассчитывают на художников и интеллектуалов в деле создания образов и повествований о собственном прошлом. <...> Рассказы о том, чем была нация и чем ей следует стремиться стать, – это не столько попытки точного изображения, сколько попытки изобретения нравственной идентичности. Спор между левыми и правыми по поводу того, какими эпизодами из нашей истории мы, американцы, должны гордиться, никогда не будет состязанием между истинным и ложным взглядом на историю нашей страны и на ее идентичность. Лучше описывать его как *спор о надеждах* (курсив мой. – Л. Р.) – какие принять, а от каких отказаться»³⁴.

Современный исторический миф имеет важные социальные функции. В связи с этим привлекают внимание исследования сложных, многоуровневых процессов формирования исторических мифов и предрассудков, а также их распространения и укоренения в массовом сознании. Видный французский историк Марк Ферро убедительно показал, что учебные тексты, которые используются в разных странах для обучения молодежи, нередко трактуют одни и те же исторические факты

³³ Рорти Р. Обретаю нашу страну: политика левых в Америке XX века. М., 1999. С. 11.

³⁴ Там же. С. 12, 22.

весьма по-разному, в зависимости от национальных интересов³⁵. Память неотъемлема от исторического знания вообще, а тем более от такой его формы, как национальная история. Анализируя концепцию Филиппа Ариеса по вопросу о том, как устанавливается связь между коллективной памятью и историческим познанием, изложенную в его недооцененной книге «Время истории»³⁶, Патрик Хаттон писал: «С обратной стороны горизонта прошлое всегда будет окутано тайной памяти, так как коллективная память является той средой стереотипов мышления, в которой и рождается история. В этом смысле память является основанием истории»³⁷. Речь шла об исследованиях по истории Франции, об «истории, считавшейся научной». Основная цель этой «научной истории», поскольку она конституировалась как национальный институт, состояла в укреплении и обогащении памяти государства-нации³⁸.

Молодая историческая наука XIX века, с одной стороны, постоянно декларировала принципы строгой научности, верность критическому (научному) методу и приверженность исторической истине, а с другой – фактически становилась важнейшим структурным компонентом и инструментом национально-государственной идеологии. Такое сочетание познавательно-критической и национально-патриотической функций не могло быть абсолютно комфортным и порождало у теоретически мыслящих историков трудные вопросы³⁹, однако именно национальная идея более века определяла тематику традиционной академической историографии. Национальное самосознание так и не перестало нуждаться в той постоянной «подпитке», которую ему обеспечивали «научные»

³⁵ *Ferro M.* Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992.

³⁶ *Aries Ph.* Le Temps de l'Histoire. Monaco, 1954.

³⁷ *Hatton P.* История как искусство памяти. СПб., 2003. С. 238.

³⁸ Ср.: *Рикёр П.* Память, история, забвение. М., 2004. С. 132.

³⁹ См., например: *Дройзен И. Г.* Историка. СПб., 2004. С. 412.

версии национального прошлого. В кризисных ситуациях, требующих упрочения национальной консолидации, идеологемы «большого нарратива» использовали не только политики, но и выдающиеся профессиональные историки.

В современную эпоху гораздо более «мягкого» определения научности нельзя не согласиться с тем, что «история представляет собой не только научную, но в равной мере социальную практику, и та история, которую пишут историки, как и их теория истории, зависят от занимаемого ими места в этом двойном – социальном и профессиональном пространстве»⁴⁰. Между тем, когда в конце XX века проблематика памяти и идентичности выдвинулась на передовые позиции (как в общественном сознании, так и в научных дискуссиях), многие профессионалы были склонны подчеркивать классическую оппозицию между *памятью*, обладающей силой формировать идентичности, и *историей*, призвание которой – объективно анализировать и обобщать, а ее критическая функция диктует необходимость для историка дистанцироваться от политических, общественных и личностных пристрастий, которые скрываются за понятием «долга памяти».

Несмотря на то, что некоторые исследователи связывают рост интереса публики к истории с отказом от «мифов о судьбе нации»⁴¹, наиболее успешные версии «национальных историй», предлагаемых профессиональными историками широкой аудитории (в популярной литературе и телевизионных сериях), представляют собой все тот же линейный, однонаправленный (из «тогда» в «теперь») «большой нарратив», плотно «упакованный» подвергнутыми неизбежному отбору и даже сознательной селекцией фактами (событиями, лицами, высказываниями), не оставляющий места для конкурентных версий и критического разбирательства, для выбора между

⁴⁰ Про А. Двенадцать уроков по истории. С. 55.

⁴¹ Mandler P. History and National Life. L., 2002. P. 94.

правдой и вымыслом. Законы жанра⁴² требуют выстраивания, драматического развертывания и сюжетной завершенности событийного ряда (событийной последовательности, которая отличается от логической), сходящегося к коллективному субъекту идентификации и демонстрирующего ключевые «места памяти» и символы «общей судьбы».

Впрочем, и сегодня следы жесткого взаимного неприятия (особенно в отношении соседних стран и народов), россыпь «табуированных тем» и неистребимая живучесть этноцентристских мифов в национальных учебных программах, воспитывающие в подрастающих гражданах чувство патриотизма, вызывают у историков и педагогов ощущение серьезной угрозы процессу европейской интеграции⁴³. И здесь особое значение имеет не только педализация «триумфального прошлого» или ситуаций исторических трагедий и национального унижения, но и *блокада* пластов памяти о позорных событиях минувших эпох, использование значимых умолчаний для конструирования приемлемой картины национальной истории.

Известный медиевист Патрик Гири определил текущую ситуацию так: «Национализм, этноцентризм, расизм – призраки, казалось бы, давно исторгнутые из европейской души – вернулись с возросшей силой после полувекового сна... И как результат – глубокий кризис идентичности, который поставил вопрос о том, как европейцы видят себя, свои общества и сво-

⁴² Подробно о жанровой специфике национальных историй см.: *Вжосек В.* Классическая историография как носитель национальной (националистической) идеи // *Диалог со временем*, 2010. Вып. 30. С. 5-13.

⁴³ *Approaches to European Historical Consciousness – Reflections and Provocations* / Ed. by Sharon MacDonald. Hamburg, 2000; *Phillips P.* *History Teaching, Nationhood and the State: A Study in Education Politics*. L., 2000. См. также: *Lowenthal D.* *Possessed by the Past. The Heritage Crusade and the Spoils of History*. Cambridge, 1998.

их соседей»⁴⁴. При этом признается, что в новообразованных государствах национальная история должна иметь приоритет, чтобы восстановить национальную идентичность.

Помимо «научно-ориентированной» национальной истории имеют широкое хождение и ее откровенно «социально-ориентированные» версии. Показательны, в частности, многочисленные оправдательные и обличительные мифы территориальных агрессий и завоеваний⁴⁵. Анализируя этноцентристские версии далекого прошлого, рожденные современной националистической идеологией, известный российский этнолог В. А. Шнирельман раскрывает роль, которую играют в создании новых мифов многообразные псевдонаучные представления, с исключительной настойчивостью рядящиеся под научно-исторические теории и обретающие заметный успех у массовой целевой аудитории⁴⁶. Апелляция к самобытному историческому пути и к тесно связанной с этим концепции извечного и неизменного «национального характера» позволяет действующим политикам и чиновникам отвести от себя обвинения в неумении исправить современное положение дел и даже в злоупотреблениях властью: ведь легче сослаться на особенности «национального духа», чем признаться в собственных промахах. Автор подчеркивает, что, изучая идеологию современного национализма, нельзя забывать о том, что дело не в пресловутой «генетической памяти»: речь идет об обще-

⁴⁴ Geary, Patrick J. *The Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe*. Princeton; Oxford, 2003. P. 3.

⁴⁵ См. сравнительный анализ различных версий «мифологии завоевателей» в монографии: Day D. *Conquest: How Societies Overwhelm Others*. Oxford, 2008; а также практик мемориализации кризисов национальной идентичности («памяти о катастрофах») в книге: *The Memory of Catastrophe* / Ed. by P. Gray and K. Oliver. Manchester, 2004.

⁴⁶ См., в частности: Шнирельман В.А. Национальные символы, этно-исторические мифы и этнополитика // Теоретические проблемы исторических исследований. Вып. 2. М., 1999.

ством грамотных людей, которые черпают знания о прошлом из школьных учебников, художественной литературы, средств массовой информации, а вся такого рода продукция создается профессиональной интеллигенцией. Конечно, историкам не просто абстрагироваться от идеологии или групповых интересов. Так было и тогда, когда историческая наука только еще формировалась, так происходит и в наше время. В итоге научные, по видимости, произведения оказываются весьма близки к мифологии, оперируя образами прошлого, почерпнутыми из массового сознания или созданными на его потребу.

В. А. Шнирельман предлагает следующие критерии различения этнополитического мифа. Во-первых, мифотворец манипулирует историческими данными для достижения целей, связанных с современной этнополитикой. Во-вторых, если историческое произведение допускает, что в соответствии с новой исторической информацией в него могут быть внесены коррективы и изменения, то миф выстраивает жесткую конструкцию, нетерпимую к критике и требующую слепой веры. Наконец, в-третьих, мифотворец, как правило, полностью игнорирует принятые в науке методы, опираясь на подходы, которые характерны для псевдонауки, в том числе: замалчивание или необоснованная дискредитация своих оппонентов, отказ считаться с мнениями авторитетных ученых, нагромождение лавины фактов, сочетающееся с пренебрежением к их анализу, выборочное цитирование, игнорирование предшественников, отсутствие даже попыток научной критики источников и т.п.

Одной из важнейших задач *истории как науки* является демифологизация прошлого, однако сама историография не обладает достаточно стойким иммунитетом от прагматических соображений: во многих отношениях история и память постоянно подпитывают друг друга. История постоянно разрывается между *логикой памяти* и *императивами научного знания*.

ГЛАВА 11

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ

В конце XX века проблемы конкурирующих «воспоминаний о прошлом» и коллективных идентичностей выдвинулись на передовые позиции как в общественном сознании, так и в научных дискуссиях. Известный американский историк Аллан Мегилл точно обозначил это явление культурной жизни как «мемориальную манию» и даже постулировал такое правило: «когда идентичность становится сомнительной, повышается ценность памяти»¹. Охватившая современное общество «мемориальность» была осознана как вызов рационально мыслящими профессионалами, позиция которых состояла в том, что «история не должна идти в услужение к памяти; она должна, конечно, считаться со спросом на память, но лишь для того, чтобы превратить этот спрос в историю»².

Ситуация «кризиса» на рубеже тысячелетий во многом подогрела интерес общества и историков к этой проблематике. Дело, разумеется, было не только в подведении итогов постепенно уходящего в историю XX века, но и в стремлении осмыслить актуальное состояние исторической науки, взглянув с гребня эпох (и с учетом ведущих тенденций) на ее возможные и наиболее вероятные перспективы в грядущем XXI столетии. Ведь именно в это время громко заявили о себе новые подходы, направленные не столько на исследование прошлого как реальности, сколько на анализ образов про-

¹ Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 138.

² Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 319.

шлого в историческом сознании, а представители ведущих направлений и научных школ, доминировавших в мировой историографии с середины XX века, ощутили весомую угрозу в «вызове постмодернизма».

В постмодернистской парадигме гуманитарного знания жизнеспособность коллективной памяти определяется, прежде всего, ее имманентной связью с осознанной памятью членов группы. Второй ключевой момент, создающий преимущество коллективной памяти над Историей, видится в множественности первой и нормативно-унитарном характере второй³. Между тем, именно мифы коллективной памяти, поддерживающие претензии той или иной общности на высокий статус, материальные, территориальные, политические и иные преимущества в настоящем, базируются на стереотипизации и нестерпимы к каким-либо альтернативам и, тем более, к плюрализму мнений.

Потребности в создании коллективной генеалогии, в «присвоении прошлого» через конструирование непрерывного исторического «нарратива идентичности»⁴, как, впрочем, и яркие свидетельства разрывов в культурной памяти, обнаруживаются в разные периоды всемирной истории. И вполне закономерно, что в современной историографии особое внимание обращается на роль представлений о прошлом и исторических мифов как элементов политической, этноконфессиональной и национальной идентичности.

³ Развернутое обоснование постмодернистской концепции памяти см. в статье: *Crane S. A. Writing the Individual Back into Collective Memory // American Historical Review*. 1997. P. 1372–1385. В качестве примеров приводятся международные дискуссии по проблемам исторической памяти – о Холокосте и дебаты немецких историков. Следует отметить, что исследования о Холокосте составляют основной массив междисциплинарных *memory studies*.

⁴ *Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. М., 2001. С. 222.

11.1. Исторические мифы и национальная идентичность

В поле современных исследований все чаще оказываются социально и культурно обусловленные коллективные стереотипы, обладающие значительной устойчивостью, иногда сохраняемой на протяжении многих столетий. В связи с этим важной концептуальной проблемой становится прояснение содержания таких понятий, как «исторический миф» и «этническая/национальная идентичность».

Под социально сконструированными историческими мифами подразумеваются представления о прошлом, воспринимаемые в данном социуме как достоверные «воспоминания» (как «история»), составляющие значимую часть картины мира и играющие важную роль как в ориентации, самоидентификации и поведении индивида, так и в формировании и поддержке коллективной идентичности и трансляции этических ценностей. В этой связи возникает потребность в анализе формирования отдельных исторических мифов, их конкретных функций, среды их бытования, маргинализации или реактуализации в обыденном историческом сознании, их использования и идеологической переоценки, в том числе в сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах национальной истории (поскольку все народы осознают себя в терминах исторического опыта, уходящего корнями в прошлое).

В сети интерактивных коммуникаций происходит постоянный отбор событий, в результате чего некоторые из них подвергаются забвению, в то время как другие сохраняются, обрастают смыслами и превращаются в символы групповой идентичности. Идет постоянный процесс реинтерпретации прошлого, продуктами которого являются новые мифы.

Особый интерес вызывает исследование мифологической составляющей современного исторического сознания, как и возможностей сознательного конструирования / деконструкции исторической памяти. Решающая роль в конституировании коллективной идентичности принадлежит памяти о цен-

тральных событиях прошлого (в модели «национальной катастрофы» или в модели «триумфа»). Коллективная идентичность (социокультурное самосознание индивида и группы) предполагает принятие и усвоение совокупности представлений, ориентаций, идеалов, норм, ценностей, форм поведения той общности (семейно-родственной, локальной, этнической, конфессиональной, профессиональной, национальной), с которой данный индивид себя отождествляет, что предполагает и разграничение «своих» и «не-своих», «чужих»; без такого различения нет и идентичности.

В принципе, можно рассматривать социальную память как некое выражение коллективного опыта: она идентифицирует группу, дает ей чувство прошлого и определяет ее устремления на будущее. Осуществляя это, социальная память часто опирается на какие-то события общего прошлого. История той или иной общности как согласованная, разделяемая ее членами версия коллективного прошлого является основой групповой идентичности. Разделяемая с соответствующей группой «картина мира» включает темпоральный компонент – представления о времени (его членении, измерении, движении, ценности и т.д.), о соотношении прошлого, настоящего и будущего («связи времен» или разрыва между ними), а также образы обшезначимого прошлого – эпох, событий, героев и пр.

Память об общем прошлом, *историческая идентичность* (говоря об истории, мы имеем в виду не только прошлое, но также современность и проекции будущего) является важнейшим компонентом любой коллективной идентичности (социальной, политической, конфессиональной, этнической, национальной)⁵. При этом прошлое оказывается не менее проективным, чем будущее. Метафора «зеркала» в применении к прошлому и истории верна только в том смысле, что, на самом деле, «век нынешний» вовсе не ищет в нем аутентичный образ

⁵ См.: Люббе Г. Историческая идентичность // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 108–113.

минувшего, а *смотрится* в это зеркало (т.е. смотрит именно на себя) все с той же целью самоидентификации, пристально «вглядываясь» в свой собственный лик, «примеряя», например, новый образ единого *национального* прошлого, соответствующий запросам времени.

Представления о прошлом (понятие «историческая память» употребляется как метафора) занимают ключевое место в структуре идентичности, причем «чем меньше сообщество укоренено в существующих и хорошо функционирующих социальных практиках, тем более проблематична его идентичность, тем более конститутивным является для него его “вспоминаемое” прошлое»⁶. Необходимо учитывать субъективную природу идентичности и ее подвижный характер. Формирование коллективной идентичности – это непрерывный процесс. Социальная память «вырастает» из разделяемых или оспариваемых смыслов и ценностей прошлого, которые «вплетаются» в понимание настоящего⁷.

Важным аспектом изучения идентичности является анализ способов формирования и изменения представлений о содержании понятий «я» и «мы» (как правило, противопоставляемых понятию «они»). На разных уровнях в эти представления входят: а) память о пережитом, или представления, сформированные на основе жизненного опыта индивида; б) бытующие в данном сообществе представления, выработанные обобщенным групповым опытом предыдущих поколений и усваиваемые индивидом в процессе социализации.

В этом комплексе признанных и разделяемых в сообществе представлений есть место и для *старых исторических мифов*, и – на определенном этапе – для элементов научного исторического знания, транслируемого через систему образо-

⁶ Мегилл А. Историческая эпистемология. С. 147.

⁷ О социальной динамике памяти см.: *Social Memory and History: Anthropological Perspectives* / Ed. by J. J. Climo, M. G. Gattell. Walnut Creek (California), 2002.

вания и преобразуемого обыденным сознанием в *новые образы прошлого*⁸. Чрезвычайно интересный аспект исследования – взаимосвязь научного знания, системы образования и национального сознания, например, роль транслируемых в учебную литературу интеллектуальных конструктов исторической науки Нового и Новейшего времени в формировании общегосударственной идентичности в разных странах⁹.

На первый план в последнее время вышло изучение «этнической идентичности». Отмечается растущий интерес к этой проблеме и различные подходы к пониманию этничности (примордиализм, конструктивизм, инструментализм)¹⁰. Одни трактовки во главу угла ставят общность по особой этнической культуре, языку, территории расселения, другие – отчетливо выраженное этническое/национальное самосознание, т.е. осознание общности носителями этого сознания. Поэтому обращение к «этнической», «национальной», «этнокультурной» и т.п. проблематике постоянно требует оговорок и уточнений. Допускается, что при всех различиях три главных подхода к пониманию этничности (примордиалистский / эссенциалистский, конструктивистский, инструменталистский) в их современных версиях не являются взаимоисключающими и могут быть интегрированы в рамках комплексно-

⁸ О преобразовании коллективного «мы» под пером историка см. *Про А.* Двенадцать уроков по истории. С. 142: «Соотнесенность коллективной единицы с составляющими ее индивидами основывается на обратимости *мы* действующих лиц в коллективное единственное число, которым оперирует историк: она позволяет обращаться с национальной или социальной общностью так, как если бы та была неким лицом...». И это «лицо», естественно, наделяется *памятью*.

⁹ К сожалению, приходится констатировать, что в новейшей историографии, несмотря на прошедшие годы, исследований данного направления, сравнимых по масштабу со знаменитой книгой Марка Ферро, так и не появилось. См.: *Ферро М.* Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992.

¹⁰ Подробнее см.: *Тишков В. А.* Этнология и политика. М., 2001.

го подхода, который, как мне представляется, уместно назвать контекстуально-конструктивистским.

Под этнической общностью понимается «группа людей, члены которой имеют одно или несколько общих названий и общие элементы культуры, обладают мифом (версией) об общем происхождении и тем самым обладают как бы общей исторической памятью, могут ассоциировать себя с особой географической территорией, а также демонстрировать чувство групповой солидарности»¹¹. Как же создается этот исторический миф, скрепляющий этническую группу?

Обратим внимание на базовые положения концепции, в развернутом виде представленной в ряде работ ведущего отечественного этнолога В. А. Тишкова и выраженной в следующем определении: «Конструирование прошлого в культурных терминах представляет собой процесс выборочной организации прошлых событий для обеспечения преемственности с современным субъектом идентификации. Тем самым создается соответствующая версия прошлой жизни, которая ведет к современности, и тем самым “жизненная история” (страны, народа, человека) становится важнейшим фактором самоидентификации... Поскольку никакая идентичность – ни этническая (по группе), ни национальная (по стране или государственности) – не является естественно заданной, то она должна вырабатываться через усилия интеллектуалов, политиков и общественных активистов (курсив мой. - Л. Р.). Именно благодаря этим усилиям (устно-семейные истории и местная среда явно отошли на второй план) создается эмоциональная и другая приверженность человека определенной этнической общности (культурной нации или этнонации) или стране (политической, гражданской нации)»¹².

Процесс конструирования прошлого как отбор и выстраивание событийного ряда, сходящегося к субъекту иден-

¹¹ Тишков В. А. Этнология и политика. С. 230.

¹² Тишков В. А. Реквием по этносу. М., 2003. С. 498-499.

тификации, очерчен предельно точно, но все же возникает вопрос – насколько эта выборка искусственна, произвольна?

В приведенном определении отмечен весьма значимый аспект этнической (национальной) идентичности – эмоционально-аффективный, но что пробуждает эти чувства сопричастности, приверженности, разделяемой гордости, самозабвенной преданности, жертвенной любви и пр., как рождается эмоциональный отклик на идеологический конструкт?

Наконец, после перечисления «разработчиков» сделана красноречивая оговорка, позволяющая предположить, что некогда, в *до-современную эпоху* (до формирования идеологии национализма, мобилизации национальных движений и бума нациестроительства эпохи Модерна¹³) «устно-семейные истории и местная среда», отошедшие «на второй план», могли играть в формировании этнической идентичности роль первого плана. Если абстрагироваться от обсуждения проблемы «смены планов», речь здесь, очевидно, должна идти о роли унаследованных культурных традиций.

Большинство теоретиков исторической памяти, как правило, упускает из виду стихийную деятельность по ее производству¹⁴. Между тем, рассуждая в свое время об искусственно сконструированных «биографиях наций», Бендикт Андерсон, в частности, писал: «Сознание помещенности в мирской, последовательно поступательный поток времени,

¹³ См.: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998; Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991; Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. Богатейший исторический материал, отражающий развитие национальных идей, национального сознания и разных вариантов идеологии национализма в Западной Европе, представлен в коллективной монографии: Национальная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории / Отв. ред. В. С. Бопларчук. М., 2005.

¹⁴ Подробнее об этом: История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени. С. 19-55. См. также: Misztal B. Theories of Social Remembering. Maidenhead, 2003.

со всей вытекающей отсюда непрерывностью, но вместе с тем и с “забвением” переживания этой непрерывности – продуктом разрывов, произошедших на исходе XVIII века, – рождает потребность в нарративе “идентичности”¹⁵.

Однако потребности в историческом нарративе этноконфессиональной и этнополитической идентичности, как, впрочем, и свидетельства разрывов в социокультурной памяти, обнаруживаются и в гораздо более ранние эпохи истории. Так, среди этнополитических мифов Средневековья ярчайшим примером является «миф о троянском происхождении» («легенда о Трое»), роль которого в «конструировании» идентичности народов Западной Европы неоспорима¹⁶. В. А. Шнирельман, анализируя противоположные по политическим интенциям версии современного кельтского мифа, также подчеркивает, что люди прибегали к кельтской идентичности в различных странах и в самые разные исторические периоды¹⁷.

¹⁵ *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. С. 222. В иной перспективе тема этнических, национальных и религиозных идентичностей в их темпоральном преломлении рассматривается в книге: *Friese H.* Identities: Time, Difference and Boundaries. N.Y.; Oxford, 2002.

¹⁶ См.: *Маслов А. И.* Легенда о Троянской войне в средневековой западной традиции / Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008. С. 410-446. См. также анализ ренессансного свода национальной мифологии, восходящей к средневековой легенде о троянском происхождении французов, книги «Прославления Галлии и Примечательностей Трои» (1511 г.), автор которой ставил своей целью исправить ошибки в «несовершенных писаниях» и «испорченных историях» сочинителей, излагавших историю Трои, и показать, что «нет на свете нации, которая пребывала бы неизменно в достоинстве своем от античных времен и доныне, кроме потомков Франка, сына Гектора, превосходящих древностью все прочие народы»: *Стаф И. К.* «Прославления Галлии» Жана Лемера де Бельж: поэтика и история // Кентавр / Centaurus. № 2. М., 2005. С. 293-302.

¹⁷ *Шнирельман В. А.* Единая Европа и соблазн кельтского мифа // Национализм в мировой истории // Под ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. М., 2007. С. 452.

Примеры могут быть продолжены, но в этом нет необходимости. Всемирная история многими своими страницами убедительно доказывает, что и в те эпохи, когда современной «индустрии памяти» не было и в помине, тем не менее, и без новых инструментов и технологий целостность мифологического полотна памяти с течением времени (при отсутствии катастроф глобального масштаба) восстанавливалась¹⁸.

Безусловно, эссенциалистские представления о «вечном» характере социальных идентичностей не проходят проверку научным исследованием. В условиях динамичных общественных сдвигов апелляции к «корням» (часто – в форме отказа от доминирующего исторического нарратива) и концепции неизменной идентичности способны укрепить представление о национальной «самобытности» и даже исключительности (в том числе по линии «цивилизация» – «варварство», или же в актуализированной форме «столкновения цивилизаций»)¹⁹. Однако это не имеет никакого отношения к историческому анализу, к истории как научному исследованию²⁰.

Этническая идентичность – не объективная реальность, а феномен сознания, она ситуативна и подвержена изменениям. И все же историческая мифология и национальный миф как таковой – не только продукт творчества, идеологических манипуляций и умелой проаганды интеллектуальных и полити-

¹⁸ Подробно об этом см.: История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени (*passim*).

¹⁹ Ярчайший пример многовековой «работы» национальной историографической традиции по формированию и поддержанию национальной идентичности предоставляют исследователям китайские официальные «династийные истории». Подробно об этом см.: Доронин Б. Г. Национальная идентичность и китайская национальная историографическая традиция // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 119-148.

²⁰ Впрочем, как метко высказался А. Мегилл, «историческое исследование и историописание попали в западню между требованием универсальности и претензиями, предъявляемыми к ним отдельными идеологиями...» (Мегилл А. Историческая эпистемология. С. 133).

ческих элит, властных структур, стремящихся обосновать (в символической форме) или «закрепить» безальтернативной официальной версией истории свое собственное господство. «Изобретатели» традиций²¹, этносов и наций действуют в столетиями складывавшейся и отнюдь не гомогенной этнокультурной среде, оперируют наличествующими в ней символическими ресурсами и вынуждены считаться как с налагаемыми ею ограничениями, так и с подспудно происходящими в ней переменами и возникающими новыми вызовами.

За пределами круга добровольных или наемных «этнополиттехнологов», осознанию и намеренно делающих свою «конструктивную» работу («по зову сердца» или по щедро оплачиваемому заказу), остаются такие *невольные*, но весьма действенные «участники» процесса этнической идентификации, как социокультурные факторы «длительной временной протяженности» (например, культурно означенное, обжитое предками пространство, общий язык, символы, обычаи и ценности, верования/религия, многовековая устная традиция – эпосы, сказания, генеалогические легенды и т.п., или же так называемая *историзация мифов* в устойчивой письменной традиции) и краткосрочные исторические ситуации, образующие подвижный контекст, в котором социальное конструирование идентичности выступает как сложный процесс, подверженный воздействию разнонаправленных сил и многочисленных случайностей.

В этом динамичном контексте образы постепенно исчезающей реальности проходят процедуру стереотипизации, взаимодействуют с уже обветшавшими, но удивительно живучими старыми мифологемами, способными актуализироваться в новых исторических обстоятельствах и трансформироваться сообразно возникающим общественным потребностям.

²¹ См. уже давно ставшую классической книгу: *The Invention of Tradition* / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge. 1983.

Центральными структурообразующими элементами и ключевыми моментами этнической групповой идентификации в мощном силовом поле культурной традиции, имеющей коммуникативную природу, являются этногенетический миф – миф об общем происхождении (общем предке), представление об особой территории, признаваемой «исторической родиной», и общем *групповом* прошлом²² (неважно – реальном или предполагаемом) составляющих осознаваемую общность индивидов (живых и ушедших в Лету)²³.

В рамках цельного историко-мифологического полотна мифы о происхождении, месте обитания и расселения, об общих предках, культурных героях, славных предводителях и мудрых правителях древности, о «судьбоносных» событиях общего прошлого, запечатленные в «преданьях старины глубокой» и систематически воспроизводимые в ритуалах, символах и авторитетных текстах, выступают как основа любой этноцентристской (этнотерриториальной, этнокультурной, этноконфессиональной) идентификации. Представления о прошлом, и часто об очень далеком прошлом²⁴, выступают также

²² Ср.: *Smith A. National Identity. L., 1991.*

²³ «В известном смысле человеческая культура есть символическая организация сохраняемых памятью переживаний мертвого прошлого, по-новому ощущаемых и понимаемых здравствующими членами коллектива. Присущая человеку личная смертность и относительное бессмертие нашего биологического вида превращают подавляющую часть нашей коммуникации и коллективной деятельности, в самом широком смысле, в грандиозный обмен между живыми и мертвыми» (*Уорнер У. Живые и мертвые. М.: СПб., 2000. С. 8.*)

²⁴ Так, в центре исследований В. А. Шнирельмана, посвященных актуальной современности, находится именно «образ далекого прошлого народов»: «...огромное значение имеют те ключевые периоды в жизни современного общества, когда история кардинально пересматривается, и нам важно понять, что это за моменты, почему они требуют такого трепетного отношения к истории и как именно социально-политическая обстановка влияет на создаваемые новые образы далекого прошлого». (*Шнирельман В. А. Войны памяти. М., 2003. С. 26.*)

как важный фактор национальной идентичности, которая складывается в эпоху Модерна из этнокультурной и территориально-государственной составляющих. При этом речь может идти не только о воспроизведении или переозначивании старых мифов, но и о рождении новых этноцентристских мифов, призванных четко очертить границы «своей» общности, выделив ее из более широкого территориально-политического образования или объединив несколько таких образований²⁵.

В связи с этим следует, видимо, помнить о наличии разных уровней самоидентификации, феномене множественности неконфликтующих индивидуальных идентичностей²⁶, а также о различных темпоральных измерениях (синхронном и диахронном), как индивидуальной, так и коллективной (социальной, этнической, национальной и т.д.) идентичности.

Две проблемы являются центральными в размышлениях о диахронном измерении идентичности: каким образом идентичность распространяется на несколько поколений и как она выстраивается в результате интерпретации опыта прошлого и

²⁵ Кстати, некоторые универсальные компоненты современных этноцентристских версий прошлого, выделенные В. А. Шнирельманом (*Шнирельман В.А. Национальные символы, этно-исторические мифы и этнополитика // Теоретические проблемы исторических исследований. Вып. 2. М., 1999. С. 118–147*), как то: «миф об автохтонности», «миф о прародине», «миф о лингвистической преемственности», «миф об этнической семье», «миф о славных предках», «миф о культуртрегерстве», «миф об этнической однородности», «миф о заклятом враге», «миф об этническом единстве», имеют свои прототипы в исторических сочинениях и официальных документах предшествующих эпох.

²⁶ *Smith, Anthony D. Nationalism and Modernism. A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism. L.; N.Y., 1998. P. 201.* См. также: *Regional and National Identities in Europe in the XIX and XX centuries / Ed. by H.-G. Haupt, M. Muller and S. Woolf. The Hague, 1998; Baycroft, Timothy. Changing Identities in the Franco-Belgian Borderland in the XIX and XX centuries // French History. 1999. Vol. XIII. No. 4. P. 417-438. Boa, Elizabeth and Rachel Palfreyman. Heimat. A German Dream. Regional Loyalties and National Identity in German Culture, 1890–1990. Oxford, 2000.*

оформления его в историческом повествовании в виде цепи значимых событий прошлого, которые сохраняются в памяти именно в силу своей значимости для «вспоминающих»²⁷. Конкретные события, обладающие «нормативной силой формирования коллективной идентичности», приобретают характер мифа, реальность которого «оценивается как более высокая, или более реальная, чем так называемый реальный мир»²⁸.

Исторические события, репрезентация которых очерчивает групповую идентичность, подразделяются на несколько типов. Это могут быть как события с позитивным основанием, создающие идентичность *путем утверждения*, так и события с негативным основанием, создающие идентичность *путем отрицания*, а также события или цепь событий, которые обновляют старую идентичность. Среди последних различаются: а) поворотные события; б) события, делающие несостоятельными действовавшие до этого времени модели коллективной идентичности; в) события, которые обновляют действующие модели коллективной идентичности²⁹.

В построении коллективной идентичности заметны существенные поколенческие различия, проистекающие из противоречий между социальной памятью, транслируемой *старшими*, и жизненным опытом взаимодействия с изменившейся реальностью настоящего, который формирует представления *младших* и, соответственно, их «проектирование» прошлого и будущего. Память о центральных событиях прошлого (в моде-

²⁷ Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания / Под ред. Л.П. Рещиной. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 45-50.

²⁸ «Всегда существует *цепь событий* (курсив мой — Л.Р.), которые объединяют ситуацию сегодняшнего дня именно с тем событием, на которое опираются люди для того, чтобы объяснить себе и живущим рядом другим, кто они, каков образ их жизни, как они понимают отличие от себя других». Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность. С. 52.

²⁹ Там же. С. 52-54.

ли «катастрофы» или «триумфа») формирует идентичность, во многом детерминируя жизненную ситуацию настоящего.

Изучение памяти о конфликтах и катастрофах XX века (мировые войны, Холокост, массовые репрессии и т.п.) вызывает все больший интерес у историков, и именно в связи с ролью памяти в историческом конструировании социальной (коллективной) идентичности. Проблема соотношения времени, памяти, исторического сознания и коллективной идентичности со всей определенностью становится фокусом современной историографии, а Холокост и дебаты немецких историков³⁰ – ее своеобразным оселком. В обсуждении обоих тем обнаруживаются две характерные черты: во-первых, наличие непримиримых противоречий между живым опытом и исторической памятью и, во-вторых, существенные межпоколенные различия в восприятиях и представлениях.

Й. Рюзен, в частности, предложил следующую типологию восприятия Холокоста в сознании трех поколений немцев в соответствии с различиями по основному критерию – стратегии строительства идентичности.

В первом, самом старшем поколении, которое является носителем живой памяти, с немецкой идентичностью «все в порядке»: происходит экстернализация нацистов как небольшой группы политических гангстеров. В «среднем», втором поколении, которое вступает в конфликт со своими родителями, возникает стремление придать Холокосту историческое значение, рассмотреть его в исторической перспективе, осмыслить весь период нацизма в целом как контр-событие, которое конституировало сознание западных немцев нега-

³⁰ Анализ последних содержится в работах известного российского историка А. И. Борозняка: *Борозняк А. И. Искупление. Нужен ли России германский опыт преодоления тоталитарного прошлого.* М., 1999; *Он же. Против забвения: «Черная серия»* немецкого издательства «Фишер» // *Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории.* Вып. 1. М., 1999. С. 170-183; и другие.

тивным способом («от противного»). На основе моральных принципов и моральной критики («они – преступники, мы – другие») происходит самоидентификация с жертвами нацизма, а национальная историческая традиция замещается универсальными (общечеловеческими) нормами. Так создается новый, очень напряженный тип коллективной идентичности. В третьем поколении (в последние годы) возникает определяющий новый элемент – «генеалогическое отношение к преступникам»: «это наши деды, да, они были другими, но в то же время они – немцы, а значит “мы”». Так осуществляется реконцептуализация немецкой идентичности, и шокирующий исторический опыт «возвращается» в национальную историю. Второе и третье поколения по-разному дистанцированы от ключевых событий Холокоста или Третьего рейха, но и те, и другие события, бесспорно, составляют ядро коллективной памяти этих поколений, поскольку последние все еще имеют доступ к жизненному опыту старших. Однако с нарастающим ускорением приближается время, когда эта связь окончательно разорвется, и потому потребность понять, как коллективная память продолжает функционировать на уровне индивидуального опыта и соперничать с предлагаемой исторической интерпретацией, становится как никогда актуальной³¹.

Нередко в публичной полемике формируются соперничающие модели национальной идентичности, соотносимые с разными типами мировоззрения и ценностными ориентациями, с разными картинками прошлого и проектами будущего, с разными политическими и прагматическими целями. В данной связи, естественно, возникает вопрос: какова роль интеллектуалов-историков, испытывающих на себе мощное влияние не только академической традиции, но и социальной среды, в формировании исторических представлений? Когда и как в

³¹ См. об этом: *Репина Л.П.* Время, история, память (ключевые проблемы историографии на XIX Конгрессе МКИИ) // Диалог со временем. 2000. Вып. 3. С. 5-14.

подобных ситуациях реализуется критическая функция исторической науки – ее главный ресурс в деконструкции мифов?

По этому поводу предельно ясно высказался Пьер Бурдьё в интервью 1995 года: «[История] колеблется... между неизбежно критическим исследованием, коль скоро оно применено к объектам, *воссоздаваемым вопреки* обыденным представлениям и потому совершенно неведомым истории мемориальной, и официальной или полуофициальной историей, предназначенной для управления коллективной памятью через участие последней в торжествах по случаю памятных дат... Из этого следует, что началом, структурирующим историческое поле, является противостояние двух полюсов, различающихся степенью своей независимости от социального заказа: с одной стороны, это научная история, которая не имеет строго национального объекта (история Франции в традиционном смысле), по крайней мере, по способу ее конструирования и является делом рук профессионалов, чья продукция предназначена для других профессионалов; с другой – история памятных дат, позволяющая некоторым из профессионалов, часто самым признанным, обеспечить себе славу и мирские выгоды от юбилейного издания (в частности биографий) или крупнотиражных коллективных трудов, играя на двусмысленности для расширения рынка исследовательских работ... Не могу избавиться от опасения, что влияние рынка и светского успеха, становясь все более ощутимым из-за напора издателей и телевидения, этого орудия коммерческой, да и персональной рекламы, будет и дальше усиливать полюс мемориальной истории»³².

Нетрудно заметить, что этот процесс мы, собственно, и наблюдаем сегодня как на мировой арене, так и – в особенности – на отечественной политолого-исторической ниве, прежде всего в средствах массовой информации. Чрезвычайно показательным также принципиальное – можно сказать, критическое –

³² Цит. по: *Про А. Двенадцать уроков по истории*. С. 52.

значение, которое в плане конструирования национальной идентичности придают преподаванию истории современные политики и штатные идеологи.

Вопрос о соотношении памяти, знания о прошлом и истории как науки трактуется неоднозначно. Даже самые убежденные сторонники научного историзма признают, что историю и социальную память не всегда можно полностью отделить друг от друга. Здесь, конечно, можно (в который раз!) вспомнить знаменитое изречение Пьера Нора – «история убивает память»³³. Однако, препарировав историческую память с целью выудить из нее «достоверные» факты и реконструировать закодированный в ней опыт, историк, в конечном счете, предъявляет обществу свою «подлинную историю», которая претендует на то, чтобы стать общей социальной памятью.

По мнению А. Мегилла, равным образом было бы ошибкой рассматривать память и историю переходящими друг в друга или как простые оппозиции, поскольку связь истории с субъективностью неустранима. Память, «далекая от того, чтобы быть сырьем истории, есть “Другой”, который неустанно преследует историю». Но «история сама по себе не порождает коллективное сознание, идентичность, и, когда она вовлекается в подобные проекты формирования и продвижения идентичности, результат плачевен»³⁴.

В чем же тогда отличие «истории историков» от других репрезентаций прошлого? История как наука стремится к достоверности представления о прошлом, к тому, чтобы наши знания о нем не ограничивались тем, что является актуальным в данный момент настоящего. С XIX века, когда научная практика историков превратилась в «правильный» метод изучения

³³ Будет полезным напомнить, что в масштабном коллективном проекте (1983-1993 гг.) под руководством Пьера Нора приняли участие около ста французских историков. Сокращенное русское издание – Нора П., Озуф М. и др. Франция – Память. СПб., 1999.

³⁴ Мегилл А. Историческая эпистемология. С. 169.

прошлого, она основывалась на трех принципах историзма: признание различий между современной эпохой и всеми предыдущими (в любом научном исследовании на первый план выступают именно отличия прошлого от настоящего); рассмотрение предмета исследования его историческом контексте; понимание истории как процесса – связи между событиями во времени³⁵. Что касается социальной памяти, то для нее характерны «линзы», обладающие серьезным искажающим эффектом: *традиционализм*, который исключает важнейшее понятие развития во времени; *ностальгия*, которая, не отрицая факта исторических перемен, толкует их только в негативном плане – как утрату «золотого века»³⁶ и привычного образа жизни («мир, который мы потеряли»); и напротив, прогрессизм – «оптимистическое верование», подразумевающее «не только позитивный характер перемен в прошлом, но и продолжение процесса совершенствования в будущем»³⁷.

Между тем позиция историка в отношении социальной памяти не всегда последовательна, и профессиональные историки активно участвуют в процессе преобразования коллективной памяти, отвечая общественным потребностям. С одной стороны, ставятся вопросы о важнейших этических проблемах исторической профессии, преодолении европоцентризма, «ориентализма» и мифов о национальной исключительности, подчеркивается недопустимость «изобретения прошлого», его искажения и «инструментализации» в политических и каких-либо иных целях, а с другой стороны, активно обсуждается роль истории как фактора «социальной терапии», позволяющего нации или социальной группе справиться с переживанием травматического исторического опыта.

³⁵ Подробно об этом см. выше, гл. 10.

³⁶ См., в частности: *O'Brien J., Roseberry W. Golden Ages, Dark Ages: Imagining of the Past in Anthropology and History. Berkeley, 1991.*

³⁷ См.: *Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. Глава 1. Историческое сознание. С. 11-32.*

11.2. Историческая культура и историческое сознание

В современной историографии, при огромном и все возрастающем интересе к исторической памяти, вопросы о динамике взаимоотношений, факторах формирования «образов прошлого» и путях взаимопроникновения обыденных представлений о прошлом и ученого знания, представлений о связи времен в ученой и народной культуре, о взаимодействии профессионального исторического сознания и коллективной памяти поколений, этнических, конфессиональных и локальных общностей, социальных классов и групп, относящиеся к сложному феномену *исторической культуры*, представляют в своей совокупности малоизученную область исследования.

Образ истории и историческое сознание – два взаимодополняющих аспекта видения истории. Образ истории характеризует его содержательную сторону, историческое сознание – внутреннюю установку в отношении к истории, критерии отбора ее содержания и меру востребованности исторического знания. Историческое сознание проявляет себя в разных формах. Музеи и выставки, ссылки на исторические события в повседневной жизни, исторические мотивы в литературе и изобразительном искусстве – все это проявления исторического сознания. Но в наиболее «чистом» виде проявляется оно, конечно же, в историографии – осознанном и целенаправленном обращении к прошлому.

Знание о прошлом, которое лежит в основе образа истории, а отчасти и само обусловлено им, тесно связано с потребностями «толкующего» общества и с предшествующим социальным и культурным опытом. Образы истории в исторических сочинениях включены в многовековую традицию, но всякий раз в определенной степени переосмыслены в соответствии с авторскими интенциями и функциональной направленностью исторических сочинений. В этом смысле историография являет собой *форму сознательного обращения к тому именно прошлому, в котором нуждается историческая*

память настоящего. Поэтому историографические сочинения отражают не только заключенную в них версию минувшего, но и лежащее в основе свойственного им образа истории историческое сознание – определенную установку и отношение к истории, а также и определенную интерпретацию функции истории применительно к современности. Наличие различающихся образов истории в синхронном срезе культуры свидетельствует о многослойности исторического сознания, если понимать под ним отношение человека к истории. Это отношение не столько рациональное, сколько ментальное, проявляющееся в том, как презентуют историю в конкретном обществе.

Историческое повествование – главная форма презентации исторического сознания. В основе всякого историописания лежит прежде всего историческое сознание, объединяющее прошлое с настоящим, проецируемым в будущее, при этом всякий исторический труд отражает не только авторские интенции, но и более широкий мир исторических представлений того круга, которому оно адресовано; успех исторического сочинения (например, число списков средневекового текста) косвенно характеризует историческое сознание широкого слоя его реципиентов, которое не обязательно полностью совпадает с историческим сознанием автора. Иногда случается, что данный труд может оказаться востребованным спустя много лет после его создания, поскольку в какой-то момент времени стал отвечать таким общественным интересам, о которых его автор в свое время и не подозревал, и тем более не мог ориентироваться на них сознательно. Такой успех можно рассматривать как отличный пример изменчивости исторического сознания во времени.

Известным французским историком Бернаром Гене была впервые сформулирована проблема и намечены оригинальные пути исследования сложного феномена *средневековой исторической культуры*. Бернар Гене, в частности, писал: «Социаль-

ная группа, политическое общество, цивилизация определяются прежде всего их памятью, т.е. их историей, но не той историей, которая была у них в действительности, а той, которую сотворили им историки... Меня интересует историк, но еще больше его читатели; исторический труд, но еще больше его успех; история, но еще больше историческая культура»³⁸.

Обширный и разнородный материал исторической (памятники устной традиции, анналы, хроники, летописи, «церковные истории», «истории народов», «естественные истории»), публицистической и художественной литературы, а также документов частного и публичного характера, который, так или иначе, отражает социальное бытование представлений о прошлом в элитарной и народной культуре и их роль в общественной жизни и в политической ориентации индивидов и групп, является первоклассной источниковой базой для изучения исторической культуры, включая динамику взаимодействия представлений о прошлом, зафиксированных в коллективной памяти различных этнических и социальных групп, с одной стороны, и исторической мысли той или иной эпохи – с другой. При этом ученое знание влияет на становление коллективных представлений о прошлом и, в свою очередь, испытывает воздействие массовых стереотипов. Пространство такого исследования может быть существенно расширено благодаря эффективному использованию сравнительно-исторического метода в анализе изучаемых процессов в странах и регионах с очень разным историческим опытом, политическими и культурными традициями, а также выявлению аналоговых и контрастных характеристик «своего» и «чужого» прошлого. Однако такого рода комплексные исследования все еще остаются редкостью³⁹.

³⁸ *Гене Б.* История и историческая культура средневекового Запада. М., 2001. С. 19.

³⁹ В отечественной историографии начало систематической работы в этом направлении было положено проектом, результаты работы

Историческая культура выступает как артикуляция исторического сознания общества, однако она также включает «другие формы исторической памяти», все относящееся «к прошлым временам», т. е. все случаи «присутствия» прошлого в повседневной жизни⁴⁰. В исторической культуре отражаются и соединяются прошлое и настоящее, память и история, «древняя», «средняя» и самая недавняя⁴¹. Историческая культура контекстуальна, она «принадлежит» актуальному настоящему, имеет эстетическую, политическую и когнитивную составляющие (сложно взаимодействующие, но несводимые друг к другу) и, выражая культурную память современного общества, обеспечивает его членам возможность темпоральной ориентации и коллективной самоидентификации⁴².

Историческая культура – понятие весьма сложное по своему содержанию. Лишь недавно оно получило развернутое определение: «Историческая культура порождает и цитирует официальное историописание эпохи и сама, в конечном счете, подвергается его обратному воздействию, но она также проявляет себя и в других отношениях... Историческая культура состоит из привычных способов мышления, языков и средств коммуникации, моделей социального согласия, которые включают элитарные и народные, нарративные и не-нарративные типы дискурса. Она выражается как в текстах, так и в общепринятой форме поведения – например, в способе разрешения

над которым опубликованы в книгах: История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006; Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008; и др.

⁴⁰ *Rüsen J.* Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken // *Historische Faszination. Geschichtskultur heute* / Eds. K. Fußmann, H. T. Grüter, J. Rüsen. Köln, 1994. S. 5-7.

⁴¹ *Fowler P.* The Past in Contemporary Society. L., 1992. P. 6.

⁴² *Rüsen J.* Was ist Geschichtskultur?... P. 5-10; *Rüsen J.* Geschichtskultur als Forschungsproblem // *Idem.* Historische Orientierung. Köln, 1992. P. 238-240.

конфликтов через отсылку к признанному историческому образцу, такому как “древность”. Характерные черты исторической культуры определяются материальными и социальными условиями, а также случайными обстоятельствами, которые, как и традиционно изучаемые интеллектуальные влияния, обуславливают манеру думать, читать, писать и говорить о прошлом. Сверх всего, представления о прошлом в любой исторической культуре являются не просто абстрактными идеями, зафиксированными для блага последующих поколений... Скорее, они являются частью ментального и вербального фонда того общества, которое использует их, пуская в обращение среди современников посредством устной речи, письма и других средств коммуникации. Это движение или процесс обмена элементов исторической культуры можно для удобства назвать ее *социальной циркуляцией*⁴³.

Канадский историк Д. Вульф сместил перспективу исследования и вышел за рамки исторических текстов, подчеркнув коммуникативную природу исторической культуры раннего Нового времени: «Теперь для адекватного понимания того, что стоит за высказыванием о прошлом, недостаточно узнать, какие источники историк читал, выяснить его картину мира или мировоззрение и представить рассказанную им историю. Необходимо рассматривать любое подобное высказывание как продолжающуюся серию коммуникаций между автором и последующими поколениями читателей, как *собеседование*, само по себе составляющее всего лишь часть матрицы, которая включает и общие социально-политические условия (цензуру, патронат, родство, идеологию), и более непосредственные экономические обстоятельства (такие как благосостояние читающей публики в контексте изменяющейся культуры потребления) – не говоря уже о явных особенностях стиля. Короче, нужен такой подход, который бы потряхнул историографию с

⁴³ *Woolf D. The Social Circulation of the Past: English Historical Culture 1500–1730. Oxford, 2003. P. 9–10.*

ее олимпийской вершины и привел на склоны и в долины интеллектуальной, культурной и социальной истории»⁴⁴.

В отечественной историографии концепция исторической культуры складывалась в связи с разработкой другой важной категории – категории *исторического сознания*, долгое время оставаясь в ее тени. основополагающий вклад в ее теоретическое обоснование принадлежит выдающемуся историку и методологу М. А. Баргу.

В монографии «Эпохи и идеи» М. А. Барг дал самые разные определения понятия *историческое сознание*, каждый раз изменяя ракурс его рассмотрения. При этом он неоднократно подчеркивал, что было бы неверно сводить *историческое сознание* к *исторической памяти*, как и ставить знак равенства между историческим и общественным сознанием, поскольку первое – всего лишь измерение, срез второго. (Добавим: точно так же историческая память, в строгом смысле слова, есть измерение, срез социальной памяти.)

По мысли ученого, общественное сознание является историческим не только в силу того, что его содержание с течением времени изменяется (в этом случае речь идет об историчности общественного сознания), но и потому, что определенной своей стороной оно «обращено» в прошлое, «погружено» в историю (отражает восприятие истории)⁴⁵. Кстати, можно сопоставить это уточнение с определением исторического сознания, данным выдающимся российским социологом Ю. А. Левадой: «Этим понятием охватывается все многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых общество осознает (воспринимает и

⁴⁴ *Woolf D.* A High Road to the Archives? Rewriting the History of Early Modern English Historical Culture // *Storia della Storiografia*. 1997. N 32. P. 55-56. Заключительный раздел этой, во многом программной, статьи так и называется «От историографии к исторической культуре».

⁴⁵ *Барг М. А.* Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. С. 24.

оценивает) свое прошлое, – точнее, в которых общество *воспроизводит свое движение во времени* (курсив мой. – Л. Р.)»⁴⁶. Вместе с тем, историческое сознание не исчерпывается только объяснением прошлого: «Настоящее не может быть до конца познано без обращения к прошлому. Однако в равной мере его нельзя постичь и без обращения к будущему, т. е. без знания элементов будущего в настоящем»⁴⁷.

«Открытие исторического времени» и «исторического прошлого как проблемы познания» в эпоху Возрождения связывалось с двумя необходимыми последовательными «шагами» – осознанием «исторического настоящего, в рамках которого протекает жизнедеятельность данного поколения», и осознанием «условий жизнедеятельности прошлых поколений, – условий, которые исчезли»⁴⁸. Анализ понятия хроноструктуры с позиции отношений следования времен «настоящее – прошедшее – будущее» позволил сделать важное наблюдение: «Прошедшее и будущее “встречаются” в настоящем, выступают его составляющими. Что же остается на долю настоящего? – Переработка, отбор и систематизация опыта прошлого с точки зрения изменившихся условий и предстоящих задач, т. е. процесс для каждого настоящего сугубо творческий, поскольку ориентиром для него служит именно будущее»⁴⁹.

В книге «Шекспир и история», характеризуя видение истории гениальным драматургом как «цепи времен», подразумевавшей непрерывную смену исторических эпох, М.А. Барг акцентировал качественный сдвиг в историческом сознании – *восстановление модуса «настоящего»*, которым христианская историческая традиция пренебрегала. Это было, по его словам,

⁴⁶ Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 191.

⁴⁷ Барг М. А. Эпохи и идеи... С. 24.

⁴⁸ Барг М. А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. С. 83.

⁴⁹ Там же. С. 90.

открытие исторического времени: «...Историческим время предстает только как единство всех трех измерений, т.е. только тогда, когда каждое из них – прошедшее, настоящее и в известном смысле будущее – выступает как настоящее, в котором прошедшее и будущее смыкаются в живом сопряжении... “Настоящее” – решающее звено, соединяющее всю цепь времен»⁵⁰. «Настоящее – это диамический центр исторического времени, его движущее начало»⁵¹.

Если в Средние века безраздельно господствовала «неисторичная» форма «провиденциального историзма», то в эпоху Возрождения, когда историческое прошлое, мир исчезнувший становится по-настоящему проблемой познания появляется собственно «историзированное» общественное сознание: «было открыто историческое время и тем самым способность одной исторической эпохи сравнить себя с предшествующими, чтобы отличить себя от них и вместе с тем связать себя с ними. Открытие исторического времени явилось завершением процесса превращения социального сознания в историческое»⁵². Впрочем, только в XIX веке возникает «историческое сознание в строгом смысле слова», тот научный историзм, который воплотился в исследовательской практике «академической историографии» с жесткими профессиональными стандартами, «дисциплины контекста», опирающейся на научные методы, признание качественных различий минувшего и настоящего, понимание истории как процесса и задачи историографии как раскрытия динамики перемен во времени.

Вернемся к «Эпохе и идеям». Говоря о собственно историческом сознании М. А. Барг подчеркивает его функцию «трансляции статики воспоминания о прошлом и созерцания настоящего в динамику целеполагания и предвидения будущего». И далее: «При анализе категории “историческое сознание”

⁵⁰ Барг М. А. Шекспир и история. М., 1976. С. 51.

⁵¹ Барг М. А. Категории и методы исторической науки. С. 90.

⁵² Там же. С. 83.

бросается в глаза сложный характер ее функций в системе “общество”. В самом деле, в плане теоретическом оно определяет пространственно-временную ориентацию общества и тем самым содействует его самопознанию; в плане же “прикладном” – историографическом оно ближайшим образом определяет не только способ фиксации исторической памяти (миф, хроника, история), но и отбор, объем и содержание достопамятного, т.е. выступает по отношению к историографии в качестве области нормативной и рефлексивной. Из сказанного следует, что историю историографии и исторической науки можно изучать двояким образом. Во-первых, с внешней стороны, т.е. как эмпирически зримую цепь сменявших друг друга, с течением времени, историографических школ и направлений. Во-вторых, ту же историю можно изучать с ее “невидимой”, внутренней стороны, т.е. как процесс, обусловленный системными связями историографии с данным типом культуры (курсив мой. – Л. П.), в частности с ее мировоззренческой сутью. Последнюю же выражает в каждое данное время в наиболее доступной историографии форме именно историческое сознание⁵³. Конечно же, историческое сознание не исчерпывается формами историографии (хотя и «питает», и «пронизывает» их), но именно «в плане “прикладном” – историографическом» эта категория была всесторонне проанализирована и теоретически осмыслена М. А. Баргом в опубликованной еще в 1982 г. статье «Историческое сознание как историографическая проблема»⁵⁴ и затем много лет оставалась в центре внимания исследователя.

⁵³ Барг М.А. Эпохи и идеи... С. 6.

⁵⁴ Барг М.А. Историческое сознание как историографическая проблема // Вопросы истории. 1982. № 12. С. 49-66. Впоследствии сокращенный и исправленный текст этой статьи был положен автором в основу его теоретико-методологического введения «Историческое сознание и история» к книге «Эпохи и идеи». См.: Барг М. А. Эпохи и идеи. С. 5-24.

Изучение истории исторической мысли опиралось на концепцию историзма, распространенную на само историческое сознание и реализованную в его исторической типологии, причем историческое сознание любой эпохи выступает как одна из важнейших и существенных характеристик ее культуры и соответственно определяет присущий ей тип историописания («тип исторического письма») и схему организации исторического опыта («тип историзма»). Несмотря на все типологические различия и противоречивость форм проявления исторического сознания (в книге «Эпохи и идеи» они рассмотрены последовательно в широком континууме между двумя крайностями – антиисторизмом мифологического типа сознания и всеобъемлющим историзмом, характерным для XIX века), а также выделение понятия «историческое сознание в строгом смысле слова», историческое сознание мыслилось Баргом как культурная универсалия. Историческое сознание – действительно «духовный мост», важнейшая духовная константа, одновременно сохраняющая и продуцирующая «связь времен» – прошлого и будущего в «средостении настоящего».

«Продуктивную» роль настоящего подчеркнул позднее Б. Г. Могильницкий: «Историческое сознание есть сознание интерпретирующее, конструирующее образ прошлого, соотносясь с социокультурными запросами современности...»⁵⁵. Проблема исторического сознания интересует автора «прежде всего своей социально-практической стороной, раскрывающей его значение в жизни общества»⁵⁶. В историческом сознании запечатлено «живое прошлое», которое не только разнообразными нитями связано с настоящим, но и активно воздействует

⁵⁵ Могильницкий Б. Г. Историческая наука и историческое сознание на рубеже веков // Историческая наука на рубеже веков. Материалы Всероссийской научной конференции. Томск, 1999. Т. 1. С. 7.

⁵⁶ Могильницкий Б. Г. Историческое сознание и историческая наука // Исторические воззрения как форма общественного сознания. Часть I. Саратов, 1995. С. 10-18.

на него. С другой стороны, влияя на настоящее, события прошлого, вернее, их интерпретации и оценки, сами испытывают влияние современности». Таким образом, по Могильницкому, представления о прошлом образуют содержание категории «исторического сознания», но эти представления органически связаны с настоящим. Иными словами, речь идет о воплощенной в историческом сознании связи времен или же, напротив, о ее разрушении в результате кризиса исторического сознания.

В этой связи нельзя не заметить, как удивительно в унисон звучат размышления о связи времен представителей господствовавшей в Средние века «неисторичной» формы «провиденциального историзма» и приверженцев научного историзма XX столетия. Сравним, с одной стороны: «Есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего – это память, настоящее настоящего – его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание» (Августин Аврелий. Исповедь. XX, 26). И, с другой: «... Историческим время предстает только как единство всех трех измерений, т.е. только тогда, когда каждое из них – прошедшее, настоящее и в известном смысле будущее – выступает как настоящее, в котором прошедшее и будущее смыкаются в живом сопряжении... “Настоящее” – решающее звено, соединяющее всю цепь времен»⁵⁷.

Идеи, высказанные М. А. Баргом, оказались востребованы в историографической ситуации эпохи глобализации, когда изучение исторического сознания, его структуры, форм и функций превратилось в актуальнейшую задачу. На рубеже XX–XXI вв. проблемы исторического сознания заняли центральное место в мировой историографии. Сегодня можно констатировать не просто рост числа и тематического разно-

⁵⁷ Барг М. А. Шекспир и история. С. 51

образа исследований, но и важные институциональные достижения, как, например, создание Центра изучения исторического сознания (Centre for the Study of Historical Consciousness) в Университете Британской Колумбии (Канада), поддерживающего исследования в этой области, а также способствующего установлению научных контактов в профессиональном сообществе и с более широкой общественной аудиторией.

Хотя многие исследователи все еще практически отождествляют историческое сознание и историческую память, вернее сводят первое ко второй, достаточно близко к представленной концепции исторического сознания подходит переопределение коллективной и исторической памяти, которое предлагается некоторыми участниками современных дискуссий о различиях и относительной ценности исторической и коллективной памяти⁵⁸. Речь идет о понимании исторического сознания как наличествующего и в той, и в другой памяти и выступающего опосредующим звеном между ними. В качестве промежуточного термина «историческое сознание» указывает на стремление понимать опыт прошлого *исторически*. Пафос этой концепции состоит в протесте против навязывания индивиду, обладающему собственным историческим сознанием, версии истории, созданной историками. Модернистская форма исторической памяти, возлагая на практикующих историков роль профессиональных творцов и хранителей памяти, лишает «непосвященных» личной вовлеченности в производство исторических знаний, она подчиняет групповое сознание и одновременно сводит на нет роль индивида в создании коллективной памяти. Решение проблемы может быть найдено в пересмотре понятия коллективной памяти и обеспечении теоретической базы для другого типа исторической памяти именно на пути восстановления индивида в его праве и на коллективную, и на историческую память.

⁵⁸ См., например: *Crane S. A. Writing the Individual Back into Collective Memory // American Historical Review. 1997. P. 1372-1385.*

В несколько отличной интерпретации постулируется вытеснение исторической памятью памяти коллективной. Большая часть так называемых теоретиков исторической памяти (включая Пьера Нора с его тезисом о том, что история «убивает память», и понятием сдвига от «среды памяти» к «местам памяти») упускает из виду стихийную деятельность по производству памяти, которая ведется за пределами направления модернистской культуры, ее консервации в виде однозначно интерпретируемого исторического наследия. В связи с этим обсуждаются также слова Мориса Хальбвакса о том, что «история действительно напоминает переполненное кладбище, на котором к тому же приходится постоянно искать места для новых могильных плит»⁵⁹. Совершенно очевидно, что в этом контексте противопоставление истории и памяти просто подменяется оппозицией исторической и коллективной памяти.

Однако исследователи, работающие в постмодернистской парадигме, напоминают о том, что коллективная память сама является выражением исторического сознания, которое производится индивидами, и что его возможности не исчерпываются той формой истории, которая господствовала последние два века. Коллективная память поддерживает живой опыт индивидов внутри групп, так как индивидуальное переживание нельзя вспомнить без отсылки к социальному контексту. Но поскольку реально функция памяти принадлежит индивиду, а все остальные ее приложения – это просто метафоры, ясно, что коллективная память заключена не в «местах памяти», а в способных исторически мыслить индивидах, которые, разумеется, могут быть, но могут вовсе и не быть историками.

Сьюзен Крейн, в частности, пишет: «Я полагаю, что историческое исследование является живым опытом, который историк сознательно интегрирует в коллективную память. Историческая репрезентация неадекватна живому опыту только до тех пор, пока автор остается отсутствующим, а его произве-

⁵⁹ *Halbwachs M. On Collective Memory. Chicago, 1992. P. 12.*

дение выполняет только мемориальную функцию... Что, если представить, будто каждое самовыражение исторического сознания является выражением коллективной памяти не потому, что оно совершенно точно разделяется всеми другими членами коллектива, но потому что именно этот коллектив делает его артикуляцию возможной, потому что историческое сознание само стало элементом исторической памяти?.. История может спасти то, что персонально утрачено, сохраняя коллективную репрезентацию памяти. Коллективная память может сохранить память пережитого в живом опыте и выдержать утрату других воспоминаний... Мы можем осмыслить коллективную память как нечто выраженное исторически сознательными индивидами, претендующими на то, что их историческое знание является частью личного, живого опыта... Таким образом "место" коллективной памяти возвращается из внешней среды к индивиду, который вспоминает, но не... к профессиональному историку... Каждый индивид, как член многих групп, является носителем и выразителем персональной памяти исторического значения в виде живого опыта. Они могут создать исторические сочинения, предметом которых будет часть их собственных воспоминаний... Разве нельзя расширить исторический дискурс, чтобы включить концепцию любого из нас в качестве авторов исторических сочинений, которые пишут как исторические действующие лица... Нет необходимости жестко разделять жанры автобиографии и истории»⁶⁰.

Одной из форм такого исторического сочинения нового типа представляется (по образцу книги Луизы Пассерини «Автобиография одного поколения: Италия, 1968 год»⁶¹) некое соединение собственных мемуаров и дневников с записями устных воспоминаний участников тех же событий. Но Пассерини – профессионал высочайшего класса и работает,

⁶⁰ Crane S.A. Op. cit. P. 1382-1383.

⁶¹ Passerini L. *Autobiography of a Generation: Italy, 1968*. Hanover (N.H.), 1996.

руководствуясь профессиональными стандартами, а круг потенциальных творцов исторической памяти, в концепции Крейн, неизмеримо шире: «Вовсе не преувеличение говорить студентам (или любой другой аудитории), что они становятся историками в тот момент, когда начинают думать над историей, или что часть их учебного опыта составляет участие в передаче исторической памяти, которую они вводят в свой персональный опыт, как только начинают говорить или писать об этом. Возможно, *практика истории*, переопределенная как активное участие в запоминании и забывании в пространстве коллективной памяти каждым членом его, скорее, чем простая ссылка на историческое знание, станет характерной чертой исторического сознания»⁶².

Иначе подходит к проблеме содержания и соотношения профессионального исторического сознания и массовых представлений Поль Вен, подчеркивая: «В стихийном сознании нет понятия истории, для появления которого требуется интеллектуальная работа... Все, что известно сознанию об истории, — это узкая полоска прошлого, воспоминание о котором еще живо в коллективной памяти нынешнего поколения...»⁶³. Таким образом, опыт прошлого, понимаемый *исторически*, соответствует особой форме модернистского исторического сознания — *историческому сознанию в строгом смысле слова* (или *истории историков*).

В одной из своих лекций ведущий российский специалист по исторической психологии В. А. Шкуратов, говоря об исторических типах памяти, развернул следующую типологию исторической памяти: а) архаическая память, характеризующаяся цикличностью и отсутствием представления о линейном времени, растворяющая индивидуальный опыт в архетипическом настоящем — в вечности; б) традиционная

⁶² Crane S.A. Op. cit. P. 1384-1385.

⁶³ Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М., 2003. С. 87-89.

память, с понятием оси времен, но по прежнему архетипической связью между прошлым и будущим (сотворение мира и конец света); в) современная (я бы сказала точнее – модерная), встраивающая человеческий опыт в линейное время от настоящего к прошлому и будущему и лишаящая историю аксиологической окраски; г) постсовременная, или постмодерная, с противоположной последовательностью временных модальностей «будущее – настоящее – прошлое»: мы конструируем свое прошлое, которое приходит к нам из будущего (через улавливаемые тенденции в настоящем)⁶⁴.

Позволю себе продолжить по аналогии это рассуждение: каждому историческому типу памяти соответствует определенная форма исторического сознания: архаической памяти – миф, традиционной – утопия, модерной – историческая наука, или научная история. Какая же форма сознания должна соответствовать постмодерному типу памяти? Очевидно, что это – это-история (в версии, представленной, в частности, С. Крейн). Это-история может быть высокопродуктивна в качестве экспериментальной формы обучения. Следует, однако, подчеркнуть, что Крейн, по сути, оставляет за бортом познавательную функцию истории, полностью замещая ее политической стратегией коллективной памяти. Но кроме такой ярко выраженной постмодернистской программы с ее критикой модернистского, социально-сциентистского подхода к истории, ныне существует и другая, *постпостмодернистская*, по своему смыслу, программа, нашедшая яркое воплощение в культурно-антропологической концепции Йорна Рюзена.

⁶⁴ В. А. Шкуратов так же четко сформулировал качественную суть подходов к памяти в разных академических дисциплинах социально-гуманитарного цикла: в исторической науке, которая имеет дело с прошлой реальностью, это подход референциальный, в филологии, которая имеет дело с вымыслом, респрезентационный, в общественном знании – прагматический, в психологии – мотивационный, в остальных гуманитарных дисциплинах речь идет о культурных универсалиях.

Йорн Рюзен рассматривает проблему *кризиса исторической памяти*, который наступает при столкновении исторического сознания с опытом, не укладывающимся в рамки привычных исторических представлений, что ставит под угрозу сложившиеся основания и принципы идентичности. Он предложил типологию кризисов (*нормальный, критический и катастрофический*) в зависимости от их глубины и тяжести и определяемых этим стратегий их преодоления⁶⁵.

Нормальный кризис может быть преодолен на основе внутреннего потенциала сложившегося исторического сознания с несущественными изменениями в способах смыслообразования, характерных для данного типа исторического сознания. *Критический* – ставит под сомнение возможности воспринимать и адекватно интерпретировать прошлый опыт, зафиксированный в исторической памяти, в соответствии с современными потребностями и задачами, которые ставят перед собой субъекты. В результате происходят коренные изменения в историческом сознании, по сути, формируется его новый тип. Следствием этого становится изменение исторической памяти в процессе не только формирования новых способов смыслообразования, но и изменения оснований и принципов идентификации, а также ментальных форм сохранения исторической памяти. И, наконец, *катастрофический кризис*, который препятствует восстановлению идентичности, ставя под сомнение возможность исторического смыслообразования в целом. Такой кризис выступает как психологическая травма для субъектов, которые его пережили⁶⁶, он воспринимается как катастрофа, поскольку не может быть, с

⁶⁵ См.: Rüsén J. *Studies in Metahistory*. Pretoria, 1993. См. также: Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) // Диалог со временем. Вып. 7. М., 2001. С. 8–26.

⁶⁶ Травма понимается как опыт, который разрушает возможности его интерпретации для ориентации человеческой деятельности.

точки зрения субъектов, наделен каким-либо смыслом. Отчуждение «катастрофического опыта» путем замалчивания или фальсификации не решает проблемы: он продолжает влиять на современную реальность, а отказ учитывать его сужает возможности адекватной постановки целей и выбора средств их достижения.

Основным способом преодоления кризисов коллективного сознания является историческое повествование, оформляющее в определенную смысловую целостность прошлый опыт, зафиксированный в памяти в виде отдельных событий, причем как повествование могут интерпретироваться не только письменные тексты историков, но и другие формы исторической памяти: устные предания, обычаи, ритуалы, памятники и мемориалы. *Историзация* пережитого представляет собой культурную стратегию преодоления разрушительных последствий травмирующего опыта. Путем придания событию «исторического» смысла и значения устраняется его травмирующий характер: «история» является порождающим смысл и значение взаимоотношением событий во времени, которое соединяет ситуацию сегодняшнего дня с опытом прошлого таким образом, что из хода изменений от прошлого к настоящему можно наметить будущую перспективу человеческой деятельности. Этой детравматизации можно достичь в рамках историзации с помощью разных стратегий, помещающих травмирующие события в исторический контекст:

- *анонимизация* (вместо убийств, преступлений, злодеяний говорят о «темном периоде», «злом рокс» или «вторжении демонических сил» в относительно упорядоченный мир),
- *категоризация* (обозначающая травму абстрактными понятиями, в результате чего она утрачивает свою уникальность, становясь частью истории-рассказа),
- *нормализация* (травмирующие события рассматриваются как нечто постоянно повторяющееся и объясняются неизменной человеческой природой),

- *морализация* (травмирующее событие приобретает характер случая-предостережения),
- *эстетизация* (предоставляет травмирующий опыт чувствам, помещая его в схемы восприятия, которые делают мир понятным и упорядоченным),
- *телеологизация* (использует тягостный опыт прошлого, чтобы исторически оправдать порядок, который обещает предотвратить повторение подобного опыта или предложить защиту от него),
- *метаисторическая рефлексия* (преодолевает разрыв времени, вызванный травмой, с помощью концепта исторического изменения, отвечая на критические вопросы, касающиеся истории в целом, ее принципов осмысления и видов репрезентации),
- *специализация* (разделяет проблему на различные аспекты, которые становятся сферой исследования для различных специалистов, в результате чего «беспокоящий диссонанс полной исторической картины исчезает») ⁶⁷.

Все эти историографические стратегии могут сопровождать ментальные процедуры преодоления разрушительных последствий исторического опыта, которые хорошо известны в психоанализе. Психоанализ, считает Рюзен, может научить историков тому, что существует много возможностей преобразовать *бессмысленность опыта прошлого в исторический смысл*. Те, кто осознает свою вовлеченность и ответственность, снимают с себя это бремя, вынося прошлое за пределы своей собственной истории и проецируя его на других людей (в частности, переменной ролей мучителей и жертв). Это можно также сделать путем создания картины прошлого, в которой

⁶⁷ Пример такой стратегии специализации – выделение исследований Холокоста в самостоятельную область изучения, где «ужас, становясь исключительной темой для профессионально подготовленного специалиста, может постепенно утратить свой статус общей угрозы историческому мышлению».

определенная личность исчезает из отобранных фактов, как если бы она никогда (объективно) не принадлежала событиям, составляющим ее идентичность.

Подобные стратегии можно наблюдать, «если задаться поиском следов травмы в историографии и других формах исторической культуры, в рамках которой люди находят жизненную ориентацию в ходе времени. Эти следы скрыты памятью и историей, и иногда трудно обнаружить вызывающую тревогу реальность под этой сглаженной поверхностью коллективной памяти и интерпретации». В этом плане историческое исследование обладает критической функцией, необходимой для того, чтобы прояснять факты. Но интерпретируя их, историк не может использовать только повествовательные модели, которые придают травмирующим фактам исторический смысл. «В этом отношении *историческое исследование по своей логике является культурной практикой детравматизации. Оно преобразует травму в историю*»⁶⁸.

Таким образом, посредством исторического повествования прошлый опыт, зафиксированный в памяти в виде отдельных событий, оформляется в определенную целостность, в рамках которой эти события приобретают смысл. Й. Рюзен раскрывает основные функции исторического повествования. Во-первых, исторический нарратив мобилизует опыт прошлого, запечатленный в архивах памяти, с тем чтобы настоящий опыт стал понятным, а ожидание будущего – возможным. Во-вторых, организуя внутреннее единство трех модальностей времени (прошлое – настоящее – будущее) идеей непрерывности и целостности, исторический нарратив позволяет соотносить восприятие времени с человеческими целями и ожиданиями, что актуализирует опыт прошлого, делает его значимым в настоящем и влияющим на образ бу-

⁶⁸ Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания / Под ред. Л. П. Решиной. М., 2005. С. 59-60.

дущего. Наконец, в-третьих, он служит для того, чтобы установить идентичность его авторов и слушателей, убеждая читателей в стабильности их собственного мира и их самих во временном измерении. Сознательный или неосознанный выбор той или иной стратегии преодоления кризиса выражается в соответствующем типе исторического повествования, а эвристическим средством изучения принципов такого выбора может стать типология исторических нарративов⁶⁹.

Эти тезисы Й. Рюзена можно сопоставить с вышеизложенными рассуждениями М. А. Барга о смене типов «исторического письма» и «схем организации исторического опыта». М. А. Барг исходил из того, что «в общем и целом *тип историзма* столь же объективно задан историку, как *тип культуры* – современнику данной эпохи»⁷⁰. И именно потому

⁶⁹ Выделены четыре типа нарратива, отражающих развитие исторического сознания: 1) *исторический нарратив традиционного типа*, который утверждает значимость прошлых образцов поведения, воспринимаемых в настоящем и являющихся основой для будущей деятельности (при этом идентификация достигается принятием заданных культурных образцов, а время воспринимается как вечность); 2) *исторический нарратив назидательного типа*, который утверждает правило, являющееся обобщением конкретных событий-случаев (здесь идентификация предполагает применение обобщенного конкретного опыта прошлого к современной ситуации, что делает человеческую деятельность рационально обоснованной); 3) *исторический нарратив критического типа*, отрицающий значимость прошлого опыта для современности путем создания альтернативных нарративов (критика позволяет освободиться от предустановленных образцов, именно данный тип нарратива служит средством перехода от одного типа исторического сознания к другому, ибо критика создает возможность для развития исторического познания); 4) *исторический нарратив генетического типа* представляет осмысление сущности истории как изменения (прошлые образцы деятельности трансформируются, чтобы быть включенными в современные условия, признание изменчивости форм жизни и моральных ценностей ведет к пониманию других, а значит и более глубокому пониманию себя).

⁷⁰ Барг М.А. Эпохи и идеи. С. 15.

приближение к пониманию историографии прошлых эпох («донаучного историзма») ставилось в зависимость от изучения тех предшествовавших «переворотам» в историографии мировоззренческих сдвигов, которые происходили «при переходе от одной культурно-исторической эпохи к другой», и от постижения того «опосредующего механизма», «при помощи которого “обновленная” историография каждый раз достигала нового видения истории и создавала соответственный новый тип исторического “письма”»⁷¹.

Таким «посредником» между теоретическим мышлением эпохи и господствующим типом историографии на каждой из последовательных ступеней ее развития выступало историческое сознание⁷². Рассматривая категорию «историческое сознание» в ее «нормативной и рефлексивной функции по отношению к историографии», Барг выделял в самом процессе историописания два смысла, понимая его, с одной стороны, как «процесс восприятия, “дешифровки” и упорядочения опыта прошлого с целью истолкования его в свете опыта настоящего», а с другой – как «метод реализации подобной программы»⁷³. Специфику научного исторического знания он видел в приверженности принципам историзма и в процедуре «самообоснования», т.е. в критике самого процесса получения знания. Рюзен, в свою очередь утверждает, что в свете радикальной постмодернистской критики модернистского способа историописания (хоть и односторонней, по его оценке) эта традиция профессионализации на метаисторическом уровне должна быть пересмотрена, а работу по осмыслению и обоснованию принципов исторической науки следует начать с анализа памяти как основы исторического мышления. Оценивая и принимая «постмодернистский акцент на эстетику и риторику как необходимый вклад», он подчеркивает сущностный харак-

⁷¹ Там же. С. 18.

⁷² Барг М.А. Эпохи и идеи. С. 23.

⁷³ Там же. С. 12.

тер связи между памятью и *опытом* и отказывается от категоризации исторического знания как «вымысла» (fiction)⁷⁴.

По сути, это попытка сформировать новое самосознание посредством синтеза модернистского и постмодернистского типов исторического мышления – с одновременным признанием идеи существования *множества различных историй* и идеи *единства исторического опыта*. Выстраивая «концепцию универсальности исторического развития» с учетом ситуации множественности перспектив (*multiperspectivity*) видения истории, Й. Рюзен ввел в стратегию исторической интерпретации нормативный принцип признания различия и многообразия культур⁷⁵. Звучит парадоксально, но столь же парадоксальным может показаться и более общий принцип сосуществования разных культур и цивилизаций в глобализирующемся мире – принцип «единства в многообразии». Рюзен же распространил этот принцип на уровень исторического сознания с его множественностью форм (как синхронных, так и стадиальных), прежде всего – в проблемном поле, обозначенном им (на мой взгляд, не совсем удачно) как «мжкультурная компаративная историография»⁷⁶, ориентированная на сравнительный анализ исторического сознания и традиций историописания, который выходит далеко за пределы европейской культурной традиции и западной цивилизации — на глобальную арену.

Реализуя свою программу «мжкультурной сравнительной историографии», Рюзен решает эпистемологическую проблему, связанную с неизбежной предзаданностью культурного

⁷⁴ Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории... С. 23.

⁷⁵ Историк подчеркивает: «..Нам нужна ведущая система ценностей, универсальная система ценностей, которая утверждает различие культур (курсив мой. — Й. Р.). Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории... С. 24-25.

⁷⁶ Rösen J. Some Theoretical Approaches to Intercultural Comparative Historiography // History and Theory. 1996. Vol. 35. Theme Issue: Chinese Historiography in Comparative Perspective / Ed. by Axel Schneider and Susanne Weigelin-Schwiedrzik. P. 5-22.

контекста такого сравнения, вследствие чего исследователь оценивает историческое мышление другой цивилизации сквозь призму идеи истории в собственной культуре, и это имеющееся у него представление о том, что есть история, выступает как скрытый критерий, как норма или, по меньшей мере, как некий фактор, структурирующий его видение иных вариантов исторического мышления (так называемый «культурный империализм»). Без учета этого, сравнение превращается в простое измерение дистанции от нескритически воспринятой «нормы» в терминах «развитости» («прогрессивности») и «отсталости» («архаичности», «примитивности») и не дает возможности понять особенности и сходства разных способов исторического мышления и историописания.

С целью коррекции культурной включенности исследователя предлагается теория *культурных универсалий исторического сознания* («общая теория культурной памяти»), предполагающая выход за рамки свойственных профессиональной историографии рациональных процедур познания в пространство базовых ментальных операций воспоминания, интерпретации и репрезентации прошлого, присутствующих в любой культуре и обеспечивающих потребности ориентации людей в их настоящем. Историография выступает в рамках общей теории исторического сознания как одна из форм универсальной культурной практики. Таким образом, открывается перспектива, в которой оказывается видимым не только все разнообразие вариантов, но и то, как именно оно складывается. Однако этот грандиозный проект «межкультурной сравнительной историографии», не имеющий хронологических и пространственных ограничений, требует множества дополнительных конкретных исследований, способных обеспечить максимально «плотное описание» национальных историографий (и даже локальных историографических традиций), и может быть реализован только коллективными усилиями «невидимого колледжа» историков разных стран и регионов мира.

11.3. Связь времен: «мост из прошлого в будущее»

Содержание коллективной памяти меняется в соответствии с социальным контекстом и практическими приоритетами: для многих групп, как малых, так и больших, переупорядочивание или изменение коллективной памяти в процессе трансмиссии означает постоянное изобретение прошлого, которое бы подходило для настоящего, или, равным образом, изобретение настоящего, которое бы соответствовало прошлому. Стоит привести в данной связи точное и емкое высказывание на этот счет выдающегося британского историка Кристофера Хилла: «Мы сформированы нашим прошлым, но с нашей выгодной позиции в настоящем мы постоянно придаем новую форму тому прошлому, которое формирует нас»⁷⁷. И Йорн Рюзен как бы продолжает, одновременно развивая эту мысль: «Прошлое... проникает в нас, в глубины нашей субъективности и одновременно *через нас* и *из нас* – в будущее...»⁷⁸.

Неразрывная связь прошлого, настоящего и будущего в историческом сознании имеет последствия не только для образа нашего непредсказуемого *вчера*, но и — через отношение к прошлому — для самоопределения и практической деятельности *сегодня* по «обустройству» грядущего *завтра*. Однако это соотношение времен специфично и имеет культурно-историческую обусловленность. К тому же, как было отмечено Ю. М. Лотманом, «формы памяти производны от того, что считается подлежащим запоминанию, а это последнее зависит от структуры и ориентации данной цивилизации»⁷⁹.

Принципиально важно, что темпоральные представления о связи времен предполагают наличие структурной дифферен-

⁷⁷ Hill C. History and the Present. L., 1989. P. 29.

⁷⁸ Рюзен Й. Может ли вчера стать лучше? О метаморфозах прошлого в истории // Диалог со временем. Вып. 10. М., 2003. С. 61.

⁷⁹ Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. М., 1996. С. 344–345.

циации времени, и это в развернутом виде показано в книге И. М. Савельевой и А. В. Полетаева «История и время». Среди поднятых в этом энциклопедическом труде проблем существенное место занимает процесс «темпорализации» исторического сознания, который включал в себя «формирование представлений о разделенности прошлого, настоящего и будущего, более четкие понятия и знание единиц времени и временных интервалов истории, постепенное утверждение историзма как способа понимания общественного развития, установку на будущее и другие специфически временные параметры Нового времени»⁸⁰. Сложные отношения времен выражены авторами афористически: «Еще несуществующее вторгается в пределы уже несуществующего и видоизменяет его»⁸¹.

Становление европейского исторического сознания Нового времени выражается в создании целостных темпоральных конструкций, в которых прошлое, настоящее и будущее, с одной стороны, рассматриваются и воспринимаются как отдельные самостоятельные модулы, а, с другой стороны, оказываются неразрывно связанными движением человеческого общества от прошлого через настоящее к будущему, определяемому на основе экстраполяции существовавших или существующих тенденций. Идея прогресса, характерная для эпохи Просвещения, позволяла принимать в настоящем активное участие в создании будущего. При этом понимание линейного, необратимого и прогрессивного хода истории не только имело свои предпосылки в предшествующей картине мира, но и парадоксально сочеталось с устойчивыми космологическими элементами в общественном сознании, создавая объемную, многослойную культуру Нового времени.

Особое место в развитии исторического сознания в России занимает XIX век, отмеченный процессами историзации

⁸⁰ Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997. С. 605.

⁸¹ Там же. С. 308.

общественного сознания, формирования образов национально-го и европейского прошлого, становления исторической науки и исторического образования⁸². Трудности реформ, необходимость принятия решений с учетом исторического опыта способствовали постоянной актуализации исторического знания. Прошлое привлекает как время, в котором заложены причины текущего состояния и которое позволяет понять, объяснить и даже изменить настоящее, привести его в соответствие с прошлым. «Просветительская парадигма определяла не только уверенность в универсальности идеи прогресса, включая тем самым будущее России в общее будущее европейской цивилизации, но и формировала стремление приблизить это будущее для России, диктовала необходимость деятельности, способствующей появлению элементов будущего в настоящем. <...> формируется не пассивно-созерцательное отношение к настоящему, а отношение деятельное, призванное изменить настоящее для изменения будущего»⁸³. Несмотря на существенные различия в содержательных оценках прошлого и настоящего, все деятели русской общественной мысли признавали факт неразрывной связи времен, влияние прошлого на настоящее и необходимость учета прошлого для проектирования будущего. Характеризуя дальнейшую трансформацию темпоральных представлений, Т. А. Сабурова подчеркивает: «От осмысления различия и связи времен, которое началось в XIX в., от чувства времени, ощущения его движения, русская интеллигенция пришла в начале XX в. к осознанию *“разрыва времен”* (курсив мой. – Л. Р.), чувству безвременья, ощущению остановившегося времени. Незавершенность процесса формирования исторического сознания русской интеллигенции, исторической культуры русского общества, отсутствие

⁸² Подробно об этом см.: Сабурова Т. А. «Связь времен» и «горизонты ожиданий» русских интеллектуалов XIX века // *Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад*, С. 302-331.

⁸³ Там же. С. 322.

устойчивых образов прошлого, как и связи прошлого, настоящего и будущего – все это стало серьезным фактором революционизации общественного сознания, и, следовательно, социальных потрясений в России»⁸⁴.

И массовое, и профессиональное историческое сознание строятся, как правило, на основе линейной нарративной логики, которая наиболее адекватна чрезвычайно значимому в XIX–XX вв. и сохраняющему значение даже в начале XXI в. национально-государственному типу идентичности. Вместе с тем, одним из результатов программы историзма стало резкое углубление разрыва между «историей историков» и обыденными (массовыми) представлениями о прошлом: в то время как социальная память продолжает создавать интерпретации, удовлетворяющие новым социально-политическим потребностям, в исторической науке господствует подход, состоящий в том, что прошлое ценно само по себе, и ученому следует, по возможности, быть выше соображений политической целесообразности. Как удачно выразился Антуан Про, память «...черпает силу в тех чувствах, которые она пробуждает. История же требует доводов и доказательств»⁸⁵.

Франсуа Артог предложил в качестве полезного инструмента анализа исторического сознания типологию «режимов историчности» (пассеизм, презентизм, футуризм), различных форм восприятия времени и отношения к нему, понимаемых как способы сочленения категорий прошлого, настоящего и будущего, различающиеся в зависимости от того, на какой из трех модальностей времени ставится акцент в разных обществах и культурах, на разных социальных уровнях⁸⁶. Эта векторность исторического сознания непо-

⁸⁴ Там же. С. 331.

⁸⁵ Про А. Двенадцать уроков по истории. С. 319.

⁸⁶ Hartog F. Regimes d'historicité. Presentisme et expériences du temps. P., 2003; Артог Ф. Время и история // *Анналы на рубеже веков: антология*. М., 2002. С. 147–168.

средственна связана с существованием разных типов общественного идеала: *ретроспективного* (идеал в утраченном прошлом, «золотом веке») и *перспективного* (идеал в ожидании и желанном будущем). Так, например, по словам Патрика Хаттона, в отличие от исторических представлений предшествовавших эпох, историческое сознание, отражающее ценности современной культуры, «демонстрирует не столь сильное благоговение перед прошлым и возлагает большие надежды на новшества будущего»⁸⁷.

В переработку, отбор и систематизацию опыта прошлого включены не только два взаимосвязанных, комплементарных и неразделимых процесса (две стороны) памяти — «вспоминание» и «забывание», но и ключевой процесс непосредственного переживания реальной ситуации настоящего. В представлениях о будущем (в «превращенном» виде) находят отражение проблемы, которые волновали изучаемые общества в их настоящем: «Общества мобилизуют свою память и реконструируют собственное прошлое, чтобы обеспечить свое функционирование в настоящем и разрешить актуальные конфликты. Точно так же, когда они в воображении проецируют себя в будущее — голосом своих пророков, мыслителей-утопистов или авторов научной фантастики — они говорят лишь о своем настоящем, о своих устремлениях, надеждах, страхах и противоречиях современности»⁸⁸. Думается, что здесь также уместно вспомнить слова Шекспира:

⁸⁷ Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. С. 24. Интересные материалы, связанные с обсуждением вопроса об уникальности новосвроейских культурных представлений, обеспечивших позитивную оценку новизны и ориентацию на будущее, см. в книге с красноречивым названием: Судьба европейского проекта времени. Сборник статей / Отв. ред. О. К. Румянцев. М., 2009.

⁸⁸ Шмитт Ж.-К. Овладение будущим // Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008. С. 132.

Мы видим жизни постепенный ход,
И это сходство будущего с прошлым
С успехом позволяет говорить
О вероятье будущих событий⁸⁹.

«Историческое сознание» в строгом (нововременном) смысле этого слова разрушилось в период постмодерна. Кризис доверия к историческому метарассказу – это фактически кризис социальной памяти исторического типа, и одновременно кризис линейной темпоральности. В целом для современной историографии характерно разделение пространств настоящего и будущего. Это установление разрыва между настоящим и будущим часто описывается как «презентизм», исчезновение измерения будущего как такового, которое, будучи отделено от настоящего, перестает быть реальным.

Последствия данного разрыва проявляются, в частности, в том, что историки отказались от идеи предсказания будущего и практически полностью исключили тему будущего из круга своих профессиональных интересов, согласившись с тем, что история никогда не повторяется, и даже если знание о том, как были устроены общества прошлого, помогает понять современное общество, оно все же не дает нам никакого точного знания о том, что грядет.

Между тем тема будущего оказывается чрезвычайно востребованной в пространстве истории коллективных темпоральных представлений и «мемориальных исследований». Если желание заранее знать будущее присуще всем человеческим обществам, встречается везде и во все времена, то средства, которые используются, чтобы удовлетворить это желание, и создаваемые воображением картины будущего в коллективном сознании отличаются друг от друга в различных культурах, в зависимости от религиозных верований и форм рациональности, которые для них характерны. Поскольку со-

⁸⁹ Шекспир У. Король Генрих IV. Акт 2. Сцена 1. Стр. 45-56.

циальная память «вырастает» из разделяемых или оспариваемых смыслов и ценностей прошлого, которые «вплетаются» в понимание настоящего и в проекции будущего, постольку прошлое оказывается не менее проективным, чем будущее.

Значение темпорального компонента культурных представлений в общей картине мира невозможно переоценить. При этом сегодня ставится задача не просто констатировать особенности концепций времени в исторических традициях разных культур и эпох (представления о членении, измерении, движении, ценности времени, о соотношении прошлого, настоящего и будущего, а также образы общезначимого прошлого — эпох, событий, героев и пр.), но и направить усилия на поиск всеобщего, характерного для всего человечества. В связи с этим необходим новый подход к сравнительному изучению исторического сознания и концепций прошлого.

В условиях, когда так много внимания концентрируется не на сходстве, а на различиях, не на универсальности, а на своеобразии, все более значимой становится роль антропологических универсалий, таких как представления о времени, заключенные в понятиях роста и упадка, рождения и смерти, изменения и преемственности. Аналогичным образом могут быть выделены универсальные компоненты коллективных версий прошлого, такие, например, как характерные структурные элементы этноцентристской исторической мифологии, призванной сплотить своих приверженцев и определенным образом направлять их действия (мифы о происхождении, о «золотом веке», «славных предках» и многие другие).

Заметный шаг в направлении реконструкции и сопоставления темпоральных картин мира и исторических представлений, условий их формирования и динамики развития в разных культурных ареалах был предпринят авторским коллективом исследовательского проекта «Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия – Восток – Запад», в котором были использованы ма-

териалы античной, средневековой и новоевропейской (в разных национальных и региональных вариантах), византийской и древнерусской, китайской, арабской, индийской, персидской, монгольской письменных традиций⁹⁰.

Авторы стремились выявить наличествующие культурные универсалии (они имеют место, несмотря на плюрализм исторических культур и специфику траекторий их развития) или плоды межкультурного взаимодействия (рецепции), а также цивилизационные особенности и их преломление на различных этапах развития социумов, исследовать образы прошлого, настоящего, будущего и характер темпоральных и исторических представлений разного уровня (профанного и элитарного, обыденного и научного).

В фокусе внимания авторов – различные типы темпоральных картин мира и исторического сознания (речь идет об идеях, образах и структурах времени в широком спектре архаических культур, о восприятии времени и темпоральной организации истории в трудах мыслителей разных эпох и цивилизаций – от Древности до Современности), а также формы исторического сознания и способы конструирования образов прошлого, особенности функционирования исторических легенд и мифов, множественные интерпретации и способы описания событий, различные модели репрезентации прошлого и типы исторического дискурса, способы конструирования национального прошлого, мемориальные практики и модели историописания, трансляция, взаимодействие и контаминация историографических традиций в обширных культурных ареалах на Западе Европы, в России и в странах Востока.

В книге показано, как представители столь различных цивилизационных систем интерпретировали свое прошлое, осмысляя настоящее, закрепляя старые идеалы, нормы, пове-

⁹⁰ Результаты работы над проектом опубликованы. См.: *Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия – Восток – Запад* / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2010.

денческие каноны, героические образцы или выдвигая новые жизненные ориентиры и намечая картины будущего; насколько осмысленны и универсальны были используемые ими понятия и категории, как были связаны эти образы, суждения и оценки с жизненными приоритетами. Наряду с перечисленными проблемами, рассматривается конкретное содержание групповых исторических представлений разного уровня; совокупность идей и образов, отражающих специфику восприятия, осмысления и оценки прошлого, связи прошлого, настоящего и будущего; глубину и вектор исторической памяти (памяти о прошлом); мифы об этнической / национальной исключительности; традиционное для каждой цивилизации понимание истории, представления об историческом процессе, определение своего места в нем; формы и модели историописания, складывание и трансформации историографических традиций.

ГЛАВА 12

ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Гендерная история, крепко связанная нитями преемственности со своей «старшей сестрой» – историей женщин, родилась в 1980-е годы и приобрела новое качество в результате теоретического переосмысления предмета исследования, пересмотра концептуального аппарата и методологических принципов «женской истории»¹. Если вхождение «истории женщин» в академическую науку не походило на триумфальное шествие, поскольку она воспринималась как сугубо женское и дилетантское занятие, то условия формирования гендерных исследований, несмотря на столь же ярко выраженный «феминистский акцент», оказались более благоприятными. Активный процесс «академизации феминизма» на Западе в 1970-е – 1980-е годы привел к прочной институционализации нового направления в социальных и гуманитарных науках².

За последние четверть века гендерная история пережила невероятный бум. Со временем ставились все новые пробле-

¹ Подробно об этом см.: *Ретина Л. П.* «Новая историческая наука» и социальная история. М., 2009. (1-е изд. – 1998). Глава 4.

² Первая программа женских исследований была открыта в США в 1969/70 учеб. году, а к 1980 г. число таких программ специализации в университетах США выросло до 350-ти. Аналогичные программы в Европе появились в 1980-х гг. Позднее они были реорганизованы, и во многих университетах возникли центры или факультеты женских и гендерных исследований. См.: *Ярская-Смирнова Е.* Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной Европе // Введение в гендерные исследования. Часть I. Харьков; СПб., 2001. С. 19, 32-33.

мы, разрабатывались специфические категории и понятия. Разработка проблематики, методологии и концептуального аппарата гендерной истории осуществлялась благодаря широкому междисциплинарному сотрудничеству в рамках «гендерных исследований» (*gender studies*) представителей всех социально-гуманитарных наук, теоретиков и практиков феминистского движения³. Господствовавшая в 1970-е гг. установка «восстановить историческое существование женщин», написать особую «женскую историю», которая лишь усугубляла изолированное положение новой дисциплины, осталась далеко в прошлом, как, впрочем, и ориентация на анализ отношений господства и подчинения между мужчинами и женщинами в патриархатных структурах классовых обществ, с опорой теории на феминистские теории неомарксистского толка⁴. Ситуацию того времени точно описала Г.-Ф. Будде, отметив «своеобразное несоответствие между оживленной и заключающей в себе большой научный потенциал исследовательской деятельностью, с одной стороны, и маргинализацией и даже частичным игнорированием результатов этой деятельности, с другой», и объяснив сложившееся положение дел отсутствием четкого разграничения между политическими программами и научными исследованиями⁵.

³ Подробно о гендерных исследованиях как интегративном направлении современного социального знания см.: *Пушкарева И. Гендерная теория и историческое знание*. СПб., 2007.

⁴ Феминистские теории неомарксистского толка вводили в социально-классовый анализ фактор различия полов и определяли статус исторического лица как специфическую комбинацию индивидуальных, половых, семейно-групповых и классовых характеристик. – *Liberating women's history: Theoretical and critical essays* / Ed. by B. A. Carroll. Urbana, 1976. P. 385-399; *Kelly J. Women, History and Theory*. Chicago, 1984. Pp. 1-18, 51-64; *Sex and class in women's history* / Ed. by J. L. Newtown et al. L., 1983; *Walby S. Women and social theory*. Oxford, 1989.

⁵ *Будде Г.-Ф. Пол истории // Пол. Гендер. Культура / Под ред. Э. Шоре, К. Хайдер. М., 1999. С. 132.*

На рубеже 1970–1980-х гг. феминистская теория обновляется, расширяется концептуально-методологическая база междисциплинарных исследований, создаются комплексные объяснительные модели. Это касалось не только понимания характера связей между неравенством полов и социально-классовой иерархией, но, в первую очередь, самого переопределения понятий мужского и женского с учетом их внутренней дифференцированности и изменчивости. Характеризуя новые подходы во Введении к многотомному обобщающему труду «История женщин на Западе», Жорж Дюби и Мишель Перро писали: «...Женщины, которых мы изучаем, различаются по своему социальному положению, вероисповеданию, этническому происхождению и жизненному опыту. Там, где это уместно, мы пытались рассматривать проблему пола в связи с другими факторами, пересекающими водораздел между полами, такими как класс и раса. Это уже собственно не история женщин, а история отношений между полами... Этот подход также включает в себя повышенное внимание к значениям, смыслам, которое имело понятие “женщины” в разных странах в разные эпохи, к субъективному переживанию исторических изменений женщинами разных социальных групп и слоев, к представлениям о женщинах в обществе и к женской ментальности»⁶.

В 1980-е гг. ключевой специфической категорией анализа становится *гендер*, или *социокультурный пол*. Впрочем, существуют различные определения понятия *гендер*. Словарь *Collins* определяет его так: «1. (Общее значение) – различие между мужчинами и женщинами по анатомическому полу. 2. (Социологическое значение) – социальное деление, часто основанное на анатомическом поле, но не обязательно совпадающее с ним»⁷. Тут, как говорится, «возможны варианты», например:

⁶ A History of Women in the West / Gen. eds. G. Duby, M. Perrot. Vol. I. Cambridge (Mass.), 1992. P. XIX.

⁷ *Collins*. Большой толковый социологический словарь. М., 1999. Т. 1. С. 109.

«социально-окрашенное понятие пола», «социальные проявления пола», «социальная организация различий между полами», «соотношение полов», «социально-культурная конструкция сексуальности», «набор соглашений, которыми общество трансформирует биологическую сексуальность в продукт человеческой активности», «закодированное в культуре различие между полами», «репрезентация гендерно-половой системы» и многие другие. В то же время различные нюансировки не устраняют главного смысла понятия, имеющего принципиальный характер для конституирования предмета гендерной истории — во всех вариантах *гендер* выступает как фундаментальная структурирующая категория социально-исторического анализа.

Концепт *гендер* был призван подчеркнуть социальный характер неравенства между полами и исключить биологический детерминизм, имплицитно присутствующий в понятии *пола-секса*. Считается, что в отличие от последнего, гендерный статус и гендерная иерархия не детерминируются однозначно природой (естественные сексуально-репродуктивные различия служат лишь канвой, по которой каждое общество и культура «вышивает» собственный рисунок), а задаются всей сложившейся в обществе системой отношений, в которую попадает только что родившийся человек, и в которой осуществляется его гендерная социализация. Иначе говоря, представления о том, что такое мужчина и женщина, каковы должны быть отношения между ними, являются не простым отражением или прямым продолжением их биологических свойств, а продуктом культурно-исторического развития общественного человека. Ренате Хоф справедливо указала на то, что с помощью новой аналитической категории была «сделана попытка описать феномен соотношения власти между полами без обращения к ставшему проблематичным постулату общего “женского” опыта или универсального угнетения женщин»⁸.

⁸ Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол. Гендер. Культура / Под ред. Э. Шоре, К. Хайдер. М., 1999. С. 43.

Однако сами по себе гендерные различия, во-первых, не указывают, почему отношения между мужчинами и женщинами столь постоянно предполагают господство и подчинение, а во-вторых, не объясняют динамику этих отношений, т.е. не отвечают на вопрос, каким образом они складываются, воспроизводятся и трансформируются в разных контекстах повседневности. Следовательно, будучи фундаментальным организующим принципом для описания и анализа различий в историческом опыте женщин и мужчин, в их социальных позициях и поведенческих стереотипах, и в чем бы то ни было еще, категория *гендер* должна быть методологически ориентирована на подключение к более генеральной объяснительной схеме. Если гендерные модели «конструируются» обществом, предписываются институтами социального контроля и культурными традициями, то отношения между полами должны быть встроены во всеобъемлющий комплекс социально конструируемых отношений господства и подчинения.

В свою очередь, воспроизводство гендерной идентичности на уровне индивида поддерживает сложившуюся систему отношений господства и подчинения, а также разделение труда по гендерному признаку. Понятно, что в этом контексте гендерный статус выступает как один из конституирующих элементов социальной иерархии и системы распределения власти, престижа и собственности, наряду с расовой, этнической и классовой принадлежностью⁹. Центральным предметом исследований становится уже не история женщин, а история гендерных отношений, т.е. тех самых отношений между мужчинами и женщинами, которые, будучи одним из важнейших аспектов социальной организации, особым образом выражают ее системные характеристики и структурируют отношения

⁹ *Epstein C. F. Deceptive distinctions: Sex, gender, and the social order. New Haven; N.Y., 1988; The social construction of gender / Ed. by J. Lorber, S. A. Farrell. Newbury Park, 1991; The Gender of power / Ed. by K. Davis et al. L., 1991.*

между индивидами (в том числе и внутригрупповые), осознающими свою гендерную принадлежность в специфическом культурно-историческом контексте.

Гендерный подход быстро завоевал множество активных сторонников среди социальных историков и историков культуры¹⁰. В новой категории анализа увидели эффективное «противоядие» от крайностей постструктуралистских психоаналитических интерпретаций, которые подчеркивали неизменность условий бинарной оппозиции мужского и женского начал, опирающуюся на преемственность ее глубинных психологических оснований, и сводили объяснение процесса формирования и воспроизведения половой идентичности к особенностям индивидуального семейного опыта субъекта, абстрагируясь от структурных ограничителей и исторической специфики. В отличие от «чистых психоаналитиков», гендерные историки, которые придают большое значение именно этим последним факторам, исходят из представления о комплексной социокультурной детерминации различий и иерархии полов.

Реализация тех возможностей, которые открыл гендерный анализ, была немислима без его адаптации с учетом специфики исторических методов исследования и генерализации, без тонкой притирки нового инструментария к неподатливому материалу исторических источников¹¹. Основные теоретико-

¹⁰ Интегративный потенциал гендерно-ориентированных исследований не мог не привлечь тех историков, кто уже давно стремился «вернуть истории оба пола». См., прежде всего: *Davis N. Z. 'Women's history' in transition: The European case // Feminist Studies. 1976. N 3. P. 83-103; Perrot M. Une histoire des femmes est-elle possible? P. 1984. P. 9-15.*

¹¹ Все это потребовало от историков самостоятельной теоретической работы и вызвало бурные дискуссии, причем особую остроту приобрел вопрос о соотношении между понятиями класса и пола, социальной и гендерной иерархией, социальной и гендерной мифологией и, соответственно, между социальной и гендерной историей. *Nicholson L. J. Gender and history. The Limits of the social theory in the age of the family. N.Y., 1986; Tilly L. A. Gender, women's history and social history // Social*

методологические положения гендерно-исторических исследований в обновленном варианте были сформулированы Джоан Скотт в быстро ставшей знаменитой и обильно цитируемой программной статье «Гендер – полезная категория исторического анализа»¹². В трактовке Джоан Скотт это слово не просто «обозначало отказ от биологического детерминизма, подразумеваемого при употреблении таких терминов, как *пол* или *половые различия*. Для истории этот момент имел решающее значение, поскольку снимал вопрос о внеисторичности пола, о неизменном «женском начале» – понятии, порождавшем вечные споры о «природе женщины» и служившем для обоснования ее подчиненного положения.

Еще одним важным атрибутом понятия «гендер» являлась акцентация взаимной соотнесенности и взаимоопределенности понятий «мужского» и «женского», из чего следовал вывод о невозможности их изолированного анализа, в том числе исторического. В качестве другого важнейшего признака этого аналитического концепта была отмечена его нейтральность (в отношении феминизма), что позволяло рассчитывать на академическое признание. К тому же гендер есть «способ ссылаться на исключительно социальные корни субъективных идентичностей мужчин и женщин», «способ обозначения культурных конструкций – полностью социального происхождения идей о соответствующих женщинам и мужчинам ролях». И далее: «Использование гендера подчеркивает всю систему отношений, которая может включать пол, но не

Science History. 1989. Vol. 13. № 4. P. 439-462; *Gullickson G. L.* Women's history, social history and deconstruction // *Ibid.* P. 463-469; *Bennett J. M.* Who asks the questions for women's history? // *Ibid.* P. 471-477.

¹² *Scott J. W.* Gender: A Useful category of historical analysis // *American Historical Review*. 1986. Vol. 91. N 5. P. 1053-1075. Перевод на русский язык: *Скотт, Джоан.* Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия / Под ред. С. Жеребкина. Харьков; СПб., 2001. С. 405-436.

прямо детерминируется полом, как и не прямо детерминирует сексуальность». Задача адаптации новой категории к историческим исследованиям – это задача примирения теории, «которая была выражена в общих и универсальных терминах, и истории, которая была привержена исследованию контекстуальной специфичности и фундаментальных изменений»¹³.

Дж. Скотт выступила за отказ от «фиксированности и постоянства бинарной оппозиции», за «подлинную историзацию и деконструкцию в понятиях половых отличий»¹⁴. В ее определении была подчеркнута связь между двумя утверждениями: 1) гендер является составным элементом социальных отношений, основанных на воспринимаемых различиях между полами, и 2) гендер есть первичный способ означения властных отношений¹⁵. Понятие «гендер» было наполнено исключительно емким содержанием и охарактеризовано специфическим сочетанием четырех неразрывно взаимосвязанных и принципиально несводимых друг к другу подсистем.

Во-первых, комплекс культурных символов, которые вызывают в членах сообщества, принадлежащих к определенной культурной традиции, зачастую противоречивые образы (например, Ева и Мария как символы женщины в западном христианстве). В историческом анализе этого комплекса ставятся вопросы: какие символические репрезентации задействуются, каким именно образом и в каких контекстах?

Вторая составляющая – нормативные утверждения, которые определяют спектр возможных интерпретаций имеющихся символов и находят выражение в религиозных, педагогических, научных, правовых и политических доктринах. Эти концепции «обычно принимают форму фиксированной бинар-

¹³ Там же. С. 410-411.

¹⁴ Там же. С. 420.

¹⁵ «Изменения в организации социальных отношений всегда соответствуют изменениям в репрезентациях власти, но направления изменений не обязательно совпадают». Там же. С. 422.

ной оппозиции, категорично и определенно утверждая значения мужского и женского, маскулинного и феминного». Они иногда выступают как конкурирующие, альтернативные, но, однако, позиция, которая оказывается доминирующей, объявляется единственно возможной. «Последующая история пишется так, как будто эти нормативные концепции являются продуктом социального консенсуса, а не конфликта»¹⁶.

Третий аспект гендерных отношений – это социальные институты и организации, в которые входят не только система родства, брак, семья и домохозяйство, но и такие гендерно-дифференцированные институты, как рынок рабочей силы, система образования и государственное устройство, все социальные отношения и политические институты, которые в разной степени структурируются гендером.

Наконец, четвертый конституирующий элемент – гендерная идентичность. Ее определяющая роль состоит в том, что «реальные мужчины и женщины не всегда или не буквально выполняют предписания их общества или наших аналитических категорий. Историкам необходимо... изучить способы, которыми конституируется гендерная идентичность (гендерное самосознание), и отнести свои находки к уже отмеченному ряду сфер деятельности, социальных организаций и исторически специфичных культурных репрезентаций»¹⁷, то есть к первым трем комплексам.

Итак, вопрос исторического исследования состоит в том, какими являются отношения между всеми четырьмя аспектами процесса конструирования гендерного статуса (аналогичная модель может быть построена для любого социального процесса). Собственно гендерная теория опирается на второе утверждение: «гендер есть первичное поле, внутри которого или посредством которого артикулируется власть», причем «концепции власти, хотя могут строиться на гендере, не всегда

¹⁶ Там же. С. 423.

¹⁷ Там же. С. 424.

буквально относятся к самому гендеру. <...> Гендер становится включенным в концепцию и конструкцию самой власти в такой степени, в которой эти указатели устанавливают распределение власти (дифференциальный контроль над материальными и символическими ресурсами или доступ к ним). <...> Когда историки ищут средства, с помощью которых концепция гендера легитимирует и конструирует социальные отношения, они проникают внутрь взаимной природы гендера и общества и особые, контекстуально конкретные средства, с помощью которых *политика конструирует гендер, а гендер конструирует политику* (курсив мой. – Л. Р.)»¹⁸.

В связи с этим встает вопрос: если гендер и власть конструируют друг друга, то каким образом происходят изменения? Ответ Дж. Скотт свидетельствует о плюралистическом видении процесса: «... Изменения могут быть инициированы во многих точках. Мощные политические потрясения, которые свергают в бездну старые режимы и дают жизнь новым, могут модифицировать понятия (и, таким образом, организацию) гендера в поисках новых форм легитимации. А могут и не сделать этого: старые представления о гендере также служат для обоснования новых режимов... Политические (в том смысле, что различные личности и различные значения вступают друг с другом в борьбу за контроль) процессы определяют, какой исход будет превалировать. Природа этого процесса, акторов и их действий, может быть определена лишь конкретно, в контексте времени и места. Мы можем написать историю этого процесса только если поймем, что *мужчина и женщина* – одновременно пустые и переполненные категории. Пустые, потому что они не имеют окончательного, трансцендентного значения. Переполненные, потому что даже если они кажутся фиксированными, они все же содержат внутри себя альтернативные, отрицаемые или подавляемые дефиниции»¹⁹.

¹⁸ Там же. С. 424-426.

¹⁹ Там же. С. 429-430.

Итак, в гендере оказываются инкорпорированными отношения власти: социокультурные различия «мужского» и «женского» (гендерные различия) постоянно создаются и воссоздаются в процессе человеческого взаимодействия как *неравенство прав и возможностей, символически, нормативно и институционально оформленное и воспроизводимое гендерным сознанием на уровне индивида.*

Старая народная мудрость, которая присутствовала (с незначительными нюансами) в фольклоре всех европейских этносов и утверждала, что «внешний мир» принадлежит мужчине, а место женщины дома, задавала индивиду целостную культурную модель, всеобъемлющий образ, который, как и все ему подобные, помогал как-то упорядочивать жизнь, придавая смысл хаотичной и запутанной действительности, воспринимать и толковать переживаемые события, выстраивать свою линию поведения.

Женщины и сегодня, как правило, хорошо знают «свое место» в «мужском мире»²⁰, поскольку эта фраза лишь резюмирует некую совокупность ожидаемых от них характерных черт, эмоций и отношений, а также предписываемых им моделей поведения, которые неизбежно подразумевают соответствующие обязательства, ограничения и запреты. Свою действительную плоть и кровь самая долговечная и прочная из всех иерархических систем – столетиями воспроизводившаяся гендерная иерархия – всегда обретала в процессе гендерной социализации и достижения гендерного консенсуса, то есть интериоризации мужчинами и женщинами хранимых в арсенале культуры гендерных моделей и формирования своей индивидуальной гендерной идентичности.

²⁰ Здесь уместно вспомнить слова Джудит Лорбер: «Осознание гендерной принадлежности настолько распространено в нашем обществе, что мы считаем его заложенным в генах». – Лорбер, Джудит. Пол как социальная категория // Альманах THESIS. 1994. Вып. 6 (Женщина, мужчина, семья). С. 127.

В центре внимания разработанной Джоан Скотт модели гендерного анализа оказываются важнейшие институты социального контроля, регулирующие неравное распределение материальных и духовных благ, власти и престижа в масштабе всего общества, класса или этнической группы и обеспечивающие таким образом воспроизводство социального порядка, основанного на гендерных различиях, которые в отличие от природных качеств пола варьируются от одного культурного пространства к другому. В русле этой проблематики особое место занимает анализ опосредующей роли гендерных представлений в межличностном взаимодействии, выявление их исторического характера и возможной динамики. Специфический ракурс и категориальный аппарат исследования определяется соответствующим пониманием природы того объекта, с которым приходится иметь дело историку, и возможной глубины познания исторической реальности.

В предложенной модели исследования подлежащие анализу комплексы можно условно обозначить как *культурно-символический, нормативно-интерпретационный, социально-институциональный и индивидуально-психологический*. Иными словами, выстраивается уникальная, по-настоящему синтетическая модель, в фундамент которой закладываются характеристики всех возможных измерений социума: системно-структурное, социокультурное, индивидуально-личностное. Предполагаемое развертывание этой модели во временной длительности реконструирует историческую динамику в гендерной перспективе. На мой взгляд, именно с этим плодотворным подходом могут быть связаны надежды на будущее гендерной истории. Но путь от создания модели до эффективного осуществления ее интегративного потенциала в практике конкретных исследований оказался, очевидно, слишком трудным, и до сих пор его нельзя считать завершенным.

Разработка методологии гендерно-исторического анализа, затронувшая решение ряда фундаментальных проблем,

подстегивалась прежде всего практическими потребностями уже далеко продвинувшихся за предшествовавший период конкретных исследований, которые показали, с одной стороны, многообразную роль женщин в экономических, политических, интеллектуальных процессах, с другой – противоречивое воздействие этих процессов на их жизнь, на реальные и символические гендерные отношения, а также выявили существенную дифференцированность индивидуального и коллективного опыта, происходящую из взаимопересечения классовых и гендерных перегородок, социальных, этнических, конфессиональных и половых размежеваний.

В последние десятилетия ежегодно под рубрикой «гендерная история» выходило в свет множество монографических исследований по всем хронологическим периодам и регионам Европы, а также с каждым годом – все больше обобщающих работ разного уровня. Публикации по этой тематике имеют свою постоянную рубрику в десятках авторитетных научных журналов, не говоря уже о специальных периодических изданиях. Не имея возможности остановиться на всем комплексе затрагиваемых в них конкретно-исторических тем и методологических проблем, выделим лишь те, которые имеют для данного предметного поля базовое значение.

Гендерной истории достались «по наследству» от истории женщин две нерешенные задачи: одна из них касается возможности исторической периодизации и выявления динамики гендерной истории, а другая, тесно связанная с первой – проблемы синтеза в гендерных исследованиях.

Сложность выявления динамики гендерной истории усугубляется неоднозначностью, разнонаправленностью и разновременностью изменений в гендерном статусе отдельных социальных, профессиональных и возрастных групп.

Особый интерес вызывает дискуссия о преемственности и изменчивости в истории женщин при переходе от Средневе-

ковья к Новому времени, вызванная распространенным в феминистских исследованиях представлением о неизменности и непрерывности «патриархатного угнетения», нашедшим наиболее яркое выражение в обзорной статье о положении женщин в европейской экономике одного из лидеров “женской истории”, американской медиевистки Джудит Беннет. Название статьи – «Неподвижная история», заимствованное из известной работы Эммануэля Леруа Ладюри, намеренно эпатировало читателя²¹. Впрочем, речь шла, конечно, не о полной статичности системы патриархата, которая существовала в разных исторических формах²², а о том, что имевшиеся изменения в отдельных ее аспектах на рубеже Нового времени, не подорвали фундаментальных основ гендерной иерархии. Как бы то ни было, нельзя не признать справедливости замечаний тех критиков, которые увидели в этом «пафосе неподвижности» и в призывах к пересмотру традиционной периодизации не только рецидив радикального феминизма, но и опасность отрыва истории женщин от общеисторического контекста²³.

Из тех историков, кто изначально склонен искать изменения в гендерных отношениях, некоторые ставят перед собой задачу рассмотреть причины, по которым эти изменения происходят именно на определенных исторических «перекрестках». Ряд исследователей полагают, что в начале и в конце XVII века мужчины переживали кризис гендерных отношений («кризис мужественности»), когда женщины, как им казалось, угрожали опрокинуть «гендерный порядок», и их опасения относительно «неуправляемости женщин» составляли неотъемлемую часть «общего кризиса» эпохи Перехода, в условиях

²¹ *Bennett J.* “History that Stands Still”: Women’s Work in the European Past // *Feminist Studies*. 1988. Vol. 14. № 2. P. 269–283.

²² *Bennett J.* *Feminism and History* // *Gender and History*. 1989. Vol. 1. № 2. P. 251–272.

²³ *Hill B.* *Women’s History: A Study in Change, Continuity or Standing Still?* // *Women’s History Review*. 1993. Vol. 2. № 1. P. 5–22.

которого значительное число индивидов утрачивало способность соответствовать культурным образцам маскулинности²⁴.

Таким образом, периодизация гендерной истории фактически привязывается к традиционной хронологии переломных эпох. Однако другие специалисты считают, что отнесение изменений в межличностных отношениях к крупным сдвигам в общественных структурах не оставляет для гендера роли самостоятельного фактора в истории частной жизни. Характерно, что, отвечая на критику коллег, Дж. Беннет сочла необходимым подчеркнуть: «Я вовсе не утверждаю, что в жизни женщин не произошло никаких перемен, но я полагаю, что для женщин и для мужчин ход и реалии этих изменений, а также их движущие силы, были различными. <...> В конце концов, история изучает не только изменения, но и преемственность. И если последняя больше проявляется в истории женщин, чем в истории некоторых других групп, то это требует разгадки, но, разумеется, не влечет за собой деисторизацию. <...> Никто не станет отрицать, что история женщин должна быть лучше интегрирована в единое целое с более старыми областями исторических исследований, но существует много способов достичь этой цели. <...> Я считаю, что мы должны развивать наши собственные историографические традиции с тем, чтобы соединиться с другими историческими дисциплинами на равных условиях»²⁵. Эта позиция, несомненно, является наиболее перспективной, однако, на мой взгляд, пока не доминирующей.

²⁴ *Underdown D.* The Taming of the scold: the enforcement of patriarchal authority in early modern England // *Order and Disorder in Early Modern England* / Ed. by A. Fletcher, J. Stevenson. Cambridge, 1995. Ch. 4. Ср.: *Kimmel M.S.* The contemporary "crisis" of masculinity in historical perspective // *The Making of Masculinities: The New Men's Studies* / Ed. by H. Brod. Boston, 1987.

²⁵ *Bennett J.* Women's History: A Study in Continuity and Change // *Women's History Review*. 1993. Vol. 2. № 2. P. 173-184. (P. 176).

На сегодняшний день гендерная история может быть представлена как огромное междисциплинарное поле, охватывающее социально-экономическое, демографическое, социологическое, культурно-антропологическое, психологическое, интеллектуальное измерения. Она, без сомнения, имеет все объективные основания стать весьма важным стратегическим плацдармом для реализации проекта «другой истории».

Критический момент, которому предстоит определить будущее гендерной истории, состоит в решении проблемы ее сближения и «воссоединения» с другими историческими дисциплинами, а говоря иначе – в определении ее места в новом историческом синтезе. Но ее движение к интеграции упирается в ту самую человеческую субъективность, изучению которой в гендерной истории уделяется немало сил и времени: «женский вопрос» и радикальный феминизм все еще столь явно доминируют в сознании многих практикующих ее историков, что слишком часто «история гендерных отношений» оказывается вновь расколотой на «гендерную историю женщин» и «гендерную историю мужчин». Этот неуклюжий термин призван маркировать принадлежность к определенному направлению, проявляющему интерес к изучению гендерной идентичности «сильной половины человечества», с тем, чтобы показать, что речь идет, разумеется, не о возвращении к традиционной истории, которая рассматривала Человека как некое абстрактное и бесполое существо, а об истории мужчин «в их взаимосвязи с другой половиной человечества». «Это значит, что исторический образ мужчины – это образ мужа и сына, а исключение им женщины из сферы общественной жизни является предметом исследования, а не аксиомой»²⁶. Действительно, именно «история маскулинности» убедительнее всего раскрывает значение гендерных представлений для всех аспектов социальной жизни.

²⁶ См.: Тош Дж. Стремление к истине: как овладеть мастерством историка. М., 2000. С. 214.

Некоторые историки указывают на то, что при чтении источников создается впечатление, будто мужчин в них вовсе нет, хотя они упоминаются повсюду. И именно поэтому исследователи «гендерной истории мужчин», трактующей понятие мужественности как несводимую к биологической данности категорию культуры, предпочитают заниматься главным образом наиболее ясно выраженной маскулинной идеологией («идеологией мужественности»)²⁷, или же гендерно окрашенной интеллектуальной историей²⁸.

Правда, в начале XXI века можно уже говорить о появлении сторонников более теоретически продуманных комплексных подходов к истории мужчин и истории патриархата, учитывающих (помимо психологических и культурных составляющих гендерной идентичности и структуры гендерной иерархии) положение субъекта (в данном случае – мужчины) в социальной иерархии и конфигурацию последней. Например, речь идет о том, что степень участия мужчин в отправлениях политических функций в раннее Новое время определялась, в отличие от женщин, не гендерным, а набором социальных и других факторов – классом, возрастом, положением, занятием,

²⁷ См., например, следующие работы, посвященные разным периодам истории: *Nye R. A. Masculinity and male codes of honor in modern France*. N.Y., 1993; *Fitzgerald C. M. The Drama of masculinity and medieval English guild culture*. Basingstoke, 2007; *Gender and fatherhood in the XIX century* / Ed. by T. Broughton and H. Rogers. Basingstoke, 2007; *Kourcas G. Memory, masculinity and national identity in British visual culture, 1914–1930: A Study of 'unconquerable manhood'*. Aldershot, 2007.

²⁸ *Nature, culture and gender* / Ed. by C. MacCormack, M. Strathern. Cambridge, 1980; *Pitkin H. F. Fortune is a woman. Gender and politics in the thought of Niccolo Machiavelli*. Berkeley, 1984; *Men's ideas / women's realities: Popular science, 1870-1915* / Ed. by L. M. Newman. N.Y., 1985; *Keller E. F. Reflections on gender and science*. New Haven, 1985; *Elshtain J. B. Meditations on modern political thought: Masculine/feminine themes from Luther to Arendt*. N.Y., 1986; *Nicholson L. Gender and history. The Limits of social theory in the age of the family*. N.Y., 1986; *Fausto-Sterling A. Myths of gender. Biological theories about women and men*. N.Y., 1986; etc.

местом проживания и т.д. При этом новейшие исследования показывают, что доминирующие концепции «маскулинности» также были важными признаками, определяющими положение в социальной иерархии и доступ к политической власти. Действительно, оказывается, что гендерная система играет в формировании социального статуса мужчины не менее значительную роль, чем в формировании статуса женщины.

В раннее Новое время понятие «истинного мужчины» подразумевало статус женатого главы домохозяйства, и поэтому те неженатые мужчины, чей класс и возраст давал им в принципе гражданские права, все-таки не могли участвовать в политической жизни в той же мере, что и их женатые братья. На холостяков смотрели с подозрением, поскольку они, как и незамужние женщины, вели образ жизни, не соответствовавший подобающему им месту в гендерно-дифференцированном социальном порядке. Некоторые из этих мужчин, например подмастерья в разных странах Западной Европы (Германии, Англии, Франции и др.), осознавая, что им никогда не суждено стать главами домохозяйств, создали альтернативные концепции «маскулинности» и «мужской чести», которые резко отличались от доминировавшей модели. Они стали рассматривать свое холостяцкое состояние, навязанное им цеховыми мастерами, как нечто позитивное, и предпочитали подчеркивать свою свободу от политических обязанностей, а не отсутствие политических прав. Верность исключительно мужской организации подмастерьев считалась в этой среде крайне важной, она была ключевой в их понятии «истинного мужчины».

Европейские реформаторы, порвав со многими традиционными взглядами, сохранили, однако, устойчивые предубеждения относительно того, что подобает мужчинам, а что — женщинам. Даже самые радикально-революционные группы в период Гражданской войны и Английской Республики не призывали распространить политические права на женщин и были далеки от того, чтобы предположить, будто за концом власти монарха над его подданными мог бы последовать конец власти

мужей над их женами. Ведь в их представлении первая была несправедливой и богопротивной, а вторая «естественной», богоугодной и вечной. Предоставив возможность активного участия в политической жизни более широкому кругу мужчин, реформы раннего Нового времени фактически повысили значение гендерной принадлежности как детерминанты политического статуса. Образцы поведения, которым общество побуждало следовать мужчин, все более наполнялись светским содержанием, а так называемые «мужские качества» включали в себя политическую ответственность, в то время как женские добродетели оставались всецело домашними и христианскими. Говоря словами Жана Бодена, «быть хорошим мужчиной значит также быть добропорядочным гражданином», а быть хорошей женщиной все еще значило быть просто истинной христианкой²⁹. В XVI в. христианские добродетели набожности, милосердия и смирения ценились наравне или даже выше, чем светские, но к XVIII веку такие светские качества, как разум, здравомыслие и товарищество, явно приобрели больший вес. Эти позитивные характеристики коллективное сознание приписывало исключительно мужчинам, и то, что они становились самыми важными в общественной жизни, еще более ограничивало возможности женщин играть в ней активную роль. Маскулинизация также отразилась в вербальных предпочтениях: достаточно вспомнить, что во второй половине XVIII века главные социальные и политические цели формулировались в категориях «братства» и «товарищества».

По всей Европе мужчинами и женщинами не рождались (вспомним знаменитую фразу Симоны де Бовуар «Женщинами не рождаются, женщинами становятся!»), гендерную «полноценность» нужно было заслужить. Атрибутом мужественности было умение завоевать одобрение, уважение и почет у равных и избежать бесчестия и позора, причем честь мужчины зависела от эффективности его контроля за сексуальным пове-

²⁹ Faure C. *Democracy without Women...* P. 39.

дением женщин, с которыми он был связан, будь то его добрая возлюбленная, супруга, дочь, сестра или просто домашняя прислуга. Ирония состояла в том, что гендерная система, имевшая целью обеспечить господство мужчин над женщинами, часто давала возможность женщинам обретать власть над мужчинами, подвергая своих мужей бесчестию, а их мужественность сомнению. Протоколы дел по диффамации нестрят многочисленными свидетельствами о попытках (иногда неудачных) мужчин сохранить или восстановить свою честь и достоинство в судах. Неэффективность осуществления патриархатной власти в собственном доме могла послужить достаточным основанием для утраты мужчиной властных полномочий в публичной сфере. В то же время, хотя способы поддержания и восстановления мужской чести варьировались в зависимости от социального статуса, в целом представления о мужественности и роли сексуальной составляющей в концепции мужской чести разделялись всеми слоями общества. И только примерно между серединой XVIII и серединой XIX вв. происходит расхождение между идеями мужественности в различных социальных группах, связанное с изменениями в классовой структуре общества³⁰.

Проблема переплетения социальных и гендерных различий занимает важное место в исследованиях по истории мужчин более позднего времени. Например, британский историк Джон Тош, размышляя о том, что значило быть мужчиной в XIX в., исходит из того, что формирование мужской идентичности было детерминировано балансом между тремя ее социально обусловленными компонентами, связанными с домом, работой и кругом общения. Такими главными составляющими для представителей среднего класса являлись: достойная работа, одиночное содержание семьи и свободное общение на равных с другими мужчинами. Тош присоединяется к крити-

³⁰ См.: Foyster E.A. *Manhood in Early Modern England: Honour, Sex and Marriage*. L.; N.Y., 1999.

кам теории «разделенных сфер» (частной и публичной) и расширяет используемую ими аргументацию, справедливо считая эту концепцию неадекватной еще и потому, что возможность свободного перехода между двумя сферами жизни (она являлась в то время сугубо мужской привилегией) была неотъемлемой частью социального порядка³¹. Обоснованная Топшем «компромиссная» методология, исходные установки которой определяются отказом от абсолютизации одностороннего подхода и принятием «двойного варианта социального устройства» (включающего и гендерный, и классовый подход), была им же последовательно реализована в книге под примечательным названием «Место мужчины: дом и представление о мужественности в сознании среднего класса викторианской Англии», где автор убедительно продемонстрировал центральное место идеала домашней жизни в буржуазной концепции маскулинности³². Аналогичный подход, подчеркивающий связь между гендером и классом, был применен и в других исследованиях по истории семьи указанного периода³³.

Сотрудничество социальных историков и историков культуры в области гендерной истории представляется весьма продуктивным. Его результаты, в частности, побудили признанного мэтра «новой культурной истории» Роже Шартье поставить периодизацию истории женщин в зависимость от выявления исторически изменчивого и специфического для каждой из социальных систем «способа артикуляции различных возможностей женского влияния», поскольку только их конкретное соотношение в данный исторический период мо-

³¹ Tosh J. What should historians do with masculinity? Reflections on nineteenth-century Britain // *History Workshop*. 1994. N 38. P. 179-202.

³² Tosh J. *A Man's Place. Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England*. New Haven; L., 1999. См. также: *Manful assertions: Masculinities in Britain since 1800* / Ed. by M. Roper, J. Tosh. L., 1991.

³³ См., прежде всего: *Davidoff L., Hall C. Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class, 1780 – 1850*. L., 1987.

жет прояснить, каким образом в условиях гендерной асимметрии создается женская субкультура. Главным объектом было признано изучение различных дискурсов и практик, «регистрируемых многими источниками механизмов, которые гарантируют (или призваны гарантировать) признание женщинами господствующих представлений о различиях между полами, как то правовая приниженность, взгляд на роли полов, навязываемый школой, разделение труда и пространства, исключение из сферы публичного». Реализуемое таким образом «символическое насилие» всегда утверждает и закрепляет патриархальные отношения господства и подчинения как «различия природные, коренные, неустранимые и всеобщие». Поэтому суть проблемы состоит не в том, чтобы противопоставлять историческое и биологическое в оппозиции женщина/мужчина, а в том, чтобы идентифицировать те механизмы, которые представляют как «естественное» (биологическое) это социально-историческое разделение ролей и функций. Системно воспроизводимые представления о женской неполноценности не исключают отклонений и манипуляций. «Через присвоение женщинами мужских моделей и норм те представления, которые имеют в виду обеспечить господство и подчинение, превращаются в инструмент сопротивления и утверждения своей идентичности... Не все трещины, раскалывающие монолит мужского господства, принимают форму эффективных разрывов и непременно находят яркое выражение в идеологии отказа и мятежа. Часто эти трещины возникают внутри самого согласия, и для изъявления непокорности используется язык господства... Именно проблема согласия – самая что ни на есть центральная в функционировании системы власти, идет ли речь о социальном или же о половом делении»³⁴.

³⁴ Chartier R. Differences entre les sexes et domination symbolique (note critique) // *Annales*. 1993. А. 48. № 4. Р. 1005-1008. См. также: Шартье Р. История сегодня: сомнения, вызовы, предложения // *Одиссей*. Человек в истории. 1995. М., 1995. С. 201-202.

Таким образом, на первый план выводится то, что может служить общим основанием и инструментом интеграции гендерных исследований в новую социокультурную историю.

Ключевые для гендерной истории сюжетные узлы охватывают все сферы жизни: «брак» и «семья», «домашнее хозяйство» и «рынок», «право» и «политика», «религия», «образование», «культура» и др.³⁵. В потоке современных гендерных исследований представляется целесообразным сосредоточить внимание на двух тематических комплексах, в которых наиболее полно реализуется когнитивный потенциал гендерной истории: «гендер и власть» и «гендер в истории частной жизни».

Гендерные историки опираются на известные антропологические концепции, связывающие доминирующее положение мужчин и неравенство полов с функциональным разделением человеческой деятельности на *частную* (домашнюю) и *публичную* (общественную) сферы и с вытеснением женщин из последней³⁶. В фокусе истории частной жизни оказывается внутренний мир женщин и мужчин, их эмоционально-духовная жизнь, отношения с родными и близкими в семье и вне ее, женщины и дети выступают одновременно как субъект деятельности и объект контроля со стороны семейно-родственной группы, формальных и неформальных сообществ, социальных институтов и властных структур разного уровня.

Самая представительная группа гендерных исследований в области изучения частной жизни всех эпох посвящена ин-

³⁵ Подробный анализ гендерно-исторических исследований по всем этим направлениям см. в книге: *Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории: новая картина европейского прошлого*. М., 2002.

³⁶ Одной из наиболее сложных задач остается определение сферы частной жизни. См.: *Репина Л. П. Выделение сферы частной жизни как историографическая и методологическая проблема // Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного*. М., 1996. С. 20-32.

ститутам семьи и брака, которые играли и пока еще во многом сохраняют решающую роль в определении индивидуальных судеб мужчин и женщин. Инициатива в разработке этой проблематики, безусловно, принадлежит специалистам в области исторической демографии и истории семьи. Серьезный стимул был задан также работой феминистских теоретиков и практиков в общественных науках. Эти «три источника» в значительной мере сформировали ту общеметодологическую и конкретно-историческую базу, которая позволила успешно развивать изучение брака и семьи уже в перспективе гендерной истории.

В работах по истории семьи был поставлен и вопрос о разграничении частного и публичного, а в разнообразии сторон семейной жизни выделена сфера эмоционально окрашенных отношений между мужем и женой, родителями и детьми. Различные аспекты истории семьи (демографический, экономический, правовой, социологический, психологический) изучались как раздельно, так и в комплексе, а иногда и в непосредственной связи с тенденциями общественного развития. Результаты проведенных исследований³⁷, в том числе с использованием массового материала (судебные протоколы, криминальные расследования и др.) убедительно опровергли представления о том, что супружеская семья до эпохи Модерна являлась лишенным эмоций экономическим союзом.

³⁷ Основные тенденции развития института брака, форм семьи и домохозяйства, изменения в представлениях о брачно-семейных отношениях изложены в обобщающей многочисленных специальных исследованиях в книге: Гис, Фрэнсис и Джозеф. Брак и семья в Средние века. М., 2002. Аналогичная работа на материале истории семьи и домохозяйства в средневековой Англии от Нормандского завоевания до Реформации была проделана П. Флемингом: *Fleming P. Family and Household in Medieval England*. Basingstoke, 2001. Ключевые проблемы истории семьи Нового времени, ее современное состояние и перспективы развития рассматриваются в книге: *Zider P. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII–XX вв.)*. М., 1997. См. также: *Nelson C. Family ties in Victorian England*. L., 2007.

В конце XX века на передний план выходят собственно гендерно-исторические исследования брачно-семейных проблем, и это предметное поле оказалось чрезвычайно «урожайным». Обычно необходимым предварительным условием для анализа гендерной асимметрии в брачных обычаях и в семейной жизни служило обсуждение самого института брака и уже давно дебатированной в исторической демографии проблемы европейских брачных моделей³⁸.

Суммируя результаты многочисленных исследований, накопленных за несколько десятилетий в исторической демографии и историографии брака и семьи, с одной стороны, и истории женщин – с другой, известный феминистский историк Мэри Хартман предложила оригинальную гипотезу, в которой особые характеристики модели «позднего брака» (речь идет о женском возрасте первого брака) и образуемая в его результате система домохозяйства объясняют, в конечном счете, прогресс западноевропейской цивилизации («подъем Запада»). Длительное функционирование этой системы привело к большей свободе выбора вступающих в брак, к расширению временного разрыва между смежными поколениями и к снижению роли родственной группы за рамками нуклеарной семьи. Завоеванное системой позднего брака пространство свободы имело, по Хартман, решающее значение для религиозной реформации, политических конфликтов раннего Нового времени и промышленной революции³⁹. Но, оставив в стороне смелые попытки развернуть анализ брачных моделей в глобальной исторической перспективе, переведем их рассмотрение в менее масштабный гендерно-исторический контекст.

³⁸ Большой вклад в изучение эволюции института брака и матримонильного поведения внес Ю. Л. Бессмертный. См.: *Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки демографической истории Франции*. М., 1991.

³⁹ *Hartman, Mary S. The Household and the making of history: A Subversive view of the Western past*. Cambridge; N.Y., 2004. P. 216–217.

Брачная модель формировалась на основе культурных представлений и жизненных приоритетов людей, регулирующих свое матримониальное поведение в определенном спектре возможностей. В этой связи не вызывает сомнения то, что ранние браки, характерные для классической средневековой модели, предельно сужали это пространство для вступающих в брак (как юношей, так и девушек). И понятно, что совершенно иная основа для семейных отношений (близких к партнерским) складывалась в браках более зрелых людей и, к тому же, почти ровесников. Означал ли более поздний возраст вступления в брак и более вероятную свободу выбора? Этот вопрос вызвал жаркие споры в среде гендерных историков. Впрочем, разногласия часто возникали по весьма тривиальной причине: оппоненты опирались на материалы, касающиеся разных социальных групп: одни обнаруживали сложные брачные стратегии, осуществляемые с целью укрепления семейных и родовых союзов в высших слоях, наблюдения других касались низших классов, в которых на решение о том, следует ли паре заключать предполагаемый брак, оказывали значительное влияние отношение соседей и позиция властей, которые могли наложить на него запрет, если кандидаты считались неимущими. Те же ученые, которые оперировали свидетельствами, относящимися к положению средних слоев, доказывали, что хотя пары могли прислушиваться и к советам, и к угрозам, они все же были большей частью свободны в своем выборе⁴⁰.

Однако выводы участников дискуссии только кажутся противоречивыми. И дело даже не в том, что их расхождение можно объяснить проявлением социальной дифференциации, — сама полемика происходит из того, что исследователи, сле-

⁴⁰ *Gillis J.* For better, for worse: British marriages 1600 to the present. Oxford, 1985. См. также: *Women in English society 1500–1800 / Ed. by M. Prior.* N.Y., 1985; *Macfarlane A.* Marriage and love in England. Modes of reproduction 1300–1840. L., 1986; *Mendelson S.* The Mental world of Stuart women: Three studies. Brighton, 1987; etc.

дуя за неизбежным «пристрастием» источников, сосредоточили свое внимание на конфликтных ситуациях. Действительно, речь идет о таких случаях, в которых имел место открытый и, соответственно, документально засвидетельствованный конфликт между главными действующими лицами и их семьями. В огромном же большинстве браков цели и стремления невесты и ее родителей, родственников и соседей совпадали: в глазах всех сторон лучшим мужем считался тот, кто мог обеспечить надежную защиту, доброе имя, положение в обществе, и даже те женщины, которые обладали большой свободой в выборе мужей, предпочитали руководствоваться в этом важнейшем решении не романтическими чувствами, а теми практическими соображениями здравого смысла, которые мы назвали бы расчетом. Противопоставление объявленного «бесчувственным» брака по расчету и «эмоционального союза» оказывается, таким образом, излишне категоричным⁴¹.

Социальное положение мужчин и женщин оказывало решающее влияние на матримониальное поведение — как на саму возможность вступления в брак, так и на возраст, в котором она реализовалась, как на способ (в условиях полного контроля со стороны родственников или при самостоятельном решении) и критерии выбора будущей супруги или супруга, так и на модель внутрисемейных отношений, поскольку уже характером выбора брачного партнера закладывались основы отношений между супругами во вновь образованной семье.

Историки поставили и вопрос о действительном характере супружеских отношений, который нередко формулирует-

⁴¹ Мэри Уиснер, в частности, справедливо обратила внимание на то, что «стремление к материальному благополучию, жажда социального престижа, упование на будущих детей были не менее важными эмоциями, чем сексуальное пристрастие. Любовь и влечение, которые женщина испытывала по отношению к мужчине, могли опираться на любую комбинацию из всех этих чувств». *Wiesner M. E. Women and gender in early modern Europe. Cambridge, 1993. P. 57- 58.*

ся так: какому из двух наставлений в семейной жизни – тому, что предписывало беспрекословное подчинение жены мужу, или тому, что рекомендовало строить семью на взаимном уважении и любви – больше следовали на практике?

После ряда продолжительных дискуссий исследователи, которые пытались найти однозначный ответ на этот вопрос в историческом материале разных стран и регионов, так и не пришли к консенсусу. Они извлекли из источников огромный объем чрезвычайно противоречивой информации, в которой в изобилии представлены примеры и ситуации, свидетельствующие как о тирании мужей, так и о нежном взаимопонимании супругов. В этой «патовой» ситуации самое достоверное обобщение оказалось и наиболее очевидным: равные или почти равные отношения обычно складывались в тех матримониальных союзах, в которых супруги были близки по возрасту и социальному положению, а жена не только приносила в семью достаточно весомое приданое, но и могла опереться на активную поддержку своей родни в семейных конфликтах⁴².

Некоторые исследования позволяют получить более развернутое представление о внутрисемейных отношениях в отдельных странах и социальных группах. Так, Энн Крабб, на примере семейства Строцци в ренессансной Флоренции убедительно показала, что эмоциональная и духовная близость играла важную роль, а удел флорентийских женщин из патрицианских семей (особенно вдов) был не столь мрачным, как описывали ее предшественники. Многие в положении этих женщин в отношении к ним родственников определялось той собственностью, которая оказывалась в их распоряжении после смерти супруга, и стратегией семейной консолидации⁴³.

⁴² *Pardailhe-Galabrun A.* The Birth of intimacy: Private and domestic life in early modern Paris. Philadelphia, 1991; *Ferraro, Joanne M.* Marriage wars in late Renaissance Venice. Oxford; New York, 2001; etc.

⁴³ *Crabb, Ann.* The Strozzi of Florence: Widowhood and family solidarity in the Renaissance. Ann Arbor, 2000. (Ср.: *Абрамсон М. Л.* Алессан-

Брачный статус был наиболее важной категорией различия в положении европейских женщин в раннее Новое время. В научной литературе сложилась традиция бинарной классификации женщин на замужних и незамужних с акцентированием большей социально-экономической самостоятельности второй группы. Однако затем эта бинарная логика усложнилась: была введена третья категория – «никогда не бывших замужем женщин», и убедительно показаны кардинальные различия в жизненном опыте вдов и женщин, оставшихся одиночками на всем протяжении своей жизни: во-первых, гораздо более высокая степень социальной уязвимости последних, по сравнению с вдовами, имевшими правовые и социально-экономические привилегии, недоступные «пожизненно одиночкам», а во-вторых, особая для них значимость отношений с братьями и сестрами и поддерживающей сети родственных связей за пределами нуклеарной семьи⁴⁴.

Исследовательский поиск специалистов по истории доиндустриальной эпохи долго наталкивался на труднопреодолимое препятствие – отсутствие прямых и скудость косвенных

дра Строщи и ее семья // Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 2000. С. 29–69). См. также: *Chojnacki S.* Women and men in Renaissance Venice: Twelve essays on patrician society. Baltimore; London, 2000. В многочисленных исследованиях по истории брака и семьи в Италии XIV–XVII вв. проанализирован комплекс вопросов, затрагивающих многообразные аспекты формирования семьи, брачных норм и практики заключения браков, реалий внутрисемейных отношений, а также условий жизни вне брака. См.: *Laven, Mary.* Virgins of Venice: Broken vows and cloistered lives in the Renaissance convent. N.Y., 2002; *D'Elia A. F.* The Renaissance of marriage in fifteenth-century Italy. Cambridge (Mass.); L., 2004; *Eisenach E.* Husbands, wives and concubines: Marriage, family and social order in sixteenth-century Verona. Kirksville, 2004; *Women in Italy, 1350–1650: Ideals and realities. A Sourcebook* / Ed. by Mary Rogers and Paola Tinagli. Manchester, 2005; etc.

⁴⁴ *Froide, Amy M.* Never Married: Singlewomen in Early Modern England. Oxford, 2005.

данных о внутрисемейных отношениях в средних и низших слоях. Прорыв в этом направлении оказался возможным благодаря использованию литературных текстов разного уровня, которые содержат неоднозначные, косвенные, но ничем другим невозполнимые свидетельства о матримониальных представлениях в этой среде и о различных аспектах брачного поведения: выбор партнера, распределение прав и обязанностей по хозяйству, отношения между супругами. Разумеется, при анализе такого рода источников необходимо соблюдать осторожность. Однако следует признать, что речи и действия вымышленных персонажей «литературы для народа» должны были оправдывать ожидания читателей, а значит, соответствовать представлениям, чувствам, мыслям, убеждениям, надеждам и даже фантазиям представителей тех общественных слоев, которые составляли ядро потребителей произведений массовой культуры. Можно говорить о самостоятельном значении некоторых литературных реминисценций, но неслело отрицать роль реального и претворенного жизненного опыта в формировании этих текстов, как и всей культурной среды.

Рассматривая способы разрешения брачно-семейных проблем в средних и низших слоях населения провинциальной Англии в XVIII в., Джоанна Бейли сосредоточила внимание на конфликтах между супругами, приводивших к судебным разбирательствам и крушению брака⁴⁵. Использование судебных протоколов и газетных отчетов, которые фиксировали только кризисные ситуации, могло привести к смещению акцентов и искажению общей картины, но автору удалось найти необходимый баланс свидетельств и описать модель «супружеской взаимозависимости», в которой совпадение интересов мужчин и женщин позволяло обеспечить «относительно счастливое сосуществование». Роль, которую женщины играли в домохозяйстве и воспитании детей, давала им более высокий статус в

⁴⁵ *Bailey, Joanne*. *Unquiet Lives: Marriage and Marriage Breakdown in England*. Cambridge, 2003.

браке, чем это обычно признавалось. Собранный материал привел Бейли к выводу о том, что мужья и жены «не были марионетками несправедливого гендерного порядка»⁴⁶, адекватно реагировали на изменяющиеся представления о маскулинности и феминности и даже были способны противостоять им.

Э. Гордон и Г. Нэйр, изучив положение женщин в семьях среднего класса в викторианскую эпоху, отмечают неформальность многих сторон их семейной жизни и развенчивают давно сложившиеся стереотипы, рисующие замужних женщин как окруженных заботой, но в то же время заточенных в узком домашнем кругу узниц, а одиноких женщин – как обреченных в лучшем случае на «достойную бедность»⁴⁷.

В работах Алисон Твеллс⁴⁸ «домашняя жизнь» женщин-евангелисток в их собственном восприятии предстает наполненной высшим смыслом, благодаря филантропической деятельности и миссионерским устремлениям в повседневной жизни: «Их осознание себя как преимущественно “домашних” не означало отстранения от обязательств перед остальным миром. Напротив, их домашняя жизнь была насквозь пропитана “общественными” и глобальными интересами. Миссионерское призвание определяло семейную жизнь и воспитание детей, их нравственное и формальное образование, нравственное обучение слуг и организацию досуга всего семейства»⁴⁹.

Изучение гендерных аспектов истории брака и семьи в Новое время неразрывно связано с концепцией разделения частной и публичной сфер жизни, а в последние десятилетия – с ее пересмотром и переходом от дихотомической к диалектиче-

⁴⁶ Ibid. P. 204.

⁴⁷ Gordon E., Nair G. *Public Lives: Women, Family and Society in Victorian Britain*. New Haven; London, 2003.

⁴⁸ Twells, Alison. *Missionary domesticity, global reform and 'woman's sphere' in early nineteenth-century England* // *Gender and History*. 2006. P. 266–284. См. также: *Wollstonecraft's daughters: Womanhood in England and France, 1780–1920* / Ed. by C. Campbell-Orr. Manchester, 1996.

⁴⁹ Twells A. *Missionary domesticity...* P. 268.

ской интерпретации соотношения частного и публичного в «домашней сфере». Сегодня историческая ретроспектива для так называемой «супружеской семьи», возникновение которой связывалось с модернизационными процессами Нового времени и с «трансформацией публичной сферы», представляется специалистам гораздо более глубокой и не ограниченной европейским цивилизационным пространством. С другой стороны, ряд исследований по истории XVII–XIX вв. показал взаимосвязь и взаимозависимость частной и публичной сфер, а также вовлеченность «приватных людей» (мужчин и женщин) в сети отношений, охватывающих обе эти сферы⁵⁰.

Особым и наименее разработанным направлением изучения гендерной асимметрии в пространстве семейной жизни является история отношений между родителями и детьми разного пола, а также между братьями и сестрами. Некоторые вопросы (в частности, различные модели выхаживания и воспитания девочек и мальчиков) затрагиваются в исследованиях по истории детства, отцовства и материнства⁵¹, и особенно – по-

⁵⁰ Критику эволюционистского подхода к истории семьи и связанной с ним интерпретации понятия публичной сферы Ю. Хабермаса см. в статье: *Tadmor, Naomi*. Revisiting the public sphere and the history of the family // *Vänskap över gränser en festskrift till Eva Österberg* / Redaktörer: K. Johansson, M. L. Cronberg. Lund, 2007. P. 217–232.

⁵¹ Об отношении к детству вообще и об отношениях между родителями и детьми см.: *Histoire des pères et paternité*. P., 1990; *Atkinson C. W.* The Oldest vocation: Christian motherhood in the Middle Ages. Ithaca, 1991; *Sommerville C. J.* The Discovery of childhood in Puritan England. Athens, 1991; *Mitterauer M.* A History of youth. Oxford, 1992; *Medieval mothering* / Ed. by J. C. Parsons and B. Wheeler. N. Y.; L., 1996; *Conflicted identities and multiple masculinities: Men in the medieval West* / Ed. by J. Murray. N. Y.; L., 1999; *Crawford, Sally*. Childhood in Anglo-Saxon England. Stroud, 1999; *Dockray-Miller, Mary*. Motherhood and mothering in Anglo-Saxon England. Basingstoke; L., 2000. См. также: *Арнаутова Ю. Е.* «Святой! Помоги мне, иначе я потеряю свое дитя» (дети и детские недуги в зеркале средневековых миракул XII–XIII вв.) // *Социальная история. Ежегодник 2000*. М., 2000. С. 285–306.

ложения матерей-одиночек⁵². В этом ракурсе максимально высвечиваются различия в феминных и маскулинных стратегиях поведения. Но на практике историки материнства, отцовства и детства, как правило, оставляют за кадром интересующий нас вектор гендерной дифференциации⁵³.

Гендерная система, несмотря на многообразие определений этого понятия⁵⁴, фактически представляет собой систему власти и доминирования. В гендерном анализе проблема власти является ключевой. При этом речь идет равным образом как о гендерных аспектах власти, так и о властной составляющей гендерных отношений: семья рассматривается как гендерно-социальный конструкт и как основа социального, экономического и политического могущества; религия – как сквозь призму предписываемых ею гендерных ролей, так и в свете ее способности наделять мужчин и женщин разными видами власти; образование – поскольку его доступность и, соответственно, приобретаемые через него власть и влияние являются гендерно-дифференцированными; определения гражданского равенства и политического подчинения описы-

⁵² *Bailey, Joanne*. *Unquiet lives: marriage and marriage breakdown in England 1700–1850*. Cambridge, 2003; *Evans, Tanya*. 'Unfortunate objects': Lone mothers in eighteenth-century London. Basingstoke, 2005.

⁵³ Обзор ряда зарубежных работ по этой теме см. в статье: *Пушкарёва Н.* Зарубежная историография «истории материнства» как проблемы социальной истории // *Женщины в истории: возможность быть увиденными* / Под ред. И. Р. Чикаловой. Вып. 3. Минск, 2004. С. 131–153. В особом контексте развития феминизма и борьбы женщин за равноправие ставится проблема материнства в книге: *Allen, Ann Taylor*. *Feminism and motherhood in Western Europe, 1890–1970: The Maternal dilemma*. N.Y., 2005. См. также: *Kent, Susan Kingsley*. *Making peace: The Reconstruction of gender in Interwar Britain*. Princeton, 1993; *Todd, Selina*. *Young women, work, and family in England, 1918–1950*. Oxford, 2005.

⁵⁴ См.: *Словарь гендерных терминов* / Под ред. А.А. Денисовой. М., 2002. С. 44–46.

ваются в гендерных терминах и базируются на специфическом понимании различий между мужчинами и женщинами.

Одной из характерных примет современной историографии стала новая концепция власти и более широкое понимание того, что определяется как «политика» и «политическое». Сегодня все чаще проводится сознательное различие между обладанием, с одной стороны, легитимной политической властью, формально признанным авторитетом, дающим санкционированное обществом право принимать обязательные для других решения, и с другой – возможностью оказывать на людей, их действия и происходящие события неформальное влияние, т.е. воздействовать на них или – еще жестче – манипулировать ими для достижения своих целей. В соответствии с этим расширяется и понимание политической истории, в предмет которой теперь включается не только официальная политика, но и все, что, так или иначе, касается властных отношений в обществе. Политический аспект стал усматриваться в отношениях не только между монархом и подданным, но также и между хозяином и слугой, землевладельцем и держателем, отцом и сыном, мужем и женой. С этой же концептуальной платформы ставится и вопрос о роли гендерной системы в распределении властных полномочий.

Максимально расширенная и обогащенная концепция власти занимает центральное место в гендерной истории, поскольку одной из ее главных задач является изучение возможностей и способности женщин, на протяжении многих веков лишенных доступа к формальным институтам политической власти, оказывать опосредованное влияние на принятие решений в публичной сфере и на действия других людей или групп. Многие здесь было заимствовано историками у антропологов, изучавших статус женщины в публичной сфере. Историки, антропологи и социологи фиксируют частичное или полное совмещение дихотомии мужского/женского (маскулинного/феминного) и дихотомии публичного/приватного в разных

культурах и обществах. При всем разнообразии интерпретаций, сложился определенный консенсус: каковы бы ни были действительные первопричины разделения публичного и частного (установить их невероятно трудно именно потому, что это произошло за пределами письменной истории), с течением времени оно претерпевало существенные изменения.

Понятие «власть женщин» (*women's power*) часто применяется в работах по гендерной истории⁵⁵. Размышляя об общественном статусе и реальной роли женщин в средневековом обществе, Джоан Ферранте пишет: «Имея ограниченные возможности на деле распоряжаться своей собственной или чужими жизнями, женщины... находили более тонкие или скрытые способы осуществлять такую власть, манипулировать людьми и ситуациями, сочинять небылицы, которые нравились им больше, чем действительность, и благодаря которым они могли или надеялись эту действительность контролировать»⁵⁶. Гизела Бок даже составила краткий перечень видов неформальной «женской власти», которые «могли проявляться по-разному: например, как участие в системе власти мужчин, как власть над мужчинами, как власть над другими женщинами, как способ самоутверждения женщины»⁵⁷.

⁵⁵ Эта концепция стала базовой для многих монографий и проектов: *Gender Relations in German History: Power, Agency and Experience from the Sixteenth to the Twentieth Century* / Ed. by L. Abrams, E. Harvey. Durham (N.C.), 1997; *Watts, Ruth. Gender, Power and the Unitarians in England, 1760–1860*. L., 1998; *Kent, Susan. Gender and Power in Britain, 1640–1990*. L., 1999; *Jones, Helen. Women in British Public Life, 1914–1950: Gender, Power and Social Policy*. Harlow, 2000; *Johns, Susan M. Noblewomen, Aristocracy, and Power in the Twelve-Century Anglo-Norman Realm*. Manchester; N.Y., 2003; *Thomas, Natalie. The Medici Women: Gender and Power in Renaissance Florence*. Aldershot, 2003; etc.

⁵⁶ *Ferrante, Joan. Public Postures and Private Maneuvres: Roles Medieval Women Play // Women and Power in the Middle Ages...* P. 213.

⁵⁷ *Бок, Гизела. История, история женщин, история полов // Хрестоматия к курсу «Основы гендерных исследований»*. С. 307.

«Власть женщин» исследуется во всем многообразии ее проявлений: рассматривается воздействие женщин на политические решения и исторические события, их роль в семье, в экономике и общественной жизни, их влияние на формирование и передачу культурных стереотипов (в том числе посредством культурного патронирования, или меценатства, и собственной творческой работы), а также особенности так называемых женских социальных сетей, или сетей влияния, под которыми понимаются межличностные связи между женщинами или формирующиеся вокруг одной женщины.

Очень редко обладая формальным авторитетом, женщины действительно располагали эффективными каналами неформального влияния. Устраивая браки, они устанавливали новые семейные связи; обмениваясь информацией и распространяя слухи, формировали общественное мнение; оказывая покровительство, помогали или препятствовали мужчинам делать политическую карьеру; принимая участие в волнениях и восстаниях, проверяли на прочность официальные структуры власти и т.д. Инструменты и формы этого влияния рассматриваются гендерными историками в рамках различных моделей соотношения частного и публичного, отражающих распределение власти, престижа и собственности через систему политических, культурных, экономических институтов, которая в каждом обществе определяла конкретно-историческое смысловое наполнение понятий «мужского» и «женского». Иначе говоря, именно исторические изменения в конфигурации частной и публичной сфер общественной жизни выступают как необходимое опосредующее звено в социальной детерминации гендерно-исторической динамики, т.е. в определении траектории и темпов изменений в гендерных отношениях и представлениях. Причем степень жесткости и интенсивности этих связей также изменялась.

Роль женщин в частной жизни и их отношение к публичной сфере стояли в центре проблематики исследований по

истории женщин, которые пытались выяснить механизм действия патриархатной системы, сохранявшей в течение многих столетий – и в самых разных условиях – подчиненное положение женщин в сексуально-репродуктивной («частной»), и в социально-экономической и политико-правовой («публичной») сферах⁵⁸. Согласно этим теориям, как «приватизация женщин» в семье, так и рост их активности вне дома описывались в терминах оппозиции частного и публичного, домашнего хозяйства и общественного производства⁵⁹.

В классической Греции, где производственная деятельность сосредоточивалась в домохозяйстве, сфера публичного, или полис, была чисто политической, и ею заправляла небольшая группа взрослых граждан мужского пола. В Древнем Риме, с его четкой концепцией публичной власти, женщины были исключены из нее со всей определенностью. Но уже в каролингский период, когда действительным центром отправления власти стала курия крупного феодала, а не государство, это различие почти исчезло, что свело на нет ограничения властных полномочий женщин-наследниц. В дальнейшем – с постепенным развитием государственного аппарата и усилением контроля с его стороны – влияние женщин снижалось.

В целом ряде работ по истории Нового времени приводятся убедительные доказательства того, что так называемое освобождение индивида, которое у большинства историков ассоциируется с воздействием Реформации, подъемом национальных государств и разрушением традиционных общинных структур, не было последовательным и отличалось гендерной исключительностью. В XIX в. происходит «второе закрепощение» женщины семейными структурами: создается культ семьи и домашнего очага, который индивидуальной свободе женщины отнюдь не способствовал.

⁵⁸ Kelly J. *Women, History, and Theory*. Chicago, 1984. P. 61–62.

⁵⁹ Nicholson L. J. *Gender and History. The Limits of the Social Theory in the Age of the Family*. N.Y., 1986. P. 201–208.

Уже в раннее Новое время маскулинизация публичной сферы усиливается и в теории, и на практике. Гендерные роли и отношения часто становятся предметом общественного обсуждения. Начало XIX века отмечено очень высоким уровнем демаркации частного и публичного. Именно публичная сфера, включающая мир политики, юридические права и обязанности, рыночные институты, признавалась сферой реальной власти, престижа и могущества. Метафора разделенных сфер, которая зримо выражала и подспудно оправдывала расхождение гендерных статусов, стала – наряду с культом домашнего очага и «кодексом чистоты» – своеобразной ортодоксией общественного сознания, и не случайно впоследствии основанная на ней теоретическая модель заняла ведущее место в концептуальных построениях и риторике «женской истории»⁶⁰. Новый взгляд на проблему соотношения сферы частного и публичного появился с развитием гендерных исследований. Гендерные историки, в значительной степени опираясь на антропологические исследования, которые связывают доминирующее положение мужчин и неравенство полов непосредственно с функциональным разделением человеческой деятельности на частную (домашнюю) и публичную сферы и с вытеснением женщин из последней, внесли в эту схему свои коррективы.

Во многих работах вопрос о так называемой автономизации частной сферы уходит на задний план. Исходным моментом является понимание зависимости функционирования публичной сферы, в которой почти безраздельно доминиро-

⁶⁰ И это несмотря на обоснованные сомнения в ее адекватности и размах экспериментов по деконструкции дихотомии частного и публичного как элемента гендерной идеологии викторианской эпохи. См.: *Gendered Domains: Rethinking Public and Private in Women's History* / Ed. by D. O. Helly, S. M. Reverby. Ithaca; N.Y., 1992; *History and Feminist Theory* / Ed. by A.-L. Shapiro. Middletown (Conn.), 1992; *Rewriting the Victorians: Theory, History, and the Politics of Gender* / Ed. by Linda M. Shires. N.Y.; L., 1992; *McKee, Patricia*. *Public and Private: Gender, Class, and the British Novel (1764–1878)*. Minneapolis, 1997; etc.

вали мужчины, от созидательной деятельности женщин в домашней частной жизни, от ее участия в повседневном управлении семейным хозяйством. Семья становится фокусом исследования не только из-за того, что в ней реализуется взаимодействие полов, а потому что именно она является тем местом, где перекрещиваются и воздействуют друг на друга приватная и публичная сферы жизни, местом координации и взаимного регулирования репродуктивной и других форм человеческой деятельности⁶¹. Особое внимание уделяется проблеме внутрисемейных отношений и «политическому устройству» семьи. При этом учитываются не только идеальные и нормативные модели, но и сильно отклоняющиеся от них жизненные ситуации. Гендерная идеология, дающая развернутые обоснования господства мужа в патриархальной семье и рисующая удобный идеал «хорошей жены», смиренно подчиняющейся мужу, вне зависимости ни от качеств ее «господина», ни от справедливости или разумности его приказаний, оставляет «за кадром» роль женщины в семейном управлении, ее возможности оказывать реальное влияние на принятие решений (в том числе и по важным для семьи делам) и ее умение – если потребуется – незаметно «подтолкнуть» главу семьи в нужном направлении. Следует при этом иметь в виду, что женские способы управления главой семьи были уже давно апробированы и зафиксированы в общественном сознании, что подтверждается, прежде всего, литературными и околотитулярными произведениями разных эпох⁶².

Один из аспектов неформального влияния женщин в публичной сфере затрагивает тему женской религиозности. Так, в течение всего Средневековья, служение Господу давало

⁶¹ См.: *Tosh J. Manliness and Masculinities in Nineteenth-Century Britain: Essays on Gender, Family, and Empire.* Harlow; N.Y., 2005.

⁶² К примеру, яркое впечатление оставляют неуправляемые «строптивые жены» шекспировской драматургии. См.: *Gay, Penny. As She Likes It: Shakespeare's Unruly Women.* L. - N.Y., 1994.

женщинам-настоятельницам (чаще всего из аристократических родов) доступ к властным позициям, пусть и за толстыми монастырскими стенами. Настоятельница монастыря получала возможность управлять монахинями, почти как суверен своими подданными, а иногда ее власть простиралась и далеко за пределы обители⁶³. А в эпоху Реформации религия была одной из немногих сфер, открытых для проявления индивидуальных предпочтений и реализации не востребовавшихся способностей женщин, для их самостоятельных решений и действий. Женщина должна была выбирать между тем, что требует от нее принадлежащая мужчинам политическая и церковная власть, и тем, что – как подсказывал внутренний голос – было ей предназначено самим Господом. Религиозные убеждения, вступая в противоречие с идеалом покорности и пассивности, иногда являлись побудительным мотивом и внутренним оправданием публичных акций. Вполне естественно, что самые заметные последствия имел религиозный выбор тех правительниц, которые, оказавшись волею династических судеб на вершине власти, принимали решения и за свою семью, и за всех своих подданных. Возможность религиозного оправдания независимых действий во многом обеспечила массовое участие женщин в радикальных протестантских сектах и в различных религиозно-политических конфликтах эпохи ранних европейских революций в целом⁶⁴. А возможность высказываться в диспутах по религиозным вопросам (в том числе и в печатной форме, рассчитанной на широкую аудиторию) неизмеримо расширила зону женского влияния в публичной сфере⁶⁵. Тот факт, что

⁶³ См.: *Walker, Claire. Gender and Politics in Early Modern Europe: English Convents in France and the Low Countries.* Basingstoke; N.Y., 2003.

⁶⁴ См., например: *Crawford P. Public Duty, Conscience, and Women in Early Modern England // Public Duty and Private Conscience in Seventeenth-Century England / Ed. by J. Morrill et al. Oxford, 1993. P. 57-76; etc.*

⁶⁵ *Crawford P. Women and Religion in England, 1500–1720. L., 1993; Wiesner, Merry K. Gender, Church, and State in Early Modern Ger-*

большинство публикаций, авторами которых были женщины, касались религиозных сюжетов, неслучаен: благочестие являлось наиболее приемлемым оправданием вмешательства «второго пола» в исключительно мужскую область деятельности.

Многочисленные исследования посвящены разработке проблемы гендерной дифференциации в политической сфере, особенно в области «высокой политики». Многие десятилетия источниковая база политической истории ограничивалась официальными докладами государственных советов, протоколами заседаний и дипломатической корреспонденцией. Но все эти документы производились мужчинами и для мужчин, составлявших официальную придворную иерархию. Таким образом, эти доклады вовсе не отражали то неформальное влияние на политику, которое осуществлялось незаметно, вдали от дипломатической авансены – например, членами семьи. Но такое влияние, которое отдельные женщины оказывали, прямо или косвенно воздействуя на короля или его министров, проявляется в других исторических документах: придворных хрониках, архивах религиозных учреждений, завещаниях, частной переписке. Эти документы дают информацию об использовании женщинами системы патроната – главного механизма, посредством которого представительницы элиты могли осуществлять и реально осуществляли политическое влияние. Принятие политических решений не было исключительной прерогативой государственных советников. При изучении неформальных переговоров возникает совершенно иная «дипломатическая» картина, в которой женщины монаршего семейства и королевские фаворитки становятся весьма заметными и

many. L.; N.Y., 1997; etc. Об активной роли женщин-католичек см., например: *Reynes G.* Convents des femmes. La vie des religieuses cloîtrées dans la France des XVII et XVIII siècles. P., 1987; *Rapley E.* The Devotés: Women and the Church in Seventeenth-Century France. Montreal, 1990; *Walker, Claire.* Gender and Politics in Early Modern Europe: English Convents in France and the Low Countries. Houndmills; N.Y., 2003.

влиятельными действующими лицами⁶⁶. Это заставляет пересмотреть и общий взгляд на функционирование политической сферы и особенно придворной политики в начале Нового времени: несмотря на процесс рационализации политических институтов, сохранялись позиции неформальной политической культуры, характерной для Средневековья. В целом, имеется выраженная тенденция, противостоящая традиции исключения женщин из политической истории.

В раннее Новое время женщины, близкие к престолу, неизбежно оказывались в центре политического мира Европы. «Королевские женщины», жены и вдовы, матери и дочери, были политическими существами. Сами их браки преследовали политические цели, и они служили неофициальными дипломатическими представителями своих родных, используя, в частности, религиозный патронат и устройство семейных дел, т.е. те области, в которых мужчины признавали и терпели женскую власть. Женщины предпринимали сознательные усилия, чтобы обойти традиционные сети управления и использовать мужские представления о приемлемом женском поведении в своих интересах или в интересах своих родственников. Им удавалось, благодаря своим могущественным линиям, а также полученному воспитанию и образованию, играть роль в политической жизни, в той жизни, которая утверждала социальную и личную ценность мужчин, но все больше закрывалась для женщин. Анализ политического аспекта гендерной дифференциации в переломную эпоху западноевропейской истории раннего Нового времени занимает важное место в обсуждении проблемы «гендер и власть».

Историческая ситуация и события XVI века, в том числе появление в результате династических инцидентов во мно-

⁶⁶ Так, дипломатическая сеть австрийских Габсбургов при испанском дворе функционировала главным образом через женщин. См.: *Sanchez M. S. The Empress, the Queen, and the Nun. Women and Power at the Court of Philip III of Spain.* Baltimore; L., 1998. P. 5-10, 272-273.

гих странах Европы государей женского пола и регентствующих матерей при несовершеннолетних монархах⁶⁷, оставили яркий след в политической мысли этого времени. Так характерной приметой многих произведений ее выдающихся представителей и дебатов между ними стало пристальное внимание к неожиданно выдвинувшейся на первый план проблеме, напрямую связанной с тем, что сегодня понимают под термином «социальное конструирование гендера»: может ли женщина, рожденная в королевской семье и обученная «монаршему делу», преодолеть ограничения своего пола?

Ряд придворных авторов елизаветинского времени выдвинули совершенно новые аргументы против автоматического исключения женщин из порядка престолонаследия. Так, Джон Эйлмер утверждал, что даже замужняя королева может править легитимно, потому что ее подчинение мужу ограничивается частной жизнью и не распространяется на публичную сферу, в которой она и для своего мужа, как для всех своих подданных, является законным монархом. Эту концепцию «расщепленной идентичности» Эйлмер и другие политические мыслители описывали метафорой «двух тел» государя, которая позволяла различать королеву как персону и как воплощение власти, отделяя ее телесную женственность от обнаруживаемых мужских качеств, которые считались необходимыми для управления подданными и которые она могла получить по династическому рождению и воспитанию. Как показала, в частности, К. Джордан, Эйлмер и другие защитники «женского правления» отчетливо разделяли *пол-секс* и *пол-род*, или *гендер*⁶⁸. И сама Елизавета прекрасно осознавала преимущества этой метафоры и использовала сочетание женских и мужских

⁶⁷ О гендерном аспекте регентства во Франции раннего Нового времени см.: Crawford, Katherine. *Perilous Performances: Gender and Regency in Early Modern France*. Cambridge (Mass.); L., 2004.

⁶⁸ Jordan C. *Renaissance Feminism: Literary Texts and Political Models*. Ithaca, 1990.

гендерных стереотипов в своих целях. Сара Мендельсон и Полин Кроуфорд обоснованно подчеркивают, «что успех Елизаветы как женщины-правительницы зависел от того, чтобы дистанцироваться от всех других женщин», продемонстрировать, что она, с ее политическими дарованиями, является выдающимся исключением из правила, которое утверждает неспособность женщин к управлению. Из современных комментариев о ее правлении ясно, что общественные представления о месте женщин в политике никак не связывались с практическим опытом отдельной королевы⁶⁹.

Использование женщинами скрытых каналов влияния, а некоторыми из них – и официальных властных полномочий, могло быть сколь угодно успешным, что, однако, не отменяло устойчивой гендерной асимметрии и, более того, стимулировало механизмы ее воспроизводства. Из всех возможных способов иерархической организации общества – в соответствии с классом, возрастом, рангом, занятием и т.д. – гендер воспринимался как самый естественный, а покушения на его незыблемость – как самые опасные.

⁶⁹ *Mendelson S., Crawford P.* Women in Early Modern England, 1550–1720. Oxford, 1998. P. 356–357. Представления о роли женщин в истории и в политике нашли яркое отражение в литературе раннего Нового времени. См., в частности: *Levine, Nina S.* Women's Matters: Politics, Gender, and Nation in Shakespeare's Early History Plays. Newark; L., 1998; *Rose, Mary Beth.* Gender and Heroism in Early Modern English Literature. Chicago; L., 2002.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В НАЧАЛЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями в структуре и содержании социального и гуманитарного знания, в самой методологии социально-гуманитарных наук. В быстро трансформировавшемся общем интеллектуальном контексте произошла радикальная перестройка современной исторической науки.

Историографическую ситуацию на заре третьего тысячелетия характеризуют серьезные сдвиги в области исторической эпистемологии, отход от бинарного мышления с его противопоставлением макро- и микроистории, структур и событий, рационального и иррационального, стремительное расширение «территории историка».

Пополнение фонда научных публикаций во всех сегментах мировой историографии шло невиданными прежде темпами. Наряду с полемическими статьями и программными выступлениями, которые открывали и обосновывали новые направления, а также с множеством конкретно-исторических исследований, демонстрирующих эффективность новых методов и исследовательской техники и дающих образцы их применения, выходили в свет фундаментальные работы по теории и методологии истории, обобщающие труды по истории отдельных стран, континентов и мировой истории в целом. Количественный рост исторической продукции сопровождался изменениями в качественных характеристиках современного

исторического знания, в целостном образе исторической науки. Потребность осмысления этого нового образа побуждала к попыткам получить новые ответы на неоднократно задаваемый за последние полвека вопрос «что такое история?»¹.

Тенденции современной историографии многообразны и противоречивы. Глобализация, неразрывно связанная с коммуникативными процессами, поставила на повестку дня новые вопросы и для тех, кто занимается изучением аналогичных процессов в историческом измерении. В результате, наряду с расцветом микроисторических исследований², вновь вырос интерес к исторической макроперспективе, которая все больше ориентируется на изучение экологических, эпидемиологических, демографических, культурных и интеллектуальных последствий развития глобальных взаимосвязей за последние полтысячелетия. Фактически в течение 1990–2000-х годов сформировалась новая научная дисциплина – глобальная история («новая глобальная история»), опирающаяся на представление о когерентности мирового исторического процесса³.

Если микроисторическая исследовательская модель предполагала критику «классической» национальной истории

¹ См.: What is History Now? / Ed. by D. Cannadine. L., 2002; Was ist Geschichte? Aktuelle Entwicklungstendenzen von Geschichtsphilosophie und Geschichtswissenschaft / Hg. v. Wolfgang Eichhorn und Wolfgang Küttler. Berlin, 2008.

² Корпус микроисторических исследований по-прежнему пополняется с невероятной быстротой. Первое в отечественной историографии и наиболее развернутое обсуждение связанных с микроисторией теоретико-методологических проблем см. в сборнике «Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого» (Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 1999) и в периодическом издании – альманахе «Казус: индивидуальное и уникальное в истории» (М., 1996–2009).

³ О «многозначной логике» интерпретации глобальных тенденций в истории человечества см.: Хвостова К. В. Современная эпистемологическая парадигма в исторической науке // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 10–13.

«снизу» – на материале изучения индивидов и локальных сообществ, также рассматриваемых как индивиды, то новая макроисторическая модель вновь обратила взоры специалистов к надындивидуальному измерению истории.

Однако современная макроистория, минуя классическую проблематику национально-государственных общностей и идентичностей, сразу выходит на уровень взаимодействия локальных контекстов и глобальной среды. При этом важно отметить, что современная глобальная история подразумевает наличие множества локальных вариантов и далеко ушла от линейных схем классических модернизационных теорий, как в свое время ушел от модернистского понимания времени (как однородного) Фернан Бродель в знаменитой теории времен различной длительности, связанных с социально-историческими процессами (подчеркнем – в теории, которая открыла для исторической науки инновационные перспективы компаративного анализа, так до сих пор и не использованные).

Насущные проблемы современности потребовали отказа от доминирующих моделей, которые выстраивают исторические процессы и события прошлого в европоцентристской перспективе, и обращения к мировой истории как истории действительно *всеобщей*, что предполагает разработку новых методик компаративного анализа, способных не только выявить общее и особенное, но и дать новое представление об истории человечества в ее целостности и взаимосвязанности. В новом свете предстают и грядущие перспективы социальной истории: так, несмотря на ее «локальную специфичность», с ней связываются большие надежды на сотрудничество с «новой мировой историей», на «осмысленную совместную работу, тестирование общих находок и предпосылок», поскольку «социальная история может помочь мировой истории получить контакт с живым человеческим опытом...»⁴.

⁴ См.: Stearns P. Social History and World History... (op. cit.).

Разнообразие тематики современных исторических исследований наглядно демонстрирует имеющиеся приоритеты, зоны особого интереса и горячих споров, основные направления теоретических и методологических поисков. Беспрецедентное расширение разрабатываемых сюжетов имело и другую, негативную сторону: оно создало реальную угрозу дисциплинарной целостности. Однако новые явления в историографии последнего десятилетия показывают, что пришло время «собирать камни» – дисциплинарная матрица обнаружила способность к восстановлению, и история сохраняет свое уникальное место в пространстве наук о человеке.

Важным качественным сдвигом в мировой историографии явился так называемый «культурный поворот», в котором получили закономерное и яркое отражение как небывалое возросший интерес к проявлениям человеческой субъективности в прошлом и настоящем, так и стремление к ее контекстуализации на новой теоретико-методологической основе, соответствующей глобальному характеру современной цивилизации, целям развития межкультурного диалога и принципу единства в многообразии. Изучение и сопоставление картин мира, особенностей ценностных систем и содержания культурных идеалов разных исторических социумов и цивилизаций – одна из центральных проблем современной исторической науки. Эта тенденция останется ведущей, по меньшей мере, на ближайшие десятилетия.

В результате прививки «культурной истории» к древу истории социальной возникли новые формы изучения «социального» – быть может, менее амбициозные, но более гибкие и обладающие значительным эвристическим потенциалом. Вместе с тем, отнюдь не случайно Пол Карлледж, отвечая на вопрос «Что такое социальная история сегодня?», все еще посчитал уместным призвать историков «сопротивляться любым гегемонистским дисциплинарным притязаниям: претензии на то, что социальная история – это “главный” вид истории или

даже вся история, завели в тупик»⁵. В этом ракурсе следует, очевидно, рассматривать и более общие теоретические проблемы, встающие перед исследователями в связи с экспансией и претензией на универсальность «культурной истории»⁶.

Оправданные опасения историков базируются на том, что культура (а в постмодернистской интерпретации – язык и текстовые структуры) выступает как некая особая реальность, и даже как «первопричина». Между тем, сегодня как никогда актуально звучит высказанный еще в середине XX века тезис К. Гирца: «... Культура не является причиной, обуславливающей события, поведение, институты или процессы; это контекст, в котором их можно вразумительно, то есть подробно, описать»⁷. Потребность в ре-контекстуализации микроисторических сюжетов, персональных и локальных ситуационных исследований стимулировала поиски «связующего звена между микро и макро»⁸ в синтетическом подходе к познанию прошлого. Историки отказываются от ложной альтернативы социального и культурного детерминизма, проблема сегодня состоит в другом: как репрезентировать общность, не элиминируя индивидуальные качества составляющих ее индивидов⁹.

⁵ См.: *Cartledge, Paul. What is Social History Now? // What is History Now? / Ed. by David Cannadine. Houndmills, 2004. P. 19-35. (P. 29).*

⁶ См.: *Burke P. Varieties of Cultural History. Cambridge, 1997.*

⁷ *Geertz C. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. N.Y., 1973. P. 14.*

⁸ *Peltonen, Matti. Clues, Margins, and Monads: The Micro-Macro Link in Historical Research // History and Theory. 2001. Vol. 40. No. 3. P. 347-359.*

⁹ Попыткам вернуться к подобному «опозиционному» мышлению вынес своеобразный приговор П. Бурдьё: «... все эти оппозиции между макро- и микро-, объективностью и субъективностью или, как в сегодняшней исторической науке, между экономическим и политическим анализом и т.д. – это искусственные противопоставления, не выдерживающие и трех секунд теоретического рассмотрения, однако смысл их заключается в той социальной функции, которую они выполняют для тех, кто этими оппозициями пользуется. <...> Через эти скры-

Оптимизм в отношении тенденций развития исторического знания (по крайней мере, в ближайшей перспективе) внушает то обстоятельство, что сегодня заметное предпочтение в историографии отдается контекстуальным подходам, что, правда, проявляется в разных ее областях неравномерно и в модифицированных формах. Тем не менее, общий вектор, несомненно, указывает на переход от *каузального* объяснения к *контекстуальному*. Получило широкое распространение понимание исторического контекста как ситуации, задающей не только социальные условия любой деятельности, но также конкретные вызовы и проблемы, которые требуют разрешения в рамках этой деятельности. Стоит, однако, отметить, что «всеобщая контекстуализация», накладывающая необходимые ограничения на воображение историка, благоприятна для анализа статичных состояний, но противопоказана для объяснения социально-исторической динамики.

В широчайшем диапазоне современной социокультурной истории, наряду с обширным корпусом работ, нацеленных на анализ исторических типов, форм, различных аспектов и казусов межкультурного взаимодействия, достойное место занимают исследования проблем индивидуальной и коллективной идентичности, соотношения истории и памяти, которые сегодня привлекают внимание представителей всех социальных и гуманитарных дисциплин и создают удобную «площадку» для будущего, более методологически продуманного трансдисциплинарного сотрудничества.

В настоящей книге была сделана попытка показать панорамную картину современной полицентричной историографии, накопившей значительный опыт продвижения по этому пути, и тот качественно новый уровень, на который поднимается сегодня сама проблема трансдисциплинарности:

тые отношения в поле науки принакст политическая борьба». – *Пьер Бурдьё, Роже Шартье*. Люди с историями, люди без историй. (Версия интервью 1988 года) // Новое литературное обозрение. 2003. № 60.

впервые на место произвольного обращения к тем или иным исследовательским стратегиям социально-гуманитарных наук приходит целостный анализ всей совокупности их данных, относящихся именно к избранному предмету исследования.

В этом же подвергнувшись существенной трансформации интеллектуальном контексте происходят два важнейших и взаимосвязанных процесса – переопределение внутродисциплинарной иерархии и изменение конфигурации междисциплинарных полей, в том числе в номенклатуре и отношениях исторических субдисциплин друг с другом и в векторах кооперации истории с другими областями знания. Процессы «вторичной интеграции» внушают обоснованный оптимизм, ведь «... интеграция ставших на время самостоятельными научных дисциплин способна высекать искру нового знания и освещать потаенные уголки нашего прошлого»¹⁰.

Непрерывное формирование все новых и новых наддисциплинарных областей социогуманитарного знания стало неотъемлемой характеристикой его современного бытования. Не случайно, что текущие задачи интеллектуальной истории сегодня нередко напрямую связываются с осмыслением проблем и неискоренимых трудностей междисциплинарной коммуникации. Именно в междисциплинарности видится «одна из спасительных черт истории идей», которая «не дает ей закоснеть в ортодоксальности какой-то одной дисциплины»¹¹. Это замечание, во многом справедливое, может быть отнесено и к другим областям историографии.

Как и в предыдущие десятилетия, обращение к методологии социальных наук было достаточно хаотичным и противоречивым. При всем богатстве и интенсивности междисципли-

¹⁰ *Янин В. И.* Магистральный путь современной науки: от дифференциации к интеграции // *Вестник истории, литературы, искусства*. Т. 1. М., 2005. С. 9-15. (С. 14).

¹¹ *Мегилл А.* Глобализация и история идей // *Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории*. Вып. 14. М., 2005. С. 17.

линарных связей современной исторической науки, не подлежит сомнению, что потребуется еще немало усилий историков и представителей социальных и гуманитарных наук по осмыслению теоретических предпосылок и поиску путей оптимизации трансдисциплинарных исследований¹², особенно если учитывать такие присущие этой системе качества, как подвижность, концептуальный плюрализм и регулярную смену познавательных приоритетов.

Эффективность той или иной из выстраиваемых историками версий методологического синтеза во многом определяется глубиной освоения теорий «смежных» наук, которая (по крайней мере, до настоящего момента), была, как правило, недостаточной. Вместе с тем, определенная свобода в обращении с «заимствованными» социальными теориями, проистекающая из-за солидного временного лага и удобной позиции «вснхходимости» относительно бурно развивающихся у «соседей» процессов дифференциации и внутридисциплинарных конфликтов¹³, имела, и – я уверена – будет иметь положительные результаты при ее творческом использовании.

¹² См. всестороннее обсуждение этих проблем: Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / Под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой, Л. П. Репиной. М., 2004; Междисциплинарные подходы к изучению прошлого до и после «постмодерна» / Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2005.

¹³ Как некогда выразился по поводу ситуации в социологической теории Горан Терборн, «не станем поднимать на щит какое-либо конкретное объяснение социологического типа, выбранное из широкого спектра соперничающих течений <...> важнее и плодотворнее выявить то, что является общим для широкого спектра социологов, и соогнести это общее с другими течениями социальной науки, а не сводить дело к размежеванию конкурирующих теоретиков и соперничающих парадигм». – *Терборн, Горан*. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке // THESIS. 1994. Т. II. Вып. 4. С. 115.

В сложившемся интеллектуальном контексте важными условиями продуктивного междисциплинарного диалога оказывались не только готовность ответить на вызовы времени или довольно высокая восприимчивость к новым веяниям в социально-гуманитарном познании, но также стойкая приверженность профессиональным стандартам и нормам исторической науки¹⁴. Конечно, историкам необходимо до конца признать наличие у себя неосознанных предпосылок (того, что М. Полани называл «личностным знанием», исключая абсолютную объективность, обычно приписываемую точным наукам), однако продолжающиеся рассуждения о «ненаучности» истории из-за множественности интерпретаций, похоже, выходят из моды. Сегодня уже общим местом стало признание как историчности самого понятия *науки*, так и факта одновременного «мирного сосуществования» различных концепций *научности*; вообще существенно переосмысляются критерии того вида человеческой деятельности, который называется наукой, и во всех науках, включая естественные, вместо закономерностей и регулярностей на первый план выходит изучение индивидуального, уникального, случайного.

Историческая наука, по сравнению с другими социально-гуманитарными науками, выступает как наука интегральная: она имсет дело в комплексе со всеми явлениями, которые изучаются этими науками порознь. При этом между различными областями самой исторической науки, обладающими большой спецификой, трудно найти что-то общее, кроме того, что они все повествуют о прошлом. Высокой из-

¹⁴ Обстоятельный анализ «минимальных» (общеобязательных) и «оптимальных» (варьирующихся в разных областях истории) профессиональных требований был дан в статье известного шведского историка Рольфа Торстендала: *Торстендаль Р.* «Правильно» и «плодотворно» – критерии исторической науки // *Исторические записки.* М., 1995. Вып. 1 (119). С. 54-73. См. также: *Рикёр П.* *Историописание и репрезентация прошлого* // *Анналы на рубеже веков. Антология.* М., 2002. С. 39.

менчивостью характеризуются лишь представления о том, что *значимо* в этом прошлом. Поэтому главный вопрос – что находится в *фокусе* исторического исследования. В современной историографии – это человек, и все более – человеческая индивидуальность: интердисциплинарная история использует теоретический потенциал всех смежных наук для изучения индивидуальной деятельности, сознания и поведения людей прошлых эпох. И здесь не уйти от осознания «двойной ответственности историка» и от других этических проблем, обсуждение которых не случайно так активизировалось в 2000-е годы¹⁵. Невозможность абсолютной нейтральности доказана всей историей историографии. Историк погружен в свою культурную среду, и его мысль, направленная на интерпретацию следов прошлого, запечатленных в исторических памятниках, исходит из современных предпосылок: концепция истории действует как силовое поле, организующее хаотический фрагментарный материал. При этом публичная сторона деятельности историка в современном информационном обществе налагает на него особенно тяжкий груз ответственности, актуализируя вечный и самый общий постулат профессиональной этики – *не навреди!*

Траектория развития исторической науки в последней трети XX – первом десятилетии XXI века показала всю контрпродуктивность отчуждения «практикующих» историков от теоретических построений и обобщений. Рост интереса к теории и методологии исторического познания был закономер-

¹⁵ Позицию инициаторов этого обсуждения выразил Хейден Уайт: «История исчерпала себя как гуманитарная дисциплина тогда, когда увлеклась социальными науками, которые, в свою очередь, были зачарованы моделью естественных наук – результатом стало то, что и социальные науки, и история утратили связь с главными этическими, эстетическими и политическими программами, которые они, как предполагалось, должны были изучать, критиковать и продвигать...». – Интервью с Хейденом Уайтом // Диалог со временем. 2005. Вып. 14. С. 339.

ным явлением в развитии исторической науки в переломный период, когда в условиях так называемого кризиса и далеко зашедшей фрагментации истории резко обострилась проблема методологической самоидентификации историков, в том или ином виде сохранивших в своем комплексе профессиональных норм и ценностей понятие исторической реальности.

Историографическая ситуация настоящего времени свидетельствует о ярко выраженной теоретической рефлексии историков над проблемами исторического исследования и способами построения исторических текстов. Трудности познавательной переориентации и соответствующей перестройки профессиональных конвенций, необходимость теоретического осмысления собственной историографической практики осознаются ведущими историками, придерживающимися разных методологических парадигм: ведь «если история является дисциплиной, т.е. связанным способом исследования, она должна содержать в себе нечто универсальное, пронизывающее этот способ исследования и оправдывающее (относительную) автономию истории. Другими словами, история должна иметь теоретическое измерение. Сказанное в краткой и самой общей форме служит аргументом *за* теорию в истории»¹⁶.

«Культурный», «прагматический», «мемориальный», «визуальный», «пространственный»¹⁷ и другие «повороты» (я употребляю эти уже относительно устоявшиеся в научной литературе понятия, прекрасно осознавая их условность) открыли перед исторической наукой новые перспективы. И хотя по-

¹⁶ *Мегилл А.* Роль теории в историческом исследовании и историописании // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2011. С. 30.

¹⁷ Попытку осмыслить теоретический статус пространственных категорий и их соотношение с темпоральными категориями предприняла группа исследователей Страсбургского университета. См.: *Les Espaces de l'historien: Etudes d'historiographie / Dir. par Jean-Claude Waquet, Odile Goerg, Rebecca Rogers.* Strasbourg, 2000.

прежнему в некоторых публикациях можно встретить слово «кризис», в это понятие вкладывают не только негативное содержание. Как представляется, на поставленный в 2000 г. А. Я. Гуревичем вопрос – «Что это за кризис? Порожден ли он увяданием или распадом нашей профессии, либо же обусловлен изменениями в принципах исторического исследования, сменой парадигм?» – сегодня можно с уверенностью ответить в позитивном смысле: да, это формирование новых исследовательских парадигм, это непрерывный творческий поиск, и это «нормальное состояние науки, ибо там, где все ясно и вполне устоялось, наступает застой»¹⁸.

Характеризуя в целом ситуацию, сложившуюся в исторической науке на рубеже XX–XXI вв., как «историографическую революцию», Б. Г. Могильницкий отнёс текущий момент к ее третьему этапу, обозначив предшествующие этапы, соответственно, как объективистский (сциентистский), связанный «с широкими историко-социологическими построениями», и субъективистский (постмодернистский), ознаменованный «поворотом к субъективности» и «“открытием” микроистории как ведущего жанра исторического исследования»¹⁹.

При всей условности такого разграничения (а тем более – констатации прямой связи постмодернизма и микроистории, имеющей в своем обширном «ассортименте» и явно сциентистские версии), зафиксируем главное отличие двух последних этапов. Если на первом этапе произошел сдвиг исследовательского интереса от структур большой длительности к социальной практике конкретных действующих лиц в конкретных жизненных ситуациях, и в целом доминировала тенденция «к первоочередному изучению относительно ограниченных по

¹⁸ Гуревич А. Я. Подводя итоги... // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 125.

¹⁹ Могильницкий Б. Г. История на переломе: некоторые тенденции развития современной исторической мысли // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории... С. 6.

временному и пространственному протяжению ситуаций прошлого»²⁰, то на текущем этапе интенсивные поиски привели к созданию интегральных моделей, построенных на принципе взаимодополнительности микро- и макроисторического подходов и их использованию в конкретных исследованиях.

Радикальная перестройка в историографии рубежа веков – разумеется, далеко не первая и, очевидно, не последняя трансформация в долгой истории исторического знания. В условиях современной «историографической революции» можно ожидать наступления нового витка эпистемологической и методологической модернизации исторической науки, в очередной раз преобразующего облик Клио и «подведомственную» ей «территорию историка» в контексте аналогичных процессов социального и гуманитарного знания.

Более полувека назад, в самом конце 1958 года, великий историк Фернан Бродель решительно заявил о рождении «новой исторической науки»: «Очень нелегко переубедить историков и особенно преподавателей общественных наук, упорно желающих понимать под историей то, чем она была вчера. А между тем, новая историческая наука уже существует, непрерывно совершенствуясь и видоизменяясь. <...> Я говорю вам, перед историей зажегся огонь нового дня!»²¹.

Позволю себе позаимствовать эту замечательную фразу, которая звучит, как «символ веры» ученого-историка: *в новом тысячелетии перед историей зажегся огонь нового дня!*

²⁰ Бессмертный Ю. Л. Как писать историю. Французская историография в 1994–1997 гг.: методологические веяния. М., 1998. С. 2.

²¹ Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность [1958] // Философия и методология истории. М., 1977. С. 117, 128.

Репина Лорина Петровна

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВВ.

**СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ И
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА**

Утверждено к печати Институтом всеобщей истории РАН

Директор издательства *И. В. Дергачева*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*

ЛР 066332 от 23. 12. 1999

Подписано в печать 25. 05. 2011
Формат 60х90/16. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл. печ. л. 35. Тираж 1000. Заказ № 3577

Издательство «Кругъ»
Тел. / факс: (495) 729 72 00
e-mail: krugh@yandex.ru
<http://www.krugh.ru>

Отпечатано с оригинал-макета в ППП «Типография 'Наука'»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

ISBN 978-5-7396-0203-9



9 785739 160203 9